



НЕВА 3

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 1955 ГОДА

2014

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Валерий СОСНОВСКИЙ

Стихи • 3

Самит АЛИЕВ

Всей содранной кожей. *Повесть* • 7

Марина ПАЛЕЙ

Стихи • 81

Игорь ГАМАЮНОВ

Щит героя. *Главы из романа* • 85

Наталья СЕВЕЦ-ЕРМОЛИНА

Стихи • 106

Дмитрий ТРАВИН

From Russia with Love. *Любовь-1970.*

Промеж уток — промежуток;

Любовь-1980. Великое посвящение;

Любовь-1990. Химия судьбы;

Любовь-2000. Прощай, Симонетта; Любовь-2010.

Возраст дожития. Рассказы • 110

Андрей ЕГРАШОВ

Вчерашние люди. *Рассказ* • 126

КНИГА ПАВШИХ

Поэты Первой мировой войны. Шарль Пеги. Эрнст Штадлер.

Эдвард Томас. *Предисловия и перевод Евгения Лукина* • 135

ПУБЛИЦИСТИКА

Алексей ВАРЕХОВ

Русское богатство • 140

КРИТИКА И ЭССЕИСТИКА

Игорь СУХИХ

Чехов в XX веке. *Пять этюдов* • 150

Владислав БАЧИНИН

Он взвешен на весах и найден очень легким.
Смерть, Венеция и игра в гомоэротический бисер • 183

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

Год культуры. Юлия Щербинина. Вначале было слово. **Искусство чтения.** Алексей Машевский. «Золотая середина» Горация и принцип дополнительности (*к вопросу о неклассичности классики*). **Пилигрим.** Архимандрит Августин (Никитин). Истоки славянского книгопечатания. **Дом Зингера.** Подготовка публикации Елены Зиновьевой • 195–254

*Издание журнала осуществляется
при финансовой поддержке Министерства культуры
и Федерального агентства по печати и массовой коммуникации*

Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы» запрещена

*Электронную распечатку рукописей присылать
на погтовый адрес журнала (191186, Санкт-Петербург, а/я 9)*

Рукописи не возвращаются и не рецензируются

Главный редактор

Наталья ГРАНЦЕВА

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Наталья ЛАМОНТ

(ответственный секретарь,
коммерческий директор)

Александр МЕЛИХОВ

(зам. главного редактора)

Маргарита РАЙЦИНА

(контент-редактор)

Ольга МАЛЫШКИНА

(шеф-редактор молодежных проектов)

Игорь СУХИХ

(шеф-редактор гуманитарных проектов)

Елена ЗИНОВЬЕВА

(редактор-библиограф)

Дизайн обложки **А. Панкевича**
Макет **С. Булачевой**
Корректор **Е. Рогозина**
Верстка **М. Райцной, Л. Жуковой**

Валерий СОСНОВСКИЙ

К БАТЮШКОВУ

В господском доме зной, мелькают занавески,
Блестит паркет, летит лишь тополиный пух.
В деревню, в глухомань не скоро *идут* вести.
Ах Батюшков! терпи; скучай, считая мух.

Тебе не воскурят душистых благовоний,
Тебя не облачат в бесценную парчу.
Высокий компромисс классических гармоний
Теперешним векам уже не по плечу.

Нам будет воспевать новейший сочинитель
Унылую тщету, разбитые мечты,
Да жалости слезу, да бред ночных наитий,
Да скудный ад своей душевной пустоты.

И в мелочных страстях величественность мира
Уйдет на задний план. Скучающий турист
На фоне колоннад пурпурного порфира
Помашет в объектив и скомкает прайс-лист.

Ему и невдомек, какие в том чертоге
Звучали гимны, как вздымался храм словес,
Как умирали там аттические боги,
Встречая свой закат в молчании небес.

Повремени, оставь, вечернее светило,
На краешке небес свой лучезарный след!
А после уходи — пусть то, что сердцу мило,
Скрывается во тьме и меркнет дивный свет.

Ты прав, больной поэт! К чему ужимки граций?
Пора уйти в себя, не помня никого.
Премудро создан я, могу на свет сослаться.
Все Аристотель врет, табак есть божество.

Валерий Игоревич Сосновский — поэт, живет в Екатеринбурге. Публиковался в журналах «Звезда», «Нева», «Урал», «Слово/World», альманахах. Автор книги стихов «В тиши полночного проспекта».

**ПОЛЕТ ПАРЫ УТОК НАД КРЫМСКИМ МОСТОМ
ЗА МИНУТУ ДО ЗАКАТА**

Видела б ты, как вспорхнули они, как взлетели
Снизу, оттуда, из-под покатой стены Якиманской
Набережной, как стремительно взмыли качели
Летнего неба, янтарной задетого краской!

Видела б ты, как погнал ее селезень, воздух
С яростью нежной вспоров в десять плещущих взмахов,
Словно рубаху — явив собой видимый отзвук,
Вспомнила б ты, скольких юных восторгов и страхов, —

Вверх, поднимаясь к мосту, где откормленным стадом
Двигались джипы, седаны и прочие твари,
Чуть не касаясь перил, вдоль перил, траекторию взглядом,
Как по лекалу, наметив в лазурь и янтарь, и

Над проводами и выше, еще, и внезапно
Прямо в зенит устремляясь почти вертикально,
Там, где обитель едва различимых стрижей, и обратно
Над проводами, к опорам моста, и зеркально

По-над водою, себя обгоняя — к Петровскому монстру,
Что водрузил Церетели во славу Расеи —
Селезень гонит подругу на медные ростры
И на два берега кличет: «Ты будешь моею!»

Видела б ты, как смотрел я на уток, портвейна
Стиснув бутылку, что в младенчестве — бабушкин палец,
В сумке заначив табак, Мандельштама и Рейна,
Строки слагал в голове, а они рассыпались.

* * *

Пусть апрельское солнце сквозь стекла погладит мне руку
Первой лаской несмелой — когда-то, на школьном дворе,
Где далекий трамвай дребезжал по известному кругу,
Унося пассажиров к туманным снегам в ноябре.

Как мы гордо расстались, моя бесприютная юность,
Разминулись в парадном, сжимая копейки в горсти.
Для чего ты вернулась ко мне, для чего ты вернулась,
Неумелой ладонью закрасив седые виски!

Для чего ты целуешь мои огрубевшие пальцы,
Безоглядно доверчива и беспробудно добра...
Слишком долго позволить себе не могли ошибаться,
Слишком пристально видели разницу зла и добра.

Для чего ты под утро уходишь обратно, доверив
Мне бессонницу — мертвую птицу в холодных руках,
И, юна и прекрасна, как первая скрипка Гварнери,
В пальтеце своем сером в апрельских летишь облаках?

СЕВЕРКА

Р. Ф. Валееву

Ранний сентябрь. Распростерся над лесом покой.
Гроздь рябины и звезды висят над башкой.
Ночь так прозрачна, как будто вода из ручья.
Ночь так прекрасна, как будто бы зритель — не я.

Внемлет душа горних ангелов тихий полет,
Шепот травы, живоглота подводного ход.
Шепчется с богом душа, дивных песен полна,
Льется в ладони с небес молодая луна.

Я же расслышать, о чем там базар, не могу.
Шум электрички в моем отдается мозгу.
Так и стою под рябиной дурак дураком,
В чуждое небо дешевым дышу табаком.

* * *

Бывают дни, когда унылый снегопад
Маячит за окном, как старый алкоголик,
К прохожим пристаёт, и сам себе не рад,
И некуда сбежать от уз фантомной боли.

И вот глядишь в окно, как в старое кино,
Отснятое давно на черно-белой пленке,
Прохожие спешат, куда заведено,
И твякает вослед неумная болонка.

И думаешь себе: остановись, душа,
Элизиум теней, надежд и пустословья,
Уже случилось все, и нечего свершать,
И море столько лет стоит у изголовья.

И мы живем внутри игрушечной зимы:
В стеклянном шаре дом, и белая известка.
Достань сей мир из тьмы, переверни — и мы
Воспрянем ото сна, и снова снег взовьется.

И снова заспешат неведомо куда
Прохожие, чья жизнь несоразмерна шагу.
Печальная строка, летучих слов гряда,
Как долгий снегопад, ложится на бумагу.

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ

Куда мы идем, Уолт Уитмен? Двери закроются через час.
Куда сегодня ведет твоя борода?
Аллен Гинзберг,
О муза хрупкая моя!
Заглянем в супермаркет вечером,
Хотя, по правде говоря,
Тебе там вовсе делать нечего.

Какое царство колбасы!
А помидоры красно-нежные!
Там консультанты-продавцы
Порхают, равнодушно-вежливы.

Там терпеливые мужья
За озабоченными женами,
Свои обиды затая,
Бредут с корзинами гружеными.

Там на неведомый товар
Взирают малыши молитвенно,
И посреди торговых чар
Незримо бродит тень Уитмена.

Зачем, безумный бородач,
Ты к нам привел свою Америку,
В страну, где вековечный плач,
Где вдовы мечутся в истерике?

В страну, где лучшие умы
Колымским холодом запуганы,
Где восемь месяцев зимы
И разговор полночный кухонный?

Ах супермаркет! Новый век!
Здрав штаны, и мне так хочется...
Туда заходит человек
И покупает одиночество.

Стоит у входа, как Харон,
Одетый в черное секьюрити,
Настропаляет свой паром:
«Уже пора! Вы что тут курите!»

А я у входа постою.
Не надо нервов, не пора еще!
И вот — в летейскую струю
Швырну окурок догорающий.

Самит АЛИЕВ

ВСЕЙ СОДРАННОЙ КОЖЕЙ

Повесть

...Самая большая опасность — это не глобализация, не экономический кризис, не массовые эпидемии и даже не война. Самое опасное — это превращение народа в толпу мамедов, джонов или иванов, что родства не помнят и знать не хотят. Потому что родства не помнящему быть .таки биту, драну и сзади пользовану...

Вступление

...И слышно страшное в судьбах наших поэтов.

Н. Гоголь

...Садись поудобнее, разлюбезный читатель, устраивайся, не стесняясь, я поделюсь с тобой соображениями, мыслями, последними и не очень новостями, ощущениями, чаяниями, надеждами да предчувствиями. Чай у меня, дорогой друг, горячий, скорость ветра пять метров в секунду, совершенно не ветер по бакинским меркам, так, бриз легчайший, время близится к рассвету, а за окном целый 1417 год... в Баварии как раз закончилась эпоха правления королевы Изабеллы, в Бухаре открылось медресе Улугбека, начался исход цыган из Византийской империи (точнее, из того, что от нее осталось), в Европе правят целых три римских папы, Русь выкашивает эпидемия чумы, занесенная купцами из прикаспийских степей, а Василий Первый в договоре, подписанном с Ливонским орденом, назван «императором Русским»... но это все в Бавариях, Бухарах и Россиях, тем временем же в далеком Халебе, что ныне, на территории Сирии находясь, Алеппо называется, казнен Имадеддин Насими... казнен жестоко, с громогласным зачитыванием приговора, объяснением причин и при большом скоплении народа... сразу после зачтения, подведя солидную юридическую базу, помолились и приступили... к снятию кожи... заживо, без какой-либо анестезии, асфиксии или предварительного главы усечения... голова была отделена от туловища чуть позже... самую малость подождали, а как только ободрали начисто, так и отсекли да послали куда надо, во устрашение... во имя торжества закона и чтобы последователям неповадно было, знайте, мол, и не дерзайте более казненного... не только, наверное, для устрашения последователей... все, по-моему, было гораздо прозаичнее, а еретические

Самит Салахаддин оглы Алиев родился в г. Ленкорани Азербайджанской ССР в 1975 году. Окончил Институт иностранных языков (переводчик с английского). Автор нескольких книг, за одну из которых («Семь шагов в направлении заката») в 2010 году был удостоен Национальной книжной премии (Азербайджан). Живет в г. Баку.

* Журнальный вариант.

НЕВА 3'2014

высказывания, стихи горячительные да голова с мыслями, что ногам покоя не давали, были всего лишь поводом... каюсь, повесть полна неточностей, выдумок, анахронизмов и передергиваний, потому что все это всего лишь версия... которая тоже имеет право на существование, и, клянусь Аллахом, она ничем не хуже прилизанно-официальной или кинематографической... хотя, безусловно, образ Насими, созданный на экране великолепным Расимом Балаевым, не мог не оказать влияния на мою работу... знаешь, читатель, я ведь тоже на самом деле очень старался... а если где приврал или передернул, то вы уж простите... да и вообще очень может быть, что это вовсе не про того Насими, не про канонического, а про его одноклассника — такое иногда случается...

1

...В ходе строительства не имеющей аналогов в мире подземной автостоянки, полностью соответствующей самым высоким мировым стандартам, памятник выдающемуся поэту Средневековья Имаддину Насими был демонтирован и увезен в неизвестном направлении. Хочется надеяться, что по завершении строительства его вернут на прежнее место, куда он когда-то был поставлен проклятой советской властью...

Новейшая история Азербайджана

Вопреки моим ожиданиям и отвратительным предчувствиям, как то: переплавка, продажа на сторону, забвение на каком-нибудь складе, потеря документов, идеологическая диверсия, распилили, сломали, пропили, украли, нету, не было, больше не будет, больше не нужен, усушка, утруска, реорганизация или историческое постановление очередного съезда насчет его, Насими, вредности, чуждости и несоответствия — памятник был водружен на прежнее место.

(Высовывая всклокоченную и раскалывающуюся после вчерашнего голову из-под подушки, оглядывая царящий в комнате беспорядок, на лице целая гамма чувств — от желания снова заснуть до полного понимания необходимости окончательно проснуться.)

- И чего ты там с утра пораньше шумишь?
- (Слегка обиженно.) Я мурлыкаю.
- (Чуть извиняющимся тоном только что проснувшегося человека.) Понял. А все же что это?
- По-моему, «Бэла, не ломайся».
- Нет, я проснулся оттого, что там было что-то связанное с котами...
- А-а-а, это «пижоны поправляют свой кис-кис».
- Свой чего поправляют?
- Кис-кис. Галстук-бабочка такой, на резинке... не знал?
- Не-а... ни за что не подумал бы...
- Ты все равно хороший...
- Я знаю... все еще начинающий и никак не перестающий быть перспективным. Холостой потому что, наверное...
- Дурак ты...
- Очень может быть... «а в тридцать три распяли, но несильно».

- Чье это?
- Дядя один... в восьмидесятом году умер...
- Меня тогда даже не было...
- Еще бы... если б ты тогда уже была, я б придушил тебя подушкой, за то, что Высоцкого не знаешь.
- Так это Высоцкий, — слегка протяжно и чуть разочарованно.
- Прощаю на этот раз. Как-нибудь подарю тебе книжку на память.
- В день, когда я от тебя уйду?
- С полуслова понимаешь... так я и расставаться раздумую...
- А если подушкой по морде?
- Да? А только что я был хорошим.
- А теперь плохой... злой потому что...
- А если я обниму? Только целовать не буду, потому что зубы нечищенные. По-позже обещаю даже умыться.
- А потом расскажешь мне что-нибудь?
- Например?
- Вчера ты начал рассказывать что-то про двух странников, а потом запутался, заврался, проговорился насчет того, где был позавчера, и тихо съехал на другую тему.
- Ну, прокололся, с кем не бывает. Будет тебе про странников...
- <...> Ты лучшее, что было со мной... не предавай меня...
- Бедная девочка... если это лучшее, что с тобой было... воображаю твое прошлое... галеры, рудники и каменоломни?
- Не понимаешь ты ничего...
- Прости... знаешь... может, тебе лучше домой поехать? Я тебя на такси посажу...
- Я хочу остаться... не гони меня...
- Хорошо... оставайся... и прости меня за все... я ведь только беру и почти ничего не даю тебе взамен...

2

Пищит вода, гуляет Восток,
Ухмыляется Запад,
Контрабандист.

ДДТ. Беда

Так и жил Восток, тем и дышал Восток, так веками и стоял Восток, покупая и продавая, продавая и подкупая, травясь Европой и травя оную, глотки взрезал, свою при случае подставляя, кровью крестился, мечом обрезался, песок, под ногтями застрявший, зубами выковыривал, скалился юродиво и всех юродиво скалящихся уважал, сам веселился и всех окрест веселил, удивлял и дивился, душил и давился, образцом был и образом, когда молил, а когда и молился, где-то стирал, а где-то стирался, народы переселял и сам все куда-то переселиться норовил. Странное место, страшное место, завораживающее, манящее, отталкивающее.. то степь, то сад, то горы, то песок, то земля плодородная, то испарения зловонные, то городишко препаршивый, Богом Всевышним напрочь забытый, а то и город огромный, людьми, Господом умудренными, на зависть всему миру и Ему же на славу строенный. И ходили по нему веками люди странные, люди ухмыляющиеся, то печальные, то веселые, то смеялись громко, то плакали тихо, ходили люди, дома-пристанница не имеющие, на день всякий лишь о нем и заботящиеся, припасов не делаю-

щие, одежд не латающие, ходили люди в колпаках войлочных, с бородами нечесаными да волосами ниспадающими, из города в город, из селения в селение, изо дня в день да из ночи в ночь, раскачивались мерно, молились некаждодневно, то пренебрегут, то возле костра забудут, но зикры-восхваления повторяли ритмично, в одну точку уставясь. Дадут хлеба в селении — спаси Господь подавшего, а не дадут — и то беда невелика, ведь у странников живот вольный, а целый день без пищи, до самой до темной ночи, и за пост сойдет, и очень может быть, что для мира иного во благо запишется...

...И, осадив Халеб, он поклялся не проливать ни единой капли мусульманской крови, если жители сдадутся ему без боя. И слово свое сдержал, всех христиан и иудеев перерезал, а мусульман закопал в землю живьем, сатанинское отродье... жуткий у него взгляд, словно он не на тебя смотрит, а самое твое естество глазами-углищами насквозь прожигает. Он рыжий и синеглазый, и ликом совсем не монгол, лицом он то ли из курдов, то ли из лазов будет, а может, и тюрок, кто ж тут разберет, сколько в человеке кровей намешано... Аллах его ведает... потому Чингизиды его и не любят, хотя в нем намного больше от их Великого Предка¹, нежели во всех них, вместе взятых. А титул у него — всего лишь «великий эмир» при хане... он милостив до странствующих и иногда щедро оделяет тех, кто отличился при нем в религиозных спорах, серебром. Хромой почему-то не любит золота, совсем не думая о том, что вкусы святых странников могут отличаться от его собственных. Но да хранит Аллах голову того, кто его разгневает, мстителен Хромой: «Обижали меня во время младости моей — исказню души и тела ваши в пору зрелости своей» — так шепотом ввали да выдумки друг другу два дервиша пересказывали... сидели двое возле костра да медленно черствые лепешки с курутом² пережевывали. «Говорят, что, когда умер его любимый сын, Джихангир, Хромой три дня не показывался на людях, молился в одиночестве, плакал, грыз хорасанские³ ковры и жилы на собственной руке, а по истечении трех дней вышел из юрты, умыл лицо и погладил рыжую бороду, после чего поклялся при всем войске, что уморит Смерть голодом, не дав ей унести ни одну душу, взвалив эту заботу на свои плечи. Он не пишет по-арабски и почти не говорит на языке Благородного Свитка⁴, хотя знает его почти наизусть. За это его и ненавидят улемы. Как только Хромой стал эмиром, с полдесятка длиннородых в чалмах отправились на плаху за то, что, побуждаемые корыстью и властолюбием, лгали людям, выдавая собственные измышления за слова Аллаха и Его пророка». Говорить приходилось шепотом, потому что под любым камнем, за любой скалой и в любом караване мог оказаться джасус⁵ эмира. Первый собеседник был чернявый, с быстрыми глазами цвета спелой вишни, второй дервиш — глазами посветлее, осанистый, с бородой, слегка подкрашенной хной. Одинаковые хурджины⁶, сшитые из старых ковриков, покрытые придорожной пылью лица, и головы необнаженные, на одном — чалма старая, на другом — колпак войлочный, когда-то белый, цвета молока с сахаром, да вышел весь: сахар съели, а молоко выпили... Много их, бродяг, шлялось тогда по всему Востоку взад и вперед, некоторые доходили до королевства венгров, а один, говорят, добрался до самого Бремена, где его обязательно сожгли бы на костре за обре-

¹ Чингисхан.

² Сухой сыр.

³ Область в Иране, в древности славилась коврами на весь Восток.

⁴ Коран.

⁵ Шпион.

⁶ Сумка.

занство, неарийство и вообще сарацинство, если б его чуть раньше не прикончила то ли простуда, то ли какая-то вирусная инфекция. Не стоит смотреть на историю Средних веков как на арену постоянной войны между крестом и полумесяцем. Воевали, конечно, но и торговали, шпионили, путешествовали и даже ездили друг к другу в гости, когда позволяла погода и относительное спокойствие на дорогах. Послы пользовались правом неприкосновенности, которое иногда распространялось и на купцов. Впрочем, две эти должности порой с легкостью совмещались одним и тем же человеком, который вместе с шелковыми тканями, мускусом и полудрагоценными камнями носил в заплечном мешке верительные грамоты «От Повелителя Востока Владыке Запада, написанному верить, с уважением, купец Мойша». Веротерпимость же мусульманских правителей не объяснялась их приверженностью гуманизму и общечеловеческим ценностям. Все было намного проще: перед лицом всекарающего кулака все морды были одинаково бесправны, и как ты молишься Господу-Вседержителю — дело твое, только подати вовремя плати, а всякой харе в нужный момент оплеуха гарантирована. Налоги — деньгами, женщин — в гаремы и десятину — кровью, в случае чего, если один Владыка Востока решил дать промеж глаз другому Владыке того же Востока, владеющему в непосредственной близости...

Дервиши шли в Диярбекир⁷, но на дорогах было беспокойно, вот они и задержались здесь, в предгорьях. Путь неблизкий, и идти приходилось, опасаясь: Тимур начал войну с турками, и любого путника, идущего с Запада, запросто могли посадить на кол, с сомнением, не соглядатай ли. У Хромононого это быстро делалось — хоп — и сиди на смазанном гуйругом⁸ острие, пока оно из горла не вылезет... не посмотрят ведь, что дервиш: аркан на шею — и к кадию⁹, на предмет проверки благонадежности. Когда на кольях вокруг трона так много задниц, что от их смрада приходится носы затыкать, — это есть первейший знак, что вокруг все лица одинаково плоды равноправия вкушают и тем наслаждаются. Одному кол, другому плаха. Чтоб никому за свое сиротство обидно не было. И власть Хромого никого своим вниманием не обделит и обязательно уважит, да хранит нас Всевышний от лютой еи...

— А как зовут тебя, странник?

— Называй меня Имадеддин.

— Хм... Слышал я об одном Имадеддине... это имя у многих на устах... После недавних событий... Сейид-Али?

— Да. И что же ты слышал? Все больше ругали? Или награду обещали, если скажешь, где его в последний раз видел?

— Не, упаси Аллах... так, слышал о человеке... поэт, мол, безумно влюбленный... и быстро бежавший...

— Быстро бежавший... То-то я смотрю, как ты, караван завидев, спрятаться норовишь... то в овраг свернуть, то в барханах схорониться... А как твое имя?

— Называй меня Ходжа...

— Ходжа... Учитель... А не слишком... громко, а?

— Я наблюдал за тобой, поэт... просто случая поговорить не было...

— И?..

— Может, потом как-нибудь расскажу... а пока — Ходжа...

— Ну научи, учитель... чему-нибудь... из того, чему людей учишь...

— Ты и без меня ученый... твои стихи весь Восток наизусть читает... я ведь тебя

⁷ Город в Турции.

⁸ Бараний жир.

⁹ Кадий (казы) — судья.

сразу узнал, ученик Фазлуллаха, разорванного конями... Поэт в колпаке белом, в колпаке войлочном... бежишь от Тимура?

— Нет... просто иду навстречу тому, что обязательно должно случиться... рано или поздно...

— На твоём месте да с твоей славой я бы от этого «должно случиться» держался б подальше...

— Я могу видеть будущее...

— А я могу его предсказывать... иногда, конечно... дождешься ты, Насими из Ширвана¹⁰... впрочем... таких, как ты, ценят... может, пристроишься при дворе какого-нибудь мелика или султана... из тех, что помельче, разумеется, потому что к тем, кто покрупнее, протолкнуться сложнее...

— Может быть...

— Противно не будет?

— Будет, наверное... но у каждого свой жребий...

— Но кидаем мы его сами... кости-то в наших руках...

— А чашечка?

— Да, чашечка... хорошая, кстати, вещь, эта чашечка... а где мой бурдюк? Вот ты где... иди сюда... спаси, Аллах, и прости грехи мои многие... будешь?

— Нет, спасибо, воздержусь...

— Ну как знаешь... грехом больше, грехом меньше... мучений людских глоток вина не превысит...

— Страшные слова говоришь, ходжа... или все-таки Ходжа? Так это имя или обращение?

— Отстань, сказано, о проницательнейший из наблюдательнейших... лучше на вот... хлебни... Ха, а говорил «воздержусь»... это же ширазское... настоящее ширазское вино...

— Терпкое...

— Да... говорят, мошенник Аветис подмешивает туда известь... да простит Аллах и его грехи, и наши грехи...

— Ты знаешь Аветиса?

— Винную лавку Аветиса знают все, кто хотя бы раз был в Ширазе...

— И за неимением денег расплачивался с ним шутками-прибаутками или колечком, подаренным гурией из гарема базарного надсмотрщика...

— Или получал палками по пяткам за неумеренное пьянство и нарушение ночного или дневного покоя жителей этого славного города... стихами, например... или свитками, смуту сеющими...

— Меня не били палками в Ширазе...

— А в Исфахане?

— Что в Исфахане?

— Били палками по пяткам?

— Нет...

— Ну, у тебя все впереди... целая вечность и весь Восток с Западом, а также Севером для всех твоих мелких нужд и надобностей... впрочем, как и у всех поэтов...

— Сколько в тебе иронии... кажется, я догадываюсь, кто ты...

— Путник на дороге бедствующих и странствующих, Насими... просто путник... на этом и остановимся... не надо имен, во избежание...

— Тут ведь никого нет...

— Степной ветер поднимает наши слова вверх и передает птицам... а они могут напеть это шакалам, джасусам или стражникам... даже не знаю, кто страшнее...

¹⁰ Область Азербайджана, в XIV веке являвшаяся независимым ханством.

- Ты боишься стражников?
- Нет, я больше опасаясь шакалов...
- Ты был в Ор-Капу?
- Не поверишь, но я даже подвизался там в должности кадия. Недолго, правда, около двух месяцев, но меня потом искали и ловили по всему Кырыму... около года...
- И как же я сразу не догадался...
- Я постарел... и многое из того, что молва мне приписывает, — вымысел... или высказывания других весельчаков...
- Смеющихся во все горло, когда их бьют палками...
- Или облагают непосильными налогами... занудный ты человек, Имадеддин... и как только тебе такие стихи удаются...
- Все от занудства... стихи — его обратная сторона...
- Никогда бы не подумал... получается, что мое зубоскальство — это обратная сторона моей же печали?
- Получается... а еще у тебя белки глаз желтеют... ты бы пил поменьше...
- Тебя тоже глаза выдают... затравленные какие-то... из города в город... и из ночи в день... слушай, поэт, а тебе никогда не кажется, что большая часть рассказней о Тимуре — не более чем слухи?
- Не знаю... хотелось бы верить... но судьба Фазлуллаха — лучшее им подтверждение...
- Да, но его казнил сын Хромой... сам Хромой тут как бы и ни при чем...
- Разве кривые всходы вырастают на прямом дереве?
- Думаю, что хоть и всякая власть от Бога, но Он, отстраняясь, предоставляет шайтану возможность толковать Коран по своему злоехидному усмотрению...
- Смейся над рясой, смейся над чалмой, но не зубоскаль над Книгой... лучше поплачь над человеком...
- Я не зубоскалю, я просто думаю... а плакать... выплакал уже...
- Тогда чем сожалеть о выплаканном, придумал бы лучше, что нам сегодня поздравить, потому что сыр заканчивается, а день еще нет...
- Где течет вода, там всегда живут люди... где живут люди, там всегда бродят воры...
- Абсолютная истина... поднимайся, поэт, пошли воров с водою искать, а если повезет, может, и сами чего промыслим... только сперва костер затоптать надо, а то долго ли до беды... Упаси Аллах тварей Божиих от пожара степного, пощады не ведающего...
- И от ушей чутких с языками доносящими... Упаси...
- Осторожен ты, поэт... согнулся под тяжестью таланта... грудь полна, сам у всех на устах, душа об ребра птицей пойманной бьется, а покоя как не было, так и нет... ничего.. и тебя сломают...
- Не сломают, Ходжа... я не трубка камышовая...
- Ладно, пошли, поротый-недобитый...

3

...Всякая борьба против феодализма должна была тогда принимать религиозное облачение и направляться в первую очередь против официальной церкви.

Ф. Энгельс

В 1385 году Великий Хромой вторгается на территорию современного Азербайджана... Правитель Ширвана Ибрагим Дербенди, понимая, что с вышколенной и

закаленной в сражениях армией Тимура ему не справиться, решает отстоять хоть какую-то независимость... пусть номинальную, пусть эфемерную, на год, на три, выцарапать ногтями, вымолить на коленях, выцыганить дарами, выманить хитростью или цветастыми оборотами. Ему очень нужно время, самая малость, хотя бы десять лет... или лучше пятнадцать, потому что у Хромого и без того много врагов, его пытается свалить могучая коалиция, состоящая из мамлюков Египта, турков-османов, ханов Золотой Орды и самого повелителя правоверных, халифа Багдадского... Ибрагиму нужно время, ой как нужно. И тогда он сам, собственной персоной, в составе посольства, с богатыми дарами, приходит в ставку Тимура и дарит Хромому девять ларцов с жемчугом, девять карабахских скакунов, девять тюков с шемахинским шелком и... восемь рабов... На вопрос Тимура, почему все дары числом по девяти, а рабов всего восемь, Ибрагим, преклонив правое колено, смиренно отвечает: «Твой девятый раб — это я, повелитель». Тимур приказывает ему подняться и долго, долго всматривается в переносицу Дербенди, размышляя, верить или не верить. Он прекрасно осведомлен о восточном лукавстве и многое знает о людях — созданиях, которые способны лизать руку только потому, что в страхе перед сапогом, под копчик пинающим, но способны ее, сухожилиями хрустя, до кости прокусить... у Тимура свои замыслы, свои желания и соображения. Он с малолетства ненавидит кривые улочки восточных городов, где в любой момент может начаться бунт или эпидемия черной оспы и где один еретик, к стене прижавшись, может долго-долго отряду воинов сопротивляться: подходите, мол, по одному, потому что пь два ну никак не получится (особо не развернешься, какие там копья со щитами, взмахнешь раз саблей — а она, злодейка, так и норовит со стены ближайшей искру высечь). Один за другим под ударами Тимуровых войск падают древние города Средней Азии и Кавказа, а на их месте руками рабов-пленников строятся новые, с широкими улицами, высоченными минаретами, административными зданиями и странноприимными домами. Ему очень нужны рабочие руки, чтобы рыть каналы, возделывать землю, тесать камни и плавить медь, а потому пленных не убивают. Рассказы же о пирамидах из срубленных голов оставим на совести многочисленных академиков, что за сказки эти зарплату получают. Бил, давил, резал, устрашал, было дело, казнил нещадно и сопротивляющихся не жалел ни разу, но рукам рабочим счет особый вел, и от жадности же великой, строго-настрою своим воинам наказывал: «Пленного корми тем же, что сам ешь, приду — проверю, или пошлю — проверят, и да упаси тебя Аллах волю мою нарушить». Предметом особой заботы Тимура становится город Самарканд, город древний, город славный, повидавший и Искандера Двурогого¹¹, и воинов халифа, и железных солдат Чингисхана. Тимур утверждает величие Бога Единого, Бога Славного своей кривой саблей и мастерком каменщика. Пусть все вокруг служит вящей славе Божьей и свидетельством могущества смиренного раба Его, амир-Тимура. Старая, полуразрушенная монголами часть города, что расположена на холме Афросиаб, снова оживает и начинает застраиваться. Главным храмом города становится мечеть «Биби-ханым», построенная всего за пять лет руками ремесленников, свезенных в Самарканд со всех концов Востока, а ее купол, облицованный бирюзовым кирпичом, до сих пор называют «Повторением неба»... и никаких кривых улочек. С этого момента кривыми в империи Тимура будут только сабли, верные, острые, изнутри заточенные и пощады не знающие... Шесть главных проспектов сойдутся в центре Самарканда, на площади Регистан, и прямо в ее центре жена Тимура построит торговый центр Чор-Суу. Его мысли и желания обгоняли время, все, чего он хотел, так это разру-

¹¹ Александр Македонский.

шить старые города, вместилища беззакония, проказы и оспы, и дать людям новые, светлые, чтобы не было давящих потолков и сжирающих свет сводов, а одно только синее небо на много дней конного хода вперед, синее небо, мечта кочевника, да степь вокруг, где края не видно, а дойти до горизонта и коснуться его рукой — первейшее дело... А еще говорят, что очень давно, задолго до Искандера, когда Самарканд был только заложен, с Зерафшанских гор спустился леопард. Пятнистый, усатый, любопытнорожий, с ушами округлыми и усами длиннющими. Обнюхал камни, посидел рядышком со строителями, облизнулся хитро, покивал одобрительно и обратно в горы прыснул... так, во всяком случае, уверяет Абу-Саид-Абдуль-Рахман-ибн-Мухаммед-Идрис, человек в истории искушенный и авторитетный, такой врать ни за что не станет...

Самарканд застраивался руками строителей, вывезенных со всего тогдашнего Востока. Насильственное переселение не могло не вылиться в недовольство и сопротивление, в особенности если отлавливают и переселяют не крестьян и дехкан сиволапых, кроме мотыги ничего не ведающих, а людей деятельных да с воображением — ремесленников рукастых, гончаров и каменотесов головастых, кузнецов суровых, сапожников, что на язык невоздержанны, портных, что усидчивы, да кожеймяк, что молчаливы. За такими завсегда глаз да глаз нужен, потому как если руки у них делом не заняты, сразу в головы мысли разные, сталкиваясь, лезть начинают и всегда почему-то против властей земных. Чуть налогами поприжмешь — скалятся гнилозубо, тут уж сами додумывайте, что случится, если их плетью зб море погнать попытаешься. Вот и вылилось недовольство в целое движение, на философии да религии густо замешанное, хотя за всей философией, как, впрочем, всегда и везде, стояли обыкновенные экономические соображения плюс нежелание покидать землю предков. Борьба бедных против богатых, голодных против сытых и слабых против сильных... Взрывоопасный социально-философский коктейль, куда для пряного вкуса была добавлена щепотка радикального шиизма, по мнению некоторых исследователей, уходил корнями в еврейскую «каббалу» — тайное мистическое учение, где каждая буква алфавита имела цифровое значение. Хуруфиты же искали в причудливой арабской вязи черты человеческого лица, а тот, кто ищет, найдет обязательно, пусть даже для этого потребуются определенное время... Сильная это штука, воображение... Что захочешь — то и увидишь, чего желаешь — то и подсказано будет, куда уши востришь — то и услышишь обязательно... в особенности, если поэт, безусловно, если бежал, и, разумеется, если влюблен. Это, мол, ротик, а это уже носик, ну, и для ушек тоже что-нибудь дорисуем, или мы не каллиграфы? Хуруфиты называют Азербайджан «Сарзамин-э-рестахиз», «Место Пробуждения». Тут-то он, хуруфизм, и развернулся, во всем своем великолепии, в полной своей мистике, когда одному слову два на десять значений придается да расшифровывается, где каждая буква от семи до двенадцати смыслов имеет и, со словами разными сочетаясь, противоположные вещи означать может. А началось все с двадцати двух букв еврейского алфавита, где двадцать две основные буквы, три праматери, семь двойных и двенадцать простых. Три праматери: Мем молчащая, Шин свистящая, Алеф — воздух, дух, склоняющийся между ними. И взял Господь наш двадцать две основные буквы; впечатал, вырубил, сочетал их, взвесил и заменил, где счел нужным. И сформировал Он все созданное им, и все, что по милости Его ими сформировано будет. Основные же литеры установил колесом, как стену с воротами многими, колесо повторяется спереди и сзади. Знак разумеющему: нет в добре более высокого, чем наслаждение, нет во зле более низкого, чем проказа. И сформировал Он действительность и все сущее, кроме Себя Самого, из Пустоты, и то, чего не было, — создал. И вырубил Он великие столбы из воздуха, уловить невозможно их. И тому знак: Алеф — со всеми и все — с Алеф

наблюдает и замещает, и делает каждого сформированного и каждого произнесенного в имя одно. И знак тому — многие вещи в теле одном, где Алеф есть первая из букв, что дал Он сынам Адама...

Оплотом хуруфитов становится крепость Алынджа в Нахичевани, крепость высокогорная, а потому — орешек из нелегких, два раза войска Тимура вынуждены были, осаду сняв, подалее отойти: не поддавалась Алынджа. Два раза волны осадные от стен ее прочь откатывались, но сила всякую солому ломит, и в 1401 году Алынджа все-таки пала. В захваченной крепости были уничтожены практически все книги хуруфитов, кроме «Васиат-наме» — того Насими успел унести оттуда с собой.. в памяти. Главный же идеолог хуруфизма, Фазлуллах Наими, был казнен чуть раньше, в 1394 году. После неудачной попытки склонить сына Тимура, Миран-шаха, к своему учению, он будет разорван конями. Миран-шаха не зря в народе прозвали «Маран-шах», Шах-Змея. Мелочный и мстительный сын Великого Завоевателя, он с самого детства до скрежета зубовного завидовал своему брату, любимому сыну Тимура, Джахангиру. Был патологически, беспричинно жесток, и что-то заставляет меня думать, что теорию Ломброзо Миран-шах подтверждал полностью и недвусмысленно. Портретов, правда, не сохранилось, ни одного, к сожалению, чтобы версию мою подтвердить. Но про зверства с жестокостями я вам не наврал, ведь это Восток, ведь тут кругом Азия, и победитель получает все, от жен побежденного на ложе до детей его в услужение в лучшем случае, потому что истребить предпочтительней... и не обижается никто, понимает потому что: сегодня мне подфартило, а завтра, глядишь, тебе повезет... потому-то, завоевав чего, всякий здесь зверствует усердно, чтобы мстителей на развод не осталось. Вот так и жил Восток... странное место, страшное место, заволаживающее, манящее, отталкивающее, целая часть Света, а может быть, вовсе и не часть его, а целый мир, что пахнет розами и разит нечистотами...

...И шли дервиши оборванные, нечесанные, в лохмотья одетые, по всему Востоку бродили, на одном месте днями вращались-дергались, бородавки жидкие к небу задирали, ногами босыми землю топтали, руки к небу синему вздирали и на разные голоса от Герата до самого Магриба, переливисто, надрывно так, стихи Насими в ритме шесть восьмых выкрикивали. И если бы только дервиши шляющиеся... От Дербента до Басры, от вод Инда до волн Босфора, на базарах, в чайханах, в домах питейных, в кибитках крытых и прямо под небом открытым, распевал люд разношерстный стихи поэта в колпаке, что когда-то белым был, в такт словам пальцами прищелкивая, а которые побогаче, те, конечно, барабанщиков нанимали... и все на один лад, и все на ритм шесть восьмых, слова любовные, слова горячительные, по всей земле Божьей любовь земную и небесную утверждая, ритмом восточным, манящим, пальцами щелкающим, да ногами перебирающим. И дышали они животом, а не грудью, и «Йагу-Йа-Хагг» повторяли ритмично; а «Йагу-Йа-Хагг» есть одно из имен Божиих, а именно Истина, Справедливость...

4

У тебя есть все,
 Чтоб об этом
 Забыть.
 Есть все,
 Чтоб об этом забыть...
SunSay. У тебя есть все, чтоб об этом забыть

— Тоска и произвол не только славянскими бывают. И если ваша с тюркской схлестнется, то еще неизвестно, кто кого, заголосив-затосковав, перепоеет-перевоеет.

- Так... а интересная у вас страна...
- На свою посмотри...
- Нагляделся уже... та же комсомолия у власти...
- На всех этажах и антресолях... Вороватая такая, вечно краснознаменно-непереходящая... лапки липкие, глазки быстрые...
- Заплывшие, хитрозауженные...
- На одном заводе клепали, видимо...
- Точно. В одном цеху, по единым чертежам, под одним ОТК.
- А пить почему перестал?
- Ну... Захотел и перестал. Так получилось..
- И не тянет?
- Нет, почему же, тянет иногда. Но чаще все-таки не тянет.
- Закодировался, что ли?
- Нет, просто Богу пообещал...
- С какой такой радости-то?
- Было дело. Какая разница, по большому счету...
- А ты вообще замечал, что Он тебя любит?
- Знаешь, если честно, то замечал.. даже если не любит, то относится как-то по-особенному. Сам посуди, не сжевали, не убили, не искалечили... хотя стараний в свое время было приложено достаточно. Более чем, по-моему.
- Любит, получается.
- Вот и мне так кажется... даже если все остальные, ну, многие, во всяком случае, считают полным засранцем...
- Я это слышал где-то. Или читал.
- Что именно?
- Ну, выражение это: «Бог тебя любит, даже если все вокруг считают засранцем».
- Значок такой был.

...Познакомились мы с ней случайно, в магазине, киношное такое знакомство получилось: у нее сетка с мандаринами разорвалась, я и помог мячики зимние, солнышки раскатившиеся с полу подобрать... и никаких задних мыслей... просто, оказалось, что она живет неподалеку, и все получилось как-то... само собой, что ли... она слегка удивила меня в первый же вечер, сказав, что бесплодна и беременность ей не светит... материнство тем более... такие вот ужимки современности, сравнительно молодая, но уже с тоненьким таким шрамом вдоль живота, чуть ли не от солнечного сплетения до самого лобка... я в детали не вдавался, неловко было как-то, да и неинтересно по большому счету, что мне до дня вчерашнего, что нам до дня завтрашнего, который мы не стремились разделить ни разу... правда, иногда мне казалось, что я тут совсем как бы и ни при чем, а все происходит само по себе, я же просто наблюдаю за всем со стороны, сторонний такой, посторонний, мужичок для здоровья, иллюзия избавления от одиночества, а потому, наверное, и сожалений особых не было, когда в один прекрасный день она решила больше не возвращаться... и снова я оставляю без ответа ее телефонный звонок... ну тебя, девочка, с твоими тонкими кокаиновыми ноздрями... лань трепещущая.. слишком ты какая-то проблемная, что ли, а нервы у меня уже совершенно не те, чтобы все твои закидоны терпеть, прости, устал я, очень устал...

Цивилизация, дорогой товарищ, вообще представляет собой довольно сложный и длительный процесс утончения обычной дубинки до размеров скипетра. Все эти Виндзоры, Гогенштауфены, Брауншвейги и прочая-прочая-прочая, спервонача-

лу были (не говоря уже о Пехлеви и Бернадотах) простыми разбойниками, в лесах и полях весьма авторитетными, и все послабее да попроще, что окрест жили, сильно их за таланты разные уважали. Издалека завидев, подалее схорониться норовили, на всякий случай, во избежание процесса отчуждения приглянувшейся собственности.

Для кочевых племен государственных границ не существовало чуть ли не до тридцатых годов двадцатого века, то тут они, то там. Сегодня в Сирию отошли, со стадами и семьями, а завтра по Ирану кочуют. Везде они себя вольготно чувствовали, по краям всадники с копьями, а посередине — кибитки с женами, старухами да детьми малыми. Так и ходили по всему Востоку, сами себе хозяева. А как война — так тоже особо голов не ломали: кто больше заплатит — за того и ввяжутся. Отступающих опять же побить-пограбить первые мастера, а как опасность — рассыпаются вольной конницей, заверещат гортанно, не догнать, не окружить. Своим законом жили, своим укладом, шапку на бок в случае чего заломят, свистом зальются — и нет у них царя, нет границ, нет повелителя, один хан или шейх, восход за плечами да Господь Всевышний наверху, где синь лоб заламывает, кружит мьроком, а закрутив, на части рвет-разрывает. Великим позором считалось гостя обидеть или страннику в чем нужном отказать, потому и обновлялась кровь постоянно. Покрутится тип приبلудный, пооботрется, да и прилепится к деве из племени кочевого... и куда ты теперь от жениной родни денешься, раз уж детишки пошли? Вот то-то же... Ходжа и Насими шли, не прятались, не сгибаясь... степь здесь, и пока войско того или иного государя шагом мерным по ней не пропылит, нет здесь ни царей, ни шахов, ни мытарей, ни лиц прид-(т)-ворно-духовных, а один только Господь... на много дней пути... потому и опасаться особо некого. Шагай себе, с головой поднятой, а волки появятся — огонь разведешь, посохом отобьешься, если будет на то воля Божья... Шли не крадучись, за холмиками не прячась, но закон степной все-таки нарушили. Ходжа и Насими, две стороны монетки одной, халата одного изнанка и сторона лицевая, подошли к кочевью и барашка унесли... с голодухи, ясное дело... а зачем чего поменьше не сперли? Ну, так не было там чего поменьше... ни кур, ни кроликов... а деревья плодоносящие в степи не растут, потому и яблочка не сорвать, чтобы насытиться... грех без спросу чужое брать, кто спорит-то? Но осуждать их не станем. У Ходжи с Имадеддином — одна степь впереди да зинданы¹² сырые с решетками, толщиной в ишачиный хвост в прошлом... У Ходжи вообще принципов особых не было, а если и были — то самую малость, чтобы ноги с голодухи не протянуть... Насими, правда, побрыкался слегка, мол, просвещенному человеку не к лицу чужих баранов таскать, но Насреддин ткнул его разок под ребра, чтоб в чувство привести, чтоб не шумел да барашков не беспокоил. Рrrrrраз — и цапнул агнца волоком, взвалил на плечи и, Насими впереди себя пинками да шипением подгоняя, за холмом скрылся, подалее от становища, чтоб никто не спросил, что это вы тут делаете, бродяги бездельные, и где барашка сплутовали... А как отошли, Ходжа повернул барашка в сторону Мекки, произнес «Бисмиллях» и заколол по обычаю, после чего к Насими обратился, понимаешь, мол, дорогой, я унес, я дотащил, я же и заколол, а вот свежевать вкусного тебе придется, раз уж к мясу приобщиться хочешь. Чтобы все по-честному, по справедливости, и делами рук своих человеку питаться положено. Покряхтел Насими, как человек просвещенный, поворчал, попенял немного, глаза к небу воздев, но деваться некуда, если живот подвело, потому как на голодное брюхо никакой Платон на ухо не ложится. Освежевал, тревуху удалил, разрезал на части, все как полагается, все по обычаю, по-

¹² Тюрьма, подземелье.

тому как просвещение просвещением, а жрать все здоровы, что просвещенные, что не очень грамотные. Но не успели они огня развести, чтобы несправедно добытое поджарить, как подхватили их под руки, наворачнули халаты на головы да повели в шатер главного в кочевье, хозяина племени да и всех баранов окрест вообще... пояс сорвали, руки за спиной ими же и связали, на всякий случай, чтобы не рыпались перед главным или по дороге... пояс, он, знаете ли, очень смирение внушает, особенно если узел водой подсоленной смочен да потом зубами затянут накрепко. Весьма смиряет, мысли о бунте и неподчинении прочь гонит и, как ничто иное, бездну уважения вызывает... Оглядел шейх бродяг связанных и подал знак воинам, мол, поставьте их на колени, оборванцев эдаких, да так поставьте, чтоб глазами не меня, а ковры разглядывали... ткнули обоих под сгиб коленный да на плечи сверху надавили, приказ шейха исполняя... а потом, за шкурки ухватив, носами к ковру придавили... испокон веков не за то гнут-загибают, что барашков воровал, а за то, что осторожности не проявив, вовремя удрать не получилось... терпи теперь, раз уж попался... в следующий раз умнее будешь... встал шейх над жуликами пыхтящими, да так встал, что носки сапог с головами склоненными почти впритык были... и двинул речь краткую, мол, казнить вас не стану, не тот проступок, чтобы голову от туловища отделять... но слово мое помяните... «Тебя, — обратился он к Насими, — обдерут так же, как ты того барашка, а ты, — наклонившись к Ходже, — « всю свою жизнь посмешищем будешь, как я чуть не стал для завистников и племен соседних, — приподнял обоих за волосы, поглядел в глаза с сожалением, будто всю правду из них испил, все прошлое в них увидал, да в будущее заглянул, а после обратился к воинам своим: — Всыпьте им с десятков плетей каждому, потом накормите досыта, дайте запас еды и воды дня на три, и гоните взашей из стана. Да не скажет никто, что род мой и племя с путниками вопреки закону степному обошлись...» Жаловаться нечего, ведь если и выдрали, то ведь накормили потом (хотя Ходжа и намекал громогласно, что плети на сытый желудок легче переносятся, накормили бы, мол, для начала, а?). Накормили... да мало того, что накормили, так еще и с собой дали... не без пинков, правда, не без зуботычин, но хурджины¹³ получились вполне по совести... боков округлостями на ощупь приятны, узорами разноцветными так глаза и радуют, а края узелками завязаны... на десятки лет, если не на века деланы, а расцветка еще владельца переживет... ну, почесались, закинули хурджины на плечи, и пошли себе далее потихоньку, куда глаза глядят... сплевывали, правда, сквозь зубы, матерились вполголоса, не без этого... ну, кому ж после плетей приятно бывает... а глаза все больше на ковыль глядели, потому что когда идти совершенно некуда, надо просто закрыть глаза, ноги тогда сами куда-нибудь обязательно да выведут... из всех степных правил это есть правило наипервейшее... поглядел на шарик ковыля, глаза прикрыл, потом к ветру, зажмурившись, принялся, и с какой стороны Ее запахом потянет — туда и направляйся...

Насими очень нужно было попасть в Диярбекир...

Двигаясь на запад, армия Тимура вытеснила из Средней Азии кочевые племена Гара и Ак-Коюнлу. Без особой крови, разве что пара-тройка стычек на этапе вытеснения (или отступления кочевого), не оказавших на историю региона сколь-либо особого влияния... Вытеснила на свою же голову, как выяснилось впоследствии, потому как немного позже, в апреле 1408 года, битва при Сердруде положила конец владычеству Тимуридов в Азербайджане. Голову Миран-шаха поднесли Кара-Юсуфу, и ему, наверное, подумалось.. да мало ли что может подуматься победителю...

¹³ Сумка.

хотя думалось, ему, наверное, всякое... может, государство от Средиземноморья или даже от самого Египта до берегов Каспия, а может, просто хмыкнул человек удовлетворенно, на голову врага поверженного поглядывая... у трупа врага всегда приятный запах, на какой бы стадии разложения он ни находился... а кровь противника всегда очень приятна на вкус. Солоноватая, но почему-то со сладким таким запахом, что ноздри наизнанку выворачивает... а вот тошноты почему-то не вызывает...

— Насквозь тебя вижу, будто стеклянный ты, а потому все мысли твои мне заранее ведомы. Глаз твой прозрачен, Насими, а мысли туманны... одно хорошо — хоть слог и не всегда ясен, слова у тебя на все времена жгуче-понятны...

— Ты кто?

— Это не важно. Важно сейчас только то, что я тебе сказать должен. В сторону Коньи не ходи, а южнее нее подавно не суйся... пропадешь. Ты в любом случае сгинешь, просто если пойдешь в сторону Коньи, а оттуда южнее свернешь — это случится раньше.

— Откуда ты это знаешь?

— Это тоже не важно, важно только, чтобы ты выслушал меня до конца... Дойдя до Коньи, примешь участие в состязании ашиков. И, может быть, одержишь победу. А победив, южнее свернешь, с наградой полученной. Тут-то тебя судьба и настигнет... день не скажу, но случится это в Халебе, через пару часов после полудня... не знаю, на какой площади, знал, но позабыл... И тебе не суждено умереть легко, Насими, смерть твоя будет долгой и мучительной, кожа лоскутами слезет, печень брюшину продавит, волос вовнутрь вроснет, а средоточие дыхания ребра выломает... не суждено тебе легко умереть, Насими... после смерти же ты, голосами распеваться, и до скончания времен на устах человеческих останутся... свиткам же со стихами твоими не раз и не два суждено сожженными быть, разорванными да растоптанными... многих участь твоя за слова или восклицания, что с твоими схожи, постигнет, многие еще полягут, кто на плаху, кто от болезни сердечной, а все за то, что стихи твои повторять будут, перепевать, подражать, вытанцовывать да переиначивать... по следам твоим, все по следам твоим...

— Скажи мне, кто ты... я должен знать...

— Ты ничего и никому не должен, Насими, забудь... перешли все долги твои ковылю катящемуся, солнцу заходящему, да луне ущербной... а я... я странник во времени и по земле Божьей и с самого Дня сотворения до Дня взвешивания¹⁴ по земле бродить обречен... помощи от меня пусть никто не ждет, вреда, впрочем, тоже... я прячусь в ветках чинары, когда ее обдувает ветер, я плачу в стволе кедра, когда его на корабли легкие рубят, я сгораю в сухой траве, когда ее в степной костер подкладывают... а больше ничего не спрашивай, все равно не отвечу, всего остального тебе знать незачем...

Рывком Насими поднялся, сел возле сумок с провизией, помотал головой, сна остатки с себя стряхивая, огляделся вокруг — никого... даже ветер дуть перестал... сон ли, явь ли, не думал даже, губ не закусывал, лба не морщил... повел зябко плечами, поглядел на Ходжу храпящего, рукой по лицу провел, в себя приходя, какой уж тут сон, раз некий неизвестный со словами ужасными лезет-беспокоит... Ходжу, конечно, растолкать пришлось, от страха великого и недоумения:

— Ходжа... Ходжа... просыпайся.

— А? А?? Чего ты? А?

¹⁴ Судный день.

- Ничего... ты никого не видел?
- Кого я во сне видеть мог? Покоя от вас, от поэтов, не дождешься... на намаз пора, да?
- Нет, не на намаз... Я говорю, никого вокруг не видел?
- Да спал я, спал, откуда...
- А во сне?
- Совсем ты, Насими, спятил... я и снов-то почти не вижу, разве что после встряски какой... Да чего ты трясешься? Лихорадка, что ли... глаза выпученные... испарина на лбу... что с тобой?
- Сон видел...
- Какой сон? Да не трясись ты так...
- Не могу... о смерти сон... О моей смерти...
- Блажь все это, не бери в голову.
- Не взял бы, Аллахом клянусь, не взял бы, если сон тот о тебе видел бы...
- Так, Насими, давай я тебе виски песочком чистым потру, потом вина глотнешь, укутаешься, полежишь возле костра, пропотеешь, а к утру, как в себя придешь, сходим мы к лекарю одному, к табибу...¹⁵ пару молитв сотворит, настойками напоит, дымом окурит, все страхи прогонит и сны очистит, или к женщине-ведунье, она все не хуже сделает... ты только это... зубами не скрипи... ты... куда набок завалился... О-о-ой... что ж ты делаешь-то...

Ходжа около получаса хлопотал над безжизненным телом Насими: подбородок ему тер, по щекам полотенцем влажным хлестал, губы вином промокал да, зубы разжимая, языку в глотку провалиться не давал... а как привел в чувство, сел рядышком да, дух переведа, выговаривать начал: и что покоя, мол, от него нету, и что выдумывает всякое, а потом ни сам не спит, ни другим не дает, в обморок падает, в себя не приходит, дергается непристойно, декламирует, и откуда он такой на его, Насреддинову, голову взялся, не иначе как в наказание за грехи тяжкие... но это, инш Аллах, ничего, он, Ходжа, человек терпеливый, вот сводит Насими к человеку, в болезнях сведущему, он в деревне неподалеку живет, дня два ходу, а потом пешком в Мекку пойдет, грехи замаливать, чтоб ему, Ходже, Аллах Всемилостивый больше таких испытаний ни в этой жизни, ни в следующей не посылал... Монолога его Насими не прерывал, сидел тихо, даже отрешенно как-то, только перед собой глядел глазами остекленевшими... но когда Ходжа, заговорившись, ругнул его трехэтажно, вскочил пружинисто да как вдарит его, сидящего, ногой в правое плечо. Больно попал, есть там место, где мышцы соединяются, не приведи Господь как потом ноет. Ходжа был не раз бит публикой базарной в заведениях питейных, а потому и сдачи давать умел, и побои терпеливо сносил, вроде как ослик его, что не раз до нас был в книжках воспет да в анекдотах описан. Упал Ходжа навзничь, перекувыркнулся через другое плечо, на ноги встал и зарядил левой поэту под глаз, чтоб не пинался, когда ему душу изливают да на судьбу жалуются. Ну ругнул и ругнул, нервы не выдержали, который день в пути все-таки... Вцепились они в бороды друг другу, повалились в пыль, пыхтят, катаются, бока об землю суровую обдирают, бранятся хрипло, то один сверху, то другой, а который сверху окажется, тот того, что снизу остался, кулаками и охаживает: в челюсть ему, внизу пыхтящему, в ухо, в глаз да, за волосы на висках ухватив, макушкой об камень, врага-супротивника... Люди восточные обычно перед дракой шумливы бывают, а эти — без угроз, без ругани и прочего вокруг кружения сразу к делу приступили да опытно машутся, ты погляди, читатель дорогой, какие профессионалы у меня герои, ну ничего, ско-

¹⁵ Врач.

ро им надоест, и они отдохнуть присядут... или прилягут, а потом помирятся, ведь в степи по-другому нельзя... тут можно поссориться, разругаться, даже в кровь подражаться и ребра друг другу с воплями ломать, только после драки зла на товарища держать не моги, потому что в дороге всякое случиться может... не закончилась еще дорога-то, и тут уж лучше вместе держаться... Что я тебе говорил, читатель? Помахались минут десять и прилегли рядышком запыхавшиеся... пот утирают, кровь сплевывают, носами шмыгают, глаза, правда, злые пока, да слова нехорошие с языка срываются, но и это пройдет, как отдышатся... Бывает, брат, это все нервы, дорогой... а ведь в самом деле, что-то с тобой не так, Насими, совсем не так... жил бы ты в двадцатые ходил бы себе по Мугани, скалился б зубасто, в руке камча, плеточка то есть, нос в кокаине, сам от спирта и солнца чернее камня речного на изломе, глаза бешеные, и наганом людей в светлое будущее загонял бы... или, наоборот, загоняющих, в горах спрятавшись, отстреливал бы... не сиделось бы тебе спокойно за столиком, не пахалось бы в колхозе, не кашлялось, я ж тебя насквозь вижу, даром, что тихонький сейчас, скромный, молчаливый, как мышка полевая, что каждого шороха боится... тебе, Насими, только шанс да волю дай, если своей кровушкой землю не напитаешь, так других на то обязательно сподвигнешь, а то и по самые плечи в нее, в землю, то есть, вгонишь... Мушфиг мне уже снился, Есенина я видел, теперь за тобой очередь, дорогой.. ты приходи, если не вмоготу станет, заходи, когда припрет, пообщаемся... может, дьявол твой образ примет, а может, Бог смилословится и тебя, настоящего, пошлет, чтобы все без обмана и морока было...

Женщин, которых я любил, я называл по-своему... у каждой было свое имя, свой эпитет, и я ни разу не повторялся.. для всех прочих был стандартный набор кисок, заек, ласок и маленьких... потому что все равно в начале было слово, что бы там ни говорили материалисты, и насими, есенины, мушфиги и вийоны лучшее тому подтверждение... Кстати, позапрошлым летом про меня ходили упорные слухи, что я то ли заболел туберкулезом, то ли умираю от рака, хотя я всего-навсего похудел, постригся наголо и не брился несколько недель, сваливая все на проклятую жару проклятого города, способного высосать костный мозг через ноздри, опустевшие глазницы и отверстия в ушных раковинах... просто я умер, умер в один из тех самых дней, один летний, другой зимний, один раз на жаре, другой раз на холоде, два раза за один год, в декабре и в июне... по-моему, это слишком, целых два раза в течение года... хорошо.. я немного умер, слегка, не совсем и, наверное, не навсегда, в мире, сошедшем с ума, среди женщин, которые не любят детей и просто не хотят их больше иметь, в мире котов, не едящих колбасы, в мире, где на месте памятника герою моей повести строят автостоянку... или это со мной что-то не так... я ем колбасу, от которой воротят нос коты, пишу о героях, на месте памятников которым полагается быть автостоянке (слава богу, мимо пронесло), и вечно испытываю потребность иметь детей от женщин, которые не испытывают в этом такой же потребности... а вообще, не в пример многим, воскреснуть способен, вот отряхнусь, отлежусь немного и пойду себе далее...

5

Тем временем по всему Востоку дешевела кровь, по всей золотопыльной Азии дорожало оружие, и лязгали зубы, катились головы, и выкатывались глаза, радовалась незамужняя, и ликовала бесплодная, топот коней перебивал бой свадебных барабанов, потому что мало кто цеплялся за жизнь так же яростно, как изнеженные жители белостенных городов, и мало кто умирал с такой же легкостью, как загоре-

лые дочерна крестьяне или обитатели пустынь... в который раз лопалась и рвалась в куски человеческая кожа, в который раз сотрясалась земля великим сотрясением, в который раз менялся мир, в который раз рушился старый уклад, и уже в который раз новое с сокрушительной силой стучалось в каждую дверь... Но не каждая дверь и не всякий живущий за нею был в состоянии этот стук вынести, кого и вперед ногами выносить приходилось, потому что так было, так есть и так быть, наверное, никогда не перестанет, ведь новый мир, всегда и во все времена в крови и муках рождаясь, далеко не всегда, а если по совести, то почти никогда лучше и уютней прежнего не становится... и взвоят трубы, взмахнут рукава, лязгнут сабли, кто-то, лежа навзничь в сухой пыли, закричит зайцем от ужаса, кто-то кровь, с потом смешанную, со лба утереть времени и желания не имея, так и будет рубиться, а кровь и пот тем временем, сами высохнут, оставив на лице землистую корку... Кого-то потащат на аркане, кого-то проткнут копьем, и он, пригвожденный к земле, станет подтягиваться на руках по нему вверх, пытаюсь дотянуться до горла проткнувшего и хотя бы один раз перед смертью вцепиться ему в кадык... И всегда, во все времена война имела свой запах, в котором нет ничего особенного, но который тем не менее не спутать ни с чем. Это даже не запах, это — вонь. Абсолютно отдельная от запаха бездымного пороха, горячего металла и выхлопа бронетехники... Тяжелая вонь человеческой мочи, что низко стелется, быстро распространяется и имеет отвратительное свойство пропитывать окружающий тебя воздух, туман и даже солнечный свет.. а еще война пахнет землей... вот упадешь, вожмешься в нее и шепчешь горячно: я есть ты, и ты есть мы, из тебя вышел, в тебя и войду, хочу, хочу, хочу тебя, как же я хочу с тобой слиться... поди тут, пойми-разбери, что и с чем больше общего имеет, то ли война с женщиной, то ли женщина с землей... Азия ты моя, Азия, живым не давайся и в живых не оставляй, вырастут — отомстят, сдашься — умучают... Так было, так есть, так будет...

Господской пищей редко тешил плоть,
Ни разу не был кумом королю,
Ему случалось и ножом колоть,
И голову засовывать в петлю.

Б. Брехт. Баллада о Франсуа Вийоне

— Вот до города дойдем — обязательно найду к оружейнику... За новым кинжалом...

— Зачем он тебе?

— На всякий случай.. старый почти негодный... наверное... рукоятка расшаталась, да и заточить не мешало бы... тебе тоже обзавестись советую, дорога все-таки... в пути всякое случиться может. Подберем что-нибудь в Диярбекире. Или в Конье... смотря куда направимся... В Диярбекире фруктов сушеных — пропасть, от них сердцу человеческому большая польза бывает, и для всякой жилы благо, в Конье — вода особенная и воздух благостный.

— Меня кинжалы сейчас больше интересуют, вдруг попадемся кому?

— Тихо себя вести будем, не высовываться.. а как кинжал от всякого сыска прятать — я тебя быстро научу... воины шейха куда как усердными были, а не нашли...

— Они просто ленивы, как всякие кочевники, что на одном месте больше четырех лун засиделись. им ведь только в конном налете равных нет, а как на землю сядут да торговать начнут — все, потом их, растолстевших, пинками в седло не загонишь, приходи, кто пряткий, владей, как захочется...

— Кинжал можно спрятать не только в складках одежды, но и внутри другой вещи. Например, в посохе, в простом деревянном посохе... или если кромку брасле-

та заточить, он тоже при случае оружием послужить может... аркан враз перерезает, или горло... нужная вещь, всегда пригодиться может... связали тебя, к примеру, а ты выждал немного, развернул кисти в направлении хода дневного светила — и снова свободен... да поможет Аллах убегающему, чтобы ноги побыстрее, а погоня помедленнее.. уж больно время нынче плохое, кровь дешева, оружие дорого, дороги опасны, а женщины не ласковы, без динара и не суйся...

— Ну, денег, положим, хватит.. не армию ж собираем... давай все-таки в Конью...

— А что там? И чем Конья лучше, скажем, Диярбекира или, там, Эрзурума?

— Во-первых, туда все поэты сходятся, во-вторых, там похоронен сам Платон и жил Джелаледдин Руми, а в-третьих, дорога к Конье лежит через Диярбекир.

— Идем туда, где сушеные фрукты?

— Они самые...

...Снова ночь, снова время остановиться, разжечь костер, посидеть возле него самую малость, над днем минувшим подумать, а подумав — спать не мешкая, подниматься придется засветло, с первой ниткой рассвета на горизонте, но сидит Насими возле костра, шуруется, все заснули давно, а ему неймется — думается, пишется. Не трогайте его за плечо, давайте издали посмотрим... сидит поэт, вплетает в мысли и ощущения жемчужную нить слова, кривится, стирает, хмурится, губы кусает, недовольный написанным, калам грызет, пишет и опять замазывает... а рыжий месяц ему тем временем подмигивает, ехидно так, но по-приятельски; то глазом в небе, то яблочком в луже.. смотря, конечно, куда Насими взгляд направит... в отчаянии Насими готов разорвать написанное, но вдруг, по соизволению Божию, сильный ангел проведет крылом над самой его головой, и продолжает Насими, пишет без помарок, с ошибками, времени у него нет на исправления, он уже и думать забыл о том, что минуту назад все разорвать хотел, пишется ему, и пишет он так, что ничто его в эту минуту остановить не в силах, и так, пока волосы, взмахом крыла ангельского взъерошенные, шевелиться не перестанут... а как перестанут, откинется, полюбуется, и первое, чего захочется — в бумагу впечатанное вслух прочесть... а после заката стихи всегда звучат несколько иначе, нежели днем или на рассвете... Что же с тобой станется, Насими, если вдруг сердце успокоится? Да просто, Насими, быть перестанешь... потому не успокаивайся ни в коем случае... дальше дерись, шуми, обижайся, пей, волочись при случае за девочками, капризничай, не помни, где уснул, и не понимай, где проснулся, может, Бог вашу братию по-другому судить станет... и будет хохотать ветер над головой твоей, и разрыдается дождь над твоей одеждой, будет хлеб — поделишься, будет хорошо — отдашь улыбку, а если под плохое настроение кто попадет — так пусть на себя и обижается, не суйся под горячую руку, если четверостишие не получается... поэты — они такие, за слово и сами удавятся, и кого другого с радостью придавят... с ними всегда ухо остро держать надо, и много воли не давать, отобьются от рук — ни в жизнь обратно не приберешь...

...Посох в пути — штука самонужнейшая, важнее него разве что обувь попроченее... сами посудите: при усталости на него опереться можно, возле костра сидя, угли перемешать, а случись в дороге какая неприятность с мордобоями и ограблениями — так без него совсем никуда, в особенности если их больше, а бежать тебе или гордость не позволяет, или возможности нету... ты в дороге опора, ты в пути оружие, а если у тебя внутри кинжал запрятан — цены тебе нет и не было... сам Ходжа Насреддин так считает, а он дурного не посоветует, не одну и не две дороги исходил, весь Восток без малого... да и обещания он привык сдерживать, вот и

привел Насими к сведущей женщине, что травами и камнями лечила, а по слухам, и колдовством не брезговала.. но за это плата другая и на том, и на этом свете... Одному Богу известно, откуда Ходжа эту женщину знал, но в странствиях много всякого народа встречаешь, да и вести в пути как-то быстрее доходят. Власти колдунов особо не гоняли, старались смотреть сквозь пальцы, пока те в рамках держались, потому как ведовство что в европах, что в азиях в ту далекую пору рука об руку с медициной шагало. О ядах и искусстве отравления я уже и заикаться не смею, такой специалист всякой власти во все времена сгодится. Духовенство, правда, косилось и даже отплевывалось, но вот парадокс, самые именитые колдуны всегда выходили именно из ее среды... «гара», или «черного моллу», люди опасались — старались не задеть да не разозлить ненароком, догадываясь, что он знается с нечистой силой и может прочесть суру «Аль-Фатиха» задом наперед, за что будет наказан только в День взвешивания. Опасались всяко, что он может накликать беду, а то и отвести ее, хотя твердо веровали, что зло касается человека только с соизволения Всевышнего. Самыми же страшными и могущественными из «черных молл» были те, чей род восходил или роднился с родами «овсунлу» — людьми, которые каждый вечер на пороге дома оставляли плошку молока для окрестных змей, и змеи никогда не причиняли вреда никому из живущих в округе. Считалось, что молитва «овсунлу» Богу слышнее, а если кого из этого рода обидишь — то лучше бы тебе на этот свет и не родиться. Женщины «овсунлу» злопамятны — не связывайся, а мужчины коварны: не сумеешь сдружиться — отойди в сторонку, головы не снесешь... Род этот, в колдовстве и врачевании сведущ, всякую весну со змеями знается, на холмах травы собирает да подолгу возле колодца сидит.. Этим людям строго-настрога запрещено убивать или обижать змей. Мало того, при встрече со змеей они должны почтительно уступить ей дорогу и молчать до тех пор, пока она не скроется из виду, а вот с чего да с каких пор так заведено, почему и кем им так предписано — не знаю того, не ведаю.. Взгляд у них тяжелый, дыхание тихое, слух острый, а кости легкие... Зрение, правда, подкачало, они почти не видят в сумерках. Добру «овсунлу» особо не служат, но и ко злу стремления не выказывают, из них всегда отменные табибы, то есть лекари, получают.. Но если в молодости «овсунлу» оступился и тяжело согрешил, одна ему дорога остается — навсегда в «черное священство», в «ночные», или «черные», моллы, и такой «овсунлу» обязательно станет «гара моллой», а потом, за грехи свои да пакости тяжкие, в День суда понесет унизительное наказание.. «Гара молла» может позвать джинна, может прогнать его, в колдовстве и наведении порчи искушен, в делах же своих руководствуется не совестью или словом Божьим, но стяжательством и внутренней потребностью сеять зло, которая с каждым днем проявляет себя все ярче и ярче. Качества «овсунлу» передаются и женщинам, их, как водится, в священники не берут, зато во врачеватели зазывают. Вот к такой-то женщине и привел Ходжа Насими. Поздоровались, да в глубь дома зайти остереглись, невежливо потому что, пока не пригласили. Смуглая женщина средних лет, из тех, которым до старости еще далеко, но молодость уже миновала, поприветствовала их кивком головы, потом, после секундного раздумья, все-таки сказала «Алекум салам», после чего вернулась к тому, чем занималась и от чего ее отвлекли гости. Вернулась к столу с травами, и все. Мол, пришедшие сами знают, зачем пришли, вот и спросят, если такая уж надобность. Первым не выдержал Насими, не снес молчания, напрямую спросил, что делать умеете да за каким бесом-дьяволом меня товарищ дорожный сюда приволок... Женщина и бровью не повела — Насими аж засопел от обиды, но счел за благо не связываться с женщиной, да еще и сведущей в колдовском искусстве, как вдруг... оказалось, что женщина уже говорит скороговоркой, а они

оба слушают ее довольно давно. Время словно сжалось, и ее смуглое лицо проступало неясным пятном в клубах дымка, шедшего из курительницы:

— Что могу, спрашиваешь... Я многое могу. Могу приворот сделать, да такой, что вовек на него отворота не будет, могу отворот, он даже полегче приворота будет, могу порчу навести, удачу отвести, могу смерть призвать, но не сразу, не сразу, нет, быстрой смерти не призову, не за тем люди в этот мир идут, чтобы потом по-легкому уйти... грехи мои велики, всякий, волхованием да колдовством занимающийся, под гневом Бога ходит, грех это великий, а потому и плата за труд мой не маленькая, только за одно никогда не возьмусь — за зелье, чтобы зачавшая плод скинула, но вижу и знаю, что вы не за этим. Осмотритесь пока, я за это денег не беру и хлебом не взыщу. Но руками ничего не трогайте, а то беду накличете.

А посмотреть и потрогать вокруг было чего. Да чего только не было в той хижине. Пучки душистых и не очень трав лежали вперемешку с кучками кошачьих когтей, волчий жир в горшочке соседствовал со связанными в пучки маленькими кусочками высушенной плоти (это были языки ласточек), рядом лежала горстка орлиных клювов, клочки шерсти непонятого зверя, несколько тоненьких разноцветных веревочек, завязанных узлами. По-видимому, в ход шло решительно все, и совершенно ничего не пропадало даром.

— Знаю, зачем ты ко мне пришел, но все равно приворот предложу. А?

— Нет. Я уж как-нибудь сам при случае приворожить сумею.

— Сумеешь, знаю. Знаю даже то, что все у тебя не хуже, чем у меня, получится. Но на всякий случай запомни: зажимаешь между пальцами правой ноги высушенный ласточкин язык и легонько наступаешь на ногу понравившейся тебе девушке.

— Запомню на всякий случай, но надеюсь, что мне никогда не придется им воспользоваться.

— Ну, уж постарайся как-нибудь, а то какой же ты поэт, если собственным языком обойтись не в состоянии, — ввернул Ходжа.

— Язык Насими — это птичий язык,
И понять его в силах
Лишь царь Соломон.

(Подлинные стихи Насими. Согласно преданию, царь Соломон, он же пророк Сулейман, обладал даром понимать язык птиц и зверей.)

— Далеко мне до Соломона, да и вам, уважаемые, до него стараться до мозолей. Ты хочешь знать, что с тобой будет завтра?

— Для начала скажи мне, что со мной было вчера, а потом я подумаю, стоит ли спрашивать о часе грядущем. Или даже минуте.

— Грубоватый ты. Неутонченный совсем. А как же поэзия? Твои собраты по дворцам посиживают, в халатах расшитых оды пишут.

— Да, динарами позвякивают, на серебре едят. Но не дай Аллах шаху одой не угодят.

— Так то и тебе светит. Если звезды в ряд выстроятся, а нога из него выбьется.

— Из ряда?

— Да. Изрядно из ряда. Ты не светись, ступай тише, осторожнее, пиши чаще, пиши понятнее.

— А если не могу понятнее, не хочу тише и осторожнее не получается?

— Тишина не по душе?

— Не по душе, верно. Люблю иногда криком кричать. Крик поутру злых джиннов отгоняет, а к вечеру ангелов радует. Не так разве?

— У тебя на любое слово целых два за пазухой. И как? Много ли словами заработать получается?

— Когда как. Не скрою, порой кражей барашков больше выходит. Оно ж выгоднее, одна беда: поймают — выпорют.

— Ну, положим, за написанное иногда не только боками и спиной, но головой расплачиваться приходится.

— Ничего, я готов. Написанное не ворованное, и слово на пергаменте или бумаге на порядок почетнее барашков украденных.

«...Каждому кажется, что именно с его смертью жизнь на Земле прекращается, все вокруг проваливается во тьму и забвение, мыслится, что как все с него началось, так оно им и закончится, все созданное по слову Милостивого, разлитое морями и рассыпанное пустынями, что натянута пологом небосвода и усажено зеленью оазисов, что омыто реками и разбросано степями, все это на каждом начинается и со смертью его заканчивается, там раскалывается солнце и сворачивается небосвод, а свернувшись и расколовшись, засыпаются землями и заливаются реками», — причитала тем временем женщина, раскачиваясь и поигрывая четками, не добропорядочными четками о двенадцати или девяноста девяти зерен, для восхваления имамов или произношения имен Господа, а странными какими-то, с играющими даже в полумраке гранями. У Насими разболелась голова, застучало в висках, перед глазами пошли разноцветные круги, и все вокруг: и женщина, и ее слова, и курильница, и четки, и сам Ходжа — тоже начали растворяться в потоках жаркого воздуха, впрочем, он, Ходжа, и сам чувствовал себя не лучше, а точнее, испытывал то же самое — головную боль, стук в висках, отяжелевшее дыхание и страх, появившийся ниоткуда, пропитавший все вокруг и уже хватавший друзей за горло холодными лапами. Очнулись они оба уже на воздухе, и то, только после того, как женщина смочила им лбы водой, разведенной пополам с уксусом. «Теперь уходите, да побыстрее. Заклятий на вас много наложено, и порчены вы оба сглазом сильным, особенно ты, стихотворец. Берегись на узлы дующего, и слова написанного, а кто его напишет, да кому передаст — не знаю, не ведаю. Всей порчи я снять не смогла, силы уже не те, потому и платы мне с вас не надо, не возьму, с меня хватит и того, что в пути обо мне молчать будете и никому словом не обмолвитесь. Дорогу же сюда навсегда забудьте, словно и не приходили никогда. А да хоть и говорите каждому встречному и любому поперечному, все равно дорога вас больше сюда не приведет — это я ясно вижу», — сказала и, словно ветром подхваченная, не попрощавшись, исчезла в глубине дома...

...И увидел Насими со спутниками цепочку слепых детей, что шли им навстречу, гремя кружками для подаяния и распевая траурные гимны по убиенным имамам и мученикам... подойдя ближе, он поздоровался, и присев на корточки так, чтобы быть вровень с самым старшим из мальчиков, спросил, кто они и откуда и были ли они рождены во тьме или же ослепли из-за оспы... и рассказал ему старший из детей почти спокойным голосом, что все они были ослеплены нынешним властителем Багдада (да продлит его дни всемогущий Аллах) за грехи отцов, а грех родительский был велик и страшен: они не поддержали очередного венценосца в его борьбе за престол, и, победив родного брата и задушив его шелковой петлей, новый повелитель не стал отнимать у старых вельмож ни казны, ни имений, а забрал у них детей и приказал ослепить, после чего выслать их за пределы города без права входа в ворота столицы до возраста полной бороды... Насими прикрыл лицо рукой, чтобы никто не видел его слез, но так и не сумел сдвинуть себе горло так, что-

бы никто не слышал его рыданий... дорога, она вообще много чего видела, и в День расплаты за многих и о многом свидетельствовать станет, с кого часть грехов снята будет, а кому прибавлена, аминь...

...Устали, умаялись и, уже подходя к Диярбекиру (часа два пути оставалось, не больше), решили отдохнуть, перекусить да и случившееся обсудить. Остановились, купили у работавших в поле крестьян арбуза, хлеба и сыра, преломили хлеб и заметили направлявшегося в их сторону человека. Законы вежливости требуют пригласить разделить трапезу, что друзья и сделали, а для начала вежливо поздоровались. Подошедший ответил на приветствие, чуть наклонил голову в знак благодарности, присел, и завелась неспешная беседа людей, которые никуда не торопятся, но точно знают, куда и к какому сроку им необходимо попасть. Лицо странника было одним из тех особенных лиц, по которому сложно судить о возрасте. Его обладателю может быть и восемнадцать, и тридцать пять, но стареют такие люди как-то внезапно, раз — и ложатся морщины по всему лицу географической сеткой, опутают подглазья, изгрызут щеки — и все за пару месяцев, полгода максимум... одет он был небогато, но практично и чистенько, сразу видно, знает, что в дороге нужно, а без чего и обойтись можно. Не рвань, не дрань, себя уважает, дороге и встречным почтение оказывает, видом непотребным не оскорбляет, но и не заискивает, чем надо — запасся, а что не нужно — то позади оставил. О пустяках поговорили, как водится, кто, что да куда направляется, откуда родом и все ли в родных краях слава богу. Странник заметил цепкий взгляд Насими, скользнувший по его ношенной одежде, и, словно прочитав мысли сотрапезника, сказал: «На что мне дом и новая одежда, если Махди (Мессия) может прийти внезапно». Равнодушно так сказал, будто бы знал о Часе воздаяния и Последней битве, замолчал, после чего так же равнодушно принял кусок арбуза и сыра, которые протянул ему Имадеддин. Поблагодарил кивком головы, он, по-видимому, не любил разговаривать и вполне обходился кивками и жестами там, где можно обойтись без слов. Ходже спокойно не сиделось, и он не смог отказать себе в удовольствии съязвить насчет того, что вот, мол, с минуты на минуту может начаться дождь, Мессии все не видать, а крыша над головой очень даже пригодилась бы. Странник посмотрел сквозь насмешника, не осадил, не стал возражать, пренебрег, но словно ни к чему ответил: «До города пара часов пути, с человеком странствующим за этот срок всякое случиться может. Вы прямо в город не идите, тут неподалеку интересный человек живет. Зайдите, побеседуйте. Правда, может статься, что он с вами беседовать не захочет, он не со всеми разговаривает, но за неуважение не сочтите, сделайте скидку на мудрость». Сказал, отряхнул полы халата от крошек, провел рукой по бороде, возблагодарив Аллаха за ниспосланный кусок хлеба, поблагодарил собеседников и так же степенно удалился. Пока Ходжа, как человек, стихов не пишуший и, как следствие, более практичный, собирал недоеденное в мешок, Насими смотрел вслед страннику, потом пробормотал: «Я принесу вам слово Божье, я правдой осиян» — или что-то в этом роде и попросил Ходжу помочь подобрать рифму к слову «прям». «Дрян» — ехидно ответил Ходжа и поторопил поэта, нечего, мол, расслаиваться, в городские ворота лучше затемно входить, а если он, Насими, хочет еще и с человеком побеседовать, как ему странник посоветовал, то ему, Насими, лучше бы поторопиться, потому что Бог знает на сколько эта беседа затянуться может. А стихи и потом дописать можно...

Коль ты не глуп — не жадничай, тогда,
Как мышь, не струсил в страшный день Суда,

За пищу не продайся подлецам,
Хлеб не найдешь — тебя найдет он сам...

...И слышал я от тех, кто постарше, что не годится человеку на волю Бога и соизволение Его роптать, а в доказательство, что не пустословие это, помимо своей седебородости и примеров из Святых Книг, сказывали они, что жил в давние времена в окрестностях Диярбекира суфий Байрам Вели, удивлявший многих мудрых не столько ученостью своей, сколько умением, вовремя слово чужое поймав, им же оппонента к стенке прижать или на свою пользу обернуть. Спору нет, умный был мужичина, образованный, недюжинным даром владел — людей убеждать... Одни говорят, что эта история с ним произошла, кто-то о другом суфии, о Бахаэддине Накшбанде, упоминает. Мое дело — о случае рассказать, а уж кто и какой из нее вывод сделает — меня не касается.

Ветер, что пришел из пустыни, принес с собой засуху... тщетно молили люди о влаге, тщетно просила земля о воде, но ветер пустынь усиливался и свистел злобно в переулках: я вам надуую голод, принесу-у-у вам бесхлебицу... и осунулись отцы, и украдкой смахивали слезы матери, и громко плакали дети, одни ростовщики да богатеи злорадно потирали ладони... И продолжалось так до тех пор, пока измучившиеся в ожиданиях, исхудавшие от поста и молитв крестьяне не явились к дому Байрама и не просили его помолиться о дожде, мол, его молитва, человека праведного и ученого, до Бога быстрее дойдет. А заодно и спросили, как человека сведущего, почему Бог не посылает им милость в виде дождя и чем именно они могли прогневить Его... и пришел тогда Байрам на людную площадь, заметил там молодую женщину с младенцем и принялся ходить за ней следом, жалостливо повторяя так, чтобы она слышала: «Ну покорми же ребенка, разве ты не видишь, что он голоден, разве шайтан ослепил тебя и тебе не видны детские слезы, ну покорми же его поскорее, или Господь запечатал сердце твое, и нет в нем больше любви и милосердия? Чем он тебя так разгневал, что ты не даешь ему насытиться?» И продолжалось это до тех пор, пока женщина не обернулась к нему в гневе и не ответила: «Поди прочь, это мой ребенок, и мне виднее, когда его кормить, а когда нет, сама разберусь». Услыхав эти слова, Байрам сразу же прекратил канючить, повернулся к толпе зевак, что увязывались за ним всякий раз, когда он попадал в людное место, и сказал: «Вы слышали слова этой женщины? Так идите и расскажите о них тем, кто не слышал». Умен, пронырлив, авторитетен... к такому только за мудростью и ходить, если очередь выстоять сможешь... сможешь — наберешься если не мудрости, то практичности, она и тогда высоко ценилась. Одному Богу известно, что в нашей жизни важнее да нужнее: мудрость или практичность...

...К такому вот человеку Насими и отправился. Подойдя к дому Вели, Насими хотел было постучаться в дверь, но будто под воздействием какой-то силы его рука зависла, тело обмякло, он прислонился к стене, словно для того, чтобы перевести дух, задрожал, а когда открылась дверь и в проеме показался Байрам Вели — не смог промолвить ни слова.. Маститый суфий посмотрел сквозь Имадеддина, покачал головой, словно отгоняя какое-то ужасное видение, и с глубокой, какой-то неземной тоской и жалостью, будто увидел то, что до поры до времени сокрыто от прочих, и ему, Байраму, не избыть этого видения, как и герою видения — такого будущего не избежать, произнес: «Не могу я с тобой разговаривать». Дверь захлопнулась, и Насими упал бы навзничь, если б подоспевший Ходжа не поддержал его под руку. Отвел в сторонку, ругался, зачем, мол, с пути сбились да с дороги сошли, вот шли бы себе прямо в Диярбекир, жевали бы фрукты сушеные, а нет — так мяса поесть куда-нибудь заглянули бы, давно, мол, жареного не ели, вот ноги и не держат. Говорит, успокаива-

ет, зубы заговаривает, а у самого одна мысль в голове шаром огненным вертится: что ж с ним такое делается, что ж тут такое происходит... Пробежала крысой поганой мысль паскудная: что я тут с ним делаю, ну его к шайтану хвостатому, одни беды да боль головная, да и спине порой достается, но отогнал ее, как человека и мужчины недостойную — не годится дорожного товарища бросать, Бог разгневается, а гнев Его страшен, не зря ведь старики рассказывали о человеке, у которого спросили насчет его родного брата: какой он, мол, человек, а тот отвечивал, что не знаю, не ведаю, я с ним в путь-дорогу не выходил и обратно не возвращался.. а раз так — то друг мой — крест мой, не я выбрал, обстоятельства да судьба свели, лбами столкнули, а столкнув — нужным сочли, чтоб товарищами стали. Пройдет много лет, и на каторге, в далекой северной стране, люди станут говорить: «Нешто я товарища продам?», и есть в этом величие духа человеческого и, наверное, залог того, что чаша гнева Господня не переполнится, пока один человек другого под руку поддерживает, а не лежать оставляет.. отвел, усадил да снова как мог в себя привел, успокоил, заговорил, да все с шуточками, чтоб мысли тяжелые отогнать, да друга развеять... видел, понимал, что не телесная это болезнь, да и не душевная, а просто... нахлынет что-то волной горячеей, скует движения, затуманит сознание, а как отпустит — так и придет к Насими вдохновение, пойдут слова ручьем чистым, водой незамутненной, да так, что века пройдут, а люди их помнить будут:

Как таинство, как талисман, я в этот мир пришел,
Я в смерти канул без следа и в вечность, словно след, пришел,

Я с талисмана снял покров, и мрак от света стал багров,
Я миновал следы миров и, в эту плоть одет, пришел.

И славу Богу я воздам, в котором был исток мирам,
А имя будет мне — Адам, я за Творцом вослед пришел...

(Перевод Сергея Иванова)

...Вот как он писал, и вот каким его наизусть заучивали. А заучив — запомнили, да так крепко запомнили, что до сих пор не забывают, почти шестьсот лет без самой малости, как ушел и не дышит, а все равно вдохновляет, сам больше не пишет, а других заставляет, глаза закрыл и, закрытыми, другим глаза сомкнуть не дает. Жил себе человек, ел руками, сидел на полу, ходил пешком или за караваном увязавшись — а ведь помнят, читают и заучивают... чудны дела Твои, Господи... Отдыхался Насими в тенечке, провел рукой по лицу, словно бы наваждение отгонял, и спросил у товарища:

- Слушай... А что там... только что было-то?
- Ничего. Точнее, все почти как в прошлый раз. Ничего не помнишь?
- Свет помню. Яркий такой. Со всех сторон.
- А потом ты зашатался, схватился рукой за наличник, а этот.. ну...
- Байрам.

— Да, а Байрам сказал, что с тобой говорить не может. Не в смысле, что погнушался, а как-то с тоской сказал, сожалея. Мол, я бы поговорил, да.. не у меня на тебя времени нет, а у тебя на меня не хватит. Или о чем другом жалел, но без наглости сказал, с тоской какой-то, что ли...

— Он суфий. Кажется.

— А ты поэт. И что с того? Каждый по-своему на хлеб зарабатывает. Ты же сам лучше других знаешь, что такое любовь, Насими... с дождем наземь прольется,

одежду намочит, сквозь кожу впитается, а потом за отворот халата прихватит и в челюсть стукнет, легонечко так, чтоб мозготрясение несильное вызвать, не более... и как развернет, раз уж в захват пальцев стальных попался... как шмякнет со всей силы об стену, не саманную, что проломить легче легкого, а прочную, цельнокаменную... Сейчас я тебя развею. Продолжи, раз уж поэт...

— Да... затылком ударишься, лопатками распнешься, глаза выкатишь, и медленно по ней, по каменной, вниз сползать начинаешь... а как упрешься и дальше уже ползти некуда станет — потечет слюна из левого уголка рта струйкой тонкой... сидишь себе, улыбаешься дурашливо, истекаешь капельно, понемногу так... на полу ли, на земле ли, то не важно совсем... даже скалишься слегка... а она все вокруг витает да ворот твой тебе на шею наматывает... запах ее во всем чувствуется, и то ли от запаха того, то ли от сотрясения голова кружится, даже днем звезды с луной видятся, да с солнцем одновременно... а селезенка с печенкой от удара местами меняются, глаз левый в глазницу правую смещается, правый же, наоборот, на место левого переходит... и потому все вокруг в другом свете видится, в другом запахе чувствуется, даже трогаются по-иному... но гораздо лучше, если чувства выгорят единым взрывом, чем сдохнут в медленных муках на веревках ее волос, запутавшихся в твоём гребне... пусть они будут растоптаны ее обувью, которая когда-то казалась такой изящной, а теперь стертый каблук портит все впечатление и заставляет скрипнуть зубами... грустное зрелище эта умирающая любовь.. она должна уйти, чтобы, разлагаясь, не заразить тебя трупным ядом...

— Красиво. Уроки Фазлуллаха?

— Нет, собственные ощущения... он лишь направил... учитель только придает форму, а глину для него оставляет Всевышний...

— Первопричина...

— Именно...

— А грех? Зло?

— Все в Нем... и начало, и конец... мы лишь выбираем дорогу... и можем попытаться достичь единения с Богом..

— Ну, это ты, предположим, загнул.. единения... как же я с Ним единения-то достигну? Я слаб, грешен, выпиваю опять же... да и ты не чураться.. Или ты через бурдюк с вином объединиться норовишь? Тьфу, довел ведь до греха, согрешил я словом по вине твоей, прости мне, Господи, прости грех языка моего.

— Знаешь, что говорит Гемара? Если человек видит, что злое начало в нем побеждает, то пусть пойдет в другой город, где никто не знает ни отца его, ни матери, ни сестры, ни брата. Там пусть оденется во все черное и сделает то, чего желает сердце его.

— А что такое Гемара? И зачем идти в другой город для совершения злого дела, если его прекрасно можно совершить на собственной улице?

— Гемара — мудрость иудеев. А идти в другой город надо для того, чтобы в дороге от намерения злого отвратиться. Путь всегда очищает...

— Гемара... Так ты изучал мудрость иудеев?

— Учитель знал многое и просвещал нас о мудрости всех народов, что были ему известны. Только о часе смерти своей да о Дне взвешивания понятия не имел. Это сокрыто от понимания смертного...

— Еще бы.. нам только волю дай... разболтаем же...

— Нет.. просто знай мы о точном часе Дня воскресения, он просто потеряет смысл...

— Будем исправляться по мере его приближения?

— Да... а потому дела наши перестанут быть искренними.

— Но Он же ведает сердце людское и все, что от взора сокрыто.

- Ответ кроется в твоём вопросе. Искренность — она людям нужнее, Он так и так видит и тайное, и явное, в руке Его и воздаяние, и наказание...
- У Него правда?
- Внутри нас она, Ходжа, внутри нас... вместе с Ним, вместе с частичкой Его... и разве души наши не могут быть искрами от огня Его?
- Это для меня слишком сложно. Есть земля, и я трогаю её руками, вот так... есть рассвет, и я его вижу, есть запах дыма, и я его чувствую...
- Но ты же не видишь воздуха.. однако без него не проживешь и пары минут.
- Я вижу воздух, Насими, я его вижу. Например, когда он горяч и поднимается над жаровней или раскаленным барханом.
- Для того чтобы ты его увидел, воздух должен быть горячим. С Богом то же самое, только наоборот..
- Хе.. как это, «то же самое, только наоборот»?
- Ты.. сам должен быть достаточно горяч, чтобы Его увидеть...
- Насими, ты ушел из Ширвана чернобородым, а теперь и виски серебрятся, и по бороде дождь дирхемами¹⁶ прошелся... а все ерунду говоришь, возрасту не соответствующую...
- Когда годы размалываются мельницей времени, их мука сыплется на голову...
- И на бороду попадает... Знаешь, недалеко отсюда живет один народ... у них есть интересный обычай. Достигнув возраста тридцати четырех, они, вне зависимости от того, богат человек или беден, оставляют дом и семью и уходят в большой город просить подаяние. Ровно три года во всему свету бродят, просят, юридствуют.
- Не совсем улавливаю, хотя начинаю понимать.
- Ставят себя на место неимущего.. А потому у них в стане всегда накормят, одежду дадут или помогут советом.
- А что же нищие да нуждающиеся в советах со всего света не стекаются к ним, раз там сытно и можно прибахлиться?
- А я знаю?
- Пошли, что ли, к ним? За советом...
- Ты, Насими, сам, кому хочешь, два хурджина с советами надавать сможешь. Только в своем разобраться не в силах.. отчего так?
- Судьба, Ходжа... ведь ни больше положенного не съест, ни меньше.. эта тема, насчет пожрать, тебе должна быть особенно близка..
- Ой, ты, что ли, пожрать не любишь?
- Ну ты как ребенок, Ходжа... поближе к арыку посидеть, песком пошвыряться, в чужой сад залезть...
- Кстати, насчет чужого сада... давно у нас баб не было... вот в город придем...
- Да... в городах всего много.... а какие женщины тебе нравятся?
- Чтобы глаза горящие были да лоно бритое и покорное... а тебе?
- Угол, Ходжа...
- Как это понимать, угол?
- У женщины должна быть маленькая ступня.. угол между кончиком ее носа и большим пальцем ноги не должен быть больше восьми градусов...
- Погоди, дай подумать... а если у нее длинный нос и мой сапог в пору придется? Угол тогда между носом и пальчиком даже меньше восьми градусов будет. Или я неправ?
- Прав. Но дело не в носе и пальцах, а в пропорции.

¹⁶ Серебряная монета.

- Сложно у тебя все, Насими... попроще нельзя? Понравилась — и все тут, чего копаться-то, какое тебе дело до углов, градусов, соотношений и пропорций?
- А тебе не приходило в голову, что мне могут нравиться женщины только с такими пропорциями?
- Приходило. Вот и думаю я, что не только у тебя все сложно, но и тебе самому все сложнее и сложнее...
- Человек должен быть сложным, Ходжа.. ему полагается быть сложным, потому как простота присуща бессловесным мулам... или ослам...
- Ослам, говоришь... Язва ты, язва пишущая... о сложности говоришь, а вина простого не сторонись, о Боге рассуждать дерзаешь, а женщин любишь, вот и получается, что святости в тебе — самую малость...
- Не претендую... а женщины... Ты когда-нибудь испытывал жажду, находясь на лодке?
- Да, бывало... воздух реки часто иссушает губы.
- Зачерпывал воду горстью, наклонясь над бортом?
- Зачерпывал, конечно. А зачем ты спрашиваешь, Имадеддин? К чему клонишь?
- С правого борта или с левого?
- Ну.. с какого удобнее, с того и зачерпывал. Прямо спроси, а?
- Не торопи ход моих мыслей, терпение — добродетель странствующего. А теперь ответь, разницу во вкусе воды чувствовал?
- Да нет вроде бы, вода и вода, везде одинакова...
- Так же и с женщинами...
- Разумно... давно бы так... а то загнешь насчет кончика носа и пальца ноги... угол ему подавай, видите ли...
- Это другое, Ходжа... понимаешь, угол — это канон... а она... может не соответствовать образу, который ты сам себе когда-то нарисовал, но тем не менее оказаться той самой... она вне рамок, вне времени, вне ощущений, даже вне внешности...
- Опять за свое... говоришь непонятно, пишешь неясно, и с чего только тебя люди слушают да повторяют.
- Сердцем слышат, наверное.
- А ты самодовольный... стал таким или всегда был?
- Всегда был... люди вообще не меняются, Ходжа, они просто показывают свои скрытые грани при подходящем случае... потому внимательно наблюдая за мелочами в словах и поступках собеседника, ты можешь оградить себя от вреда, который он способен тебе причинить...
- Гладко все у тебя на словах, складно... а чего же сам тогда неогражденным ходишь, очаровываешься да образы рисуешь?
- А так интереснее...
- Ну-ну... наивный вы народ, поэты... и вечно носы свои в дела, к вам касательства не имеющие, засовываете...
- Никак понять не могу, ты на самом деле полоумный и не понимаешь ничего или умело придуриваешься?
- А так легче. Знаешь, Имадеддин, чем мудрецом быть и об убогих да тронутых сокрушаться, лучше самому дурачком прикинуться, и пускай обо мне мудрые думают. Или плачут. Или и то, и другое. Вот ты обо мне поплачешь при случае?
- Когда от злости и злоязычия твоя желчь разольется по жилам, после чего тебя хватит удар, обещаю, что первые три дня только этим и буду заниматься.
- Чем «этим»?
- Слезы лить. И сокрушаться, разумеется. Громогласно, на людях.

— А сам от разлития желчи помереть не боишься? Или молитву специальную нашел и регулярно читаешь?

— Не боюсь... Совсем уже отбоялся, наверное, и почти отмолился..

— Когда перестал?

— Бояться? Или молиться?

— Начни с молитвы, а там и до страха рукой подать...

— Они повесили жену учителя на главных воротах Тебриза.

— Бабу? А ее-то за что?

— Она не была бабой, Ходжа, она была женщиной... наверное, потому и казнили... и надо признать, мужества у нее было больше, чем у Фазлуллаха... он только ею и держался последние пару лет... из Алынджи, правда, до осады отослать успел, а вот в Тебризе не уберег, не сумел... самого уже к тому времени не стало...

— Судьба, Насими, судьба... от нее хоть в Тебриз беги, хоть в Дербенте прячься, настигнет и поздоровается... повесили, говоришь..

— Да... повесили... а перед этим ржавым гвоздем на теле буквы алфавита выцарапали... по живому телу...

— Буквы... А какой алфавит был? Арабский или фарси?

— А какая разница?

— Большая, поэт, не мне тебя учить, что в персидском алфавите на целых пять букв больше мучиться...

— Да...

— На детали смотри, на детали... не на мелочи внимание обращай, а на детали...

— Жизнь человеческая — тоже деталь?

— Я не о жизни... хотя и о ней тоже... а за что ее приговорили?

— Семья отступника — вне закона...

— Да... знакомо...

— Мне восемь лет было. Сажу как-то раз на берегу реки, камешки в воду бросаю, на круги расходящиеся смотрю... как подрост, так много рек, камней и кругов повидал, но таких камешков, которыми играл в детстве, и таких кругов, как на той глади, нигде больше не было.. наверное, они навсегда остались там... где я играл в детстве... а ты, Ходжа, хотел бы туда вернуться? Туда, где играл в детстве?

— Хотел бы, конечно. Ни забот, ни трудов. Я же сын гончара, а потому мое детство не было долгим и беззаботным.

— И у меня отец не из сборщиков податей.

— Хвала Аллаху, Господу миров, да не запятнает позор рабов Его.

— Аминь.

— А с чего ты вдруг о детстве вспомнил?

— Ах, да. Так вот, сажу я как-то, камешки перебираю, ищу, который плоский, чтобы по воде его запустить, да так запустить, чтобы он, оттолкнувшись несколько раз от глади ее, до другого берега долетел. Да так и не получилось... не долетел мой камень до другого берега...

— Не ной ты, ради Аллаха, есть хлеб и есть сыр, и камнями они не обернутся.

— Я же не об этом.

— Зато я об этом. Есть ли смысл думать о камне, когда хлеба хватает?

— Если не долетел, то да...

...И шли они теми же дорогами, что люди за сотню лет до них исходили да истоптали, проложили и отметили, потом оросили, шли они теми же путями, кото-

рыми шли закованные в медь и железо армии Дария и Искандера Двурогого, туда — належке, а обратно — сгибаясь под тяжестью награбленного... шли они по путям, политым слезами невольников, и от жара полуденного и морока сопутствующего им казалось порой, что только ляг ничком, приложи ухо к земле — и услышишь гул шагов, свист плетей, верблюжий рев, человеческий плач, ругань погонщиков, проклятия надсмотрщиков, призывы кары Аллаха на головы нечестивцев и обещания... только приложи — и услышишь топот коней пращуров, голоса, благословения, стоны обессиленных долгой дорогой, жалобы взятых в плен и обращенных в рабство, услышишь голос надежды рабов, которые мечтают сломать колодки об головы своих надсмотрщиков и в горячечном бреде обещают выколоть глаза их детям, вырвать лона их женам, выпустить кровь их коням и уйти обратно в Керулен, в час, когда над степью сгущаются сумерки. Ляг ничком — и услышишь, как они уходят в ночь, потому что их ослабили скудная пища и тяжелая работа и дневного пути под не знающим снисхождения солнцем Юга они просто не вынесут. Услышишь, как они упадут, пройдя ровно одну седьмую пути, и над их телами не возведут курганов, потому что выстоявшие на ногах будут завидовать упавшим навзничь. Ты услышишь, как их кости зарастают травой и как их черепами играют дети из проклятого рода Йонну, что из племени карлуков, а тот, над кем нет кургана, обречен на бесконечные скитания до горизонта и обратно, ему не видать Рая и не созерцать Создателя в лучах славы Его, и наложницы, что восстанавливают свою девственность каждую ночь, не станут ласкать его утомленного и рассеченного тела. Род Йонну, что из племени карлуков, был проклят за насмешку над обычаем и неуважение к телу и духу их прародителя, который был оставлен лежать непогребенным среди барханов на растерзание воронам и степным псам, как это принято у грязных и нечестивых, поклоняющихся солнцу и огню, молящихся созданному, а не Создателю и умывающихся бычьей уриной, а не дождевой водой. Не уподобляйся им, хорони своих усопших головой в сторону Города, на котором почивает Благодать, не кланяйся идолам, не входи к женщине, истекающей кровью, не ешь мерзкого с клыками или раздвоенными копытами, не собирай налогов с сироты и вдовы, не женись одновременно на женщине и дочери ее, не касайся нечистоты, а если коснулся, то оботри руки, ступни и лицо свое сухой землей или песком, если вокруг нет воды на два часа пути. И если ты встретишь бритобородого проповедника в белой одежде с золотым обручем на лбу и белыми, сияющими в постоянной улыбке зубами, разрежь его от плеча до печени, убей его учеников и сожги его книги, ведь он из проклятых, из заблуждающих и сеющих пустоту и нечестие, и если ты не сотрешь его печень в порошок, он не даст покоя племени твоему, и роду, и земле твоей, и придет с законом своим на площади твои, и осквернит святыни, и напоит лошадей из купели Храма твоего, и введет ослов в киблу мечети твоей. Убей его без жалости и сожаления. Но если ты встретишь в степи одинокого странника в войлочном колпаке, поделись с ним сыром из своей котомки и молоком своей кобылицы, ведь завтра на его месте можешь оказаться ты, и тогда все отданное тобою обязательно к тебе вернется. Это просто Закон Человеческого Общежития, просто Великий Закон Обыкновенного Странника. Незатейливый, как рисунок на твоём халате, сладкогорький, как запах рейхана, жесткий, как твоё ложе, и прямой, как стрелы дикорастущего чеснока... и шли они, и падали ниц во время молитвы, и вслушивались в Гул Земной, и думали, и помнили, и чувствовали, а Насими, подумав, запомнив и прочувствовав, все в строчки рифмованные сложить пытался и каждой женщине, что в пути через него проходила, даровал в стихах жизнь долгую, потому что был в состоянии дать лишь то, над чем властен, а над чем не властен...

...Неблизкий путь по многим землям и среди многих народов — штука опасная, особенно если все вокруг пока не горит, но вот-вот синим пламенем зайтись обещает. Самое разумное — к каравану прибиться. Там, в караване, люди опытные, бывалые, без малого весь Восток туда и обратно исходившие, везде торговавшие, в обман не дававшиеся и покупателя не обманывавшие, честно отмеривали, по совести отвечивали, твердо памятуя о Страшном суде и покупателях, которые могут отвернуться. Базар — место такое, где и побить запросто могут, за обман, за обвес, и за невежливое обращение без уважения... Присоединились наши герои к каравану, что в Анкару шел, а идя в Анкару, Диярбекира миновать никак не получится... и почему бы двум честным путникам к каравану не присоединиться? Не воровать же идут, не сирых обижать, торговать хотят, без обману, без обвеса, для обоюдной выгоды, чтоб и покупателю честь, и продавцу не убыток... и мало ли к торговому делу, малой прибылью кормясь, людей прибивается? Кто с тканей, кто с масла ароматного, да мало ли с чего? Что не динаром, то, глядишь, с Божьей помощью, дирхемом в конце недели и обернется... а не обернется, так все равно, около людей крутятся, всегда сыт будешь... ну кто ж тебе в куске хлеба с сыром откажет, раз ведешь себя человечно, всегда помочь готов и окружающими не брезгуешь? Есть сядут — и тебя позовут, хлеб преломят, плошку наполнят...

Бродяги-путники наши, пройдя через главные городские ворота, вежливо поприветствовав стражников (да не затулятся, мол, ваши мечи, да не треснут ваши щиты), заплатив положенную пошлину, потолкались среди людей, выясняя две самые во все времена важные вещи: а где тут, товарищи, можно поесть, чтобы недорого, но вкусно, и кто у вас здесь, уважаемые, лучший насчет оружия? Нет, почтеннейшие, спасибо, где поспать, мы сами разыщем, — знакомцы у нас (опасливо придерживая руками кошельки, и что с того, что денег в них почти нет?) в паре переулков отсюда... И, пройдя через городские ворота Диярбекира, Насими совершил омовение и отправился в мечеть, где сначала долго сидел у стены, повторяя зикры, а потом исступленно молился, долго-долго повторяя одну лишь фразу: «Господи, сделай же так, чтобы мне никогда-никогда не пришлось стыдиться за сделанное или несделанное, за сказанное, несказанное или недосказанное, за все написанное или что-то ненаписанное, грехи мои велики, но и ноша моя тяжела, так зачти же мне одно за другое прямым расчетом, Господи, из кожи не вылезу и души не выплуну, и что Ты возложил на меня, то и стану нести, чем облагодетельствовал, то и утаивать не буду, не смогу, не снесу, не получится...» И расспросили путники добрых людей о том, кто в городе и его окрестностях самый лучший насчет оружия... самый лучший и самый честный. Получив же ответ и поблагодарив любезного разносчика сахарной воды (дорогу указал именно он, наиболее разговорчивый и добродушный из всех встреченных. Добрый малый сказал, что мастера зовут Ахмед, что у него сварливая жена, четверо детей, мал мала меньше, но тем не менее мастер Ахмед каждый четверг навещается в дом к одной недавно овдовевшей женщине, а чем они там занимаются — одному Аллаху ведомо). Друзья слегка опешили от обилия вываленной на них информации и пошли в кузнечные ряды (оружейная часть, третья кузница, если считать от северных ворот).

— Салам алейкум, уста Ахмед. Да не остынет очаг твой, ни в доме, ни в кузне.

— Ва-aleyкум-салам, благородные путники. Присаживайтесь, отдохните с дороги. Эй, подмастерья, принесите гостям прохладной воды. Может быть, мои достойные гости голодны?

— Благодарю, уста, да останется Аллах доволен тобой и твоим благородным родом. У нас к тебе дело, и заранее прости за то, что отвлекаем тебя от работы.

- Я весь к вашим услугам, уважаемые.
- Оцени этот кинжал, мастер, и заточи его или посоветуй что-нибудь равноценное, если сочтешь его не стоящим починки. И еще я хотел бы присмотреть что-нибудь для моего друга.
- Хороший кинжал. Я заточу его и немного укреплю рукоятку. А вот менять не советую, это очень надежная сталь, редкой закалки.
- Пусть будет так, как скажет человек знающий.
- А какого рода оружие нужно твоему другу?
- Что-нибудь, что можно легко спрятать.
- Могу предложить посох. Скажем, вот этот. Он очень легко открывается, сттит лишь слегка повернуть кисть руки в свою сторону. И заметьте, что он ничем не отличается от сотни тысяч других посохов.
- А у достопочтенного мастера есть браслеты? такие вот... ну.. несколько необычные...
- Которые позволяют избавиться от веревок на руках? Есть... вот.. инкрустированные бирюзой... Это для женщин, но из уважения к странникам, и в особенности к вам, многопочтеннейший Насими, я могу сделать другие... совершенно бесплатно, мужского типа, с незатейливым и скромным узором. С вас... один момент... с вас причитается два дирхема. За заточку кинжала и медные кольца для обхвата рукоятки.
- А...
- Я узнал твоего спутника, благородный странник. Для меня великая честь оказать самому Насими столь незначительную услугу.
- Но...
- По глазам узнал... И пальцам трясущимся... да и слухи, уважаемые... слава ведь всегда впереди человека бежит, что добрая, что дурная, и стражников обойдя, первой в город входит... А если начистоту, так разносчик сахарной воды ко мне раньше вас явился и все разболтал. Работа у него такая — с людьми разговаривать.
- Прямо как у меня.
- В некотором роде, досточтимый поэт. Сладость воды, что он разносит, — ничто в сравнении со сладостью тобой написанного.
- Благодарю, ваша любезность ничуть не уступает вашему мастерству. Роскошный кинжал. Дамасская сталь?
- Мы давно научились делать сталь ничуть не хуже дамасской, Имадеддин-бей¹⁷. Равно как и писать стихи, ничем не уступающие стихам персидских поэтов.

Душа города, сердце города и его же, города, простата — это базар. И сейчас в любом городе есть место, что, те же функции выполняя, с легкостью старый базар заменяет... а помимо места, что заменяет простату и сердце, есть места, миновать которые никто не в состоянии, потому что любая вера гласит: всяк да явится перед Создателем чисто омытым по смерти своей. И если при жизни ты умываниями, омовениями и вообще гигиеной пренебрегал, то как отдашь Богу душу — тебя родственники по обычаю сперва омоют, а потом сразу в храм Божий волокут, на отпевание. Ну, отпевания, слова напеваемые да ноты, конечно, от конфессии зависят, но смысл великий в последнем омовении есть...

Не стоит деревня без юродивого, дом — без праведника, базар — без начальства и заведения питейного. А в питейном заведении разные люди собираются. А приди и собравшись, напитки и компанию вкусам сообразно выбирают. За шестьсот

¹⁷ Господин.

прошедших лет так ничего нигде и не изменилось: кто в одиночестве за столом притулился, кто в компании шумной, кто под столом бабу срамно лапает, а кто, приличия блюдя, терпеливо прихода домой дожидается. Там, мол, пошупаю, и мяса твои никуда от меня не денутся. Дома же питейные и места увеселительные по совместительству в те времена назывались «мейхана». «Мей» — на фарси «вино». «Хана» — помещение. Мей-хана. Помещение, где вино пьют. На ковры усядутся, пригубят чаши, развеселят тела, огрустят души. Огрустив же, поэтов пригласят, а пригласив, тему подбрасывают, импровизируйте, мол, про жен сварливых или женщин любимых, про налоги высокие да судей бессовестных, про кровь пролитую да дела стародавние, а мы восклицаниями одобрительными словесные обороты судить станем. Потому как хорошее слово — оно всегда вроде музыки, ароматным маслом раны умягчает да шрамы стягивает... Огляделся Ходжа у входа и, Насими вперед пропуская, локтем подтолкнул, давай проходи, мол, садись, самое тут тебе место, поэт поротый, стихотворец вороватый, покажи людям, что умеешь, что, складывая, запоминаешь не записывая, а что записываешь, то на всякий случай в подкладку одежды зашиваешь, садись, стенографист Божий: что Он нашепчет, что Он подскажет, — то ты и запишешь-запомнишь-обработаешь-продекламируешь, Ему на славу, себе — на уважение, а людям понимающим — на радость великую... Люди сходили с ума и напевали стихи Имадеддина на всех углах необъятного Востока... того, который дело тонкое, где поэзия муслиновая, слова бархатные, лапки железные, где стелют мягко, где спится жестко, где все падают, а за соломокой никто не идет, где все крепки задним умом, где все поэты, каждый философ, и во всем, разумеется, лучше всех прочих разбирается... rrrrrрасступись, нарррроды...

...Певцу-декламатору или дервишу-рапсоду в доме питейном, в мейхане шумной — чашу или, там, пиалу наиглубочайшую первому подносят, на месте почетном, на топчане верхотурном уважительно усадив, с просьбой обращаются, спой, мол, странник, рода-племени благородного, спой нам, на стихи поэта в колпаке войлочном, песню трогательную, душу рвущую, душу рвущую да наизнанку выворачивающую... и расступаются люди, шербет хлещущие, люди винопийствующие, об халаты узорчатые руки вытирают, головы буйные ими, вытертыми, подперев, слушают-вслушиваются, внимая, повторяют и, подпевая тихо, наизусть заучивают... Заучив же, обязательно дальше передают, чтобы не пресеклась, не прервалась песня, чтобы стих не закончился, не оборвался... В разных концах света люди многие, от турков равнинных до пуштунов горных, слова те гортанно распевают, да в такт словам дергаются, кисти рук над головой задирают, и глаза под самый лоб закатывая, заывают стихотворно... а что обделил Всевышний слухом и голосом, так то и не беда вовсе, тут главное — приобщенность, память, действие да движения: правая рука вверх, левая рука вниз, правая рука опять вверх, левая рука снова вниз, и в этих движениях, в этой смене рук есть вполне определенный смысл, потому что правая вверх — левая вниз означает: у Бога попрошу, и как даст Он — бедному отдам, и если у Бога чего выпрошу — так обязательно бедному отдам или поделюсь: мне самому многого не надо, хлеб иногда может быть и черствым, так нам Бог о себе и о бедных напоминает:

Я — вечность, ей нет и не будет конца,
 Я — чудо творенья и сила Творца,
 Я — кравчий, наполнивший чашу познания,
 Я — свет, что пронзит все людские сердца...

Пока тебя на цитаты не растащат да на улице распевать-повторять не станут —

не поэт ты совсем, не писатель, а так, приобщиться стремящийся, в сторону абсолютадвигающийся.

...Это сказывали видевшие слышавшим, а услышавшие поведали записывавшим, записывавшие донесли до читающих, читающие же, из умеющих вчитываться и вслушиваться, донесли до дня сегодняшнего, и да зачтется им прочитанное и услышанное, равно как видевшим — переданное, а всем слышавшим — поведенное, да сотрутся грехи взаимозачетом с делами праведными, зло содеянное — добром сделанным, милостыня — милостью, а слово доброе — Тем Словом, Что В Начале Было, аминь... и сел Насими не на место первое, старших уважая, но и не на последнее, чтобы тем, кто помладше, учтивость да вежливость уроком стала да впрок пошла. Вперед не полез, чтобы никто в тщеславии да нахальстве не упрекнул, но и, самоуничижения чураясь, достойно свое место занял, мол, отнесусь к старшему из сидящих здесь, как к отцу своему, к ровеснику — как к брату доброму, а к тем, кто помладше, — как к сыновьям или братьям меньшим. Ходжа же, памятуя, что в делах поэтических он только тихонько слушать способен, сел себе чинно рядышком, и ни звуком, ни движением единым окружающим далее не докучал. А вот как на-тешут пишущие тщеславие свое да наружу воздухом подышать-поразматься, в случае недоразумения кулачного, выйдут, он, конечно, себя показать всегда сумеет, да и здесь, если наливать да чокаться станут, от других ни за что не отстанет, потому что чем мы вообще хуже, даром что рифмовать не способны, зато в других делах очень даже пригодиться можем, всякому злаку — свое место...

...И сидели на ковре поэты разные, кто поэт, а кто примазался, кто с душой писал, а кто по капле выдавливал, кто носом ветер чувствовал и, всегда нос по ветру держа, водил прибыльно, а кто как Бог на душу положит каламом водил, кто за халат шелковый, плов ежедневный да чалму белоснежную (цвета молока с сахарным песком) и душу, и совесть в ломбард подтронный заложить согласен, кто мальчишкам уличным горсть орехов отжалееет, чтобы они его стихи по улицам распевали, а кто, слезам совести повинуюсь, ни души, ни тела своего при случае жалеть не станет, не приучен потому что.. пишущие, они ведь, как и все прочие, что по земле ходят, разными бывают... и Насими из ряда того не исключение, может, добрым был, может, злым, может, нервным, а может, спокойным, может, на кошме сидя, пальцами хрустел, а может, перед собой глядя, спокойно своей очереди дожидался, может, на соперников волком глядел, а может, вполне дружелюбно. Сидел Насими, гордо спину выпрямив и других уважая, себя совершенно ниже окружающих не чувствовал, да и с чего бы ему горбиться и тушеваться, раз и осанкой взял, и талантом Бог не обидел? А поэты вокруг на самом деле всякие сидели. Кто талант, а кто примазался, кто конъюнктуру чуя, в стихах правителей прославлял, а кто только по вдохновению за калам брался да рифмы подбирал, кто одежды расшитые отработывал, кто даром Божьим пренебрегать не смел... В общем, все как всегда, и ничего в мире поэтов не изменилось... Насими поприветствовал собравшихся «саламом», сдержанно, как равный равным, поклонился (вежливый медленный наклон головы чуть-чуть влево) и спокойно, не толкаясь, сел на свободное место возле какого-то парня с задумчивым лицом... Ходжа примостился чуть поодаль, но в непосредственной близости от Насими, чтобы при случае шепнуть ему чего на ухо или шепотом сказанное услышать.. да и вообще город чужой, место не так чтобы уж очень знакомое, а потому друг друга держаться надо... Сосед Насими оказался учтивым собеседником, ответил на его приветствие и, ведя беседу вполголоса, даже успел ответить на несколько вопросов, касавшихся собравшихся, кто, мол, тут поэты, а кто просто поглядеть да послушать пришел, что все эти уважаемые люди тут делают да что друг другу говорить будут:

— Это — Абу Рагим, известный жадина и скупердьяй, слава о его прижимистости до самой Басры дошла. А рядом сын купца Фейсала сидит, так еще прижимистей Абу Рагима, а вон тот, с бельмом на глазу, — Рамиз по прозвищу Рука, Привязанная к Шее, ты на его богатые одежды не гляди, его дом даже мыши стороной обходят, а слуги оттуда бегут чаще, чем у женской половины его рода случаются месячные. Всех умеренностью, близкой к постоянной голодовке, заморил и себя совершенно не жалеет. Представь, как-то раз, по случаю праздника, приказал подать себе похлебку, сдобренную уксусом и оливковым маслом (расточительство, по его меркам, неслыханное), так слуга по ошибке взял бутылку с горьким хлопковым маслом вместо оливкового. Так этот самый Рамиз кривился, отплевывался, чертыхался, но глотал, ел, давился, короче, не пропадать же добру.

— А по окончании трапезы слугу хоть выдрал? Может, за волосы оттащал? Или там пару палочных ударов для внимательности?

— Вроде бы нет.

— Ты посмотри, добрейшей души человек, не на одном себе экономит, но и на палках, чтобы не стирались раньше времени.

— Да нет, хотя насчет истончающихся палок можно и поразмыслить. Просто слуга с голодухи и дурного обращения так и так решил от него бежать, а страх перед наказанием лишь укрепил его в этом намерении. Рамиз не успел просто.

— Вот видишь, дорогой, не всегда учитель умнее ученика, не всегда хозяин богаче слуги.

— И не всегда лысина и борода — свидетельство мудрости, — вмешался Ходжа и добавил: — Насими, твоя очередь скоро. А что, уважаемый, тут из денежных людей только скупердьяи собрались?

Уважаемый договорить не успел, как распорядитель произнес имя Насими. Его очередь. Он был восьмым, ровно семеро до него, выходи вперед, твое место тут, посередине, среди слушающих, ты и живешь для того, чтобы вот так выйти. Бессонные ночи, изгрызенный калам, кулаки, упертые в виски, закусанные до крови губы, восход и закат, вдох и выдох, до рассвета не спать — до полудня не дергаться — все это во имя этого момента. Минуты спрессовываются, часы концентрируются, все прочитанное, все написанное, все выжатое и выстраданное, что шло потоком и текло ручейком, писалось на одном дыхании и вымучивалось неделями, — ради этих минут, когда ты выйдешь и скажешь то, чего никто и никогда до тебя не говорил:

Сердце — ракушка с захлопнутым ртом,
Образ Любимой — жемчужина в нем,
А эгоизму там нет больше места —
Занят Любимую весь этот дом...

Любовь, когда она сильна и беспощадна,
Сравню я с Судным днем, грядущим неотвратно.
Наверное, любовью создан мир,
Но и разрушен мир любовью...
Многokrатно.

И поиски тебя — моя дорога в рай,

Ты — дерево в раю, оно цветуще, статно...

Скажи такое женщине, да так скажи, чтобы она поняла, что никто и никогда ее сильнее любить не сумеет... вот так и надо женщину любить... наверное... в одном

ты, досточтимый Сейид-Али, оплошал: о крыльях женских ты и словом не обмолвился. А у всех женщин крылья наличествуют, и бескрылых среди них не бывает. Правда, как заметил Гюго, у одних это крылья ангела, у других — гусыни, и ты, Насими, вряд ли возражать станешь... но, уж как водится, дополню классика: помимо гусынь с ангелами, встречаются женщины с крыльями нетопыря, и да хранит нас Аллах от таковых и да пошлет побольше встреч с ангелокрыльями, потому как совершенно не стыит докучать Господу просьбами об убережении путника от встреч с гусынями. Проси ты Бога об этом или от просьбы воздерживайся, у Него на этот счет свои планы, и дойдут воды до самого горла...

Высказался Насими. Сидит и вперед себя смотрит, по сторонам не оглядывается, знает, что лучший, понимает: чтобы ему ровня появилась, лет пятьсот пройти должно, пара империй об пол шмякнуться да три государства поменьше смениться. И не нервничает уже, ножом ткни — кровь не пойдет, из спины ремни режь — звука не издаст, тут он на своем месте, на первом, а другому на его месте не бывать, потому что и Восток один, и Насими один, один на весь Восток, один на всю поэзию, на писанное до него и на писанное после... Расступитесь, когда он сквозь толпу идет, а если сами мимо пройдете — поклонитесь кивком головы, с достоинством, как равный равному, но тому равному, который в чем-то вас, да и всех прочих, лучше. А Имадеддину тем временем вручили кяламдан (чернильницу из чистого серебра), мешочек с дирхемами (это не ускользнуло от взгляда Ходжи: ура, мяса поедем — все не сыр на ужин, на мягком поспим — не земля голая тюфяком, не хурджин под голову), да вежливо, с поклонами, мол, сам Сейид Имадеддин Насими (да будет имя твоё навечно впечатано в Книгу Жизни и Список Поэтов) победил честно, да не пресечется твой род, и да напишешь ты то, от чего мы все не раз еще закачаемся...

Не обошлось сборище поэтическое без курьеза: вышел один стихи свои читать, молодой да ранний, стихата так себе, прочитай и выбрось, однако это не мешало ему читать их громко, да с высоко поднятой головой, да выставив вперед правую ногу. Еще и рукой перед собой водил иногда, то ли чтобы с ритма не сбиться, то ли чтобы важности придать да внимание слушателей привлечь. А как закончил, так постоял немного, похвалы да аплодисментов ожидая, сразу не сел, ело его тщеславие изнутри: как же так, чтобы мои стихи да без просьбы почитать еще? И состоялся между ним и одним старым поэтом, чьего имени ни история, ни я припомнить не можем, следующий разговор. Старик ему мнение на ухо высказал — к чему человека на людях порочить, это никуда не годится. А разговор заключался в следующем:

- Салам алекум, сынок.
- Алекум салам, уважаемый.
- Скажи мне честно, как старшему, каким ремеслом ты занимался до того, как начал стихи складывать?
- Я, отец, был в рядах крайних шиитов.
- А до того, как вступил в ряды крайних?
- (Смущенно и запинаясь.) Это... осликов воровал...
- Осликов?
- Осликов, уважаемый.
- Сынок, не сочти за обиду, я на правах старшего. По-моему, и для поэзии, и для крайнего шиизма будет как нельзя лучше, если ты вернешься к своему прежнему занятию.
- К воровству?
- К осликам, дорогой, к осликам. Не обижайся на правду и послушай старого человека.

...Иногда лучший ответ старшему — молчание, раз уж, во-первых, дело говорит, а во-вторых, опытом задавить может. Вот и ослокрад (ну, или ишачий вор) счел за благо промолчать, поклониться сдержанно и раствориться среди приглашенных. С тех пор о его поэзии никто ничего не слышал, но говорят, что юноша вскоре пере-квалифицировался на коней и верблюдов, что на порядок сложнее, и всю жизнь был благодарен старому поэту за то, что тот отвратил его от литературы и калама, потому как кража верблюдов кормит намного лучше. И что только люди в поэзии находят... не спорю, некоторым иногда везет, но везение это — краткосрочно: сегодня подфартило, а завтра, глядишь, на плаху поволокут или высекут прилюдно за написанное или высказанное.. Нет, парень сделал правильный выбор... с верблюдами оно как-то надежнее...

...Поздравляли Насими, жали руку и заглядывали в глаза, хлопали по плечу, строчку, что понравилась, отмечали. Поблагодарил Насими судивших и слушавших, оценивших-прислушавшихся от души, но долго раскланиваться не стал — Ходжа аж чесался от предвкушения поесть чего-нибудь вкусного, мясного, из большой тарелки, делал страшные глаза, намекал всячески и дождался. Ждущий дождется, а проголодавшийся насытится, и друзья в прекрасном расположении духа направились в сторону, откуда приятно тянуло правильным мясом на правильной жаровне... А правильное мясо, да будет тебе известно, дорогой читатель, никогда не жарится в дорогих и помпезных местах, оно очень хитрое и готовится в ничем не примечательных подвалах, скромных забегаловках без бросающихся в глаза вывесок. Тихо, спокойно, все свои. Если беда — приходи, поделись с владельцем, он человек мудрый, всякого народа навидался, присоветует чего, а беседа душевная — она любой психотерапии стоит, да и плата небольшая — час времени да полдирхема денег. Заходи, люд усталый, тут, может быть, столы и кривоваты, зато души прямей некуда, цены низкие, зато беседы высокие, накормят за деньги, а если знают — то уговорить поверить в долг — пара пустяков.. Но едва друзья зашли в полутемное помещение с низким, закопченным потолком, только поздоровались с присутствующими и выбрали место, как вдруг...

6

Правителем Диярбекира и прилегающих земель в те времена был Осман Гарай-олук, человек простых нравов и железной хватки, недавний кочевник, никак не могущий привыкнуть к этикету дворца и сотне условностей, окружающих жизнь правителя. Его потомок, Узун-Гасан, будет дедом Исмаила Сефевии, основателя одноименной династии на иранском троне. Исмаил много чего в жизни натворит и, по совести говоря, будет больше поэтом, нежели государственным деятелем, войдя в историю литературы Востока как Исмаил Хатаи («Горемыка». Можно и как «Бедолага» перевести, но это уже злостное неуважение к царственным особам, а потому пусть Горемыкой и остается). А его предок, суровый и немногословный Осман, вершил суд над своими подданными скорый и не сказать чтобы несправедливый. Привели как-то раз к нему женщину, виновную в попытке убить своего младенца. Бросила в высохший арык, в пыль, под палящее солнце, а сама домой пошла. Это заметили работавшие неподалеку крестьяне, ребенка в тень отнесли, а мамашу, слегка ребра помяв, свели не к судье-кади, а к самому Осману. Тот аж зажмурился от предвкушения совершить благое дело и рассудил без проволочек: «Отдать на потеху солдатам сроком на три дня. Если останется в живых — отослать на рытье арыков, кормить там раз в день, пороть — по лености и провинностям, как и прочих, в работе задействованных. На все остальное — воля Аллаха, как на жизнь, так

и на смерть, как на здоровье, так и на немочь». И солдат уважил, и порок наказал, и государству пользу принес. И никакого пролития крови, это ли не милосердие? Осман, вчерашний воин, довольствовавшийся скромной пищей и жестким тюфяком, всего одной женщиной и зачастую клавший голову на обычное седло вместо мягкой подушки, мало что понимавший в бесполезном деле украшения фасадов домов и строительстве фонтанов, тем не менее уделял внимание прокладке дорог и арыков, прогонял учителей-невежд из медресе, заменяя их теми, кто смог убедить его в своих знаниях, в личной беседе проявлял неподдельный интерес к поэзии и искусству строительства. Про Насими, конечно, слышал, было дело, пораскинул умом государственным, что неплохо б и личное знакомство свести, понимал, что хоть держава саблей и строится, но не одной ею держится. Слово нужное да современное иногда крепче аркана бывает и тысячи воинов стоит. Позвал, уважил. Не сам, конечно, подошли люди военные, доверенные, вежливо, рук не заламывали, ног не подсекали, поздоровались, представились кто да зачем и, чтоб не пугать зря раба Божьего, предупредили, что для добра во дворец зовут, а не для упреков или заушин всяких. Мало ли... бывали случаи, что вызываемый до дворца своими ногами дойти не мог — все колени со страху друг об друга чашечками стучали, так тех под руки вели. А некоторые вообще, узнав, что их во дворец пред Османовы очи требуют, на месте от разрыва сердца оставались. Вину, наверное, чувствовали. Перед покоями правителя Насими обыскивать не стали, Осман всегда на свою саблю надеялся, и не зря: рука была — дай Боже, до седла при случае супротивника разрубала, на железный шлем внимания не обращая... станет ли такой одного да безоружного опасаться? Да если еще и сам ко дворцу позвал? Когда Осман и ему подобные бояться станут, тогда и начнется Судный день. Кого ему, кроме Бога Вышнего, бояться, если руки по локоть в крови, город с окрестностями на плечах, да и вообще не первый день в Азии...

— Проходи, Сейид Имадеддин. Садись рядом, — и рукой по подушке похлопал, но не покровительственно, а так, по-свойски.

— Благодарю, повелитель.

— Врунов у меня и без тебя хватает, хотел бы их выслушать — тебя не призвал бы. Из кабака ведь, да? И я тебе не повелитель. Просто Осман, без чинов давай. Слуг я отослал, не взыщи, если шербет самому разливать придется, — и подмигнул глазом понимающим, знаю, мол, холуйства не любишь, вот и я их не жалею, так что сам себе подливай и меня не забудь, если вдруг чаша опустеет.

— Слышал я о тебе, — замялся, неудобно как-то просто по имени. — Османом называть просишь? Хорошо, не обессудь.

— Хорошо труп врага пахнет.

— Я тебе враг?

— Нет. Но по глазам вижу, и в друзья не набиваешься.

— Не набиваюсь.

— Плохо. Хотя отдаю должное твоей смелости. Или наглости. Или это беззаботность?

— Это спокойствие, — запнувшись, но достоинства не теряя, — Осман.

— У тебя? Спокойствие? Был бы ты из спокойных, я б тебя в покои не звал — на поле бы успокоил. Или в харчевне.

— Саблей?

— Надо было — сам бы пришел. Если бы по харчевням за мухами охотился. Но мне нравится, как ты пишешь. Как у тебя сказано:

Добыча счастья, ты одна
Дана на все мне времена,
Весь мир отдам за запах твой,
Но много больше стоит он.

Верить, вчера к жене пришел, эти строчки по памяти прочел, она разревелась, запустила в меня кубком и обвинила в том, что я ей такого никогда не посвящал. Из покоев выгнала, у себя ночевал, на троне свернувшись. И чего этим женщинам надо?

— Не знаю, Осман. Если хозяин всего Диярбекира и земель близлежащих на этот вопрос ответа найти не может, какой спрос с бедного поэта?

— Как так «какой спрос»? Ты написал, ты и отвечай, по твоей вине у повелителя Диярбекира и земель близлежащих шея болит по причине сна неудобного. Шучу. Хорошо написано. Если бабу смог за душу взять, то нам, мужикам, и подавно по душе прийти должно.

— Женщина тоньше. Чем баба.

— Не без этого. Но все равно смотря какая.

— Если «смотря какая» — то это баба. А если, несмотря ни на что, — это женщина.

— Сложно. Я пойму, другой поймет, а как ты это тем, кто в поле работает, разъяснишь?

— Постараться надо. И время нужно. Да подход к каждому.

— Вот ты бы этим и занялся. Оставайся здесь, мне позарез учителя нужны. Знаю, возразишь, не сидится, мол, на одном месте, и человек ты, что подневольным не будешь. Может, все же подумаешь?

— Не смогу. Стыда во мне много. И неводержан я на слово и руку.

— Я тебя в учителя зову, детей учить и взрослых, если понадобится. И к чему ты это насчет стыда-то? Что, по-твоему, на меня одни бесстыдники работать могут?

— Не на тебя, не только. Да и не в тебе дело. Совсем не в тебе.

— Ты человек вольный и никому дани не платишь? Так, что ли?

— Выходит, что так.

— А не боишься? Вот хлопну в ладоши, враз слуги с палками появятся, они веселиться да загонять станут, а ты — бегать да угол безопасный искать. Или без слуг обойдусь, сам, но тоже бегать заставлю. Что тогда?

— Ничего тогда. Только люди обязательно осудят. Скажут, позвал Осман человека в гости, а потом оскорбление с побоями нанес. А уж если твои слуги побьют — вообще позора не оберешься. Да и не хлопнешь ты в ладоши — это ни предков твоих, ни сабли недостойно.

— Болтать станут — языки вырву. Хотя могут и не поверить. Скажут — в племени Аггойунлу так с гостями обходиться не принято, то бабы болтают да всякий вздор несут. Не держи на меня зла и обиды, Сейид-Али, я не в духе сегодня, да и спал всего ничего. Прости.

— Обижаться мне не к лицу, я не женщина, да и зла держать не стану, а вот зачем позвал, если не в духе, — не понимаю.

— Дерзок ты на язык. Почтения к власти мало, вошел без поясного поклона, все прочие ниц падают, а ты только голову наклонил.

— Ниц падать и поясные поклоны бить — только на молитве пред Богом позволительно. Ты воспитай в простых и малых достоинство, отучи их валяться в ногах, сделай это постыдной привычкой. Тебе эти поклоны не нужны, ты шайтанов не тем тешишь, я же вижу, прост ты и открыт перед Богом, хоть Он и дал тебе власть

над людьми. Не хочу быть грубияном в гостях, но все мы в этом мире лишь гости. Знаю, что нагло говорю, но знаю, с кем об этом говорю, потому языку волю и дал. Не хотел бы слушать меня — так не звал бы, оставил бы в харчевне. А учить... когда-то учил, теперь — не хочу.. Не получится..

— Да. Не без нахальства ты, Насими... потому и нужен мне. Советники мои до сабли злы, рубиться умеют да в ряды строиться, сильных много — мне умные нужны. Да не просто умные, а чтобы других умных воспитать сумели: в какой руке калам держать да видеть дальше своего носа. Иди ко мне в советники, раз в учителя не хочется.

— Из меня сейчас плохой учитель, Осман. А в делах некоторых — советник хуже учителя. Не потяну.

— Потянешь. Ты много пользы людям принести сумеешь. Посмотри, ведь читать не умеют, ни к чему интереса нет, тяжело, тяжело. Меня самого грамоте только после двадцати лет научили, некому было. Да и недосуг как-то, в седле особю не попишешь. И насчет поклонов верно сказал. Не к лицу человеку перед человеком ниц падать.

— Это правда, что ты дворцовых музыкантов разогнал?

— Чистая, без обмана. Не люблю я этих трех напевников. Глаза закатят и горло дерут, да черт бы с горлом, они ж пример подают отвратительный. Мне как младший сын сказал, что хотел бы, как эти музыканты, петь да танцевать, я и озлился. Выпорол его, чтобы через спину из головы дурь выбить.

— А правда, что ты плясунов с певунами не просто прогнал, а перед тем посадил каждого на его ж инструмент?

— Правда. Барабанщику легче всего пришлось.

— Зато тому, кто в зурну дудел, не повезло...

— Другим наука будет. Ну что, Сейид-Али Имадеддин Насими, остаешься у меня? Полное довольствие, власть, полканцелярии в подчинении, отчитываться только передо мной станешь, ну, и деньги, само собой.

— Что ж, ты со мной был откровенен и милостив, позволь ответить тебе откровенностью, долг вернуть. Сложно мне будет. И голову на плаху положить не готов, если что вдруг тебе не по душе придется.

— Понимаю. Вольный ты человек и волю на дворец поменять не желаешь? Не отвечай, и так вижу. Жаль.

— Гневить тебя у меня и в мыслях не было, а отказом оскорбить — тем более. Не мое это место. Плохой из меня помощник тебе будет, никудышный.

— Знаю. «Насм» — это же ветер. А кто его на службу поставить сумеет, кроме Бога... Тогда обещай мне, что отныне только на тюрке писать станешь. Не «и на тюрке», а только на тюрке. Чтобы было кого с паскудниками дудящими сравнивать да мордой тыкая, в пример ставить: вот, мол, скоморохи, это — искусство, а вас, за бараньи напевы да рифмы ваши кособокие, — плетями из каждого города да пинками из каждой деревни гнать надо, чтобы не приучались люди ко вкусам да пошлостям площадным.

— Я не знаю. Я душе своей не хозяин. Как положит Бог, так и пишу. И к языкам то же относится. Но понимаю, к чему ты клонишь.

— Я ни к чему не клоню, Насими. Просто призвать тебя хотел. За голову. Да еще потому что вижу — ненавидеть умеешь. Не спрашивай, откуда знаю. Вижу, и все. А кто ненавидеть умеет, тому любить — пара пустяков.

— Или наоборот.

— Или наоборот. Ладно. Халата тебе не дам, обидишься еще, а вот деньги прими. Не упорствуй, они всегда пригодятся, тебе ж на одном месте долго не сидится. Когда в дорогу?

— Не знаю. Может, завтра. А может, дня два пробуду. Красивые у вас места.

— С тобой они бы еще краше стали, а так — не льсти, не люблю, даже если это просто вежливость. Ладно, ступай. Да пребудет с тобой милость Аллаха и в пути, и в минуты остановок. Я дам распоряжение казначею, тебя найдут. Удачи тебе, вольный человек. И перстень возьми. Носи, если нужным сочтешь. Если не сочтешь — тоже носи. В кармане. Простое серебро, и камень не рубин, не алмаз, так. Обычный, цвета черного. На память.

— Спасибо, Осман, — голову таки наклонил, но без раболепства, достойно. — И тебе удачи. Да помощи Аллаха в задуманном. Салам алекум.

— Алекум салам.

В те времена не считалось зазорным, если сильные мира сего рифмы слагающему деньжат подкинут или коня подарят. Поэты — люди веселые, им, может быть, деньги больше, чем кому бы то ни было, нужны... желаний и замыслов у них не меньше, чем у всех прочих, причем вместе взятых, а фантазии да ума уж точно будет поболее, чем, скажем, у главы цеха медников или главного конюшего... потому Насими и не ломался, а спокойно принял мешочек с деньгами у главного казначея, который, боясь гнева Османа, не послал с мешочком помощника, а потрудился явиться сам, с поклоном да словами уважения, мол, как же, как же, знаем, потрудитесь принять, как и было обещано. Как только казначей удалился (рассыпаясь в похвалах, с приличествующими моменту склонениями головы и прижиманиями ладоней ко лбу и сердцу), Насими немедленно мешочек развязал, обрадовался щедрости Османа и честно разделил полученные динары (золотые) с Ходжой. Потому что не годится удачу от друзей прятать — Бог разгневается, а друзья обидятся. Насими при жизни не раз повторял, что если человеком довольны друзья, то и Аллах им доволен, ведь хорошие друзья — украшение мужчины, а других украшений ему не надо, разве что посох... Так Бог через людей в людях веру в Себя и в человека укрепляет.

Насими и Ходжа в прекрасном расположении духа отужинали пловом, после чего Насими погрузился в блаженную дрему, а Ходжа все цыкал зубом, пытаясь вызвать его на разговор: что и как там было и как тебе, дорогой друг, дай тебе Боже здоровья, такой хороший мешочек достался. Насими спервоначала клевал носом, а потом разговорился. Покачал Ходжа головой, зря, мол, отказался — с царского стола до самой могилы сыт будешь, да и детям можно на сытость оставить, но потом усмехнулся, хлопнул Насими по плечу, то ли в знак одобрения, то ли чтобы сон с него согнать, и насчет женщин поинтересовался (полный живот всегда бабу зовет, не нами заведено, не нам и отменять), как, мол, тут с женщинами, может, знает чего да где:

— Интересно, а каковы тутошние женщины?

— Не знаю, но из разговоров в мейхане я понял, что добродетельны, чернявы, невелики ростом, а после двадцати лет брака отличаются редкой сварливостью.

— Коротконогие женщины предпочтительнее — они более страстные.

— Ты потому так рассуждаешь, что у тебя длинноногих не было.

— Слушай, Насими, давай поменяемся, а? Я буду стихи слагать, а ты над окружающими издеваться. У тебя получится.

— Ты в плену предрассудков, Ходжа. Ты веришь, что коротконогие женщины страстнее длинноногих потому, что путь крови по телу короче, ты веришь, что ребенок, зачатый в положении «сзади», обязательно выйдет из чрева матери ногами вперед, что осложнит работу повитухи, ты совершенно серьезно полагаешь, что если беременная женщина будет видеть только красивых людей, младенец родится

красивым, ты уверен, что женщина может навсегда привязать к себе мужчину, подмешав в его питье своих месячных кровей.

— Заметь, все мои предрассудки связаны с женщинами.

— И младенцами тоже. Странно, правда? Седина в бороде, полсвета исходил, с мудрецами знаешься, а все равно во всякую чушь веришь.

— Ну, далеко мне до просвещенных, лучше насмешником останусь. И ты присоединяйся, на случай, если с поэзией не завяжется.

— Завяжется. Все обязательно завяжется.

— Да поможет нам в том Бог. Главное, чтобы не на шее завязывалось, — выпутаться сложно.

Толстый Абу Рагим (тот самый, жадина и скупердяй), занимавший должность, если выразиться языком современным, заместителя главы муниципалитета, был человеком не только прижимистым, но и хитрым. Иначе на таком месте не удержаться — всех, в деле задействованных, кормить-поить нужно. С умом подойдя, и сам всю жизнь сыт будешь, и детишкам кой-чего оставишь. А если прыток, то и внуки по гроб жизни благодарно облизываться станут. Прослышал Абу Рагим про то, что Насими был зван ко двору Османа. Сам толком в поэзии ни пса не понимая, носом, однако, почуял, в какую сторону ветер дует, и раз уж главный Насими уважил, то и ему, Абу Рагиму, Имадеддину респект выказать не повредит. Сам не пришел — слугу с мешочком послал. Пришел слуга, поклонился, поздоровался вежливо, объяснил кто, зачем да от кого и протянул Насими мешочек. Насими на приветствие ответил и в мешочек сразу заглянул. Оказалось серебро. Дирхемы. Да не просто дирхемы, а постыдно, непристойно малое количество. Меньше десятка. Имадеддин аж скривился, чуть было на пол не сплюнул, но сильнее обиды поднялась в нем волна хитрости и язвительности: хитрость — чтобы собеседника на нужные слова вывести, а язвительность — чтобы ответить соответственно моменту, да так, чтобы потомки, смеясь, повторяли:

— Спасибо доброму человеку. Я оценил. По достоинству. Дарующего.

— Мой господин просит тебя, поэта рода благородного, принять этот скромный подарок в знак уважения и признательности.

— Да, я оценил. Скромность подношения в особенности. Его ведь зовут Абу Рагим, не так ли? И этот уважаемый человек известен не только тем, что занимает пост, сообразный его редким душевным качествам, но и тем, что весьма и весьма экономен.

— Мой господин не хуже других. И если вам, человеку ученому, пришлось не по душе его подношение, в том воля ваша, можете раздать его нуждающимся или выбросить в сточную канаву.

— Ответ человека гордого и достойного. Ты хорошо служишь Абу Рагиму, хоть и скуп он безмерно. Скажи мне, сколько здесь стоит погребальный саван?

— Три-четыре дирхема, уважаемый.

— Пусть будет пять дирхемов, чтоб из лучшей материи, соответственно положению покойного. Так вот, верни эти деньги хозяину, а на словах передай, что он даже на своей смерти целых три дирхема заработать сможет. А если тебе за такую весть порка грозит или еще какая неприятность — так оставь этот мешочек себе, но расскажи о случившемся людям на улице. Или в кофейне вечером.

— Я последую вашему совету, уважаемый Имадеддин. Не рискну я с такими словами к Абу Рагиму обращаться.

— Ну, тогда пусть будут тебе эти деньги халалом. Иди с Богом.

— Спасибо. Вы щедрей моего хозяина, да воздаст вам Аллах по сердцу вашему.

Слуга удалился, Насими с минуту посидел молча, потом зябко передернул плечами, мотнул головой, словно мысль дурную или ненужную отгоняя, и обратился к другу:

— Мне в мечеть надо, Ходжа. Посидеть, помолиться, подумать перед дорогой. Ты со мной?

— С тобой. Если молиться не стану, так у стенки посижу, о вечном подумаю.

— Да, конечно. Но сначала к цирюльнику, бороду подровнять да голову побрить, потом в хамам — очиститься перед молитвой.

— Отменно. Помоемся, острижемся, помолимся. Перед дорогой полагается быть чистым.

— Вообще полагается, не только перед дорогой. Ладно, спим, завтра вставать рано.

— Да, — уже засыпая, — еще и на базар. За сушеными фруктами.

— От которых человеческому сердцу большая польза бывает. Но сначала очиститься...

7

Баня — дело серьезное, и относиться к ней надо соответственно. Как к ритуалу. Сытно не есть, много жидкости не потреблять, а вот после бани да массажа самое лучшее дело — живот набить, да чем-нибудь посытнее. Сначала помыться, потом лечь на горячий мрамор, глаза закрыть и, прогреваясь, нежиться. А как разомлешь, станет тебя банщик специальной рукавицей тереть. Лучшие рукавицы из конского волоса плетутся — он жесткостью своей аж верхний слой кожи снимает, грязь пластами лезет, а ты кряхтишь, жмуришься да с одного бока на другой переворачиваешься. Потом банщик, если он свое дело знает, тебя душистым мылом потрет, омоет в двух водах, маслом умастит и массаж делать начнет, да такой массаж, что каждую косточку, каждую жилочку пальцами продавит-прощупает, суставы растянет, мышцы разомнет, а в завершение заберется тебе на спину ногами, всем весом разомнет, после чего в полудреме лежать оставит. Теперь и поесть можно, раз уж и телом чист, и духом спокоен, чего-нибудь сытного, чтобы до следующего утра о еде не думать: супу густого, чтоб аж жир не продуть, или чего мясного, чтоб кусок мяса в палец толщиной был, а потом кофе попросить, в маленьких чашечках, чтобы сытость вниз желудка продавить и дремоту прогнать... и еще чем баня хороша — что в ней, как в храме Божьем или в дороге, все равны: нет там больших и малых, сильных и слабых, все равно — что венценосная особа, что последний погонщик... Друзья, сытно перекусив просяным пловом с отлично прожаренным мясом, провели пару часов в атмосфере расслабляющего и дремотного равенства, после чего Насими напомнил Ходже, что перед дорогой собирался помолиться, а такое дело откладывать не следует. Пошли, нечего засиживаться, глаз закрывать не смей, в случае чего выспаться и в дороге можно. До Коньи путь неблизкий, но порой случается, что путь до Храма еще дольше, чем до другого города, где бы он ни находился. Пошли к мечети, Ходжа, я нынче наглый — выиграл да в бане омылся, мне ли перед смертными шапку ломать да поклоны бить? Обойдутся. Да и прав он, в конце концов, ну кому, как не ему, ходить с гордо поднятой головой, и кому, как не ему, руки в бока упирать и через толпу, смело толкаясь, протискиваться, и кому, как не ему, ступать уверенно, но без высокомерия? Высокомерно нельзя, на базарной площади и побить могут, люди там простые — уверенности, поднятой головы да рук в бока и у самих хватает, потому и высокомерия не любят. Азия... только на поэтов и хватает запала, и то при случае, если где в одиночку поймают. Короче, вы-

рядился Насими: и халат, серебром расшитый, бирюзой отликает, и чалма новая, цвета пенек молочных, и обувка знатная, всем взял — и ростом, и голосом, в бане и голову ему обрили, и бороду подровняли. А все равно глаза выдают: горят глазницы, то ли любовью к единственной, то ли к Богу Всевышнему. Щеки впали, скулы вылезли. Что, поэт, без нее не пишется, и все халаты с кошельками ненужными стали? Не собака, не привык в прыжке кости, что хозяин швыряет, ловить — гордый, обижаешься... Ну вот, раз вякал не по чину, так не гляди на сильных мира сего, как кот на собаку, потому что кот на собаку такими глазами, только сидя на заборе, глядит... оттуда способней и, опять же, безопаснее... и что с того, что на тебя из-за какой-то строчки ополчиться могут? Повода давать не надо, и со строчками осторожней... вот закричит осенний ветер, забьется пойманной птицей, застучит в оконный косяк незваным гостем, зальет стекло злыми слезами отвергнутой женщины, а ты рассмеешься, улыбнешься неизвестно откуда налетевшей мысли — осень, она везде думать и грустить заставляет, что на Востоке, что в Краях Закатных.. ты не тушуйся, зубов не сжимай, не ерзай, не дергайся, а как дойдет грусть-тоска до горла — сходи в храм Божий, мысли очисти... оно зачтется, все засчитывается, ничего без следа не проходит и в бездне не исчезает, не для того мир был создан, чтоб в нем хоть что-то без расчета прошло-миновало... сходи, на душе полегчает... клянусь Аллахом...

Подошел к мечети и, хоть пребывал в состоянии ритуальной чистоты после хамама, все равно совершил полагающееся омовение, после чего долго-долго молился, сидя лицом к кибле, а о чем — только гадать можно. Может, просил Бога сделать его, Насими, лучше, не дать высокомерия и самодовольства пред лицом Его, может, просил вдохновения и обещал, получив оное, не гордиться и не зарываться, может, долголетия просил, а может, помощи в делах задуманных, о цене не задумываясь, может, удачи в дороге, а может быть, спокойствия и избавления от желания и необходимости странствовать, может, душу отмаливал, а может, тело, может, за себя, а может, за других, может, денег, а может, любви, может, сил в ненависти, а может, отрешения от сомнений. Душа человеческая глубже пропасти, но Бог милосердием своим любую бездну покроет и через любую пропасть перенесет... Пока Насими молился, Ходжа тихо сидел в углу, изразцы и роспись на куполе разглядывая. Тоже размышлял, хотя особо религиозным и не был. Так, от случая к случаю или когда неприятность какая случится, к Богу взывал, по мере надобности. Но в храм порой заходил, то ли думалось ему там хорошо, то ли по другой какой причине. Насими молился несколько часов кряду — наболело, видать; счет потерял земным поклонам. Наконец, намолвившись, тихонько поднялся и вышел из мечети. Ходжа поспешил за другом, но, почувствовав, что тому надо побыть наедине со своими мыслями, ни расспрашивать не стал, ни беспокоить, лишь тихо, вполголоса пожелал: «Да примет Всевышний Аллах твои молитвы». А поэт пусть помолчит, поразмыслит, им иногда нужно, чтобы их оставили в покое, хоть ненадолго.

Перед самым выходом из города решил Насими, что не годится удачу свою от людей подальше прятать, раз уж от Бога ее все равно не спрячешь, потому и прошелся по десятку знакомых, выясняя, кто в славном Диярбекире самый честный и порядочный молла, что и гроша медного не уворует. Трудов, конечно, стоило, такого ж не сразу найдешь, но стучащему отворяют, и люди единодушно отправили Насими с Ходжой к старому молле, что жил в квартале Дилдже. Старик выслушал просьбу Насими раздать деньги нуждающимся, спокойно принял мешочек с монетами (часть денег друзья себе оставили, дорога все-таки, жрать хочется, да и мало ли что в пути понадобится может) и просто спросил: а зовут-то вас как, мне знать

надо, за кого молиться и чьи имена людям сказать, чтобы тоже Бога просили. Насими не ответил и быстро, чуть ли не бегом вышел из мечети, а Ходжа просто сказал: «Отец, пусть за странников молятся — так надежнее будет...»

Придя на базарную площадь, принялись искать караван, что пойдет в направлении Коньи или напрямиком в Конью, что еще лучше, — с людьми оно всегда веселее. На самом базаре задерживаться не стали (сухих фруктов так и не прикупили, здорово рассудив, что караван, идущий из Диярбекира, не может их с собой не захватить, а раз караван захватит, то и в пути наестся можно, и при надобности у купцов прикупить), расспросили людей, и словоохотливый медник указал им на высокого сутулого караванщика, направлявшегося с группой торговцев в Конью. Переговоры не заняли много времени: стихи Насими уже распевало полгорода, а Ходжа парой прибауток сумел расположить к себе как купцов, так и главу каравана. Помогающий путнику заслужит благоволение и милость Аллаха, не вопрос, правоверные, конечно, довезем и денег не возьмем, присоединяйтесь, мы веселым и словоохотливым людям всегда рады, ведь стихи и смех жизнь продлевают, а дорогу укорачивают. Нам ни возле костра, ни на верблюде места не жалко, а кому верблюжья поступь не душе — тот всегда может на ослика пересесть, тоже надежно, отставшего дожидаются, медленного поторапливают, а упавшего поднимают. Ну, с Богом, торговое дело медлительности не любит, а потому — в путь, не мешкая...

Караваны редко ходят в темное время суток, с наступлением сумерек опытные караванщики начинают искать место, подходящее для ночной стоянки. То ли в темноте с пути сбиться боятся, то ли разбойников или какой другой нечисти опасаются, но, скорее всего, коням, ослам и верблюдам просто надо отдохнуть. Да и людям не мешало бы, шуточное ли дело, день пути, с самого рассвета, да под солнцем, а то и дождем или ветром. Снег в тех краях тоже не редкость, но сейчас было начало лета. На стоянке караванной останутся, протянут шерстяную нить по периметру, чтобы змеи да скорпионы с фалангами беседе да сну не мешали, разожгут костер и усядутся в кружок. Поужинать, а после день прошедший обсудить да завтрашний обдумать. Огонь, он вообще к неспешным разговорам располагает, в особенности на сытый желудок. Не спалось душной ночью людям странствующим и народу торговому, все сидели у огня, беседовали да комаров отгоняли. Смотрели на огонь, слушали и вслушивались, внимали и вдумывались, делились историями, притчами, былями и небылицами. Вряд ли кто в этом деле мог сравниться с Ходжой, вот и рассказал он быль или вымысел — судите сами.

— Сказывали мне об одном шахе, что правил где-то далеко-далеко на Востоке. Давно это было, так давно, что теперь и не вспомнишь. Владыка тот был жесток, своенравен и вскорости, за отсутствием сопротивления, заимел скверную привычку, которая, как он надеялся, приведет ко вселенской славе, а именно — рубить голову каждому, кто осмелится вызвать его малейшее недовольство или даже просто попадет на дороге. Просчитать, на что именно разгневется владыка, — дело сложное, а потому жители благоразумно старались не попадаться ему на глаза, и когда его величество выходило на прогулку, — город пустел. Торговцы бросали лавки, гончары — круги, кузнецы — кузни, да что там люд торговый и ремесленный: самые обездоленные, носильщики, что за медную монетку весь день бегать и крутиться согласны, и те, крюки побросав, бежали быстрее нищих, которым вообще терять было нечего. Привычка шаха первоначально вызвала в стране массу недовольных, но они быстро замолчали, потому что голов у них вскорости не стало, а те, кто головы сохранил, были тем весьма довольны и за шаха разве что Бога не молили (нет, иногда, конечно, мелькала подленькая и эгоистичная мысль, что головы подданных сидят у них на плечах вовсе не для удовольствия его величества,

а для их, подданных, персонального пользования, но благочестивые и законопослушные жители гнали эту мысль от себя как преступную и неуважительную). Но есть Аллах Всевышний, который выше всех величеств, бывших, нынешних и будущих, вместе взятых, а потому все когда-нибудь кончается, даже самые страшные истории, вот и эта закончилась, когда один из многочисленных зятьев его величества не отрубил ему, помазаннику, голову. Чтобы самому величеством стать. Получилось. А чем развлекается нынешний венценосец, я не знаю, а если бы даже и знал — ни за что не сказал, потому что нынешний все еще царствует, а мне, знаете ли, очень нравится, как моя голова на плечах сидит. Как-то ловко у нее получается, уважаемые, сразу видно, что вещь на своем месте находится.

Ходжа закончил, но слушатели поостереглись смеяться громко и вслух — кто ухмылку в бороде прятал, а кто одними уголками губ улыбался. Боязно все-таки, хоть от городов далеко, а все одно — против власти. Долго, правда, смех сдерживать не получилось, черт с ними, с властями, они в городах да селах, а тут, в степи, одна власть — Божья, а потому хвост им шайтанов в самую глотку, только тут они нам смеяться не запрещали. После Насреддиновой истории разговор много быстрее пошел, да и веселее как-то, никто уже ни в выражениях не стеснялся, ни смеха не скрывал. В степи на день пути вокруг — все свои. Наверное. Потому и рассказано было многое, погонщик, например, поведал что-то о женщинах, торговец шелком — о том, как хитрый ученик медресе проучил купца, обвешивавшего покупателей, другой купец, который вез груз сушеных фруктов, прошелся насчет неправедных судей и невежественных мулл, не разумеющих, о чем в мечети говорят, а когда подошла очередь Насими, он поведал собравшимся следующее:

— Говорят, жил в одном селении человек, изнасиловавший собственную мать, совершил, нелюдь, мерзость неслыханную. Сначала отец его сам убить хотел за грех и бесчестье — брюхо вспороть или задушить своими руками, но потом передумал, связал накрепко и отвел нечестивца к кадию, чтобы все по закону было. Кадий внимательно выслушал историю, сделал испуганные глаза и сказал старику, чтобы тот оставил сына у него, а он тем временем придумает наказание, соответствующее преступлению: «Я в кадиях не первый год и многим государям служил, но такого негодяя встречаю впервые, что мне с ним делать — ума не приложу. Ты ступай домой, старик, а я тем временем со знающими людьми посоветуюсь, письмо кое-кому напишу, потому как в моих книгах и записях насчет такого случая ни слова не сказано», — говоря это, кадий топал ногой, гневно вращал глазами, зывал к Господу и грозно топорщил усы. Старик, видя такой поворот дела, окончательно уверился в том, что сына-мерзавца постигнет заслуженное и мучительное наказание, и с почти спокойной душой отправился домой (хотя какое тут спокойствие, упаси Аллах, так, к слову пришлось). И каково же было его удивление и негодование, когда он узнал, что его сына... назначили помощником кадия с перспективой занять место старого судьи после его смерти. Старик чуть с ума было не сошел от такой новости, считай, все сбережения на взятки спустил и не одну пару чарыков истрепал, пока до самого главы вилайета, области то есть, не добрался. Добился-таки, дошел, упрямец, да так и вошел в залу, в рваной обуви, а войдя, прямо с порога, этикетом пренебрегая, спросил у большого-пребольшого начальника, в чем, собственно, дело, что тут происходит и не сошел ли кто, чего доброго, с ума в канцелярии, из тех, кто приказы пишет. А может быть, чиновники просто перепутали, и это тезка его проклятого сына стал заместителем кадия, ведь не может такого быть, чтобы пресветлый шах, тень Господа на земле, такого нечестивца к себе прибил и над подданными своими власть дал. И усмехнулся начальник, оглядел старика с ног до головы и, скидку на простоватость да серость делая, объяснил по-

литику государственную: не гневи сильных, не рассуждай опрометчиво, раз назначено тебе судьбой землю ковырять — не забивай голову делами вышними. Но из уважения к сединам твоим — объясню. Если твой сын со своей матерью такое сотворил, то гляди, чего он с другими матерями сделает. А такие люди при любом шахе и всяком государстве — на вес золота, всегда понадобятся, потому как редкость большая. Все, старик, иди с Богом отсюда, я тебе свое слово сказал, а будешь упорствовать — так у нас для мелких надобностей молодцов вроде твоего сына — с полдворца, и если сам спокойно не уйдешь — кликну — вынесут и с сединами не посчитаются. Иди, старик, не мешай нам делами государственными заниматься.

На несколько дней пути вокруг были только свои, но никто, опасаясь последствий, так и не рискнул рассмеяться.. разве что один Ходжа в бороду ухмыльнулся. Молчание, что несколько затянулось, нарушил глава каравана, предложив лечь спать, сетуя на то, что путь еще неблизкий, а потому проснуться следует пораньше. Никто ему возражать не стал, договорились, что погонщики будут сменять друг друга возле костра до самого рассвета, чтобы не погас, да и вообще осмотрительность в пути — дело первейшее.. спокойной вам ночи, правоверные... которые молящиеся — о молитве не забывают.

Спалось Имадеддину в ту ночь беспокойно, наверное, дорога сказала или напряжение нервное. Снилось ему в ту ночь многое: кто-то шептал стихи на древних, совершенно забытых языках, чье звучание напоминало шорох сухой травы под шагами женщины, снился ветер, несущий всежжигающий зной и вдохновение, что иссушает душу, снились ковыльные степи, где человеку некуда и незачем спешить, снилась незатейливая мелодия, слова на которую ложились сами собой и как-то сразу складывались в рифму. Много чего в ту ночь снилось: женщины, вынимающие человеческую печень для гадания и отвратительной тризны, видел сперва незасеянное, а затем несжатое поле, бесплодные сады и неубранный виноград, потом увидел самого себя, как бы со стороны, лежащего на земле в неестественной позе, с бисеринками пота, выступившего на лбу, видел людей, сидящих в зеркалах и хватающих каждого, кто подойдет к ним на расстояние вытянутой руки, снились люди, что копали могилу, а на вопрос: «Для кого стараетесь, правоверные?» — ответили: «Для тебя, Насими, для тебя стараемся, мало осталось, сейчас закончим, а ты ложись, не мешкая...» Жутковатый сон получился, другого враз подбросило бы, а Насими проснулся не сразу, поворочался немного, дурные сны отгоняя. Такого сразу не съешь, не напугаешь, а если даже и напугаешь — стихами вывернется, вот и получится, что не зря боялся, раз стихи получились... любой сон, любой кошмар и любая боль того стоят... Говорят, что эти стихи он написал по дороге из Диярбекира в Конью.. и очень может быть, что сразу после пробуждения...

Пред сладостью твоих невиданных красот
 Несладким сахар стал, горчит сладчайший мед.
 Красивую, тебя с богоподобным ликом
 Над племенем людей Аллах да вознесет.
 Слова твои — вино или вода живая,
 Мне б должно их воспеть, да слово
 Не идет...

...Стоял парень возле девушки, держал ее за руку, шептал ей слова нежные, таять и млеть заставляющие, и спросила она у него, станет ли он обижать ее, на что тот ответил: «Конечно же, нет, милая», а про себя подумал: «Это уж как водится», после чего сам спросил у нее, станет ли она с ним стервозничать, на что та тихо от-

ветила: «Конечно же, нет», а сама подумала: «Уж это как получится». Знал Насими, о чем пишет да что описывает, с кого рисует да что срисовывает, знал и чувствовал, а прочувствовав да через себя пропустив, делился честно, ни от кого ничего, ни единой мысли, ни единого слова не утаивая. И было то слово всем понятное, но не всем доступное, каждому слышное, но не всем слышимое... а что в чайхане да на площадях читается, то и во дворце рано или поздно гулом отзовется... но лучше бы не отзывалось... целее был бы... но как бы Насими ни рассуждал — в одном он был прав, когда о любви писал: ради нее мы совершаем массу глупостей или наоборот... то, что мы ничего ради нее не делаем, и есть величайшая глупость...

Тот праведнее всех, средь смертных всех умнее,
Кто Истину найти в своей любви хотел,
Но в рай не попадет и не поймет Корана
Тот, кто в огне любви ни разу не горел...
Один пошел в кабак, другой сидел в мечети,
Как знать, кто более из них
Аллаху порадел...

Получилось, получилось же, клянусь Аллахом, да так получилось, что людям показать не стыдно... ни на Востоке, ни в целом мире.. краснеть не придется, а потому — пиши дальше, что бы там тебе по ночам ни снилось... ты и темноту видел, и к свету привычен... Это, наверное, вообще не стихи, вовсе не сочетания рифмованных, пусть даже выстраданных слов, не ладные звуки, сложенные вместе, не гармония строчек и не самолюбование, меж ними брызжущее, это сама Любовь, что из груди наружу вырвалась... была только твоей, а многих содрогнуться и пожить заставила, потому как всех слушавших словно свинцом расплавленным обрызгала...

8

Караван вошел в Конью через Восточные ворота. А сама Конья на земле без малого четыре тысячи лет стоит, еще при хеттах Куванной звалась и в «Деяниях апостолов» упоминается (тогда она называлась Икониум). Так что не провинция это вовсе и не дыра заштатная. Не стал бы сам Омар Хайям в захолустье жить, и Джелаледдин Руми в зачуханном селении жизнь бы не закончил. И еще: именно в Конье находится могила Платона. Сами понимаете, нет никаких причин полагать, что этот город не простоит до самого конца света. Друзья поблагодарили главу каравана и добрых спутников и решили сначала город осмотреть, а потом уж о ночлеге подумать. Погуляли по широким (не в пример прочим восточным городам) улицам, почтили вниманием цеха мастеров золотых дел (где перестук молоточков навел Насими на пару мыслей насчет ритма стихосложения), благо деньги были: не купим, но и нищими себя, монетами позвякивая, перед мастерами не покажем. Подивились искусству людей умелых, языками поцокали, попили холодной воды со льдом, жаркого дня ради, много исходили, аж ноги стерлись, и не диво — столько мест интересных обойти. Памятуя о гостеприимстве, о ночлеге не задумывались: куда постучимся — там и примут. До заката ходили, аж животы подвело, вот и ткнулись в первую попавшуюся дверь. Постучали, деликатно, вежливо, впусти, мол. Дверь не открылась, но хозяин дома из-за так и не распахнувшихся ворот громко, по-хозяйски, спросил, кто и чего надобно. Ходжа аж взвился, сказала долгая дорога:

— Знаешь, уважаемый, в наших краях принято гостя в дом приглашать.

— А в наших краях принято, чтобы гость для начала представился кто, куда да зачем. А если кому обычай здешний не по душе — так на базарной площади караван-сарай стоит.

— Не применим воспользоваться твоим советом, о гостеприимнейший.

— С Богом, правоверные.

Наши герои, демонстрируя высшую степень неудовольствия и презрения, аж на-земь сплюнули от возмущения (не по-людски как-то, путники же, крова предоставить не хочешь, так хоть воспитание покажи, раствори ворота, сошлись на больных домочадцев, жена, мол, заболела или детишки, извинись и дорогу рукой покажи, а так.. нехорошо... очень нехорошо... фу, тьфу, а не хозяин дома). Но в пути, даже на Востоке, всякое случается, смотря на кого нарвешься, кто накормит, а кто отмажется, который пригласит, а который к ближайшей гостинице дорогу укажет, кто стол раскинет и последним поделится, а кто... ну, да Бог им судья, и поделившемуся, и кусок хлеба, при наличии двух или трех, зажавшему, а Насими с Ходжой, хочешь не хочешь, пошли постоялый двор искать. Головами, покачали с укоризной, возмутились про себя, но, виду не подав, без ругани дальше пошли... спрос до Багдада доведет, а не то что до Киева, вот и набрали на странноприимный дом. Постель чистая, еда сытная, на стенах следов клопов давленных — всего ничего, чего ж еще путник пожелать может? Правильно, с дороги еды да бабы очень хочется...

— Не знаю, что ты делать собираешься, а у меня больше месяца женщины не было. Э, Имадеддин, ты со мной или не слышишь, о своем думаешь и слышать не хочешь?

— Еще бы, шайтан всегда найдет для бездельника занятие. Куда идти, уже знаешь?

— Да это дело недолгое, пройду пару кварталов да у первого встречного и выясню.

— А он окажется истово верующим, добропорядочным семьянином, врагом разврата и засветит тебе под глаз за то, что ты осмелился предположить, что в его квартале блудницы проживают. А так как разговор будет происходить не на твоей улице (иначе с чего бы ты у людей насчет блудниц расспрашивал), сразу понабегут его друзья и знакомые, тоже истово верующие, и разукрасят тебя во славу Аллаха по грехам твоим.

— Верно говорят: привяжи двух коней рядом — они если одного цвета не станут, то повадками точно отличаться перестанут.

— Дело за малым — осталось тебе в стихотворцы податься. Чтобы пословицу оправдать.

— Ей, пословице, и без меня оправданий да доказательств хватает. Ну что, пошли?

— Нет, Ходжа. Я к проституткам не люблю ходить.

Насими отказался, а Ходжа куда-то ушел и вернулся в караван-сарай только под утро... а как именно, где да с которой из дев он время провел — сами дорисовывайте, а я вам для этого целый набор аксессуаров оставляю, как то: кальян, резные витражи, мягчайшие подушки, что сплюснуты сверху, пушистый ковер на полу, арабская вязь на стенах, восточная утонченность, аромат благовоний, дым сандалового дерева, нарды, шербет, рахат-лукум, розовая вода для омощений, звон монисто, высушенные травы от сглаза, мужского бессилия и женской холодности, чеканные вазы и кувшины с изящно изогнутым носиком, кинжалы дамасской стали на стенах... Может, Насими к девкам не пошел просто потому, что все о той, которой с ним не было, думал... такое случается... напасть, сглаз, морок, приворот...

...Насреддин вернулся только под утро, улегся на тахту с видом довольного кота, разве что мурлыкать не стал, кряхтел, ворочался с боку на бок, шмыгал носом и потягивался, пока производимый им шум не разбудил Имадеддина:

- Ну что ты за человек такой беспокойный, дай поспать, не шуми, а?
- Да я не шумлю, так, потягиваюсь.
- А потише кряхтеть и ворочаться не пробовал?
- Здорово ты, Насими, ухватками моего покойного двоюродного дядю напоминаешь. Сварливостью и занудством в особенности.
- Я уверен, что твой двоюродный дядя, да смилуется над ним Аллах в День воскресения, был достойным человеком.
- Еще бы, чего-чего, а достоинства ему было не занимать. У него в общей сложности восемь жен было. Ну, не одновременно, понятно, кто ж столько сплетен да криков выдержит. С которой из жен развелся, а которых так пережил. Вообще, человек был очень солидный. Я это к тому, что ты характером вроде него, даром что тот ни читать, ни писать не умел.
- Зато ты весь в него, на правах родственника. Грамотностью в смысле.
- Это ты зря, я, хоть, как некоторые, стихов не слагаю, но и читать и писать умею.
- Да знаю, знаю, это я так, шутя огрызаюсь. Сам виноват, первый начал.
- Так я ж еще не закончил. Про дядю я уже высказался, а теперь слушай, что мне девушки рассказали.
- Воображаю.
- Так вот, разговорился я о поэзии с девушкой.
- Лучше ни места, ни собеседницы не нашел, самое оно, прибежище изящного искусства.
- Не скажи, они не просто... и музыкой слух усладить способны, и беседой гостя развлечь.
- И мнение о стихах высказать, я так понимаю?
- Верно понимаешь, все именно так и было.
- Живенько представляю. Хоть халат запахнул, об искусстве разговаривая? И до чего договорились? Может, какие новые методы стихосложения или рифмы узнал? Поделись, а не то я уже сам туда сходить порываюсь. Интересно очень...
- Хочешь — сходи, а не хочешь — так сиди и слушай, те двери для всех открыты, с того и прибыль имеют.
- Имеют, имеют, кто бы сомневался. Так что там дальше было?
- Так вот. Повела мне девушка, что тут, в Конье, каждый год состязание поэтов проводится. Чуть ли не из самого Герата пишущие в Конью сходятся, а в этом году быть состязанию через два дня. Попробуешь силы?
- Новое не написано, а со старым выходить как-то не хочется.
- Ну, у тебя же целых два дня есть.
- Да, что верно, то верно. Целых два дня. Ладно, я спать хочу, не иначе как до полудня меня не буди.
- А потом?
- Потом растолкай. Вежливо, без подзатыльников. Проснусь — подумаю. Два дня, два дня, — бормочет, засыпая.

Вроде уже в сон провалился, но вдруг перехватило дыхание и защемило в груди, да так защемило, что Насими был вынужден рукой о стену опереться, чтоб не провалиться куда или чтоб просто легче стало, отпустило. Закусил губу, сжал другую руку в кулак, аж костяшки побелели, но не застонал, стерпел, только испарина на лбу мелкими бусинками выступила. Болело, сильно болело, словно какой-то неве-

домый, маленький, но очень злобный зверь начал грызть его изнутри, проедавая себе путь наружу. Зверь не щадил ни ребер, ни сердца, грыз на совесть, и казалось, вот-вот уже выберется наружу, разорвав грудную клетку в клочки. Странное было место, страшное было место, завораживающее, манящее, отталкивающее, мурашкой крытое, ароматом напитанное, не зря Азербайджаном зовут, Азербайджан, А-з-е-р-б-а-й-д-ж-а-н, «а» на «о» и «е» на «о», а оттуда и до «а» с «и» недалеко, так буква прыгает, так она переходит, так буква меняется и так перескакивает, буква меняется и буква меняет, буква говорит, шепчет, а прошептав, определяет: Азербайджан — Озорбийжон, сам же тот «Озор-бийджон» в переводе с фарси — «гиблое место» означает, и всякий, на той земле воды испивший или преломивший хлеба, Всевышним благословенного, может и проклятым стать. Всякого же вернувшегося оттуда — сторонись, сын человеческий, в Бога верующий... дыханием отравит, взглядом опойт, растлит, наизнанку вывернет ножами азиатскими, глазами, до европейской сытости жадными, запахом розы, той розы, что, невзирая ни на что, как в цветнике, так и возле канавы произрасти способна. «О-зор-бий-жон», — пробормотал и затих... снова заснул... сейчас он придет в себя, вот выгнется в последний раз и на полчаса в небытие провалится. А как проснется, попьет воды, утрется и напишет:

Мир чуден, но слепым откуда это знать?
 Мир красочен, но им откуда это знать?
 Покуда ты живешь, считай, что мир прекрасен,
 Поскольку неживым откуда это знать?

День Страшного суда и вправду будет страшен,
 Мы темны, нам, таким, откуда это знать,
 У грешника спроси, страшны ли муки ада.
 Блаженным и святым откуда это знать.

Ходже написанное понравилось, а Насими долго бился со второй строчкой, пытаясь то ли изменить, то ли улучшить. Ходжа и так ему втолковывал, и эдак, мол, успокойся, хорошо написано, что калам грызешь, к новому переходи. Уговорил-таки. Ничего Насими менять не стал, прислушался к другу:

От «я» откажись, преврати свое сердце в руину,
 Тогда и сокровища мира в восторге узри,
 Глазами души посмотри на источник Вселенной —
 Там нет ничего, кроме Бога,
 Его краем глаза узри.

Коль сможешь лик Божий узреть,
 Отыщи тождество ты,
 Божественной сути святые истоки узри.

Многие пробовали, но не у всех получалось, многие старались, да не хватило умения, которые шли, да дойти было дано не каждому, кто исписался, а кто по дороге отстал. Дорога ведь эта не рафинадом облицована, не марципанами выложена, на ней все больше камни да колючки, босиком не пройдешь, вприпрыжку не минувешь... и шел Насими по дороге той, как ходилось (в чалме цвета молока с сахарным песком), и писал Насими, как писалось. Кому не нравилось — свободен был уши заткнуть или отвернуться, до поры до времени... свободой пользовался...

Время шло больно веселое, весь Восток грозил огнем заняться, снимались с места целые народы, рвались в куски границы, валились династии, весело было, сегодня камни таскал или в лавке торговал, а завтра тебя волной во дворец закинет, а спадет волна — пожалуй на плаху, с неделю назад сотней командовал, а теперь целая армия в подчинении, но если не заплатить ей вовремя — тебя же первым в куски рвать станут... веселое время, новые страны, новые принципы.

...Окровавленной занозой сидел страх в сердцах богатых и знатных с тех самых пор, как погулял по малоазиатской земле от тогда еще Константинополя чуть ли не до самого Багдада шейх Бедреддин Симави с ребятами, гулял с размахом, иначе страха бы не посеял... восстание, конечно, разогнали, самого Бедреддина, в горы загнав, повесили, но даже спустя несколько лет зрачки крестьян нет-нет да и полыхнут измирским заревом, скрипнет песок на стиснутых зубах, заиграют желваки, и сорвется злое слово с губ ремесленника... и снова окрашивается рассветное небо цветом страха власть имущих, цветом гнева и крови, цветом ярости и стыда, и для живущих чужим трудом да трудами несправедными цвет этот был страшной надвигающейся ночи... только срок дайте — всех повырежем, когда времена подойдут да воды нахлынут, не дай вам Боже, чтобы нога подсеклась, затопчем ведь, отольется вам слезами кровавыми золото нашего пота да стиснутое дыхание, поскользнетесь еще на выхарканном в каменоломнях, обожжетесь разожженным в кузницах, вляпаетесь еще в замешанное на гончарном кругу, раз за душой ничего и на душе пустота, так мы душу из вас обязательно вынем... И шла волна по всему Востоку, что у Бедреддиновых ребят все общее, кроме женщин, из одного котла едят и людям всех вер рады, захотел помолиться — отошел в сторонку и молишь, как веруешь, как умеешь... и стекались к ним со всех сторон замордованные да налогами задавленные, за неурожаем поротые, за недород битые, за пролитое наказанные, и греки, и турки, и евреи, и курды, и арабы, все одним матом крытые, тем же дождем моченные, тем же хлебом насыщаемые, теми же словами утешаемые. Бежали к нему и отставные солдаты, чьи глаза, единожды кровь увидав, остановиться были не в силах; шли тайными тропами горцы, которых не раз пытались привести к покорности; разоряя родные деревни, бежали крестьяне, битые-поротые, полузадушенные налогами; пробирались в ночи ремесленники, привыкшие видеть в полумраке мастерских, — разношерстный люд сходился, но всем и каждому до хрипа хотелось свободы... И в муках, в крови, в зареве пожаров рождались новые принципы человеческого общежития: раз мы прекрасно обходимся без власти предрешающих и промеж себя сами договориться способны, то налоги нам платить незачем. Костяк движения составляли люди из «ахи» — цеховых братств («ахи» и есть «брат», в переводе). Умелые, выносливые, спаянные достаточной для восточного разгильдяйства дисциплиной, они обучали новоприбывших нехитрому уставу: каждый из нас — твой брат. Каждая из нас — твоя сестра. У тебя нет ничего, что принадлежало бы безраздельно тебе, кроме ложки, тарелки и женщины, что твоя только по ее согласию. Все остальное твои братья могут взять на время, не спрашивая на то твоего разрешения. Ты тоже можешь пользоваться их вещами в любое необходимое тебе время. Но учтивость приветствуется, а споры и недоразумения решаются умудренными опытом мюридами (верными учениками, из тех, кто поопытней). Если ты недоволен решением, вынесенным ими, ты можешь его обжаловать у самого Бедреддина, если он не в отъезде. ПрIMITив? Безусловно. Коммунизм? Однозначно. Но сделайте скидку на пятнадцатый век, ведь еще нет анабаптистов, еще не слышен голос Мюнцера, нет Бебеля, еще не родился Маркс, еще не появился организованный и вообще пролетариат, но уже разогнаны чомпи, уже вонзен кинжал в шею Уота Тайлера, уже короновали раскаленным железным обручем

Гильома Каля. Именно так, и никак иначе идет борьба за более справедливое социальное устройство, именно так и получают, а точнее, вырывают с мясом право на хлеб, голос и справедливый суд, а потому — не смейтесь над их наивностью, грех это перед Богом и вашими предками.. Движение Бедреддина Симави расплзется до территории современной Болгарии, а самого Бедреддина схватят и казнят в ныне греческом городе Серре то ли в декабре 1416-го, то ли осенью 1417-го, а в летописи «Шараф-намэ» (Книга Славы) вообще говорится о 1420-м... Но я возьму за точку отсчета именно декабрь 1417-го, чтобы сумбура да путаницы в рассказе не было, а вы уж сделайте такую милость и поверьте мне на слово... Смерть вождя не всегда означает смерть движения. Разрозненные отряды повстанцев, верных уставу Бедреддина, беспокоили всех раззолоченных еще лет, наверное, десять, пока не были загнаны в леса и горы, словно дикие звери, и не казнены после жесточайших пыток. Одно имя «Бедреддин» вызывало страх, хотя его почти непререкаемый авторитет богослова не позволил никакой власти запретить его ученикам возвести ему мавзолей... Личность харизматичная, убежденная, умеющая убеждать и не разочаровывать сторонников, Бедреддин, безусловно, заслуживает отдельной книги, но у нас есть свой герой, а потому, уважаемые, поспешим-ка мы снова в славный город Халеб, что ныне, в Сирии находясь, Алеппо называется, а в те далекие времена был вотчиной египетского султана Муаяйяда, где, за дальностью Каира, правил наместник его величества Иззуддин Шамсаддин ибн Амин-уд-Довле... но перед этим буквально несколько строк Назыма Хикмета, о Бедреддине и бедреддиновцах:

За то, чтоб вместе всем одним дыханьем петь,
 Чтоб вместе всем тянуть с одним уловом сеть,
 За то, чтоб сообща поля пахать,
 чтоб из железа кружева ковать,
 чтоб вместе всем срывать плоды с ветвей и
 есть инжир медовый в общем доме,
 чтоб вместе быть всегда и всюду,
 кроме как у щеки возлюбленной своей...

...Трудно читать стихи на голодный желудок, христианин не поймет, мусульманин отвернется, иудей и слушать не станет. А потому ноги всех, кто в Бога верует, сами ведут туда, откуда приятно тянет запахом свежесдобитого хлеба. В особенности если до полудня проспал и жрать уже до судорог хочется. А откуда запахом свежесдобитого хлеба тянет, то любому нос подскажет и ноги выведут. На базар, разумеется, и помните, люди странствующие, что чем непрезентабельней помещение, тем еда вкуснее. И пусть подушки там, что под бока кладутся, не шелковые, и пусть ковры там, на которые садиться положено, истертые, и кто-то приткий у кувшинчика для омовения рук уже носик отколот, качество еды с лихвой все эти недостатки перекроет. Да так перекроет, что ты, путник, о недостатках этих и вспоминать не захочешь, а если чего и захочешь, так только добавки и еще раз в это место вернуться. И шли Насими с Ходжой по базару, протискивались между людьми торговыми, хитрыми, с глазами масляными, голосами медовыми. Потолкались сперва у лотков со сладостями, с ароматными травами, благовониями, прянощами моллукскими, попили сахарной воды со льдом, поглядели на гулящих дев, что для вящей привлекательности бирюзой иранской шею и пальцы украшали, помотал Насими головой, просто так, из удали, подмигнул самой нахальной, а когда

она обиженно показала ему язык, залился веселым смехом человека, которому совершенно некуда спешить. Во всяком случае, сегодня. Но поспешить все-таки пришлось. На шум. А шум и на без того шумном базаре означает, что или кто-то чего украл и этого кого-то сейчас всем базаром ловить станут или поймали уже и бить собираются, или же просто дерутся. Для собственного удовольствия. Мало ли поводов на свете. Да и вообще базар... и людей много, и товаров полно, мозгов же, как всегда, не хватает... вот сойдутся двое, схожие-похожие, челюсти широкие, а лбы узкие, читать не умеют, насчет писать и не спрашивай, сцепятся сдуру, сперва на словах, потом на кулачки перейдут, в пыли вдоволь поваляются, а как кровь глаза зальет — за ножи возьмутся, и раз-раз — пошли рабы Божьи: один к Царю Небесному, а другой — к царям земным, на плаху, во искупление крови пролитой, или в каменоломню, чтоб вину отработать... обоим грех, потом одному смерть, а другому, если повезет, — карьер каменный... мрамор на украшения резать да глыбы взад-вперед перетаскивать. Пыль глотать да темя с боками под солнце подставлять, что та же смерть, только медленная, немного отсроченная. Ну а раз так, то нельзя допустить, чтобы две души сразу погибли. Содействие в душегубстве получается, обязательно разнять надо. Правда, есть риск ножом в бок получить, но нерискующий мало того, что чужой души не спасет, так и свою погубить рискует. А потому Ходжа с Насими переглянулись, убедились в том, что подумали об одном и том же, и бросились разнимать. Тут главное — под руку дерущимся не соваться, чтоб самому не попало, сзади подойти надо и, вместе с другим разнимающим драчуна под руки подхватив, от противника оттащить. Главное, чтобы до ножей не дошло — можно просто не успеть. Не дай Аллах под чужой нож да в чужой драке попасть. Глупо и даже стыдно. Наши герои стыда с глупостью дожидаться не стали и дерущихся враз растащили...

Узкий лоб не всегда означает кулаки умелые. Наоборот бывает даже чаще. Вот и эти, которые драться собирались, сразу поняли, что да к чему, — вырваться не стали, а то, не ровен час, разнимающих сгоряча обидят, и за такие дела разнимающие в участвующих превратятся. Присмирели, грубить на всякий случай воздержались, даже поблагодарили Ходжу с Насими за то, что те помогли им избежать греха мордобития, и вежливо пригласили друзей разделить с ними трапезу. Ни Насими, ни Ходжа отказываться не стали: отчего бы не пойти, раз приглашают? Ну и заглянули в первое попавшееся заведение. Не подобает уважающему себя и сотрапезников человеку принимать пищу в молчании, застольная беседа — дар Божий: и сердце веселит, и время скоротать помогает. Уселись, попросили плова в мисках побольше да воды в чашах похолоднее. И завели беседу неспешную, что да кто, за чем драться начали да с чего разнимать полезли. Драчуны братьями оказались. Двоюродными, правда, но все равно, драка между родственниками еще никому чести не делала. А началось все с пустяка, как все безобразия и начинаются. Искали они седельника, седло старое отремонтировать, ну и споткнулись на вопросе, к которому именно обратиться. Слово за слово, вспомнили старое — кто и когда кому неуважение оказал или неприятность мелкую доставил — и сцепились. И одному Богу известно, поножовщиной или членовредительством эта ссора закончилась бы, не подоспей Насими и Ходжа вовремя. Самым же поучительным оказалось то, что, пока братья хватали друг друга за грудки и толкались, седло, подлежащее ремонту, им пришлось положить на землю, чтобы не мешало. А делать этого на базаре нельзя ни при каких обстоятельствах, больно люди там ушлые. Украли. Насими, конечно, от души посмеялся над незадачливыми драчунами и высказался в том смысле, что, пока двое дерутся, всегда может найтись кто-то третий, кто с этого дела хорошую прибыль получит. Впредь, сказал, уроком будет. Не ссорьтесь или,

если без этого никак нельзя, всегда одним глазом на вещи поглядывайте. А то в следующий раз или ишака уведут, или кошелек с пояса срежут. Ходжа, как водится, добавил, что при известной сноровке жулье, что всегда на базаре ошивается, даже пояс у незадачливых драчунов увести может, да что там пояс, штаны на ходу сдернут, если зазеваешься. Посмеялись, с чего бы над делами минувшими и не посмеяться, особенно если плов горяч, а сверху мясо горкой, когда же еще радоваться прикажете? Радость застольной беседы — дело всегда душу греющее, хоть жара на дворе, хоть холод, но у Насими на уме вертелось очередное четверостишие, которое надо было оформить да отшлифовать перед состязанием, потому что вдохновение — такая штука: уйти решит — остаться не умолишь, погодить не упросишь, сбежать захочет — так цепями не удержишь, а вздумается ему промеж пальцев стечь — так сжимай кулаки или нет — все равно ведь уйдет, убежит, растечется. А потому момент ловить надо, хоть посохом на песке строчки складывай, не ровен час, из головы вылетят, ищи их потом среди запахов, образов да видений, хоть ту же самую стену пальцами вновь и вновь щупай, чтобы ощущения вернуть, нет — и все тут, как тогда, не выходит. Такая вот участь, жизнь-судьба у поэтов, и слышится в ней что-то страшное, а потому будьте к ним снисходительней, если им куда срочно уйти надо. Насими незаметно, глазами, показал Ходже, пора, мол, состязание скоро, мне до него еще кое-что набросать надо. Ходжа всем своим видом показал, что неудобно, позвали же, тут, мол, и пиши, если зудит да талант девать некуда. Но Насими продолжал настаивать, делая страшные глаза, и Ходже не оставалось ничего другого, как проявить понимание, потому что спорить с поэтом, у которого началось... Куда там... Потянули время, самую малость, чтобы братьев не обидеть, и распрощались, шутиливо наказав больше не ссориться, а то вдруг их, Ходжи с Насими, поблизости не окажется, тогда или ребра затрещат, или, упаси Аллах, дело смертоубийством закончится. Распрощались вежливо, приняли еще раз слова благодарности (расплатиться братья не позволили) и, провожаемые сотней благословений, покинули харчевню. Место найти, где Насими мысль, в воздухе витающую, в стихотворный вид привести сумел бы, — дело нехитрое. Завернул Насими за первый попавшийся угол, сел на землю и давай на песке пальцем строчки выводить, а как остался оставшимся доволен, вздохнул и сказал Ходже: готово, теперь и на площади, горло рвя, прочитать не стыдно. Вот... оцени...

Любви страданье длится много дней.
 Тем сладостней любовь, чем боль сильней.
 Любимые наносят нам обиду
 Тем большую,
 Чем сами холодней.

Порой мы, любящие, счастья ищем
 В недобрых взглядах, в звуке злых речей.
 Любовь вам не ответит на вопросы —
 Как, почему, зачем, откуда, кто и чей.

Создал я б книгу
 Красоты любимой,
 Сто тысяч глав обширных
 Было б в ней...

...Человек без тоски подобен животному, тоска двигает струны, что протянуты к сердцу, и предвосхищает появление вдохновения, а без грусти вдохновение редко бывает полным, написанное же в лучшем случае оставляет привкус половинчатости.. спасибо, если не вымученности, потому что вымученно написанное совершенно никуда не годится... да ты, Насими, и сам вымученное на людях прочитать не согласишься... не к лицу, сам Насими все-таки, и имя есть, и слава вперед тебя бежит, а потому пока тебе самому написанное не понравится — ни за что на людской суд не вытащишь, сиди и шлифуй, рифмы правь да размер строк под стандарт подгоняй, и невелика беда, если к состязанию опоздаешь, ведь не стыдно на ишаке по улицам ездить, стыдно у всех на виду с него, длинноухого, наземь грохнуться, не так ли? А теперь — на состязание, товарищи, смотреть, слушать, сидеть тихо да дыхание сдерживать — уважаемые люди соревноваться будут, о любви говорить, о Боге в стихах беседовать, когда и поссорятся, но им без этого — никуда и никак, что они без этого за поэты? Так, недоразумение, рифмы складывать умеющие... Вперед, вперед, слушать да смотреть будем...

...Сидел люд пишущий, на состязание пришедший, на коврах да подушках мягких не где-нибудь, а в доме местного богача, торговца шелком, который сам стихов не писал, но поэзию любил, да еще, говорят, с женой недавно рассорился, вот в пику ей и позволил провести состязание у себя, да не просто позволил, а долго-долго устроителей упрасивал, не откажите, мол, в просьбе скромной, мне честь, а пишущим — комфорт, шербет да прочие удобства, помимо чести и уважения. Смотри, мол, жена, да дуйся дальше, надоели мне некультурность твоя да скандальность, гляди, с кем дружбу вожу, — люди образованные, стихи слагающие, так что зря ты мне на мою неотесанность да пузо большое пеняла. Ну да, толстый был, не без этого, так купцу крупному по-другому нельзя — худоба да резвость хозяину большой лавки ни к чему. Это разносчики должны subtilностью и легкостью членов отличаться, потому как тем и кормятся, а для купца живот — первейшее дело. Солидности прибавляет, конкуренты и соседи завидуют, поставщики, опять же, при случае в долг верят, да и как тут не поверить-то? Животик круглый, ножки коротенькие, сам из себя весь такой с ленцой, медлительный, куда ж он с качествами такими да резвостью отсутствующей денется? Да и вообще торговец, себя уважающий, ни в коем разе не должен первым из-за угла дома появляться, а только за животом следовать, сперва живот, а потом хозяин. Соседям на зависть, поставщикам на радость, султанской/ханской/царской/президентской казне на заметку. Поведение же у лавочника должно быть солидное, сдержанное, некрикливое, крики — они, опять же, более разносчику приличествуют. А хозяин — он всем продает, но никого и ни под каким видом в лавку не зазывает, кому надо — тот сам найдет, а если сам не найдет — так люди подскажут, был бы в доме мир да покой... а купцу — все равно спасибо...

...И настал этап стихотворного состязания, где самым важным является импровизация, да не просто импровизация, а импровизация насмешливая, острая, язвительная. В ней самое главное — соперника высмеять, уколоть в стихотворной форме, да позлее, с условием ни рода, ни народа, ни веры его не ругать и не трогать. Резвитесь, мол, поэты, дразнитесь, пишущие, но в рамках, а то и до крови недалеко, а ею только на бумаге писать можно, если совсем неумоготу, а на пол или землю проливать — не годится... в рукопашной не сходиться, не в рифму не браниться, после — побрататься. Желательно... Насими достался противник малоизвестный (сейчас о нем разве что специалисты вспомнят), о себе особо ничем не заявивший, а из литературного наследия — только то, что с самим Насими в Конье на состязан-

нии схлестнулся. Стишата посредственные, характер скверный, ругательный, а скверный характер простителен и терпим только при наличии таланта соответствующего, вот Насими он был бы к лицу, а Джангиру (Джахангир, Джихангир) Дуньямалы (соперника звали именно так) — совсем не по чину. Джангир родился где-то под Исфаханом, роста был невысокого, лицо в оспинах (живучий, выжил, выкрутился), в зубах нехватка (били, видать, не раз, за злой язык да плохой характер) да пальцы короткие. Если, до седины дожив, ни разу такого не встретили, то вот вам совет: не доверяйте гусю такому ни при каких обстоятельствах, не зря про короткопалых да постоянно шурящихся старики всякие разности говорят... старые люди зря болтать не станут... И вышел этот Дуньямалы-Джихангир, подбоченился, чуть ли не на цыпочки встал, чтобы ростом выше казаться, и давай над Насими подшучивать, да не по-доброму, а плохо так, со злобой. Мол, и сапоги стоптанные, и халат истершийся, и штаны худые, аж естество просвечивает, знать, не кормит поэзия, не поит, хотя поить должна, потому как под глазами у Насими — круги синие, то ли ночи бессонные, то ли чаши бездонные. Как он все это в рифму сложил да в стихотворный порядок привел — цитат приводить не стану, литературных достоинств там мало, а смешного — и того меньше. Хамства, однако, хватало, без малейшего уважения насмешки строил. Прибавьте к этому неприятный, скрипучий голос и вытаращенные бараньи глаза. Насими, казалось, не было никакого дела до Джахангировых укулов, грозящих вот-вот перейти в прямые оскорбления: стоял себе, опершись на посох. Как вдруг поднял глаза на соперника, потом перевел взгляд на ухмылявшихся зрителей и выдал. Кратко выдал, с одного-единственного удара, одним двустушием размазал соперника по стенке:

Раскрываю окно — предо мной целый мир,
А штаны приспущу — предо мной Джихангир.

(Автор намеренно допускает явный анахронизм: эти строчки принадлежат другому поэту, едва ли менее талантливому, а именно Али Аге Вахиду.)

Слушателей словно подбросило, они буквально плакали от смеха, утирая слезы кто полой халата, кто платком, а кто и просто размазывая их по лицу. Ходжа, так тот вообще от смеха чуть было не повалился на какого-то ремесленника, сидевшего впереди. Кто-то держался за живот, кто-то хлопал по плечу соседа, повторяя: «Нет, ну ты слышал, как он его, глядит Джихангир, ха-ха-ха». Кому-то занимаемая должность или возраст и обязательная в таком положении солидность не позволяли хохотать во все горло, и они беззвучно тряслись от смеха, прикрыв рот ладонью и зажмурившись от удовольствия. Распорядителю стоило немалых трудов призвать слушателей и участников к спокойствию, он даже был вынужден несколько повысить голос, но когда хохот и восторженные хлопки затихли, в зале снова раздался скрипучий голос Джахангира, который явно нарывался:

— Говоря «Джахангир» (в переводе — повелитель), какого именно джахангира ты имел в виду?

Зрители замерли от такого оборота, Насими побледнел, судорожно вцепился в посох, аж костяшки пальцев побелели: кому ж охота с палачом знакомство свести, и ладно, если б за столом, так лишь бы не на столе. Подлый прием... доносом грозит, а оскорбление величества — это дело государственное... на самом деле строчку-то эту и так и эдак понять можно, а там как дело повернут. Захотят — боком выйдет, а захотят — из зиндана выйти позволят... Гнетущую тишину нарушил голос распорядителя, который призвал слушателей успокоиться, а Дуньямалы — у бояться гнева Аллаха и вспомнить о совести, потому что он, распорядитель, человек в

возрасте, уважаемый, врать не станет, и если будет надо, положив руку на Священный Коран, принесет клятву именем Божьим, что в стихах Насими не было оскорбления ни Божьего, ни человеческого величия. И да поможет ему в этом Всевышний Господь, а также собравшиеся слушатели, ценители стихов, меткого слова, и все добрые люди, не любящие неправды. Уймись, Джихангир, умеи проигрывать и помни о Судном дне, где все сказанное или написанное будет свидетельствовать в твою пользу или в доказательство тяжелой вины. Джахангир тяжело задыхался, опустил голову, понял, что обстоятельства не на его стороне, и прошипел, злобно глядя на Насими: «Торке хор» («тюркский, турецкий ишак», *фарси*). Оскорбление было тяжелым, зрители и распорядитель не успели и глазом моргнуть, как Насими вдруг повернул посох одним движением кисти, извлек из него кинжал и приставил к горлу Джихангира. Джангир испугался не сразу (все произошло настолько быстро, что у него просто не хватило на это времени), но, заглянув в глаза Насими, сразу все понял и сник. Одно дело — языку волю давать, а другое — когда за эту волю его, язык то есть, до самого верхнего неба проткнуть могут. Как тут не обмякнуть... Распорядитель не без усилий, но на правах старшего отвел кинжал от горла Джангира, что-то шепнул на ухо Насими и громко сказал: «Обнаженная сталь должна испить крови. Но я не позволю ей пролиться в этом месте. Потому я обяую Джангира извиниться, а Насими — проявить милосердие. Впрочем, по окончании состязания Насими может изменить свое решение. Потому я рекомендую Джангире покинуть город, как только собрание закончится, чтобы никого в грех не вводить». У Джангира были все основания принести извинения как Насими, так и собравшимся и скрыться как можно скорее. Немалая часть зрителей как раз и состояла из «торке», которые за «хор» могли уши отрезать, и даже начала нехорошо так переглядываться и перешептываться. А отрезанные уши — позорное наказание, даже если дистанцироваться от того, что без ушей на свете жить очень и очень плохо. Джангир не был равнодушен к жизни и смерти — зло поглядывая на Насими, извинился и, не смея взглянуть на распорядителя, пытался было незаметно уйти, но Насими, вложив кинжал в посох, вдруг размахнулся и вцепил ему такую оплеуху, от которой тот полетел наземь. Тяжелая рука, Имадеддин, тебе б каменщиком работать, булыжники с места на место перетаскивать, а не стихи писать, но ничего, у тебе еще есть время, немного, но есть, так что успеется... и камни, и вирши, и ветер, и свитки.. Сбил наземь да спервоначала плюнуть хотел, потом, видимо, раздумал и, резко развернувшись, отошел и сел на свое место. Рядом с несколькими растерянным Ходжой. У того, бедняги, аж челюсть отвисла: не ожидал он поножовщины да мордобития на литературном вечере. Джангир же, придерживая окровавленное ухо, счел за лучшее незаметно испариться. То ли от греха подальше, пока после оплеухи пинок или кинжал под ребра не последовал, то ли напакостить чего решил. Скоро узнаем... ночь на Востоке короткая, а рассвет скорый, вот рассвет — разглядим...

...Решил Насими, что не годится из Коньи уходить, Джангира не проучив. Оплеуха оплеухой, но все же надо бы добавить. Пиар-технологии тогда пожиже были: ни журналов тебе, ни Интернета, ни телевизора, вот и приходилось пробавляться распусканием слухов про противника. Чего проще: купил горсть орехов да кулек сладостей и дал мальчишкам уличным со строгим наказом: бегайте по площадям и базарам, шныряйте возле бань и выкрикивайте это четверостишие... понравится — еще столько же получите, а нет — не взыщите... так и бегали плохо воспитанные юноши младшего до- и школьного возрастов по улицам, выкрикивая то, за что им проплачено было, или то, что им по сердцу пришлось... Вот и Насими ни на орехи не поскупился, ни на сладости, недруга ославил, полгорода за животы

держалось да из уст в уста передавало: бхе-хе-хе, вы слышали, уважаемый, глядит Джихангир, хо-хо-хо... надолго Дуньямалы Имадеддина запомнит... да и Насими его душу черную, завистливую вспомнить придется...

Все на свете свое завершение имеет, и порешила судьба, что достаточно Насими с Ходжой дорог исходили. Далеко на северо-запад не пойдешь — там земли Румов, но Восток большой, путей много, и каждый из них к твоим услугам. Время пришло, освежил ветер дыхание, подтолкнул в спину и понес дальше, куда Бог нужным сочтет. Прощание затягивать не стали, но глаза, друг от друга отводя, прятали. Обещали, конечно, что снова рано или поздно встретятся, потому что кто знает, где да как дороги пересекутся, но сами в сказанное верили мало, обещали помнить и не забывать, потому как, кроме дороги, мало что так людей сблизить способно... разве что война или голод... говорят, что Ходжа повернул на север, и спустя несколько месяцев его видели где-то возле Карса, а Насими повернул к Казвину, в Иран... долгая дорога от Коньи до Казвина, не день и не два, и если боков не обдерет, то душу вытрясти очень даже способна...

9

- Приветствую тебя, Насими.
- И тебе привет, добрый человек.
- Мы незнакомы, но я о тебе слышан. Кто же не знает Насими из Ширвана.
- Благодарю за добрые слова. А как твое благородное имя?
- Называй меня просто Ибн-Сейфал. Я хотел бы обратиться к тебе с просьбой.
- Сын Сейфала... мне сложно выполнить просьбу странника, пусть даже почтенного, не зная его настоящего имени, ты уж прости.
- Не горячись, Насими, это ведь тоже не совсем твое и не совсем настоящее имя. Так что тут мы с тобой квиты. И разве слово «Насм» не означает «утренний ветер»? Ты не знаешь моего настоящего имени, я не знаю твоего.. А разве Аллах и Его пророки не велели нам быть справедливыми? Будем же стремиться к совершенству.. Да это и не совсем просьба. Я просто пришел напомнить тебе об одной встрече...
- И что ты о ней знаешь?
- Больше, чем ты предполагаешь, поэт... гораздо больше...
- Ну назовись тогда.
- Мое настоящее имя тебе ничего не даст...
- Ты знаешь обо мне больше, чем мне бы того хотелось, Ибн-Сейфал, а я о тебе не знаю ничего, кроме имени... По моему, это несправедливо.
- Я мойщик трупов в главной мечети города. Мертвым порой известны тайны, скрытые от живых. Люди же, имеющие дело с усопшими, тайного не ведая, способны догадаться о сокрытом.
- Ты так говоришь, словно уже омывал мое тело в мечети.
- И это успеется... Все рано или поздно ко мне приходят, что поэты, что крестьяне.
- А ханы с султанами?
- Ну, ханов лично у меня не было, султанов тоже. Зато пару раз приходилось омывать сборщиков податей, а как-то раз — главного городского судью. От простого горожанина разве что толщиной живота и отличался. Но судьи и сборщики налогов, конечно, прибыльнее, потому как на них больше воды и мыла уходит, да и трудов.
- Да ниспошлет тебе Всевышний Аллах побольше работы с большими людьми.

— Доболтаешься ты, Имадеддин... голова твоя и так на плечах непрочно сидит. Никак в толк не возьму, ты это намеренно или по глупости?

— По вере...

— И что есть вера твоя?

— Проста она. Поклонение Ему без знания для иного содержит вреда больше, чем пользы... Это не я говорю, это говорил наш пророк и посланник, я лишь повторяю слова его. Изучай, читай и читать учи, иди за три моря, если это принесет тебе знание, не зря первая ниспосланная (сура) начиналась со слова «Читай» и называлась «Калам»...

— Сложно с тобой, чуть возрази — у тебя в ответ целая речь наготове.

— А разве должно быть легко?

— Ты со словами поосторожнее, и не только в стихах... на площадях, в питейных, в переулках опять же... не стоит при виде похорон вельможи или сановника говорить: «Сегодня одного увидел, а завтра, даст Аллах, сразу двоих узрею»... или потише хотя бы...

— Донести могут?

— Могут.. Уши у многих длинные, а ноги быстрые... ты и так у всех на виду.. как бельмо... а что Осман с тобой разговаривал — об этом многие знают, и кое-кому это не нравится. Настолько не нравится, что тебе опасность нешуточная грозит. Тебе Осман письмо передал. Делами интересуется и снова к себе зовет.

— Спасибо, что взял на себя труд передать его мне.

— Не благодари, для меня большая честь оказать Насими небольшую услугу. Но ради Аллаха, будь осторожнее... времена тяжелые идут...

Ты доволен, что розы покрыли цветник,
Что жасмины вокруг разрослись.
Оцени ж этот миг, ибо все пропадет
Через пять торопящихся дней.
Пусть подобны дыханью Иисуса слова,
Что изрек пред тобой Насими...

...Сказывали, что на исфаханском базаре Насими повстречал нищего, который, закатив глаза, нараспев читал его стихи. Не даром, разумеется, — перед оборванцем стояла чашка, почти доверху наполненная медными монетками, среди которых нет-нет да и посверкивали и серебряные. Хорошо декламировал, с нужной интонацией, где надо — паузу делал, где полагается — глаза закрывал, правда, в паре строчек ошибку допустил, слово рифмованное, а не то, у Насими в этой строчке другое слово было, пусть созвучное, но все равно другое. Насими указал декламатору на ошибку, но тот лишь ноздрями дернул, пренебрег: я, мол, тут самого Насими декламирую, а всякий меня поправить да одернуть норовит. Это, конечно, очень приятно, если тебя даже нищие на улице цитируют, да не просто цитируют, а еще и деньги за это получают, но окажи ты уважение автору и цитируй его правильно, раз уж с декламации прибыль имеешь. Насими решил было пойти себе дальше, ухмыльнувшись, но нищий оказался редкостным нахалом и клещом вцепился в Имадеддина, требуя денег. Насими пытался было от него отвязаться, отговаривался отсутствием мелких монет, но нищий нагло заявил, что и крупными не побрезгует. Пришлось раскошелиться на целый динар. Во-первых, на самом деле мелочи не было, а во-вторых, услышать, как твои стихи какой-то оборванец читает, с того кормится да с тебя же, грешного, за услышанное деньги требует, — разве такое не стуйт полновесного динара? Вот и Насими рассудил точно так же, но, по слухам, распла-

тившись, немедленно покинул Исфахан. В городе начиналась чума, и он не хотел встречаться с этой зловредной и неграмотной теткой, которая не делает никаких различий между поэтом и крестьянином, вельможей и ремесленником и вообще стоит вне классов — над царями и нищими, начальниками и подчиненными, стариками и молодыми... Хотя это, может быть, просто легенда, и Насими, который с возрастом стал осторожнее, здраво рассудил, что незачем ему оставаться в городе, где даже нищие зарабатывают себе на хлеб чтением стихов. Так и без чумы до беды рукой подать. Раз стихи читают, самого вмиг высчитать могут, а вокруг все кипит, мир в очередной раз делить и переделывать собираются, в такое время узанным быть как бы и ни к чему, целее будешь, поэт...

...Говорят, Насими некоторое время работал на строительстве мечети в Багдаде, в квартале Баб-аль-Шарки. Месил раствор, таскал кирпичи, а потом даже учился вставлять разноцветные стеклышки в деревянные рамки — это ведь целое искусство и только со стороны может показаться делом нехитрым и сноровки не требующим. Так что если эта мечеть стоит до сих пор и если витражи в ней не выбили многочисленные перевороты и оккупации — Насими продолжает жить в каждом солнечном луче, что просачивается через разноцветные стеклышки... Днем строил мечеть, а вечером, после работы, бродил по Багдаду, строениями любовался, новые стихи себе под нос бормотал, с людьми разговаривал, одно время даже преподавал в медресе каллиграфию и грамматику, пока неумная тяга к странствиям не сняла его с насиженного и удобного места... куда уж лучше, и работа такая, что свободное время для стихов остается, и обращение уважительное, и деньги регулярно платят... и чего, спрашивается, в Багдаде не сиделось... знаменитостью уже стал, стихи даже мальчишки на улице распевают, в историю вошел, со знатными знался... или, может быть, не вошел бы ты в историю и забыли бы и о тебе, и о твоих стихах даже уличные мальчишки, не направься ты в Алеппо и не прими ты там смерть страшную...

Задул ветер с Запада — поднял тучу пыли, пришел ветер с Востока — принес соленые брызги, тучам пыли — свое место, а соленым брызгам — свое, тебе же, Насими, с первым караваном в город Хaleb, что теперь Алеппо называется. Не один год миновал с той поры, как разошлись дорожки Ходжи и Имадеддина. Насими исходил сто дорог, по слухам, дошел до края уйгуров на востоке Востока и до страны карматов (Бахрейн) на его юге. Он даже совершил паломничество в Мекку, после чего получил право носить зеленую чалму и уважительно именоваться «Хаджи», не буквально именоваться, а просто использовать приставку «хаджи» перед именем... но он все равно предпочитал зваться «Насими», год мотал срок в темнице султана Баязида, потом еще год — при Мураде, что тоже султаном был, да и сменившийся эмир Багдада его милостью не обошел, все за то же — за язычину язвительную... Теперь сам Бог велел из Багдада ноги уносить, право же, чего тут оставаться, раз и улицы знакомы, и темницы ведомы...

...Допускаю, Насими, что к сорока пяти годам ты вообще стал раздражительным, приобрел привычку покусывать губы, разлюбил спорить с людьми, предпочитая просто выслушать, да и то не каждого, разговаривать вообще старался поменьше, а если и говорил, то только со своими, да где ж тебе своих взять-то было? Когда особой надобности не было — молчал себе в сторонке. То ли от мудрости, то ли возраст сказываться начал, то ли все, что сказать надо было, уже высказал. Или просто устал. Не исписался, но почти выговорился, не состарился, а просто поседел, не болен, а вот отдохнешь немного и снова яростно за старое примешься, ни себя, ни других ни жалеть, ни помнить не станешь. Будто чувствуешь, что мало тебе осталось, и вот она, жизнь, к своему концу подбирается, в висках ночами сту-

чит, глазами выкатывается, без вина пьян шатаешься, ноги скрестив, до весны до-кашлять надеешься и места себе не находишь, а как найдешь — так нипочем тебя с того места не сдвинуть, пока сам его поменять не решишь. Только тишины ты так и не полюбил, даже заставить себя пытался, но не выходило, и все тут...

...И сменялся день ночью, зима — весной, а засуха — наводнением. Дни тянулись медленно, годы же летели стремительно, и лишь седина в волосах памяткой о прошедшем усмехалась. Шел Насими по земле Божьей, никому не подданный и податей не платящий, солнцем жженный, дождем моченный, то он годы обгонит, то они его, то он на месяц исчезнет, то месяц из жизни выпадет, если ни строчки не написано, то в парче он, то в лохмотьях, то с трудом медяков наскребет, чтобы за ужин заплатить, а то сорит деньгами без счета... Шутка ли, человек без малого весь Восток ногами смерил, а треть мира исходивший всегда неровно живет: медь-золото, медь-золото, медь-золото..

Знаешь, где свое начало весь наш мир берет?
Человеческий откуда происходит род?
И откуда происходит вер различных ряд,
Убеждений, мнений разных — кто лишь их сочтет?
Почему один все время знает лишь печаль,
А другой, не зная горя, в радости живет?
Насими, скажи всем, что ты ведаешь о том,
Почему тому достаток, а тому — лишь гнет...

В пути именно такие строчки в голову и лезут, другим мыслям в дороге не место, сплошные «знаешь», «откуда» «сколько» да «почему»... разве что пейзажем окружающим любоваться, а досыта налюбовавшись, описать умело, но местность Насими описывал редко — ему все больше Бог да люди интересны были... и мир с его дорогами, как что-то к Богу и людям приложенное... без пути и жизни такой не было бы... привела, привела кривая...

...Мне всего сорок шесть, и у меня все впереди, а когда мне стукнет пятьдесят, скажем, восемь, я скажу, что мне всего пятьдесят восемь, и снова повторю, что у меня все только начинается, — отшучивался Насими на вопросы о возрасте и творческих планах, а сам думал, верно, мол, говорят, обсыпало бороду известью, пали звезды на голову... не известь, не звезды, да и не перхоть это, а седина да время, нервы да усталость, что, сливаясь в точке пространства над головой человека, превращаются в белую краску и окрашивают сединой волосы и бороду... в час, когда он крепко спит, совершенно не помышляя о том, что происходит над его головой... под носом, впрочем, тоже... поэты вообще мало склонны что-либо у себя под ногами рассматривать, все в небо пялятся, вот и Имадеддин исключением не был — дразнил людей рассуждениями, разве что у проповедников хлеба не отбивал... присядет и смущает разговорами да догадками... один раз вообще договорился до того, что Бог запретил есть свинину потому, что свинья — одно из немногих животных, которое никогда не смотрит вверх, а потому не в состоянии увидеть ни звезд, ни небосвода, а тот, кто всегда смотрит только под ноги, не замечая неба, не заслуживает ничего, кроме проклятия Божьего, и имя его да станет оскорблением. Подобные высказывания ему популярности не прибавляли, хотя это как посмотреть: кому нравилось, а кого бесило... некоторые просто ждали повода поквитаться, то ли из врожденной вредности, то ли на самом деле Насими их задел. Сидели и ждали... ты, мол, болтай себе, пока болтается, а вот когда нога на ровном или не очень месте подвернется, тут-то мы тебя и того... нет, накроют тебя другие, да и яму тебе

сами копать не станем, но вот если позовут засвидетельствовать чего — все как на духу выложим, и то, что было, и то, чего не было, было — подтвердим, не было — придумаем и тоже подтвердим... а не болтай, чего не просят, не смущай, не дразни достопочтенных граждан, что, больше всех надо или самый умный выискался? Страшно человеку поэтом быть, но еще страшнее поэтом оставаться, и нет смысла искать живого среди мертвых, потому что мертвых среди живых без того предостаточно..

...Всякое на свете случается, и от случайной раны в случайной стычке не застрахован никто. Будь ты хоть городской голова или сам начальник полиции. Вот и тут, шел себе начальник полиции (ассес-баши) домой, никого не трогая, правда, на всякий случай и по привычке начальственно во все стороны поглядывал. А тут, как назло, подгулявшие каменщики повздорили. Дело пьяное, сказал кто-то кому-то что-то неучливое, локтем близсидящего задел или вообще немислимое учинил: вино разливая, сидящего рядом обделил (во избежание подобных казусов в уважающих себя питейных заведениях в те далекие времена существовали виночерпии, а в заведениях посolidнее даже девушки, выполнявшие ту же функцию. Не станешь же ты по пьяни при девушках драку устраивать, да и в случае проигрыша — стыда не оберешься, а потому, от греха подальше, пусть лучше девушки вино разливают, какая-никакая, а страховка. А если кто к девам с кувшинами приставать начнет — так на то у хозяина кулачища пудовые, да три помощника с кухни). А дело каменное — дело тяжелое, там и здоровье недюжинное требуется, и выносливость, ведь пока каменную плиту с места на место перетащишь — вспотеет даже то, что по своей природе потеть не должно. Ссорившиеся выхватили ножи, помахали чуток, потом кубарем выкатились из питейного и нарвались на самого ассес-баши. И, вопреки его ожиданиям, не только не испугались, не затряслись, не посторонились, не разбежались в разные стороны, не стали извиняться и предлагать денег, а, наоборот, невзирая на его зуботычины и гневно вытаращенные глаза, осмелились дать ему сдачи и даже слегка пощекотать ножиком. Правда, в ходе ссоры один из каменщиков получил смертельную рану в живот и, умирая прислонившись к стене заведения (хозяин которого все охал и причитал, еще бы, заохаеть тут, раз возле заведения один труп да тяжелое ранение немаленького должностного лица. Тут не один мешочек золотых выложить придется, чтобы отстали), прошипел в адрес ассес-баши, которого укладывали на носилки: «Жив еще, дяденька? Так то ничего... я не достал — другой дотянется». Говоря современным языком, «непростая внутривполитическая ситуация усугублялась сложной международной обстановкой». А международная обстановка была — сложнее не бывает. Боязнь усиливающегося государства вчерашних кочевников, страх перед набирающей силу Европой, необходимость отбиваться от африканских племен, наседаящих с юга. Да и то, что было внутри, здорово пошатнулось после восстания Бедреддина. Еще немного, и все полетит в тартарары, а тут еще этот со стихками и под подозрением, то ли любимчик Османа из Гарайолуков, то ли его доверенное лицо. Да и стихи двусмысленные. Не заняться ли на всякий случай, во избежание.. стихотворец-то при случае много вреда принести может... или пользы... но чтобы пользу принес — в оборот взять надо, а времени мало: и с юга напирают, и с севера, а внутри народишко совсем распустился после Бедреддина: чуть прижмешь — огрызается и, скарб распродав, налегке бежит на юга, а оттуда его ни конем, ни саблей не достать. Так, а может, и не так думал султан Муайяд, узнав, что сам Сейид Али Имадеддин Насими пришел в Халев, войдя через Северные ворота, и намекнул кому надо, что неплохо было бы этого человечка прощупать... насчет Османа, например, что, да за-

чем, и не поддерживают ли они отношения письмами... весь Восток лихорадит, того и гляди, то одна, то другая провинция отпасть может, а с отвалившегося кусочка мозаики крах панно и начинается...

Знакомых в Халебе у Насими не было, и он остановился в караван-сараяе. Вещей мало, на подъем легок, самое в караван-сараяе место... Говорят, что в день, когда Насими пришел в город, случилось чудо, для мест тех вовсе не слыханное... выпал снег... пролежал он, правда, недолго и растаял к полудню дня следующего... врут, наверное, хотя всякое случается, может, и выпал, во всяком случае, летописи об этом умалчивают, а что до молвы народной — так не всякому слову доверять можно...

Халеб еще иногда называют Аш-Шахба, серый город, город, окруженный серыми стенами, и вошел в него Насими через Антиохийские ворота, что до сих пор сохранились. В Алеппо есть на что посмотреть, например, джами Ат-Тута, мечеть Туттового дерева, что, по преданию, построена самим халифом Омаром. А большую мечеть Аль-Руми построил султан Муайяд. Он вообще много строил, включая мечеть, что ныне называют его именем в Каире... Обет дал... когда-то на том самом месте тюрьма стояла, в которой будущий султан срок мотал, вот и поклялся, что если выйдет, то снесет тюремный комплекс к чертям и построит на его месте величественную мечеть во славу Аллаха... вышел и слово сдержал, но личный опыт не мешал ему других по тюрьмам держать... лучше бы школу построил, глядишь, и тюрем бы меньше понадобилось...

Неумеренное потребление народной крови порой заканчивается довольно трагично. Вот и султанский наместник, от которого население области претерпело немало обид, умер в мучениях, воя, подобно последней собаке, от неизвестной тогдашним врачам (табибам) болезни. Сначала лицо и руки покрылись синюшными пятнами, больного лихорадило две ночи, и не помогали ни примочки, ни обильное питье, ни отвар из целебных трав, ни розданные беднякам деньги (предварительно с них же и содранные) с наказом молиться за выздоровление. А на третье утро правителя прошиб обильный пот, потом слегка выгнуло вперед, он захрипел и корчился до тех пор, пока из горла не хлынул поток дурной крови. Вот и все. Ему смерть избавление от мук принесла, а населению вилайета (области) — свободу от кровопийцы да беззаконника. Относительную. Так что ты, население, особо не радуйся, еще неизвестно, кого на его место назначат, может так случиться, что новоназначенный покойного лютостью да жадностью переплюнет... так порой и случается, только, думали, дух переведем, раз уж этого на кладбище свезли, а другой уже тут как тут, на шею залезть норовит... А положеньице-то аховое.. сначала ассесбаши, теперь вот наместник... нет ли тут злого умысла или, упаси Аллах, заговора? То-то же... нет, со всяким, в этот город входящим, осторожнее быть надо...

...Человека извести — дело нехитрое, самое главное, чтобы он повелся, а поведясь — попался... сначала думали подметные письма подбросить, да дело больно сложное, в карман подложить — дело не из легких, да и подложенное из кармана при известном старании всегда выкинуть можно. Быстро так, раз — и готово. Доказывай потом, что в его кармане лежало, нет, тут надо так, чтобы наверняка, чтобы не отвертелся. Ломали головы, хмурили брови, за бороды себя пощипывали, брови морщили, затылки мясистые чесали, все думали, как бы им злое дело половчее повернуть. Не ровен час, выкрутится Насими — сами на его месте окажутся, и спрос не копеечный будет, головой да задом ответят, зад под кнут, а голову на плаху. Думайте, души чернильные, думайте... черт с письмами, подкидывать ничего не станем, так его возьмем. Найдем чего при обыске — в дело пойдет, а нет — на чем спалится, за то и ответ держать будет, наше дело маленькое, судить другие обучены...

...К такому делу надо подойти обстоятельно, не торопясь, кадры подобрать поподлее да поизворотливее, а чтоб кадры из повиновения не вышли — всегда руку на пульсе держать, контролировать, дело-то больно щекотливое... и тот донос про стихи о Джахангире-повелителе, который (страшно подумать!) из ширинки выглядывает, тоже на допросе может в дело пойти. Поэт-доносчик давно умер (то ли от чумы, то ли еще какая неприятность приключилась), да его и не жалко, такого добра в каждом переулке — только свистни, а вот сам донос — даром что за давностью лет и нерадивостью хранения бумага слегка поистлела — всегда к делу приложить можно. Ну и что, что дело в Конье, а не в Халебе было, бумага такая вещь, что и с другого конца света затребовать можно. Каждый клочок при случае в дело пойдет, вину или невиновность доказывая. а чтобы наверняка извести, чтобы не вывернулся — надо что-то страшное и бесприкрытое придумать. Решено было выследить Насими, благо дело нехитрое, и в обувь вместо стелек страницы Корана подложить.. а все прочее — дело техники...

Было бы желание плюс средства в наличии, а стукач под такое дело всегда найдется, и не оскудеет ими лик земной до самого Дня гнева. Да и в тот день, поди, желающих настучать хоть отбавляй будет... если верить летописям, звали негодяя Ибн аль-Шангаш Алханафи (Алханадани, согласно другим источникам). Он взялся за дело не мешкая, с неделю наблюдал да выслеживал, куда Насими днем ходит, а куда вечером, с кем дружбу водит, а кого сторонится, где ему скатерку для еды стелют, где омовение совершает, куда молиться пойдет и в какой квартал в гости зовут. И не проглядел, когда Насими вошел в ворота дома, где в тот вечер должна была проходить встреча ценителей поэзии. И стоило Насими войти в ворота, как аль-Шангаш прошмыгнул вслед за ним, потом намеренно замешкался, чтобы чуть приотстать. Дождавшись, когда Насими снимет сапоги перед тем, как зайти в помещение, просто вынул из его сапог стельки, а вместо них подложил страницы, вырванные из Корана. По завершении же злого дела шепнул кому надо, и тот кто надо сразу пошел за стражей, а аль-Шангаш вошел в собрание, сел тихонечко и, улучив момент, уважительно обратился к Насими — по славе, мол, и честь: вот скажи, Сейид Али Имадеддин Насими, человек, талантом взысканный, ученый, учивший и обучавшийся, много стран исходивший и много чего повидавший, четыре языка ведающий, на трех из них стихи слагающий (не зря они так время тянули, ой, не зря, страже, чтобы подойти, всегда время нужно), что, по-твоему, надо сделать с человеком, который страницы Священного Корана как стельки для собственных туфель использует? Умучить, живьем ли сжечь или так оставить, пусть его совесть самого заест, а Аллах Всевышний без нашей помощи накажет? Не понравился вопрос Насими, он, в конце концов, не законник, не судья, праву учен самую малость, да и сам вопрос непонятный какой-то: кому ж такое в голову взбретет? Но ответил взвешенно, подумав: наказание огнем есть прерогатива Аллаха, и никто другой этого применить да не посмеет, а оставить зло и кощунство безнаказанным означает потворствовать ему, что к приумножению привести может. Потому такого человека надо опозорить и содрать с него кожу. Если же я ошибаюсь (с почтением склонил голову в сторону нескольких присутствовавших там законников, потому что поэзию всякие люди любят) — пусть те, кто знает лучше, меня поправят... Страже любая дверь нипочем, не открывающееся выламывают, но тут ничего и выламывать не пришлось: ворота приоткрыты были, да и двери не заперты. Увидев стражу, благо и народу в свидетели вокруг хватало, вскричал аль-Шангаш: вот ты, Насими, сам себе приговор и вынес, никто тебя за язык не тянул, смотрите на обувь его, что он там вместо стелек носит... удалась провокация, провокации против людей вроде Насими всегда удаются, они ж только другим советы давать

мастера, а свои дела у них всегда запутаны, чем угодно думают, кроме головы, как гром грянет — дергаться начинают, может, и выпутался бы Насими, будь он похладнокровнее, но какое уж тут хладнокровие, раз подстава — страшнее не бывает, и яма из тех, куда попасть легко, а выбраться — почти невозможно... будь ты хоть двадцать раз поэт, беда пришла, да такая беда, что человека на раз через колено ломает... на ночь глядя и определили в одиночную камеру, чтоб места подумать хватило — а не признаться ли без постороннего вмешательства самому, пока не заставили...

...Темнота и сырость как нельзя к искренности да покаянию располагают, даже если каяться не в чем, а предрассветная пора — для допроса пора удобная. Вот сидит человек в яме или камере, слушает, как вода о камень стучит: кап-кап, кап-кап, а мысли его уже не прыг-прыг, как при задержании, за что да почему, пришли мысли в порядок, уступили место здоровым думам да размышлениям. Но и те, кто допрашивают, мыслят основательно: если не спал — то думал-размышлял, раз думал — то есть шанс, что размяк, а если размяк — так самое время его на допрос вести, может, и без костей ломания признается, если допрашивающим повезет, конечно... при известном старании... нет, не позвали... а неизвестность — допросу первая помощница... сиди, Имадеддин, раз уж попался, и по дороге в темницу, руку вырвав, убежать не получилось.. не додумался, чего уж там...

...Жил да был человек. Не хуже других жил, честное слово. И забор такой же, и стены, известкой беленные, по праздникам мясо в плове, по будням — каша пшенная. Бегал в детстве с обручем от бочки, купался в арыке, так кто в том возрасте не лоботрясничает? Но миновало детство, пронеслось воздушным змеем отрочество, а вскоре и юность закончилась... Раз вырос — пора жениться, женился раз, двух детей завел, да как-то наскучило все, обрыдло, сплюнули обоюдно и разбежались себе с Богом, спустя год женился в другой раз, снова прижил двойню (такая благодать не каждому выпадает, не иначе как возлюбил его Всевышний, коль за один раз сразу двумя одарил), но что-то снова то ли не то оказалось, то ли просто не заладилось. Деваться некуда, и не привязан вроде, а визжать почему-то повизгом охота... и тут как раз набор в действующую армию... Ну как тут на службу шахскую не пойти, как от вод подступивших не сбежать? Правильно, скорей от безысходности да с безделья, чем от храбрости безрассудной... подался в сотню, пообтерся, научился и строем ходить, и доспехи до блеска песком надраивать, и сабельные выпады отражать, и самому рубящие удары наносить при случае, а также овладел прехитростями заточки... это только со стороны кажется, что всего-то делов — води себе камушком по лезвию... это целая наука, какой камень для какого металла выбрать, как часто его смачивать и что мочить, металл или камень, как наклон держать да чем по чему водить: то ли камнем по лезвию, то ли лезвием по камню, да и направление — к себе или от себя, все от типа сабли и ее назначения зависит... вперед наш новый знакомый не лез, не высывался, ни перед кем выслужиться не старался, но и от сослуживцев не отставал, дело свое знал, лямку тянул делово и упрямо, и как начались стычки-столкновения да прочие военные неприятности, быстро в сотники выбился... Из сотников прямая дорога наверх, некоторые до куда больших чинов добирались, а самые прыткие иногда даже на шахский трон попадали... время такое, карьерному росту способствовало: вот как лихолетье одногодок выкосит, так и начнет судьба первого, кто под руку попался, из колоды вытаскивать да вверх толкать... и вовсе не все и вся от везения зависело... поднялся человек на зависть многим, но, поднявшись, совести не растерял, на это, видно, особое умение нужно.. звали его Фатхуддин аль-Малики, из простых, из сотников, а гляди, куда взобрался.. верховный кадий... решения старал-

ся выносить честно, потому как Бога боялся и совестью мучился — с судьи при случае, ТАМ спрос строже будет...

...Коллегиально решать судьбу человека сподручнее. Всегда в случае чего есть шанс отгавкаться, мол, лично я против всего этого был, они сами все затеяли, а меня просто для ровного счета пригласили... По делу Насими тоже целое собрание созывать пришлось, никто сам решения выносить не хотел, потому что, во-первых, нового наместника султан еще не назначил, сам его величество далеко, в Египте, а тут еще и обыск кое-какие результаты принес. Письма обнаружили. Не одно и не два, а целую связку. И все от Османа Гарайолоука. Ничего особого в них не было, Осман все звал Насими обратно, в Диярбекир, должностью соблазнял да простором административным, но все-таки... Дело-то вырисовывалось политическое. Поди угадай, куда ветер дует и что у султана Муайяда на уме. Отпускать Насими нельзя, головы полетят, да и свидетелей предъявленного обвинения, почитай, с два десятка, а казнить его без санкции сверху тоже боязно. А единолично решение принять — и того страшнее. А потому впятером решали — впятером оно все ж безопаснее. Шейх ибн Хатиб аль-Насири, шейх Иззуддин ибн Аминуддовле, верховный кадий Фатхуддин аль-Малики, его коллега Шихабуддин аль-Ханбали и шейх ибн Хилал, по прозвищу Лисоглазый, за разрез глаз и предусмотрительность. Мужики все ученые, искушены как в делах дворцовых, так и в казусах юридических. Не первый год суд правят, суд праведный, да на расправу скорый, так ведется Игра, и так играют те, кому играть позволено...

Ибн Хилал. Этот человек достоин смерти.

Аль-Малики. Казнь на основании доноса? Это поэт. И я даже допускаю, что он ляпнул что-то в состоянии поэтического восторга и вдохновения, но чтобы вот так... страницы Корана. Нет, нет... Да и не доверяю я этому аль-Шангашу.

Ибн Хилал. А при чем тут твое доверие?

Аль-Малики. Великий грех проливать невинную кровь, я допускаю, что это зависть и оговор.

Ибн Хилал. Зависть к чему?

Аль-Малики. А ты стихи его почитай. Или послушай, на слух они даже лучше, чем с бумаги. Не зря их весь Алеппо распевает.

Ибн Хилал. Стихи тут ни при чем. Хотя уверен, что при желании и в его стихах можно найти повод для наказания, и не один.

Аль-Малики. Да будет по слову твоему, ибн Хилал, но скажи, напишешь ли ты обвинительный приговор собственноручно?

Ибн Хилал. Напишу. А вы его утвердите и подпишете.

Аль-Малики. Если будем согласны с написанным.

(Ибн Хилал что-то пишет на листе бумаги, потом отдает ее аль-Малики, тот внимательно изугает написанное и передает дальше. Кадии и шейхи, ознакомившись, отрицательно кагают головами.)

Аль-Малики. Видишь, ибн Хилал, не по душе твой приговор собранию. Ни уважаемые шейхи, ни почтенные кадии не находят Насими виновным в богохульстве, ереси и отрицании Бога. А доносы аль-Шангаша и Джихангира — основание недостаточное для столь сурового наказания.

Ибн Хилал. А письма, письма от Османа?

Аль-Малики. Об том рассуждать нет полномочий ни у меня, ни у тебя, ни у

почтенного собрания, при всем к нему уважении. Мы призваны рассматривать дела, а не домыслы, что доносами наваяны. В письмах же от Османа я крамолы не вижу, он писал их Насими, как обычно пишут старому знакомому, и предлагал поселиться в Диярбекире. Потому предлагаю следующее: до поры оставить Насими под стражей, пусть его допросят и о выведенном нам доложат, потом пусть он перед нами предстанет, после чего пошлем гонца к султану Муайяду, да продлит Аллах его годы, ему видней будет, лежит ли вина на Насими или нет. Дело к вере отношения не имеет, оснований не вижу.

Ибн Хилал. Непрост ты, великий кадий, ой непрост.

Аль-Малики. Так не первый год живу и не второй день дела рассматриваю.

Ибн Хилал. Я не к тому. Просто это дело ты рассматриваешь, словно в темноте бредешь, вперед себя руки выставив. Чтоб ненароком на гнев султана не наткнуться. Приговорить боишься — вдруг султану не угодишь, и отпустить не рискуешь, чтобы под гнев не попасть. Вот и решил его до поры в темнице подержать, ведь пока письмо до Египта дойдет, в темнице той всякое случиться может. Или неправ?

Аль-Малики. Неправ, ибн Хилал. И клянусь Аллахом, глубоко твое заблуждение. Мне стихи его нравятся. Я свое слово сказал, уважаемые. Потому предлагаю на сегодня закончить, и без того время позднее.

Ибн Хилал. Да будет по слову твоему, почтенный аль-Малики. Соберемся в том же составе после того, как Насими допросят. И перед нами в том отчитаются.

Аль-Малики. Спасибо, уважил мои седины. Потому не взыщу с тебя за упреки в страхе перед гневом султана.

Ибн Хилал. Не взыщи. Знаю, что и на тебя доносы по три штуки в месяц приходят.

Аль-Малики. И ты хитер, ибн Хилал. Не зря тебя в народе Лисоглазым прозвали. Соберемся в том же составе, дело говоришь. И обязательно Насими пригласим да послушаем. А там — султан мудр, а Аллах милостив...

...Как аль-Малики порешил, так оно и случилось: помариновали Насими парутройку дней, думали, вот размякнет, сам все как на духу выложит, и что было, и чего не было, а как минул срок отмерянный, повели на допрос. довели, подталкивая, до двери, за которой сидела пара-тройка чиновников небольшого ранга, чья работа заключалась в ведении допросов. И в прочих делах, служащих добыче доказательств... Пыльные человечки со стеклянными глазами, что в самую душу заглядывают, стоишь, если сесть не предложили, вины за собой не чуешь, а все равно дрожь пробирает...

— Так так. Насими. Сеид Али Имадеддин. Совершенство, избранница, чудо любви, диво страсти, Ты — кумир мой, Кааба, ты — гурия райского сада. Кумир, Кааба. И все это про чудо любви. Твое?

— Да. Это словесные обороты. Они испокон веков в литературе приняты. Особенно в поэзии.

— За такие обороты и не в такой оборот берут. Очень на богохульство похоже. Твое, спрашиваю?

— Мое. Не краденое же, стыдиться нечего.

— Я б на твоём месте этим не гордился. Ты лучше честно скажи, что за помыслы за этими поэтическими оборотами сокрыты.

— Когда-то одна девушка упрекнула меня в том, что я всегда за нее домысливаю. Я объяснил это тем, что она вечно чего-то недоговаривала. А теперь меня обвиняют в том, что я чего-то недоговариваю, и на том основании за меня домысливают.

- Ты на вопросы отвечать будешь?
- Стихи уже ответили. На все вопросы.
- Ладно, к ним мы еще вернемся, если понадобится. А чему ты души юные в медресе учил?
- Тому же, чему меня обучили. Слову Аллаха и пророка Его.
- Ты перевернул слово Божье и сеял смуту, выдавая свои слова за слова пророка.
- Я не говорил ни слова неправды. Разве не наш пророк говорил о запрете мужчинам носить золото и шелковые одежды? Разве он не говорил, что нет преграды между Богом и молитвой угнетенного? Разве не он и те, кто были до него, прокляли пожирателей имущества вдовы и сироты?
- А что ты скажешь насчет страниц Священного Корана в твоих башмаках?
- Я уже сказал, и до того, как меня сюда привели, и снова повторю: сделавший это заслуживает жесточайшего наказания и позора.
- Ты вроде говорил что-то насчет снятия кожи?
- Да. И от слов своих не отступаю. В чем клянусь Аллахом и подножием престола Его.
- А кто может уверить нас в том, что ты человек добродетельный и благонамеренный, чтобы твоя клятва была принята? Страницы Корана в башмаках — очень серьезная улика, что бы ты теперь ни говорил и как бы ты теперь ни клялся. Да и стражники говорят, что, когда тебя брали, от тебя сильно вином пахло.
- Оставляю эти слова на их совести. А что до вина — так и ты, говорят, его не чурешься. И маковым соком здесь тянет.
- Твое дело маленькое — не о моих грехах говорить, а думать, как бы самому оправдаться. Тут на днях еще одну бумажку доставили. Оскорбление величества.
- Оскорбление величества? Что за бред и при чем тут я?
- Ну как же. Вот: «...и упомянул в одном четверостишии слова “джихангир” (повелитель) и “ширинка”, что есть явное неуважение и оскорбительное поношение тех, кому власть дарована от Всевышнего». Ну, что на это скажешь?
- Слог отвратительный, вот что скажу. Поношение всегда оскорбительно. Оскорбительное поношение... Знаю я, кто этот донос написал. Риторике у цирюльника учился, а стихосложению у торговцев кизяком. Вот и проиграл соревнование. А проиграв, донос написал. От злобы и зависти. Его Джихангиром звали, я его имя в одном четверостишии с ширинкой упомянул.
- Ну, это еще доказать надо. А оскорбление величества — вот оно, передо мной, на бумаге. А если что на бумаге записано, то это, считай, уже доказано. А твои слова кто подтвердить может?
- Да хоть бы конийский распорядитель. Если от старости не умер. И дюжина поэтов, что там присутствовала. Или Ходжа Насреддин. В Конье мы вместе были.
- Славный свидетель, нечего сказать. Для него, для твоего Ходжи, своя веревка найдется, а тебе самое время о своей шее подумать.
- Все в руке Господа, и жизнь и смерть, и веревка и отсрочка. Я свое слово сказал, поклялся именем Господа, что не носил в башмаках страниц Корана, а донос Джихангира Дуньямалы — так я все объяснил. Зависть и бездарность человеческая. Не исключу, что и подложившим мне в башмаки страницы Благородного Свитка двигало то же самое.
- Красиво говоришь, Имадеддин. Только история слишком некрасивая. Не верю я тебе. Да и не хочу верить. Мало ли что у вас, поэтов, на уме да в душе. Тьма да бездна рифмованная.
- Что на уме — то ты уже слышал, не скрываю, а что в душе — то на бумагу излито да среди людей читано.

- По базарам да чайханам?
- Во многих местах случалось.
- И даже во дворцах?
- Немного. Раза два или три, не больше.
- Где? В каких дворцах? При дворах каких государей? Сам ли явился или по приглашению?
- Ты задаешь вопросы, ответы на которые тебе известны лучше, чем кому бы то ни было. По дворцам без приглашения не ходят, все одно не пустят. И ладно бы только в шею вытолкали.
- Да, могут и с живого кожу снять. Не так ли, Насими? Твои слова?
- Мои. И я от них отказываться не намерен. Осквернивший Коран да будет проклят и опозорен и в этом, и в будущем мире.
- Язык человека, чтобы остальное тело от боли спасти или вышестоящему угодить, что угодно сказать может. Ладно. Устал я от тебя, пусть диван решает, что с тобой делать, а я и так вижу. Упорствуешь в злодеянии, отпираешься, а это только вину усугубляет. Ты бы раскаялся, признался, может, и отнеслись бы к тебе со снисхождением, мол, действовал в поэтическом восторге, не имел дурных намерений, а если и кощунствовал, то только по молодости, недомыслию и наущению. И поведал бы нам, что у Османа Гарайолука был по его, Османа, приглашению и подговаривал он тебя к богохульству и козням против повелителя правоверных, султана Муайяда, да продлит его дни всемогущий Аллах. Помогите нам, и мы тебе помогать станем. А иначе — петля в лучшем случае. Так что ты подумай на досуге, но не затягивай, времени у тебя — самая малость осталась. Да, и еще, в твоей комнате в караван-сараяе сейчас обыск идет, так что что-нибудь мы да найдем. Уведите.

...Что, Насими, не нравится? Вон кисти рук, кровообращение восстанавливая, растираешь ежеминутно, занемели, поди, если их за спиной веревками стянуть... а не болтай чего попало при ком ни попадая, не молчи там, где громко одобрение выражать полагается, не шмыгай носом, когда все вокруг улыбаются, не хлопай ушами, когда все вокруг деньги зарабатывают... поделом, получается, выводов не делаешь, не в первый же раз тебя в застенки кидают... правда, такого обвинения никогда не предъявляли... а капли воды, что по сырой стене сползают, очень на слезы человеческие похожи... тюрьма, тут многие плакали, не ты первый, не ты и последний, пока есть решетки на окнах, кто-нибудь в них нет-нет руками изнутри и вцепится...

...Случилось все по слову аль-Малики. Диван, с одной стороны, ожидал реакции султана, а с другой — того, что Насими в заключении расколется и сам попросится на допрос. Истоскуется без бумаги, соскучится по ветру, и развяжет ему язык та веревка, что руки за спиной стягивала. А если невиновен окажется да султан настаивать не станет — отпустим, не возьмем греха на душу. Но подождем, что султан решит, как он решит, так ему перед Богом и ответ нести, с государя и спрос иной, вроде как с поэта... ладно, приведите Насими, диван собрался...

- Ну что расскажешь?
- Для начала поздороваюсь. Здравствуйте. А что рассказывать? Вызвали — спрашивайте.
- И тебе здравствовать. Смотрели вот стихи, письма. Думали. Поговорить решили, расспросить кое о чем. Например, когда и зачем с Османом Гарайолуком встречался, о чем разговор шел.

— Давно встречались, я уже и не припомню, когда точно. А говорили о школах и литературе. Он предлагал мне остаться в Диярбекире.

— А чего ж ты отказался?

— Была бы моя воля, я и в Алеппо долго не задерживался бы. Не люблю я долго на одном месте сидеть, хотя порой и приходилось.

— Что ж так?

— Не по своей воле.

— Хорошо. О школах, говоришь. А о Боге что в мечетях и чайханах болтал?

— Поклонение Ему без знания содержит вреда больше, чем пользы... это не я говорил, это говорил наш пророк и посланник... изучайте, читайте, идите за три моря, если это принесет вам знание, и не зря первая ниспосланная (сура) начиналась со слова «Читай» и называлась «Калам»...

— Тут не глупее тебя люди собрались. Знают, что и когда ниспослано было.

— Зачем тогда под замком держите? Я уже сказал все, что знаю.

— Но ты и словом не обмолвился о том, о чем тебя спрашивали.

— Об Османе ответил, о Боге тоже.

— Стихи твои двусмысленны, мысли опасны. Это, например, звучит подозрительно: «Знай, человек, в любые времена лишь прозорливым истина видна, познал ты сам себя — стал прозорливым, сам не познал себя — твоя вина».

— И что тут не так?

— Что тут так, а что не так — мы решаем, не первый день живешь, не в первый раз пишешь, из написанного вину извлечь — дело легкое. Это, например: «И толковал богач всю жизнь об этом и о том, столь скудной мысль была, а речь пустопорожней», по-разному истолковать можно.

— А Аллаха не страшитесь — слова написанные или сказанные по-иному истолковывать?

— Мы и другого страшимся.

— И не знаете, кого больше бояться? Власти земной или небесной?

— Тебя отпускать глупо. Дел и делишек за тобой водится предостаточно — от связи с хуруфитами до стихов смущающих, двусмысленных. Доносы, что ты в людных местах не раз восхвалял Мансур аль-Халладжа.

— Пророк не велел верить доносам, а имя Мансура я не славил. Просто в стихах пару раз упомянул.

— Пророк не велел, а вот султан спросить может. И как, например, ты объяснишь это: «Твои глаза — Коран, и на земле есть лишь любовь, и ничего иного»?

— Интересно, почему вы не обращаете внимания на другие строки, например: «К таухиду¹⁸ стремясь, молви эти два слова, Бога нет, кроме Бога Единого — святее не выискать зова».

— Изворотлив ты. Не всякий написанное наизусть помнит.

— Я страшен вам, а не изворотлив. Я страшен вам потому, что из всех здесь собравшихся один верю в Него по-настоящему, так, как Он того от нас требует. И вера моя сильнее вашей. Сильнее веры любого, живущего в этом городе. Простой народ, который вы соберете на площади, верит потому, что вы отняли у него все, кроме надежды на Всевышнего. А сами вы верите в Него только потому, что боитесь потерять жирную баранину на блюдах из китайской глины¹⁹, обращенные к вам и внимающие лица простолюдинов да халаты, что по краям золотом расшиты. Вы просто боитесь потерять все это, и цена веры вашей мне известна. А мне известное, Ему и подавно ведомо.

— За одно предложение это, за одно только сопоставление это ты смерти достоин.

¹⁸ Строгое единобожие.

¹⁹ Фарфор.

- Знаю... мысли ваши...
- Боишься?
- Истины? Нет. Я и есть частичка ее, я и есть частичка Его.
- Ты есть истина?
- Я часть ее.. Она даже в вас есть. Даже в вас, несмотря на то, что превратили вы место суда в место беззакония и место правды — в приют неправды.
- Стража, уведите его.

...И подталкивала Насими стража в спину копьями, и тыкала в затылок эфесами сабель кривых, не по злобе, а порядка ради, чтобы суд творящие, усердие заметив, оценили или, наоборот, усердия не заметив, не взыскали при случае, куда денешься — служба... А из зала выйдя да до лестницы, что в подземелье ведет, дойдя, извинялись долго, пойми, мол, Насими, да зла не держи: не свидетельствуй против нас в День гнева Господня, сам понимаешь, дети у нас, жены, податься некуда, вот и пошли за куском горьким, сиротским в вертухаи — и род опозорили, и имя стыдом прикрыли, ты прости нас, поэт, горемычных, не со зла мы это, и светильник в зиндан принесем, и одеяло поновей да посуше, и тюфяк раз в два дня менять станем, и как начальство за ворота — вне очереди на прогулку выведем... а жизнь в зиндане стиснута в промежутки времени, только если в зиндан свет проникает. А если света нет и не предвидится — то время можно по-всякому мерить. Если сторожа со шмоном пришли — считай, дня два миновало, если еду принесли — день Божий прошел, а если принесли в зиндан два хурджина с едой — то друзья да родные не забыли и позаботились... а не можешь счет времени по передачам вести, а стражники шмонать вконец обленились — сиди себе возле стеночки на тюфяке, подбородок к коленям прижав, стенами интересуйся, читай, что на них до тебя сидевшие написали, думай, что сам напишешь, и гадай, что те, кто после тебя сюда сядет, на сырости нацарапают... не обманули стражники: Бога убоявшись, и одеяло принесли, и тюфяк меняли, со светильником, правда, накладочка вышла: расколотили при переноске вдребезги, оступились на ступеньках сырых... была, конечно, смена, где пара охранников постоянно на него зубами скрежетала, не любили они его: то еду самому последнему принесут, то, будто бы невзначай, на лежак наступят, пакостили по мелочи... а он сядет и шепчет, так шепчет, чтобы сокамерникам не мешать... охрана войдет, а Насими из угла читает нараспев коранический аят: «И поставил Я людей порочных властителями всякого селенья», чем приводил охрану в совершенное бешенство... шептал, как бы в забытыи, повторяя снова и снова: «И поставил Я людей...» Охранники из бестыжих очень недовольны были, но деваться некуда — сура из Священного Корана, не подкопаешься. Не дай Бог затрещину отвесишь — так самому за ересь да оскорбление величия Божьего загреметь недолго... ладно, бормочи, все равно наша взяла... вот и получается, что слово Божье — словом Божьим, а наше слово тут, возле камеры, посильней будет. А что с тобой дальше случится — то одному Богу ведомо, а что Он ведает — как письмо султана придет, ясно станет...

...А под вечер город устал — так всегда случается с теми, кто работает на износ весь день. Он прикрыл глаза, смотрел на закат сквозь густые ресницы, тяжело дышал, ему так не хватало простора и воздуха, ему хотелось стряхнуть с себя пыль, расправить плечи, потянуться, похрустеть позвоночником и, просто сидя на холмах, любоваться закатом. Но такая роскошь ему не по карману — за нее придется заплатить разрушенными стенами и поваленными минаретами, высохшими каналами и надломленными деревьями, опустевшими площадями и базарами, кузницами с погасшими горнами и сладковатым запахом разлагающихся трупов... впрочем, чего-чего, а запаха трупов ему всегда хватало: всех казненных сбрасывали прямо в городской ров. Подержав пару дней на центральной площади, для устрашения.

Город просто устал — такое иногда случается не только с людьми... пять тысяч лет — это очень большой срок... ложатся улицы морщинами, стоят стены дыбом, и рассыпаны храмы веснушками, а подбородок рвом очерчен, тем самым, куда трупы казненных скидывают, и лежат там они тихо-тихо, до самого Дня воскрешения, до самой трубы ангела, до дня, когда мертвые восстанут, до часа, когда погребенную заживо девочку и мужчину с содранной до сах костей кожей спросят, за совершение какого греха они были убиты...

...По решению султана, немедленно утвержденному лицами, присутствовавшими при вскрытии полученного письма, а именно: шейхом ибн Хатибом аль-Насири, шейхом Иззудином ибн Аминуддовле, верховным кади Фатхудином аль-Малики, его коллегой Шихабудином аль-Ханбали и шейхом ибн Хилалом, по прозвищу Лисоглазый, — Насими был приговорен к снятию кожи, после чего его отрубленные руки и ноги были посланы для устрашения владыкам краев сопредельных. Осману Гарайолуку, например, чтоб даже не думал своей политики против государства мамелюков гнуть: гляди, мол, что вчера с Насими было, — то при случае завтра с тобой приключиться может... тело же, без рук, ног и кожи, на семь дней оставили на площади, для внушения страха врагам внутренним, потому как врагам внешним напоминание уже отослали.

10

...Распевая десятую свою песенку, но когда он спел последнюю, — этого не знает никто...

Шарль Де Костер. Легенда об Уленишигеле

Почти заканчивая работу над этой повестью, я случайно натолкнулся на преинтереснейший текст одного средневекового историка... просто процитирую, оставляя право делать выводы и домысливать самостоятельно: «Насими находился в Антабе²⁰ и был близким другом вали (губернатора). Недруги и завистники поэта, решив поссорить его с городским головой, тайком вложили в обувь Насими кусок пергамента с текстом коранической суры “Йа син”. На суде Насими был приговорен к лишению кожи, которую он будто бы взял с собой и отправился в Халеб». То ли легенда, то ли иносказание, то ли еще что — не знаю, но мне очень хочется верить, что все было именно так, и Насими не умер, даже лишившись собственной кожи, а добравшись до Халеба, отсиделся у какой-нибудь одинокой женщины с большой и упругой грудью, а по весне, раны подлечив, отправился странствовать дальше:

В меня вместятся оба мира,
Но в этот мир
Я не вмещусь.

...Говорят, Ходжа, узнав о казни Насими, примчался в Халеб ровно через три дня и даже попытался поднять там бунт, всякую правду ремесленникам нашептывая... но это уже совершенно другая история — о мусульманском бунте, в котором пощады и смысла едва ли больше, чем в восстании православных... тут жгут кипарисы и взламывают двери гаремов, а там — терема в клочья разносят и приказных дьяков в проруби топят... после двух дней беспорядков султанские войска вытеснили восставших из города и, загнав в ущелье, перебили из луков. Ходже удалось уйти и отсидеться в скалах, он несколько раз чуть было не выдал себя скрипом зу-

²⁰ Антаб — город, находившийся примерно между Алеппо и Антиохией.

бовным, хрипом гортанным да дыханием перехваченным. А может, и ногами судорожно дергал, осыпание камешков вызывая. Все о Насими сожалел матерно да отомстить желал, так желал, что аж пыль на зубах скрипела, словно в мечтах он уже город проклятый с лица земли стер и, над властями вдоволь в зиндане поглумившись, на рынок рабов свез, вместе с детьми и женами. Выбравшись из ущелья да патрули миновав, сразу в Акшехир направился и с тех пор сидел в том Акшехире тихо и праведно, изредка после молитвы вечерней «и свет, что пронзит все людские сердца» себе под нос бормоча да прошлое вспоминая... в Рамадан же обязательно за душу Насими молитвы возносил да нищую братию из отложенного за год оделял, с просьбой молиться за поэта ободранного... в Акшехире он и скончался спустя десяток лет, преставился, как и подобает доброму мусульманину, в окружении жены, детей и внуков... говорят, своего старшего сына, первенца, он назвал Имадеддин... в память Имадеддина Насими, Насими из Ширвана, Насими Шемахинского... Мало ли что на Востоке говорят... С самой ведь казнью Насими тоже несколько легенд связано. Если верить одной из них, то помощник кадия, в гневе праведном бородой потрясая, возвопил прегромко: «Это Насими, отступник, флегма его ядовита, и да будет проклято и сожжено место, куда падет кровь человека сего». А кровь при казни всегда в разные стороны брызжет. И попала капля крови казнимого на палец вопившего — волной пошел ропот по толпе люда черного, давай, мол, исполняй сказанное, пожалуйста палец на жаровню. Мы, мол, молчали, Насими — тот если и кричал, то от боли нестерпимой, а слово о крови и месте тобой брошено было. Завертелся тут человек с должностью, не надо, мол, слова мои буквально понимать, правоверные, что вы, в самом деле, ну пролилась кровь его на песок сухой, не будем же мы песок сжигать, не горит он, песок, ни с кровью, ни без крови. Пороптал народ и замолк, смущенный видом стражников зверовидных, что площадь оцепили: доспехи начищены, щиты на солнце так и сверкают, поди побунтуй — враз порядок наведут да к миру принудят... древко копья в межреберье — самое первое дело... пришлось промолчать.. так что не все обещанное исполняется, не все пролитое загорается, но все прблитое зачтется обязательно, не тут, так там... По слухам, через два года помощника кадия обвинили в ереси и государственной измене и тихонечко, чтобы не было великого шума, придушили в яме...

По прошествии трехсот лет Насими таки удалось утащить за собой на тот свет еще пару человек. Поэта Армении Будаха Амтеци приговорили к сожжению на костре за чтение стихов «бунтовщика и грешника Насими и за последовавшее за чтением взбудораживание черни»... Хачатура Дигранеци, другого армянского поэта, за пьянство и громогласное распевание стихов приговорили к тому же, к чему и Насими... Принял католикос всех армян, или патриарх Стамбульский, на грудь вина дорогущего, затынулся табаком ароматным и подмахнул приговор подписью размашистой, чернилами брызгая... не читая, подписал, наверное... потому как раз есть хоть слово про Насими, значит, что-то против порядков устоявшихся, про все к ногам женщины, а не церкви-матери, про миры разные, в одном человеке единые, а какие там миры разные, когда Бог есть Бог, а мир есть дьявол, какие такие вселенные в человеке одном. Человек такой бесом одержим, не иначе... беса изгоним, а человека накажем, для этого у нас арсенал целый для нужд разнообразных. Под колокольный звон, под крики глашатая, при большом стечении народа, с Божия попуска и властей светских позволения... свиток со стихами же перед тем на спине наказуемого сжечь уместно, в назидание прочим, современникам и потомкам далеким... Так что, Насими: «Свиткам же со стихами твоими не раз и не два суждено сожженными быть, разорванными да растоптанными... многих участь твоя за слова или восклицания, что с твоими схожи, постигнет, многие еще поля-

гут, кто на плаху, кто от болезни сердечной, а все за то, что стихи твои повторять будут, перепевать да переиначивать... все по следам твоим, Насими».

Послесловие

...Тебе, Насими, все равно спасибо... от надежды спасибо, громкое, раскатистое, что на шесть веков вперед раскатилось и дальше катиться будет, от надежды, которая выжила, выкрутилась и, затоптанной будучи, все равно на ноги поднялась. Ты ведь очень всем помог, ты и до сих помогать продолжаешь, потому что если на весь Восток когда-то один такой Насими был, то, даст Бог, и второй появится... маленький Насими из Азербайджана, ободранный, окровавленный, рот болью сведенный, мышцы обнажены, жилы провисом висят, а красненькое вокруг так и хлещет на песок восточный, горячий, потечет и исчезнет... да люди вокруг, толпа ревущая, глаза горящие, зубы стиснутые, лица разные, кто улыбкой обнажен, кто отворачивается, потому как нервишками слаб... которые просто посмотреть, которых силой пригнали, кто посочувствовать пришел, а кому домой идти не хотелось, к жене постылой да стенам обрыдлым... У тебя, Насими, и сны хорошие были, и жизнь интереснее не бывает, а вот долгов не осталось, ни одного... что мог, то сделал, чего не смог — то хоть на зуб да пальцем попробовал, расковырял, оплатил сны свои кровью собственной, да так, что после тебя пришедшие, в кровь ту перья обмакнув, свое писать дерзновенно помышляют, думают, декламируют, головами мотают пьянственно, а протрезвев, участи твоей себе не желая, славе слезно завидуют... а как поймут, что славы такой без участи твоей не бывает и быть не может, — призадумаются... и закачаются сожалеючи головы, на плечах непрочно сидящие, головы, все-все-все тщательно взвешивающие, думающие, лысеющие или кудрявые, не без сожаления закачаются, ведь славы хочется, на цитаты быть растащенным еще больше хочется, всего хочется, одного только никак не желается — чтоб песок желтый красным окрасился...

Твою подлинную могилу мне так никто и не показал, а на приманку для туристов, которые слышали о тебе краем уха (в виде мавзолея с арабской вязью и табличкой на английском языке: «Здесь покоится один из самых великих мыслителей исламского мира — Имадеддин Насими»), я не купился... тебя никто так похоронить не посмел бы... да мало что похоронить, так еще и надпись по тем временам дерзновенную высечь, а позже... может, вообще позабыли, как ты выглядел... на месте рва, куда сбрасывали тела казненных, теперь городской квартал... века девятнадцатого... обычный старый квартал обычного восточного города... изжелта-белые стены, одно-трехэтажные домишки, белье на веревках да лавки с мелочовкой... вот и весь Насими... ну разве что памятник на одной из бакинских площадей да кино, в году тысяча девятьсот семьдесят четвертом снятое...

...Не зря ты взял себе такой псевдоним... Насими, «насм», «утренний ветер», «душа». Был ты легок, как утренний ветер, и тяжел, как мысли, им навеваемые, был ты с душой и сердцем, что бьется, как бабочка, прикрытая ладонью, ты много кричал, ты махал руками, ты подтверждал свое восточное происхождение словом и делом, уголками глаз и расшитой обувью, ты многого хотел, подолгу мечтал, ты так хотел, чтобы ее руки навсегда остались тонкими, чтобы она каждый вечер клала их тебе на плечи, ерошила волосы и тыкалась носиком в щеку, ты так хотел, чтобы твой вдох совпадал с ее выдохом и чтобы она ушла, везде оставив свой запах, везде-везде, от кипариса до дороги, после чего ты хотел написать свою лучшую вещь и окончательно рассориться с критиками... а потом ты уже был согласен на то, чтобы они содрали с тебя кожу, Насими, не так ли? Конечно, согласен, заранее согласен, на всю жизнь согласен, а потому — пусть снимают... Всем зачтется...

Марина ПАЛЕЙ

LIFE IS MIRACLE

НЕРПА

1

Дева-нерпа, с лицом, что египетский сфинкс,
на востоке финских границ,
где торф, словно порох, дымно горел,
где силен русалочий хор,
где сошлись воедино — чухонец, карел,
русин, ингриец, помор, —
дева-нерпа жила там, не зная ни вер,
ни трудов, ни праведных дел.

Там панцирь на озере осенью сер.
Там камень горячий бел.

Там дети летают на финских санях,
там девы — в цветастых платках.
Там лыжные линии на полях
сходятся в облаках.

2

...На полозьях жених — онежский помор.
На сиденье — нерпа: бесстрастный взор.
По сторонам — темный сосновый бор.
Оба смотрят ветру в упор.

Ж е н и х :

«Проклятая нерпа! уходишь под лед,
не достать и багром с полыньи...
Какого же дьявола бьют меня влет
синие очи твои!»

Марина Анатольевна Палей родилась в Ленинграде. Окончила там же Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова, работала врачом. В Москве с отличием окончила Литературный институт. Многочисленные публикации в журналах «Новый мир», «Знамя», «Зарубежные записки», «Волга», «Урал» и др. Автор четырнадцати книг, изданных в России и восьми за рубежом. Проза переведена на английский, финский, немецкий, шведский, японский, итальянский, словенский, словацкий, эстонский, латышский, нидерландский и др. языки. Финалист премий «Букер», «Большая книга», им. И. П. Белкина (дважды). Лауреат «Русской премии» — 2011 (роман-притча «Хор»). Работает во всех литературных жанрах. С 1995 года живет в Нидерландах.

Нерпа:

«Цветочный нектар мне приторно пить,
молочные реки скучны.
Только лед могу я всем сердцем любить,
только след ускользнувшей волны».

Жених:

«Твои плавники не ласкали меня,
ты скользкая, словно сталь...
Сосед, что водяру, как воду, пьет,
обрез в сарае достал.
Достал — и вот — всадил себе в рот,
бац! — череп к черту снесло...»

Нерпа:

«А я — все равно ускользну под лед...»

Жених:

«А ты — все равно ускользаешь под лед...
Как громко орет на пригорке народ...
Не бегите, меня никто не спасет...
Я тону, уносит весло».

РЕКА

1

На Щуке на реке —
да волны-чешуя,
и бьет хвостом в причал
та рыбина, и злится,
и хлещет дождь такой,
чтоб ты не замечал,
как слезы льют рекой
и как продрогли лица
у тех, кто ждет паром,
чтоб на берег другой...
Зачем — спроси у них,
но и не жди ответа.
Дай мне поцеловать —
то место под скулой,
где ты щетину сбрил,
когда промокло лето.

2

буду лежать рекой
возле босых твоих ног
буду дарить покой,
лес, и песок, и мох

буду лизать волной
стопы твои, как плёс,
буду бежать за тобой,
я, тоскующий пес

траурной стану зарей,
розою золотой,
камнем войди в меня,
альтом придонным запой

буду сверкать рекой —
серой, железной, стальной,
не стой же ко мне спиной,
терем ты мой расписной

лицо свое приоткрой,
поверотись! а пока
буду лежать — рекой
я уж давно — река.

* * *

Только скомандовали «на старт!» — и вот, не поверишь, финиш.
Во мне жар — и нету жар-птицы. Во мне — адский холод.
Огонь — и дымящийся лед. Ты очень и очень молод.
Не подходи — ведь ни за грош погибнешь.

Горячка, да, — белая, черная — иль всякого цвета вне.
И не надобно — ни читателя, ни врача,
ни тем паче советчика. Чем он поможет мне?
Даже рыба кровь становится горяча —
если живьем, в огне.

ГЕНДЕРНАЯ РАЗНИЦА

Пиит строчит одно: про Мутерлянд.
Она ему — жена, и мать, и дочь, и брат.
Он отвергает всех земных невест.
Таков ему положен крест: инцест.

А поэтесса — только про него,
Возлюбленного своего.
Он ей — не муж, не сын, не сват, не брат.
Он ей и есть родимый Фатерлянд.

31 АВГУСТА

Хоронила я лето — в облачении белом:
как требует исламских этносов обычай.
Напялив траур для души и тела,
в кафе «Addis Abeba» я сидела —
все — оки-доки, в рамочках приличий.

Мужчины черными затылками молчали.
Но в парандже, сквозь прорезь танка,
расстреливала дикими очами
меня — супруга чья-то, мусульманка,
не понимая тихой русской пьянки.

ВЕЩЬ

Памяти И. Б.

Вещь не предаст тебя, не продаст, обманывать ей запаadlo.
Налил кипяток в грелку — грелка дарит тепло.
Лег на кровать — ложе не вышвырнет тебя вон.
Накрыл себя одеялком — нежишься, как эмбрион.

Подушенька, мамушка, мягки твои все бока,
Душа твоя пуховая вечна — переживет века.
Лампа настольная светит божественным светом.
Перегорит — заменим — и забудем об этом.

Газ на плите — честен, как Дон Кихот.
Миксер — перемелет все, что возьмет в оборот.
Сядешь в кресло — оно мягкое, без подвоха.
Полотенце — не знает ни «хорошо», ни «плохо».

А в человеке не стоит скрести тепла по сусекам.
Прекрасен брак вещи мертвой — с мертвецом-человеком.
Вот он, брак навечный, хотя, скажем так, и невенчаный.
Муж — это ты, белым волком помеченный.

* * *

Когда твоя тюрьма тебе предстанет раем,
считай, что победил ты Люцифера.
И Бога победил. И вот, караем
«богоносителем», стебёшь ты суевера.

Когда твоя тюрьма тебе предстанет раем,
в хлеву общественных весов и мер, —
ты сам уже ни горд, ни презираем.
Ты сам себе — и Бог, и Люцифер.

Игорь ГАМАЮНОВ

ЩИТ ГЕРОЯ

Главы из романа

Луна плывет, как круглый щит
Давно убитого героя.

Николай Гумилев

Серый квадрат Степницкого

1.

Бессонница изводила Степницкого. Мешало все: обломок луны, желтеющий за неплотно задернутой шторой; нудно-усталый вой поздних троллейбусов; мельтешащие картинки ушедшего дня — они наплывали, повторяясь, назойливые, как слепни на речном берегу.

И лица, лица кружили над его головой. Равнодушные, высокомерные, усмешливые, они злорадно ждали от него жалких слов, покаянных признаний: да, я такой же, как все, так же лгу близкому человеку, лелею свои подростковые комплексы; воображаю себя, размахивая мечом картонным и прикрываясь таким же щитом, воителем с житейской нечистью — то ли Георгием Победоносцем, то ли еще одной модификацией Дон Кихота; живу по инерции, непонятно — зачем. Понимаю лишь, что ложкой моря не вычерпать, на смену одним разоблаченным и обезвреженным мастерам хапужных дел придут другие: хищные, лживые, цепкие.

Одна из картинок повторялась: длинный коленчатый коридор редакции; из-за поворота, чуть не сбивая его с ног, выворачивается на цокающих каблуках толстуха Волобуева с развернуто трепыхающейся в руках полосой. И — останавливается. Улыбка радостная, почти детская. У нее праздник. В полосе заверстан ее материал про городок Ликинск, где, оказывается, наметились перемены к лучшему. Это, правда, не репортаж и не очерк, а всего лишь беседа, но зато — с самим Ивантеевым! С чиновником-богачом! Осчастливившим редакцию шестизначной суммой! От которой ей, Софье Волобуевой, как автору рекламной акции, полагается десять процентов!

Она, правда, ничего не писала, только как бы задавала Валерию Власовичу вопросы... Ну да, он их не слышал, ну и что?.. Ведь вопросы были вписаны ею в текст... К тому же придумал их ивантеевский пресс-секретарь, который, наверное же, показал начальнику свое сочинение... А может, и не показал, это его проблемы. У нас сейчас свобода слова, можно напечатать все, смеется Волобуева. Например, будто

Игорь Николаевич Гамаюнов — журналист, писатель, автор романов «Капкан для властотлюбца», «Майгун», повестей «Странники», «Ночной побег», «Окольцованные смертью», «Камни преткновения», «Ошибка командарма», «Однажды в России», «Мученики самообмана», «Свободная ладья» и др., а также рассказов и очерков, публиковавшихся в «Литературной газете», в журналах «Нева», «Знамя», «Смена», «Юность», «Огонек». Работает в «Литературной газете» обозревателем.

НЕВА 3'2014

фикусы в Минсельхозе, стоящие в начальственных кабинетах, сгибаются под тяжестью гигантских яблок, сорт такой вывели... «Минсельхозовский»!.. Ха-ха!.. И редакции за это ничего не будет! Потому что газета за содержание рекламных текстов ответственности не несет... Главное, чтоб это примечание было набрано мелкими буквами, как можно незаметнее, в конце полосы.

Жизнь в мире фикций... Жизнь в режиме безостановочного вранья... Когда была жива империя, этот способ бытия продлевал ей жизнь. Прятал под густым слоем имиджевых красок признаки наступающей дряхлости. Но от гибели не спас. Хотя неуклюжая правда подлинной жизни со всеми ее уродствами уже проступала сквозь имперский макияж. Помпезные съезды руководящей партии были не в силах обеспечить едой, жильем и приличной одеждой уставший от пустых призывов народ, и империя рухнула. Сейчас то, что еще от нее осталось, повторяет ее судьбу. Лживый телемакияж осыпается, но доброхоты вранья не жалеют сил.

Так думал про нынешнюю жизнь журналист Степницкий, мучившийся бессонницей, ощущавший, как с каждым днем то, что происходит вокруг, словно бы размывает твердый остов его бытия, его уверенность в необходимости своего присутствия в этом нелепом мире. И звеневшие в его воображении латы Спартака (тот детский рисунок чудом уцелел в его школьной тетрадке, Влад на него наткнулся недавно, копаясь в своем архиве), и тщательно прорисованный круглый щит, и шлем с боевым оперением, и короткий меч — все это в те мучительные бессонные ночи стало казаться жалким, ненужным, тускнело и опадало, как осенняя листва, сорванная холодным ветром.

В одну из таких ночей Влад, забыв посмотреть на часы, позвонил Стасу. Тот встревоженно спросил, что случилось. А услышав про бессонницу, сказал: «Как же ты меня напугал, ведь четвертый час ночи!..» И продиктовал название мягкого снотворного. А с чего бы это все у тебя — поинтересовался. Влад прочитал ему по памяти Тарковского:

— «...Но если я вступаю в дикий спор / Со звездами в часы ночных видений, / Не стану я пред ложью на колени...»

На колени?.. Так далеко у тебя зашло с Настей?.. Ну, ладно-ладно, успокойся, понимаю, не только в ней дело... Но в ком?.. В Елене?.. Да ты хоть понимаешь, с кем прожил тридцать лет?.. Нет-нет, послушай, она же необыкновенная, редкая, удивительная женщина... Да, закрытая, да, «вещь в себе», но это же кладезь доброты и душевности!.. Если б не она, ты бы со своим характером просто не выжил бы, понимаешь?.. Ну, хорошо, если не в этом суть, тогда в чем?.. Нет, все-таки мы неправильно живем, сказал с досадой Стас. Надо чаще видеться. И — разговаривать. Подробно! Детально! Долго! А то ты там забрел в какие-то дебри, а я не знаю. Так куда ты забрел? Говори, говори.

И Влад говорил... Представь себе «Черный квадрат» Малевича. Представил? А теперь вообрази, что черную краску как бы размыло, и образовался серый квадрат. Вот это — мое состояние. Серый тупик. Не черный, как символ конца творчества, краха цивилизации, смерти вселенной, а именно — серый! Ты еще жив, но двигаться уже не можешь. Ты увяз в серой дымке. В ней растворились твоя воля, твоя способность принимать решения, твое ощущение перспективы. Горизонт заволокло!

Я понимаю, говорил Степницкий, мы сейчас обитаем на развалинах отечественного идеализма, на ошметках несбывшейся веры в организованную по универсальной схеме счастливую жизнь. И — на зыбкой иллюзии, будто на этот раз, после крушения мечты, идем «правильным путем». Хотя чувство, что идем по

краю и вот-вот сорвемся в пропасть, знакомо не только мне. Но доминанта состояния общества — нет, не паника... И даже — не тревожная озабоченность... А — веселый цинизм!.. Эдакая рабская насмешечка над собственным бессилием... Признание верховенства и непобедимости враждебных нам обстоятельств...

Даже недавние митинги оппозиционно настроенных пользователей Интернета, вышедших на улицы, поразительно инфантильны... Да, их тоже, как и меня, корежит от официального вранья, они искренне негодуют и в своей интернетной полемике заражают друг друга слепой агрессией, которая ведет только к одному — к смене власти... Любим, в том числе и кровавым, способом... Для чего? Для того, чтобы новые реввоенсоветы, наводя порядок, повторили бы тот же путь, который мы уже прошли?.. Так и будем ходить по кругу?..

В тебе говорит бывший отличник поселковой школы, читавший когда-то со сцены стихи Маяковского, пытался вернуть Влада к реальности режиссер Клишко. Ты жертва пионерско-комсомольского воспитания. Как отчасти и я, признавался Стас. Ведь в те годы, когда наш казавшийся нам незыблемым строй на самом деле тихо потрескивал и рушился, мы, ощутив это, искали конкретного виновника наметившихся бед. А его (прав, прав писатель Вольский!) не было! Он, этот виновник, безличен! Он — сумма исторических обстоятельств. Он — инерция прошлых веков. Наследие крепостничества, которое продлил в России двадцатый век. Да, мы с тобой, извини, и в самом деле страдаем социальным инфантилизмом, каялся режиссер Клишко. Но это, на мой взгляд, лучше, чем впасть в цинизм, погрязнув в самоиронии, которую трудно отделить от самолюбования.

Разумеется — лучше, соглашался бывший судебный очеркист Степницкий, не забывший головокружительного праздника своих побед, вала читательских откликов, одержимости своей, заставлявшей любить редакционную жизнь временами больше жизни семейной, апологетом которой себя считал... Да, лучше, но, понимаешь ли, в свою очередь каялся Влад, сейчас, после всего того, что произошло с нами и со страной, какое воспоминание меня гложет?.. Рождение дочки в те годы было для меня ошеломительным счастьем; снимки моего младенца — ползущего, сидящего, сияющего беззубой улыбкой или смешной гримасой плача — множились в семейном альбоме, на стенах нашей комнаты, над моим редакционным столом; самым занимательным делом для меня тогда было ведение отцовского дневника, куда я вписывал эпизоды Ксенькиного взросления... Издал книжку... Но пришла эпоха взрывных сюжетов судебной очеркистики, и одержимость ею поглотила меня... И вот тебе терзающий мою память эпизод из прошлого: выросшая уже Ксенька то ли в шестом, то ли в седьмом классе схлопотала четвертную тройку по химии (самый нелюбимый предмет), и я, принципиальный отец, считавший тройку оценкой, свидетельствующей о нечестном отношении к своему долгу, наказал дочь... Не только суровой беседой, но еще и запретом — собирать у себя дома шумную компанию одноклассников на свой день рождения... Мол-де, не заслужила праздника... Хорошо, что сам в тот день уехал писать срочную статью — на казенную дачу, не зная, что ребята не вняли моему запрету, пришли с цветами и шуточными проклятиями в адрес «химички», которую Ксенькин класс дружно ненавидел за мелочный педантизм... Вспоминая, поеживаюсь. Стыдно, друг мой Стас, быть одержимым... Стыдно утрачивать чувство реальности... Одна, но пламенная страсть — самоубийственна, разве не так?!

Ну, не совсем так, уточнял режиссер Клишко, зная, как такая страсть множит иссякающие силы, обновляет душу... Да, конечно, в крайнем своем выражении она ослепляет... Может быть, дело, скорее всего, в том, что мы любим крайности?! В том, что мы жертвы этого пристрастия?.. Кстати, что с твоим сценарием о жертвах

и жертвенности?.. По моим предположениям, ты увяз в теме... А у меня уже есть кое-какие наметки.

...Клубились над спавшей Москвой февральские облака, чреватые новым снегом и новыми холодами. Шла ночь к своему завершению. Но бессонница, одолевшая журналиста Степницкого, теперь овладела и режиссером Климко.

2.

Улица была полна утренней суеты. Пронеслись троллейбусы, гудя с натугой, словно жалуясь на тяжкую участь. Школьный двор, выбеленный выпавшим ночью снегом, пересекали фигурки с ранцами. Золотилась в туманной дымке, меж домами-башнями, маковка церкви. По тротуару, обрамленному высокими сугробами, мелко семенила закутанная в платок бабка, ее тащила на натянутом поводке собака неясной породы, рвущаяся в соседний переулочек. «Похоже, эта зима никогда не кончится», — подумал Влад, допивая у окна кофе.

— Ты уверен, что тебе нужно встретиться с этим несчастеньким олигархиком районного масштаба? — спросила его Елена, убирая со стола посуду.

— Ну, во-первых, не районного, а скажем — областного масштаба, а может, даже и федерального, но хорошо замаскированного. Во-вторых, отнюдь не несчастенького, а довольно успешного, то есть в его понимании — счастливого. И если я не пойду на эту встречу, он сочтет меня последним трусом, неужели не понимаешь?

Нет, все она понимала, видя, как втягивается Влад в новую судебную историю. Хотя совсем недавно утверждал: нужно менять систему, а не чиновников внутри системы... Но тут все сошлось: безгласная и бесправная владимирская вотчина, управляемая московским князьком, искалеченный мальчишка и, конечно же, задевшие мужские амбиции... Как без них!..

— Ну и плюнь на то, кем он тебя сочтет. Кто он такой, чтобы с ним считаться?.. Пусть им занимаются следователи, это их работа, а твое дело — писать.

— Вот именно поэтому и хочу Ивантеева увидеть... Он мне сам по себе интересен: богач, при связях, а суда явно боится... Он же пытался остановить публикацию Сидякина в журнале!.. Значит, догадывается: даже если вина его не будет доказана, попавший под его снегоход Ваня Котков все-таки испортит ему биографию... Одним своим видом — на инвалидной коляске... Особенно если этот сюжет подхватит телевидение.

— А как он узнал, что за статьей Сидякина в «Далях...» маячишь ты?

— Думаю, редакционные доброжелатели подсказали.

...Степницкому вспомнился разговор с главредом, собравшимся в Калифорнию, его предложение (как бы шуточное) вначале «заработать» на рекламной статье про Ивантеева, а потом, получив от него деньги, опубликовать разоблачительный очерк о его пьяных прогулках на снегоходе. Влад резко отстранился от предлагаемой двухходовой операции, и, видимо, главред перед отлетом в Сан-Франциско пересказал все гендиректору. Тот, оставшись «за главного», поручил своей сотруднице Софье Волобуевой разбиться в лепешку, но подготовить в текущий номер рекламную публикацию. Что и было сделано. Волобуева разбавила текст справки вопросами и послала по Интернету Ивантееву, который завизировал свою псевдобеседу, заодно поинтересовавшись у Волобуевой, почему журналист Степницкий отказался от выгодного задания... И — не сотрудничает ли с ним юрист Сидякин?.. А получив от болтливой Софьюшки нужную информацию, понял, что не гарантирован от еще одной критической статьи в каком-нибудь другом, кроме «Сельских

далее», издании. В каком? И не проще ли с этими двумя замшелыми правдоискателями обо всем договориться?

— Но если судом пока не установлена вина лихача на снегоходе, то этот лихач, высокопоставленный и при деньгах, может ведь привлечь за клевету Сидякина?! — предположила Елена, надевая в прихожей дубленку. — Разве не так?

— Так, да не совсем. В журнальном тексте Сидякина нет ни одного категорического утверждения, презумпция невиновности там соблюдена. Но зато сформулированы очень ясные вопросы... На которые должен ответить суд... Ивантеев, я думаю, понимает, к какому решению суд может прийти, и, видимо, встреча со мной ему нужна, чтобы затормозить ход событий.

— А Сидякин с тобой пойдет?

— Он будет неподалеку.

— В роли секунданта?! Прошу только: не впадай в состояние разоблачителя. Не размахивай мечом...

— Картонным?.. Не буду.

— Потому что в наше время это смешно.

— У меня задача — его разговорить.

Усмехнулась Елена, глядя на себя в зеркало, она одевалась в прихожей. Поправила шапку. Повязала по-другому шарф. Скорчила гримасу.

— Так мне лучше? — спросила. — Ну, скажи! Обмани, но скажи!.. Как там у Пушкина: «Я сам обманываться рад...» И я буду рада, — она засмеялась. — Вот и ты, мне кажется, обманываешься. Наивно же предполагать, что опытный чиновник и, судя по всему, удачливый пройдоха в разговоре с враждебно настроенным журналистом проговорится.

— Может, ты и права. Но повидать этого пройдоху надо.

3.

Встреча была назначена в редакционном ресторане. В том самом, куда идти нужно было мимо скопища автомобилей у крыльца редакции, огибая торец здания с голубовато-сизой неоновой вывеской на нем: «Ресторан «Пушкинский»». С аляповатой припиской на фанерной стрелке красным фломастером: «Вход за углом». Ивантеев, вдруг позвонивший Степницкому («У меня есть новая информация по интересующему вас делу...»), пожелал поговорить в неформальной обстановке. И легко согласился на ресторан.

Степницкий зарезервировал столик в дальнем углу, возле кадки с громадным, упиравшимся в потолок фикусом, под внушительной, два на два метра, картиной в тяжелой резной раме, изображавшей голову кудрявого Пушкина, отчеркнутую снизу, у шеи, профилем гусиного пера, напоминающего сизо-металлическим отблеском нож гильотины. Пройти туда можно было, обогнув в центре зала небольшой, выложенный крупными булыжниками бассейн с вяло пульсирующим (как бы — Бахчисарайским) фонтаном.

В этот дообеденный час ресторан пустовал. Проверая, тщательно ли накрыты столы, бродил по залу скучающий метрдотель, одетый в строгий черный костюм, с блиставшей на отвороте металлической бляхой, оказавшейся при ближайшем рассмотрении фирменным значком, — все той же, как бы гильотинированной, головой поэта. Оказавшись у входа, метрдотель встрепенулся, увидев посетителя, напрыгся, склонившись, о чем-то его спросил и, сделав рукой плавный жест, повел вокруг фонтана к фикусу, где сидел со своим эспрессо журналист Степницкий.

Посетитель был невысок, плотен, рыжеват. Да, правая бровь рассечена (быв-

ший мент Сидякин, как всегда, точен в своих изысканиях), но надо внимательно всматриваться, чтобы заметить, так аккуратно закрашен рубец. Сдержанно улыбаясь, Ивантеев сел, положив на стол тугую барсетку, расстегнул пиджачок серо-стального цвета, ослепив журналиста багрово-красным, вольно приспущенным галстуком, спросил, не пообедать ли им. Степницкий отказался, сославшись на поздний завтрак. Ивантеев понятливо кивнул, не стирая улыбки с квадратно-приветливого лица, покрытого золотистым налетом. («Неужели в студию загара ходит? Или — в Египет на новогодние каникулы мотался?» — предположил Влад.) Заказав себе «тоже кофе, только американо, в большой чашке», Ивантеев предупредил метрдотеля, что к нему подъедет пресс-секретарь, его надо привести сюда же.

— А ваш поздний завтрак и ночные сиденья за письменным столом мне знакомы, — продолжал улыбаться Валерий Власович. — Я до сельхозинститута в районной многотиражке работал. Ездил по колхозам, рапортовал то о посевной кампании, то об уборочной...

(«Почти коллега?.. — удивился Степницкий, взглянув на третий от них столик, за которым сосредоточенно пил чай бывший мент Сидякин. — До этого Егор Савельевич не докопался...»)

— Потом в институтской многотиражке публиковался, пока не загрузили комсомольскими делами. Отвечал за самостоятельность. Сам выступал. Молодой азарт так из меня и пер, особенно когда Маяковского со сцены читал: «Я волком бы выгрыз бюрократизм!..» — Тут Валерий Власович, словно вспомнив детские шалости, легко рассмеялся.

(«Надо же, он тоже любил Маяковского! — подивился Степницкий совпадению. — Хотя — вряд ли. Просто мода была... Неужели учуял во мне бывшего “маяковца”?.. И разве мы с ним из одного поколения?.. Нет-нет, он лет на десять моложе... Племя хоть и не молодое, но мало знакомое...»)

— А еще у нас на курсе обожали Вознесенского: «Уберите Ленина с денег!» Помните? Сейчас забавно, да?.. Смешные были... Да и какими еще нам быть, выходцам из российской провинции... Я родом из Пензенской области... А вы, Влад Константинович, откуда-то из-под Саратова?

— Разведка уже донесла, Валерий Власович?! Оттуда. Из степного Заволжья.

— Из казацкого рода? У меня тоже в роду казаки были.

(«Еще немного, и предложит брататься. Ловок!.. А если бы из дворянского?.. Сочинил бы на ходу новую родословную?» — подумал Степницкий, взглянув из-под фикуса на портрет поэта, лицо которого, как ему показалось, дрогнуло в солидарной усмешке.)

— Я там как-то гостил, удивительные места, — мечтательно сощурился Ивантеев. — Приятель повез в степь на рыбалку, я думал — шутит, кругом полынь да ковыль, никаких признаков воды. А на бугорок въехали, глядь — цепочка бочажков от пересохшей речки, название, если не путаю — Малый Узень, он весной полон, даже течение есть, а летом — стоит. И в этих бочажках — пропасть сазанов, от килограмма и больше, один мне бамбуковое удилище сломал, когда я его тащил... Помните, хорошие в те годы удилища были — из бамбука, легкие!.. А сейчас — из стекловолокна, тяжелые, рука гудит в конце дня... Нет, не всегда прогресс на пользу!..

Он был мастером общения, этот невзрачный чиновник, негласно владеющий почти целым княжеством во владимирских землях. Ведь всех тех районных начальничков, тоже не лыком шитых, кто, поддавшись его снисходительно-обаятельной командировочной болтовне, продал ему по дешевке акции своих предприятий, нужно же было заговорить до смерти. До полной утраты трезвомыслия.

Хотя если деловые разговоры велись по русски — в банной парилке или у рыбацкого костра, то трезвость мысли, конечно же, была близка к нулю... К тому же эта его какая-то детская, располагающая улыбка, это веселое оживление в искрящихся глазах... Обаяние неотразимое!.. Правда, стоит ему посерьезнеть, квадратное лицо становится неприветливо-жестким, в глазах — лед... И он, видимо, зная об этом свойстве своей физиономии, старается без конца улыбаться.

— У меня, если откровенно, детства не было, — в его интонациях прорезалась приятельская доверительность. — Вы литератор, можете представить: пьющий папаша, слесаривший в колхозном гараже, властная маманя, телятницей работала, кроме меня, у нее еще трое ртов, два моих брата и сестра. Я старший, вкалывал с малолетства: матери помогал за телятами ухаживать, на огороде картошку окучивал. А еще с отцом ругался, чтоб не пил.

Ему принесли кофе. Он, наклонившись, вдохнул аромат. Лицо его в этот момент, на мгновение утратив улыбку, приобрело сосредоточенно-суровое выражение. Кивнул официанту:

— Годится.

И, снова заулыбавшись, окунулся в прошлое.

— Конечно, книжки читал запоем... Про графа Монте-Кристо чуть не наизусть знал. Мечтал уехать, найти клад, вернуться на «Жигулях» последней модели — тогда иномарок в провинции не было... И, знаете ли, промчаться по главной улице села, подняв пыль до небес!.. За рулем я уже мальчишкой уверенно сидел: отцов приятель дядя Боря, колхозный шофер, научил.

— Тогда и отметину на бровь посадили?

Передернул плечами Ивантеев, сморщился.

— Зоркий у вас глаз. Нет, это недавний грех, два года назад. Люблю, знаете ли, скорость. Да и какой русский не любит быстрой езды?! — щегольнув известной поговоркой, он засмеялся, довольный своей ловкостью. — А тут довелось сесть за руль гоночной «порше». Не удержался, дал по газам. На повороте не справился, чуть голову не снесло. Зато сейчас в зеркало гляну, и, знаете ли, мороз по коже — от той скорости! Кажется, еще маленько, и взлетел бы. Так и хочется повторить.

— К себе в село на «порше» ездили?

— Нет, туда я на первом своем автомобильчике мотался, на подержанном БМВ. Но до него столько всего пережил. Студентом почти голодал, подрабатывал в Пензе дворником, со стройотрядами на заработки в Казахстан ездил... Потом — общественная работа... Такая, знаете ли, морока!.. Комсомол, вы же помните, действительно был школой, но только не — «школой коммунизма», как тогда говорили...

Саркастическая тень мелькнула в улыбке Ивантеева.

— ...На самом деле это была просто неплохая школа управленцев... Менеджеров, как сейчас говорят... А в девяностые меня занесло в бизнес, тогда и бээмвэшку купил. В те годы, скажу я вам, приключения у меня были почище монте-кристовских, на роман с продолжением хватит... Тогда я и фермерское хозяйство, первое в районе, организовал, бываю там каждую весну... С сыном... Чтоб корни свои помнил... Жена?.. Она у меня тоже бизнесом занялась — здесь, в Подмосковье... Я вам все это рассказываю, потому что привык быть полезным людям. И если вас как журналиста-литератора такой материал заинтересует, готов потратить пару-тройку вечеров... Тут — я уж раскрою вам все свои карты — возникла идея у моих соратников выдвинуть меня в депутаты Госдумы, и небольшая брошюрка с фотоснимками про мой трудовой путь была бы очень кстати. Причем условие такое: гонорар вы назначаете себе сами! Обещаю, торговаться не буду...

4.

Вот так, не церемонясь... Упрямого быка — за рога... Не ждал такого предложения Степницкий!.. Ошеломленно молчал, всматриваясь в собеседника. Да неужели Ивантеев не догадывается, что перед ним занудливо-заклиненный человек с застарелыми убеждениями и серьезным компроматом, способным если не остановить, то сильно притормозить его, ивантеевскую, карьеру?.. А если догадывается, то на что расчет?.. Может быть, Валерий Власович верит, что этот потрепанный жизнью, уставший от газетной суеты журналюга в конце концов перешагнет через свои, смешные сейчас, убеждения, отодвинув их в разряд заблуждений, благополучно обменяет свой компромат на сумму, которую сам себе назначит, став навсегда его, ивантеевским, соратником?.. Ведь брошюра о будущем депутате — это пропуск в другой мир, там маячит конвейер по изготовлению такого рода книг, и как следствие этого конвейера — банковские счета, недвижимость в ближнем Подмоскovie, регулярные зарубежные командировки и прочие земные блага!.. Вот ведь странность, думал Степницкий, рассматривая Ивантеева, неужто в его опыте общения с разными людьми не было осечек? А может, его предложение — всего лишь провокационный блеф?..

— Но вначале я бы хотел понять, как вы относитесь к тому, что произошло в деревне Цаплино прошлой зимой.

Улыбка ушла с квадратного лица Ивантеева. Сейчас оно стало похожим на отчужденно-застывшую маску.

— Там был несчастный случай: мальчишка на лыжах въехал под мой снегоход. Получил травму. Следствие подтвердило мою невиновность. Да вы это все знаете, ваш коллега из журнала — мне рассказывали — приезжал, интересовался.

— После чего на него в электричке было совершено нападение, из его рук вырвали сумку с документами.

— Ну, мало ли сейчас у нас нападений?! Да еще в электричке... И если только оно не придумано, то вряд ли имеет отношение к цаплинскому делу. К тому же у родителей мальчика нет ко мне претензий. А инвалидную коляску новой конструкции им на днях доставят. По моему распоряжению. Что совсем не значит, будто я готов признать за собой хоть какую-то вину...

Он снова заулыбался, как бы извиняя своей улыбкой заблуждения собеседника.

— ...И неужели вы думаете, что суд, к которому корреспондент подталкивал родителей мальчишки, нашел бы в этом случае какую-то мою вину? Или вам просто зачем-то нужен этот скандал? Зачем?

Понимал журналист Степницкий: нет смысла быть откровенным с человеком, только что пытавшимся купить его литературские услуги. Но накопившееся раздражение последних дней требовало выхода. И Влада, как это с ним бывало, несмотря на предупреждения жены, повело.

— Нужен не скандал, нужна — правда, — отчеканивал он, внутренне содрогаясь от металлических звуков собственного голоса. — О том, что вы там, в своей вотчине, безраздельный хозяйчик. К тому же — совершенно безответственный. Я не говорю сейчас об истории с несчастным лыжником, это дело суда. Я о том, что у вас там люди живут в ситуации средневековья: газа нет, за водой — к колодцу. Доярки работают на износ, а зарплаты копеечные. Пожаловаться некому, все начальство повязано взаимными услугами, а до главного акционера, то есть до вас, Валерий Власович, не доберешься, вы в Москве. С газификацией жителей этого района грубо обманули — собрали деньги и ничего не сделали под предлогом: кто-то украл

трубы... Поэтому сельские жители и бегут в город за заработком и за сносными условиями существования... А у единственного в этих местах фермера прошлым летом усадьбу сожгли...

И чем больше Влад говорил, распаляясь, тем спокойнее и улыбчивее становилось лицо Ивантеева — он приветливо кивал Степницкому, словно подтверждая правоту каждого его обвинительного тезиса, мельком, скользнув взглядом по фигуре и портрету поэта, осмотрел пустующий зал с одинокой фигурой любителя чая за третьим от них столиком (этого любителя он заметил сразу, как только вошел), терпеливо ждал в монологе своего собеседника паузу. И — дождался. И — вклинился. Горячо, почти восторженно.

— Да, Влад Константинович, вы все точно подметили... Это и в моей предвыборной программе есть: повышение зарплат, и не только дояркам. Газификация всех сельских поселений. Укрепление правопорядка. Фермеру поможем — ссудой на строительство дома. Кстати, вы упомянули колодцы. Мы же планируем поднять водонапорные башни, водопроводные колонки поставить. А то ведь в некоторых селах вода в колодцах к концу лета зацветает. Так что я вам буду только благодарен, если вы — вместе со мной — возьмете эти вопросы под свой контроль.

«Виртуоз! — восхитился изумленный Степницкий. — Он хочет разделить со мной ответственность за собственную бездеятельность!..»

— А что вам помешало осуществить свой замечательный план до встречи со мной?

— Обстоятельства. Вы же знаете, что такое наша сельская провинция...

Он говорил о провинции минут пять, безостановочно, тоном лектора, который настриг текст своего сообщения из газетных фраз. Этот словопоток убаюкивал перечислением непреодолимых климатических и прочих других трудностей, переносил Степницкого в те далекие годы, когда начальство, отчитываясь на совещаниях, обрушивало на головы слушателей водопады демагогии и вранья. Ему вспомнилось, как он в семидесятые, наивно пытаясь писать *«правду, и только правду»*, вдруг упирался в нелепые запреты... О том, что неубранная капуста ушла под снег, писать было нельзя, это подрывало веру в существующий порядок... Об отсутствии в магазинах продуктов — тем более... Вначале Степницкий не понимал: почему?.. Ведь правда исцеляет... Но однажды газетное начальство показало ему две разные информационные странички, пришедшие по телетайпу из ТАССа: одна с обычным грифом, с отцеженными фактами для публикации, другая без грифа, «белая», с примечанием: «для служебного пользования», в ней было и про капусту, и про пустые полки.

Всю правду мог знать, оказывается, только узкий круг людей. Тех самых, которые перед праздниками тащили домой тяжелые сумки с продуктовыми заказами, полученными в редакции... Плату за молчание... Точнее — за умолчание... В лицах этих газетных молчунов было нечто общее — выражение сытых лакеев, утаивавших «нехорошие» факты жизни от народа. По долгу службы. Мучительнее всего в этом внезапном воспоминании была подробность: он тоже таскал домой сумки с продуктовыми заказами. И оправдание у него было, как у всех: не оставлять же семью без продуктов.

Степницкий слушал сейчас Ивантеева с жутким ощущением, будто время откатилось почти на три десятка лет назад, породив клоны прежних начальников, привычно говорящих о «некоторых шероховатостях» нашей жизни, о том, что совсем скоро «все проблемы будут решены»... Вот сидит напротив один из них... Разница между теми и этими лишь в том, что у этих, нынешних, высятся в заповедных лесах Подмосковья не какие-то там жалкие казенные дачки, а собственные роскош-

ные дворцы. И — копятся счета в кипрских банках. Да еще растет с каждым днем уверенность в том, что с *этим народом*, живущим в *непреодолимых климатических условиях*, можно делать, что захочется, он привык к бесконтрольной власти, именуемой «сильной рукой». Мало того, он все невзгоды своей жизни списывает не на неумелость и безответственность руководителей, а на *недостаточную жесткость* той самой «руки».

— Но перечисленные вами, Валерий Власович, обстоятельства не помешали вам построить в Цаплино роскошный двухэтажный дом с автономным электропитанием, отоплением и высоким забором.

— А вы считаете, что я, приезжая туда отдохнуть, должен жить в крестьянской избе?

Кажется, самообладание начало изменять Ивантееву, напрочь стерев улыбку с его лица.

— Да, считаю. Пока жители подведомственных вам деревень живут в состоянии средневековой нищеты.

— То есть вы хотели бы всех уравнивать — работающих с лентяями и пьяницами? И снова раскулачить богатых? — в глазах Ивантеева прорезался насмешливый льдистый блеск.

— Я бы хотел, чтобы у нас не было бедных.

— Мечта журналистов, витающих в облаках, — змеистая усмешка поползла по квадратному лицу Ивантеева. — Ведь для того, чтобы не быть бедным, надо как следует работать. Тут вам не социалистическая уравниловка, а самый настоящий капитализм, батенька. А вы, видимо, размечтались о капитализме с медово-сахарным социалистическим лицом?!. — засмеялся Ивантеев, довольный собственным каламбуром. — Напрасно! Но тут вот такая проблема: народ наш не привык еще к рыночной экономике. Не умеет работать.

— Да, с народом нам не повезло... Известный тезис... Придумали его чиновники... Из разряда тех, которые хотят побыстрее нахапать да свалить за рубеж... Для чего и построили не капитализм, а самый настоящий феодализм...

— По-моему, вас, журналистов, пора лечить от ненависти к чиновникам. Вы хоть знаете их проблемы? — Ивантеев уже не скрывал своего раздражения. — Да начни они сейчас работать в соответствии с тягомотными нашими инструкциями, жизнь в стране остановится!.. И если совсем уж откровенно, как говорилось раньше — не для печати, — Ивантеев язвительно хохотнул, передернув плечами, словно собираясь нанести оппоненту удар «поддых», — только не падайте в обморок: я бы легализовал мелкие взятки. Их избежать невозможно! А тех, кто разбогател, используя преимущества рыночной экономики, представлял бы к ордену! Чтоб все лентяи видели: жить нужно здесь и сейчас... Не откладывая удовольствия на неизвестное «потом»... Да-да, строить себе роскошные дома, покупать гоночные автомобили, ездить на заграничные курорты, не отказывая себе ни в чем... Понимаете?.. Ни в чем!..

— И вас не коробит соседская нищета за пределами вашего забора?

— Нет, не коробит, — жестко усмехнулся Ивантеев, уставший, видимо, от бесполезной вежливости в дискуссии с упрямым оппонентом. — Каждый должен получить от жизни свой пинок под зад, раз заслужил. И нечего жалеть всех этих неудачников.

— Даже тех, кто попал под каток обстоятельств? Кто оказался без работы?

— Даже тех. Слабым возле нас не место.

Висевшая на стене, возле фикуса, картина, изображавшая отсеченную гусиным пером голову поэта — показалось Степницкому, — ожила. Поэт, который два столе-

тия назад «милость к падшим призывал», с изумлением всматривался в человека, никакой милости не признающего.

И в этот момент у фонтана возник метрдотель. Он вел к их столу долговязого очкарика в спортивной куртке, с разбухшим, оттягивающим руку портфелем.

— Мой пресс-секретарь, — со вздохом облегчения представил его Ивантеев. — Он готов показать вам наши материалы.

Краем глаза Степницкий заметил, как тревожно шевельнулась за дальним столом фигура человека, только что закававшего третью чашку чая. Окликнул его. Тот легко поднялся, подошел.

— А это наш юрист. Он готов изучить ваши материалы.

Сощурившись, Ивантеев взглянул на Егора Сидякина.

— Уж не тот ли юрист, что ходил по домам в деревне Цаплино? Готовил народ к новому следствию?

— А вы думали, что, разбогатевав, возьмете под контроль и судебную власть?

— Ну, не будем раньше времени ссориться, — снова засветился лучезарной улыбкой Ивантеев. — Поизучайте наши бумаги. Обдумайте все.

— Поизучаем, — ответил ему Степницкий.

Было ясно: не предвидя компромисса, Ивантеев хочет только одного — оттянуть время.

5.

Что-то странное происходило в редакции. Никто толком не знал, где главред, даже всеведущая хозяйка его приемной, секретарь-референт Вероника Павловна. Все еще в Сан-Франциско? Или вернулся, но почему-то не появляется в редакции? Догадывались, что Вэ-Пэ (так за глаза называли секретаря-референта) все-таки кое-что знает, но по какой-то не менее загадочной причине молчит.

Планерки проводил гендиректор Вениамин Кузьмич, обозначивший нынешнюю свою должность в выходных данных «ПиЖа» так: «Гендиректор — и. о. главного редактора». Он заметно изменился: в его жестах и походке (особенно, когда не торопясь перемещал свое большое раздобревшее тело в совещательную комнату на летучку) появилась многозначительная вальяжность: расстегнутый пиджак, небрежно приспущенный полосатый галстук, модная небритость... Некогда ему бриться и галстук подтягивать... Дел невпроворот... Разговаривает, глядя поверх головы собеседника сквозь круглые очки, похожие на чеховское пенсне. Все конфликтно-проблемные вопросы решает, произнося одну и ту же фразу: «Если руководствоваться интересами редакции...»

Изменилась и его ведающая рекламой сотрудница Софья Волобуева. В ее плотной, выпирающей округлостями фигуре появилась начальственная статья, а в интонациях, когда-то угрожающе-плачущих, прорезались отдающие металлом командирские нотки. Она ходила по кабинетам с яблоком в руках, вгрызаясь в его витаминную сердцевину, и в промежутках между жевками отдавала распоряжения Вениамина Кузьмича, осыпая собеседника яблочными брызгами. Теперь каждый сотрудник обязан был в течение месяца подготовить две рекламных публикации. Любое возражение Волобуева требовала изложить на бумаге и, если кто-то на это решался, выхватывала листок с радостным сиянием на щекасто-круглом лице, восклицая: «А теперь у нас есть письменное доказательство нарушения вами трудовой дисциплины! Готовьтесь к увольнению!»

Ее пробовали урезонить. Посылали к гендиректору ходяков, но те возвращались ни с чем: гендиректор был не просто доволен деловой хваткой и неиссякае-

мой энергией Волобуевой. Он ее обожал. Это стало заметно, когда Волобуева как-то начала на планерке распекаать ответсека Павла за неправильный, на ее взгляд, макет рекламной полосы, не дослушивая, обрывала его объяснения, а Вениамин Кузьмич, покачиваясь в вертящемся редакторском кресле, любовался ею. И — кивал, подтверждая правоту каждого ее слова. При этом его мясистое лицо светилось умилением и гордостью. Ведь это он, именно он выявил организаторские способности у никчемной, казалось бы, сотрудницы! Можно сказать — талант лидера, склонного к руководству трудовым коллективом! И то, что она, бывает, срывается на крик, лишь говорит о ее выдающемся темпераменте! О ее сокрушительном, женском обаянии!

А однажды проходившие по коридору мимо кабинета гендиректора (он из суеверия не спешил перебираться в просторные апартаменты отсутствующего главреда) услышали ее угрожающе-пронзительный голос за неплотно закрытой дверью. Весть эта немедленно разнеслась по всей редакции: Софья уже повышает голос на своего шефа! Ждали, когда он ее уволит. Но время шло, а Волобуева продолжала обходить сотрудников и, хрустя яблоком, давать им задания, уточняя: «Кузьмич именно вам просил передать...» Теперь в смешливые минуты сотрудники «ПиЖа» обращались друг к другу, произнося эти слова с «волобуевской» (высокомерно-небрежной!) интонацией: «Кузьмич именно вам просил передать, что вы уже уволены».

Таких минут было все меньше — тревожные слухи бродили по коленчатым коридорам редакции. Все ждали серьезных перемен. Поговаривали, будто главред наконец остался в Сан-Франциско, где осели в русской диаспоре его давнишние друзья и куда перебрался из Лондона его сын. К этому главреда будто бы подтолкнул конфликт с кем-то из совета директоров корпорации, владевшей контрольным пакетом акций еженедельника «Писатель и жизнь».

Гадали: назначат ли нового главреда или оставят на этом посту Вениамина Кузьмича, убрав приставку «и. о.». Редакционный остряк Кризин настаивал на последнем варианте, уточняя что на освободившееся место гендиректора он бы посадил Софью Волобуеву. «Больше некого!» — с трагически обреченным выражением лица утверждал Кризин.

А спецкор Семкин, прозванный из-за своей пылкой оголтелости Бесноватым Киллером (он опубликовал недавно очередную статью, разоблачающую затаившихся вредителей в издательском деле, после чего названного в газете пожилого издателя, как сообщили оттуда телефонным звонком, увезла «скорая» с приступом стенокардии), вдруг стал носить такой же полосатый галстук, как у Вениамина Кузьмича, щеголять небритыми щеками и, останавливаясь в коридоре Софью Волобуеву, хвалить ее новую кофточку и новую прическу.

На последней летучке Вениамин Кузьмич произнес длинную речь. Из нее следовало: корпорация уже не в состоянии содержать еженедельник «ПиЖ», и потому он переходит на самоокупаемость. Надеяться на выручку от продажи нет смысла, интеллигентный читатель, которому адресована газета, обнищал, повышение цены только отпугнет его. Выход? Рекламные публикации. Такие, как в вышедшем номере.

Исполняющий обязанности главреда похлопал пухлой ладонью по развернутой на его столе газетной странице. По тексту, оплаченному Ивантеевым. По его портрету, помещенному возле кричащего заголовка: «Ликинские дали зовут!..» И предложил вывесить эту полосу на «Доску лучших». А Софью Волобуеву, подготовившую материал, наградить — помимо положенного ей гонорара — денежной премией. В размере оклада.

И тут же в другой руке Вениамина Кузьмича оказалась кипа листов, которыми он потряс над столом, прежде чем произнести ставшую крылатой фразу:

— А с этими отказниками от рекламы я поговорю отдельно!

Траурная тишина наступила в совещательной комнате.

Тишина эта длилась недолго. Обозреватель Вольский, задумчиво смотревший поверх голов собравшихся в окно, в котором сгущались ранние сумерки, вдруг произнес, негромко кашлянув:

— Что-то зима нынче необычно длинная, вы не находите, Вениамин Кузьмич?

Исполняющий обязанности выпрямил спину, став шире и выше, будто его поддули струей сжатого воздуха, сцепил на столе руки, впился пристальным взглядом в лицо писателя Вольского:

— Вы это к чему?

— Да все к тому же, — мечтательно сощурился Евгений Николаевич. — Снегу много выпало. Вот я и подумал: может, отправить отказников с лопатами улицы чистить? Вместе с таджиками. На трудовое перевоспитание. А то, ишь, писать, видите ли, они умеют, а добывать рекламу — нет. Сразу научатся!

— Вы все шутите, — поморщился Вениамин Кузьмич, перебирая листки с объяснениями сотрудников, — а между тем здесь и ваш отказ фигурирует.

— А я уже и лопату с собой привез, меня с ней в метро еле пустили.

Взрывной смехок пополз вдоль совещательного стола. Даже Коллекционер Гриша, не сдержавшись, хихикнул. Лишь Молчун — Брызгалин — сидел, сгорбившись, буравя взглядом стол, не желая участвовать в этом никем не санкционированном веселье, которое неизвестно чем закончится: слух прошел — гендиректора со дня на день должны назначить главредом.

— Но вы же понимаете, что без рекламы мы не выживем?! — Вениамин Кузьмич заметно нервничал, в его баритоне слышались дребезжащие нотки.

— С такой, какая опубликована в вышедшем номере, — вмешался Степницкий, — мы станем лакейским листком, которому все равно, кому прислуживать.

— То есть что вы имеете в виду?

— А то, что прославляемый нами чиновник Ивантеев — хапуга, демагог и преступник. Будучи сильно навеселе, он искалечил мальчишку, наехав на него снегоходом, от наказания ушел, подкупив следователя. Сейчас рвется в депутаты, чтобы получить неприкосновенность и обезопасить свои махинации.

— Откуда вам все это известно?

— Наш внештатный юрист-разработчик Сидякин подготовил материал. А с Ивантеевым я недавно виделся. Его все-таки будут судить, мы этого добьемся.

— Вот после суда и вернемся к этому разговору, — торопясь «закрыть тему», сказал Вениамин Кузьмич, выбивая по столу нервную дробь толстыми пальцами.

— А пока будем лакействовать?

— Степницкий, выбирайте выражения!

... Нет, выражений он выбирать не хотел.

Надоело.

Устал.

6.

Искрилась на солнце мартовская капель. Срывалась с крыш. Звенела и пела. Но журналисту Степницкому слышались в ее пении тревожные нотки. Он чувствовал: надвигалось что-то такое, что должно круто изменить его жизнь. Или даже — оборвать ее. Возможностей такого исхода было немало. Тому же богачу Ивантееву с его разбухшей от денег и банковских карточек барсеткой (она после встречи в рес-

торане, лежавшая на столе, как затаившийся зверь, часто мерещилась Владу), нанять опытного стрелка ничего не стоит.

Да что Ивантеев, тут без его вмешательства легко можно отбить к праотцам, угодив, например, под сползающую с крыши ледяную глыбу. Вот только что одна такая, звонко лопнув, грохнулась на тротуар, рассыпавшись на острые осколки у самых ног Степницкого. Если бы он здесь не замедлил шаг, услышав мелодию своего мобильного, лежал бы сейчас на тротуаре с проломленным черепом.

Звонила Елена. Спрашивала, не знает ли он, что идет в ближайшую субботу в «Современнике» — давно никуда не выходили, нужно развеяться. Бомбовый треск упавшей глыбы на секунду заглушил ее голос, и она спросила, не начались ли «там, у вас, на Сретенке», военные действия. Не стал пугать ее Влад драматическими подробностями, сказал лишь, что это таджики-дворники так шумно сдирают скребками тротуарную наледь. Подумал: «А ведь ее звонок, кажется, спас мне жизнь».

И тут же обожгла мысль о Насте: а с ней что? Почему не звонит? Вторую неделю ее мобильник не подавал признаков жизни. Решила прекратить отношения? Но разве так можно? Разве нельзя остаться друзьями? Он звонил ей и по городскому, но и этот телефон молчал. Наконец там сняли трубку. Низкий голос с хрипотцой, не понять — то ли мужской, то ли женский, объяснил: девушки съехали. Куда? Не сказали. Одна замуж выскочила за какого-то вдовца, другая в актрисы подалась. Этой вроде бы в общежитии койку дали.

— А вы-то кто им будете? — поинтересовался голос.

— Просто друг.

— Ну, раз *просто*, значит — никто, — сердито прозвучало в трубке, и тут же в ней запикали короткие гудки.

Он узнал телефон общежития театрального училища. Позвонил на вахту, назвал фамилию. Да, такая значит, но не живет. Уехала. Куда? И надолго ли?

— Вы что, думаете, они нам докладывают?.. Может, на съемки, может, в турпоездку с каким-нибудь пожилым спонсором, — тут в трубке раздался веселый смешок. — Так что опоздали, молодой человек!

В разговоре со Стасом Клишко осторожно пытался выяснить, не вовлек ли он ее в очередные съемки. Нет, не вовлек. Но как-то был в училище на студенческом спектакле по Чехову, профессор позвал, там была занята Настя. Ее монолог «Я Чайка» прошел на аплодисменты. «Очень органична... Вписалась в характер... А почему тебя не пригласила?» — «Видимо, не дозвонилась».

Влад пытался убедить себя: все кончено, сюжет завершен. Он больше не нужен Насте. У нее теперь своя, отдельная от него жизнь, а то, что с ними прошлым летом случилось, вскоре станет только воспоминанием. С годами тускнеющим. В конце концов его вытеснят другие события. Во всяком случае у талантливой Насти ее киношно-театральная карьера наверняка будет похожа на праздничный фейерверк.

Он почти убедил себя в этом, а еще в том, что и ему, Владу Степницкому, уже не очень-то нужна эта беспокойная девчонка, лукавая врунья, случайно к нему прикипевшая. Ведь если бы ей (или ему) достался билет на другое место в автобусе, и они не оказались рядом, локоть к локтю, и автобус Москва–Муром не попал бы в грозу, испугавшую Настю, (заставив ее рассказать горестную историю своей недолгой московской жизни), и не застрял бы в пробке у перекрестка, где случилась авария, и не пришлось бы им под дождем топтать до автобусной остановки, а потом ехать в ближайшую деревню и ночевать в доме Настиных родителей, на террасе, под неумолчный лепет тополиной листвы, сквозь которую проблескивали июль-

ские звезды, — ничего бы не было. Ни коротких свиданий, ни удачной съемки в фильме Стаса Климко, ни театрального училища, ни ощущения, что он, Влад, творит чью-то судьбу... И они оба даже не знали бы о существовании друг друга!.. Так уговаривал он себя, но тревога не отпускала: где она? Почему молчит? Вдруг на этот раз действительно заболела?

Звенела капель в Сретенских переулках. Скрежетали по наледям скребки таджиков-дворников. На мраморных ступенях офиса, где работали сердобольные защитницы бездомных животных, толпились ленивые всклокоченные псы в ожидании привычной в это время горячей пиццы из соседнего «Макдональдса». Голубело небо над старыми крышами. Золотилась над ними маковка церкви.

Миновав скопище автомобилей, Степницкий поднимался по редакционным ступеням, когда снова зазвучал его мобильник. Нет, это не жена. И не Настя. Это Сидякин.

— Статья вышла. Вам привезти журнал?

— Не надо, я сегодня зайду в «Сельские дали», возьму. Какие-то еще новости есть?

— Есть.

— Я у дверей редакции. Поднимусь к себе и перезвоню, ладно?

Выходя из лифта, на площадке седьмого этажа, у диванчика, где всегда кучковался редакционный народ, он услышал тонкий, с переливами, смех писателя Вольского и басистый голос Молчуна-Брызгалина, впавшего в свое обычное, коридорно-исповедальное состояние — с неуклюжей жестикуляцией и блуждающим взглядом. На этот раз он возмущался примитивизмом последних публикаций «ПиЖа».

— Да ведь почти вся пресса такая! — давился от смеха Вольский, очень уж нелепой казалась ему фигура коридорного оратора.

— И ничего смешного! Это же типичный агитпроп прошлых лет! — восклицал Брызгалин, угрожающе наступая всем своим почти двухметровым корпусом на невысокого, язвительно улыбавшегося собеседника. — Или вам, писателям, все равно, что происходит с писательской газетой?

— Нет, не все равно. Но об этом надо говорить на планерке! — советовал Брызгалину Вольский, на всякий случай пятась.

— А смысл? — скорбно возражал Брызгалин. — Все равно ведь ничего не изменится! Ни-че-го!

— Ну раз так, — дружелюбно кивал Вольский, — будем сотрясать коридорный воздух!..

Возле них топтался Бесноватый Киллер — Семкин. Он пытался обратить на себя внимание, но его реплики повисали в том самом коридорном воздухе без ответа.

С ним неохотно вступали в разговор, слишком одиозной была история возникновения его клички: как-то главред, давая ему задание, оговорился: «Критикуйте, но без фанатизма». Семкин истолковал это как намек наоборот — пуститься во все тяжкие: его очередная глумливая статья состояла из ничем не подтвержденных топорных обвинений, обрамленных примитивно-пафосной публицистикой. На летучке о ней выразились деликатно: «Написана непрофессионально, с перекосами», но главред ее похвалил: «А мне кажется — свежо!.. Какая-то новая непримиримая интонация в газете появилась». И Семкин решил, что он в журналистике первопроходец. Отвергая все замечания, отвечал: «Вы судите о моем новаторстве с точки зрения замшелого консерватора». — «А вы, видимо, судите о себе с точки

зрения своей бесноватости», — сказала ему однажды вышедшая из себя корректор Зоя, пришедшая к нему с вопросами по его полосе.

С тех пор кличка «Бесноватый» прилипла к нему намертво. Его сторонились, но он был настойчив. Вот и сейчас, увидев выходящего из лифта Степницкого, схватил его за рукав.

— Представляете, — стал жаловаться, — мне звонят, сообщают, главврач, которого я в прошлом номере раскритиковал, умер вчера в реанимации! Сердце не выдержало! Меня стыдят, а я-то при чем?

— Это его вы назвали «врачом-вредителем»? — вспомнил Степницкий.

— Просто метафора! Всего-навсего!

— За такую метафору можно и по физиономии схлопотать. Вас судить надо за клевету, — вырывая рукав куртки из цепкой его пятерни, сказал Степницкий.

— Завидуете! — крикнул ему вслед Семкин.

Нет, не жаловался Семкин, он, как это с ним часто бывало, пытался лишь похвастаться необыкновенной эффективностью своей публикации, облекая свое хвастовство в жалобу. Конечно, ему завидуют. В грехе зависти Семкин подозревал всех, кто плохо отзывался о его статьях. Может быть, поэтому он всегда был настороже и улыбался слегка кривовато, одной стороной рта — так, что казалось, будто собирается укусить.

В тесном кабинете — Степницкий называл его «чуланчиком» — пахло пылью и старыми газетами, тяжелой кипой лежавшими на подоконнике. В узком, похожем на бойницу окне видны были проржавевшие крыши Сретенки с дотаивавшими на их карнизах сугробами, превратившимися в сползающие смертоносные глыбы. Влад вспомнил, что каких-то четверть часа назад он чуть было не стал мишенью для такой ледяной бомбы, разорвавшейся у его ног на мелкие осколки, и — содрогнулся. И тут же засмеялся своему опоздавшему испугу. «Не-ет, смерть нас пока пождет, она дама терпеливая», — пробормотал он любимое свое присловье и набрал номер Сидякина.

— Чем порадуете, Егор Савельевич?

— Начать со скучного? Или — с веселого?

— Со скучного.

Педантичный Сидякин, оказывается, еще раз полистал увесистую пачку документов, переданных ему в ресторане прес-секретарем Ивантеева. И окончательно убедился в их бесполезности: это были набитые цифирью справки об успехах предприятий Ликинского района, чьими контрольными пакетами акций владел Валерий Власович. Судя по их аляповатой небрежности, невыправленным опечаткам и странным, скорее всего взятым с потолка цифрам, это была фальшивка, изготовленная наспех, для газетчиков, согласившихся освещать его избирательную кампанию. Были среди этих бумаг и забавные: «тезисы к биографии», перечисление «трудовых заслуг» кандидата в депутаты и даже наброски очерка о его нелегком детстве и боевой комсомольской юности — все для облегчения рекламно-имиджевых усилий ленивых писак.

А нескудное Сидякин привез из Пензы, куда ездил от журнала «Сельские дали» в командировку — писать о фермерах. Заодно, побывав в родных местах кандидата, пообщавшись с его дальними и близкими родственниками, узнал: там вместо ликвидированного колхоза имени Ленина несколько лет назад возникли пять фермерских хозяйств. Но они как-то очень уж быстро разорились. Выжило одно, принадлежащее ивантеевскому семейству. Теперь каждую весну Валерий Власович приезжает дня на два в родные края с женой и сыном, оповещает районных журна-

листов, собирает народ, влезает в кабину трактора и, орудуя рычагами, под организованные аплодисменты односельчан открывает посевную кампанию... Такой вот пропагандистский ход!..

За этой ширмой на самом деле происходило то, о чем в первые годы фермерского движения жители села без конца писали в Пензу и даже в Москву — жаловались: именно он, Ивантеев, пользуясь минсельхозовскими связями, разоряет своих соперников, удушая их непомерными процентами на взятые кредиты. Сам же исхитряется пользоваться кредитами беспроцентными (в областном отделении банка у него была зазноба, все это умело оформлявшая).

В конце концов разоренные смирились. Кто-то уехал в другие края, кто-то пошел к Ивантееву работать — механизаторами или бригадирами, и его разросшееся фермерское хозяйство стало походить на прежний колхоз. Руководство хозяйства расположилось в том же типовом двухэтажном здании, где в прежние годы было правление колхоза имени Ленина. Когда готовили новую вывеску, хотели было лишь поменять слово «колхоз» на «фермерское хозяйство», но по совету районных властей все-таки назвали «акционерным обществом».

— А чьего теперь имени? — спросил Степницкий.

— Только не смейтесь: имени Петра Аркадьевича Столыпина. Он же еще при царе организовал фермерское движение, которое пресекли большевики своим раскулачиванием!

— Да за такое издевательство царский премьер-министр отправил бы Ивантеева на виселицу!

— В том-то и фокус, что Валерий Власович тут как бы ни при чем. В правлении хозяйства, конечно, сидят его проверенные люди, среди них — двое его братьев. Но контрольный пакет акций записан на его пожилую маму. Она же — председатель правления.

— Шутите, что ли, Егор Савельевич? У него же мама телятницей работала!

— А теперь председатель правления большого фермерского хозяйства. Дело в том, что Валерий Власович, как я выяснил, человек патологически подозрительный, мстительный, не прощает обид. И никому не доверяет, даже братьям, с которыми без конца ссорится.

— А маме доверяет?

— Она уже очень пожилая. И, говорят, рассудительная. И возле нее всегда один из ее трех замов, назначенных, разумеется, Ивантеевым.

— Сколько ей?

— Не падайте со стула: старушке восемьдесят лет!.. Но в уставе хозяйства нет ограничений по возрасту.

— Дайте опомниться, Егор Савельевич. Судя по всему, вы приехали из какого-то салтыков-щедринского угла России.

— Боюсь, это не угол, а окружность, Влад Константинович.

7.

Он прислушивался к ночной жизни улицы, пытаясь уснуть. Но сон не шел. По влажному асфальту с шелестяще-чмокающим звуком проезжали поздние автомобили. Загулявший прохожий, чья фигура выписывала на тротуаре опасные зигзаги, что-то кричал им вслед, чем-то грозил. На его голос откликнулись хриплым влзлаиванием бездомные псы, обживавшие в глубине двора детскую площадку. Днем Влад видел, как под мелко морозящим апрельским дождем их кормила бабка в просторном бледно-розовом пальто, похожем на халат. Псы вились вокруг

нее, на лету хватая куски хлеба. Самый шустрый, поджарый и черный, даже подпрыгивал. Где-то Влад его уже видел. Нет, не здесь. Ну да, вспомнил, он похож на Настинного Черныша, тот так же юлой крутился у ее ног, там, в деревне Цаплино, когда они собрались на реку.

С того летнего дня еще не прошло и года, а кажется — то, что там с ними случилось, было в какой-то другой жизни. Да, было. Но отодвинулось. Ушло. Заволакивает его дымка прошлого, стирает подробности. Хотя нет, не все. Вон проступает сквозь туман Настино лицо, залитое слезами. Да, там, на берегу, перед тем, как прыгнуть с ней в речку, он наконец позвонил жене, и Настя поняла, что ночь на террасе, под шелест листвы старого осокоря, была случайным в его жизни эпизодом. И в Москве, на съемной квартире, все повторилось. Это лицо. Эти слезы. Только здесь, в Москве, она уже не деревенская девчонка. Начинающая актриса. «Тень от чьей-то тени». Наивно надеявшаяся, что он уйдет от Елены.

Его все-таки повело в сон. В пестроту солнечных пятен на лесистом склоне холма. В траву, поющую звоном кузнечиков. Легкие облака плыли навстречу, из-за реки, где синел зубчатой полосой плавневый лес. Облака смеялись. Или это смеялась Настя — оттуда, из той, прошлой жизни? Вот она протянула руки. Вот, перестав смеяться, стала медленно таять. Ее лицо разъедал облачный туман, она тонула в нем, что-то крича. Нет, он не слышал ее голоса, но точно знал: она зовет его. И он пошел к ней. Очень медленно. Потом побежал. Но руки и ноги вязли в чем-то, он не бежал, а плыл, плыл вдоль реки, всматриваясь в сумрачные ее берега, в мелькающие там тени. Да, конечно, вон та тень — Настя. Она тянет к нему руки, но река не отпускает его. Он тонет. Он кричит. Но Настя не слышит. И он кричит снова и снова. И чувствует на своем плече руку — его трясут, ему говорят:

— Ну, что с тобой? У тебя что-то болит? Ну, проснись же!

Он проснулся. Его разбудила Елена, прибежав из своей комнаты. В ночнушке. Непричесанная. Включила настенную лампу.

— Ты звал Настю... Что с ней?..

— Не знаю.

— Так позвони. Узнай.

— Я звонил. Ее нигде нет.

— Как это нет?

— Она отключила телефон.

Елена помолчала, всматриваясь в лицо мужа.

— Вы с ней поссорились? Ты ее так любишь?

— Я люблю тебя.

— А зовешь ее.

— Потому что не знаю, что с ней.

— Значит, любишь.

Не стал возражать Влад. Признался:

— И без тебя, и без нее я теперь не представляю своей жизни.

— Так не бывает.

— Значит, бывает.

Елена вздохнула.

— Из этого следует только одно: у нас наступают тяжелые времена.

Она понимала: Влад не может от нее уйти. Для него это все равно что уйти от самого себя. От прожитой вместе жизни. Обесмыслить ее. То есть — убить себя. И — не только себя. Зная все это, она никогда не ревновала Влада ни к его журналистской работе, не знавшей выходных, ни к увлечениям людьми, которым он помо-

гал в трудных ситуациях. Однажды в юности, приняв Влада таким, она не пыталась его переделать. Вникая в его лихорадочно-конфликтную жизнь, никогда не навязывала своего мнения, лишь обозначая его. Не ревновала Влада и к Насте, потому что в этой его привязанности видела привычную для него страсть — «*делать эту судьбу*». Обычно — страсть непродолжительную. Похоже — в этом случае Елена ошиблась.

У Влада же сейчас было ощущение, будто он заново открывает самого себя... Никогда, ни при каких обстоятельствах ему не приходила в голову мысль о возможности другой семейной жизни. Другая жена? Другая дочь (или — сын)? А куда деть все то, что уже есть? В архив? Нет такого архива! Есть душа, а в ней все пережитое живо, пока жив человек. Так думал журналист Степницкий до сегодняшней ночи, когда оказалось, что в его душе возникло место для Насти. Без которой ему плохо. Очень плохо! Так плохо, что он признался в этом Елене. Женщине, с которой прожил тридцать лет и без которой не представляет своей жизни. Как совместить их, этих двух женщин, в одной душе?

А на следующий день утром, когда Влад допивал у окна свой кофе, разглядывая бегущие к школе фигурки с ранцами за спиной, запел его мобильник. Ранним утром ему обычно звонил юрист-разработчик Сидякин. Но это был не он. В трубке звучал голос Насти — звучал издали, будто с другой планеты. Пожалуй, почти так оно и было: Настя звонила, сквозь ватную слышимость, из владимирской деревни Цапдино, где жила у родителей третью неделю.

— Тут у нас нехорошие новости... Помните соседа нашего, Семен Потапыча, он вам про местные безобразия рассказывал?.. Умер. От инфаркта.

Влад вспомнил шуплого старичка в совиных очках и поношенном пиджаке, дом с цветочной клумбой у крыльца, книжные полки с портретом Достоевского и пожелтевшие вырезки статей — его, Степницкого, статей — на круглом столе под абажуром. Старик коллекционировал публикации прошлых лет и писал сам в местные газеты критические заметки.

— К нему ночью какие-то громилы ворвались, порушили книжные полки, сожгли в печке все его записи. А когда ушли, он к нам пришел — мы «скорую» вызвали. Но он ее не дождался...

— В полицию сообщили?.. Повод-то у громил какой был? Что они от Семен Потапыча требовали?

— Чтоб не слал по редакциям заметки... А он недавно в районку и в Москву отправил статью про кандидата в депутаты, про нашего богача Ивантеева. Помните его дачу с колоннами, на краба похожую? Я вам ее показывала, когда мы на реку ходили...

— Конечно, помню. Я все помню. Почему не позвонила, уезжая? Что-нибудь с родителями?

— Потом объясню... И мобильник барахлил... В местную полицию обращаться бесполезно... Сделайте что-нибудь, ведь обидно за Семен Потапыча!.. Он же всю правду писал...

— И все-таки, Настя, что с тобой случилось?.. Ты бросила училище?.. Почему?

— Нет-нет, там все в порядке. Я, наверное, скоро вернусь...

Она не успела попрощаться — связь прервалась. Влад стоял у окна с замолчавшим мобильником в руке, не зная, то ли пытаться перезвонить Насте и что-то еще уточнить, то ли срочно сообщить юристу Сидякину о том, как соратники Валерия Власовича готовятся к выборам. Сказал Елене, убиравшей со стола посуду:

— Нашлась... В деревне, оказывается... У родителей.

— Ну, вот видишь... Все прояснилось. Или — почти все.

8.

«Скорую» пришлось вызывать в двенадцатом часу ночи. Елена долго не соглашалась, а потом уже не было выбора: приступы удушья стали повторяться. В машине ей дали кислородную подушку, заставили лечь. Ехали, как Владу казалось, бесконечно долго, хотя московские улицы уже освободились от пробок и больница была недалеко — на Таганке. Влад сидел рядом, унимая внутреннюю дрожь, пытался держать жену за руку. Рука вяло сопротивлялась. Хорошо, что уговорил дочь не ехать, рассеянно думал он, Ксюха чересчур возбудима, а эмоции сейчас не нужны.

Ночные улицы в желтом свете фонарей влажно блестели после небольшого дождя. Натужно гудели полупустые троллейбусы. Маячили редкие прохожие. Куда-то ведь идут так поздно. Куда? Зачем? Влад улицей отвлекал себя от безысходного вопроса: почему это случилось? И — так внезапно?.. Знал: Елена не любит ходить по врачам, да и острой надобности до сих пор не было. Но он-то, он мог заметить приближение неблагополучия — по ее лицу, по дыханию. Насторожиться. Заставить показаться врачам. Нет, не мог... Некогда ему, видите ли... Зачумлен деловой круговертью... И — сердечной смутой... Ведь наверняка Еленино неблагополучие ускорили его недавние откровения о Насте...

В приемном покое врач долго изводил Елену вопросами, прослушивал дыхание, считал пульс. И что-то без конца писал. «Как много врачи пишут, — думал Влад. — Это же — многотомные романы о легкомыслии и бедах человеческой плоти!..» Дыхание у Елены стало выравниваться. Пришла медсестра, повела в палату. Влад с сумкой шел сзади. Палата на шесть коек, одна не занята. У дверей! Неужели нельзя «не у дверей»? Нельзя, устало говорит медсестра. Больница заполнена «под завязку».

— Вы идите домой, идите, вылечим вашу жену! Сейчас ей лекарство дадим. Придете завтра, а пока идите.

— Иди, — сказала Елена, — мне уже лучше.

Он вышел на безлюдную улицу. Остановился. Нет, никуда он отсюда не уйдет. Он должен вернуться, чтобы быть где-то близко. У приоткрытых дверей палаты, на стуле. А нет стула — на полу. Прислонившись к стене. Вдруг Елена захочет пить, а постовая медсестра, сидящая за стойкой в коридоре, не услышит ее голоса?.. Ведь нет над кроватью кнопки вызова, он присматривался — нет!.. Влад понимал: его мучает воспаленное воображение. Потому что впервые за тридцать лет он вот так расстаётся с женой. И сейчас нужно заставить себя уйти. Но — не мог шевельнуться.

Запел мобильник, это вывело его из ступора. Звонила дочь. Да, мама в палате. Ей лучше, дыхание ровное. Как я доберусь? Пешком до метро. Оно закрыто? Я не посмотрел на часы. Нет, не надо Олегу ехать за мной на своем автомобиле, я поймаю такси. Или — левака. Да, конечно, завтра позвоню.

Он шел к метро мимо зданий старой Москвы — чугунные витые ограды, сумрачно белеющие колонны, продолговатые стрельчатые окна, широкие подъезды с мраморными ступенями. Шел один. Слышал свои шаги. Казалось, это были единственные звуки, подтверждающие, что здешний район Москвы обитаем. И было ему так одиноко, будто не говорил только что с дочерью по телефону.

Вспомнилось... В той жизни, когда у них еще не было Ксюхи, ездили они к знаменитой в те годы бабке Ульяне, в вологодскую глухомань — смотреть ее глиняные игрушки, выставявшиеся в Париже. Увлеклись. И по его недосмотру пропустили

последний автобус в Каргополь. Оказались на лесной дороге одни — Елене тогда девятнадцать, ему двадцать пять, год как женаты. Вышли из Ульяниной деревеньки (три жилых дома, семнадцать километров до Каргополя) ближе к вечеру. С обеих сторон дороги — таежный лес, брошенные полусгнившие дома, болотистые низины. Безлюдье. Тишина. Сумерки.

Бабка Ульяна, уговаривая остаться ночевать, пугала их побегими заключенных из местных лагерей. Не испугались. И теперь шли, всматриваясь в лесные тени: не шевельнуться ли? Оба думали: может, вернуться к бабке? Но — молчали. И чем дальше отходили от ее деревеньки, тем решительнее был их шаг. Влад спрашивал себя про идущую рядом жену — боится, наверное? Но ведь молчит! Досадовал на себя: ну, как это он проморгал автобус? Для Влада тогда (да и много позже) жена была еще и ребенком, требующим опеки, ведь он старше, он муж!.. А тут сгущаются сумерки на безлюдной лесной дороге, и муж ничего с этим не может поделать... Когда наконец лес расступился и в синих сумерках низины блеснули живые теплые огоньки Каргополя, где молодоженов дожидался двухместный номер в гостинице, Влад признался Елене: «А ты у меня отважная! Ни разу не пискнула!..» — «Ты у меня — тоже!» — засмеялась она.

Теперь, вспоминая пустынную ночную дорогу в тайге, он думал: вся наша жизнь — как те семнадцать километров. Ведь мы так же идем, не признаваясь друг другу в своих предчувствиях и страхах. Идем, оберегая друг друга. Чувствуя душевные скрепы, навсегда соединившие нас. Зная, что в тяжелую минуту мы рядом.

А сейчас Елена там, в душевной палате, с грозящими ей новыми приступами. Я же здесь, на этой безлюдной улице старой Москвы, и ничего не могу для Елены сделать. И душевные мои скрепы звенят в тоске...

Наталья СЕВЕЦ-ЕРМОЛИНА

ПРОГРАММНОЕ

Пустите дуру В литературу. Я хоть и в платье, Пустите, братья!	Не надо пенисом Стучаться в вечность. Да, я бываю В гинекологии. Но побываю И в антологии.
Не надо пениться, Даешь сердечность!	

Я ЗНОЙНАЯ

Я знойная. Мужчиныдохнут. Нестройная. Но, гады, сохнут. Пересыхают. Увидят И подышают.	Мужеподобная. Лицо из стали. Но сталеварам — Улыбка даром. Я умница. Но кто заметил? Стихов придумница, Защита детям. Но дети злят. Налейте яд.
Я ладная. Сбиваю статью. Занятная — Спасибо платью, Оно полнит. Но мужебратью — Оно магнит.	Я непокорная. То тишь. То спесь. Болезнетворная Такая смесь. Спесивая. Умру красивая.
Я злобная. Уже слышали.	

ПИАР ЛЮБВИ

В моем мозгу сидит пресс-служба
И рассылает пресс-релизы.
Какой там флирт, какая дружба.
Сплошная похоть и капризы.

Наталья Федоровна Севец-Ермолина — журналист, блогер, куратор арт-проектов. Победитель мультимедийного конкурса «Живое слово». Основатель фестиваля видеопоззии «Мой поэт» в городе Петрозаводске. Училась в Литературном институте им. Горького на факультете поэзии в семинаре Олеси Николаевой и Владимира Кострова. Печаталась в интернет-журнале «Пролог», журналах «Литературное обозрение», «Север», карельских СМИ.

Как сообщили нам в пресс-центре:
— Пришел последний комментарий:
Весь перикард на сто процентов
Парализован и состарен.

Пресс-секретарь уверен, вскоре
Сожмутся печень и желудок,
Кишки переплетутся с горя,
Рванет аппендицит-приблудок.

Нам разъясняют, катастрофа
Уже сбылась. Уже рвануло.
Спокуха. Дышим. Пачка кофе.
Заварим горечи. Со стула

Не падаем. Сидим и дышим.
И получаем разъяснения.
Слезу пускаем, что-то пишем.
Съедаем банками варенье.

Любовьлюбовьлюбовьлюбовью...
Пресс-секретарь, добавьте мозга!
Иначе я его сготовлю.
Сварю, расплавлю вместо воска...

И будут мозговые свечи
Гореть, как факелы повсюду.
Да, я обиделась, а неча...
Все ногти съела. Снова буду.

Вдыхаю воздух, выдыхаю
Заболевание любовью.
Прости, природа, что харкаю
В тебя своей больною кровью.

Прокашлялась, утерла губы
Свежепечатным пресс-релизом.
Так в моргах прикрывают трупы
Едва рожденным эпикризом.

Я распадаюсь на понятия,
Молекулярно разлагаюсь.
Спасайте срочно, сестры-братья,
Я по нему изнемогаюсь.

Но снова резюме принтуют:
«Врача! Товарищ вирусован!»
Меня уложат. Забинтуют...
Уже и крестик нарисован...

Я пропадаю. Пропадаю
Я пропадаюпропада....
Я голодаю, голодаю...
Качайте жизнь по проводам.

И вот пресс-центр строчит со стула
Моей житухи эпилог:
Жила. Любила. Пережмуло.
Не самый худший некролог.

ГОД БЕЗ ТЕБЯ

Год без тебя. Какие-то движения,
Наборы звуков, взгляды не туда.
К себе ну никакого уважения,
И никакого над собой труда.
От человека полного и цельного
Теперь осталось драных пять частей.
Вкруг шеи вместо крестика нательного
Висит твой лик и жарит до костей.
Давай отметим наше друг-бездружие
Поставим дружно единичку в торт.
Год порознь. Нецелованные. Скучные
Два овоща. Обычный натюрморт.

ЕСЛИ ВАС БРОСИЛИ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ

Октябрь. Набрать жратвы и плакать,
Закреть ноутбук, набить живот,
Пока со щек не схлынет слякоть
И на живот не поплывет.

Набить утробу до отказа,
Чтоб засорился пищевод,
Чтоб отупели оба глаза,
Чтоб перекрылся кислород.

Вот так ноябрь, декабрь и дальше:
Слеза, жратва, слеза, жратва.
Все толще зад. Себя все жальче.
По телевизору ботва.

Не надо психотерапевта,
Жратва мой психотерапевт.
Слеза — запивка, вой — запевка,
А завывание — припев.

Нажрись и плачь. Молись и кайся.
Дай организму низкий старт.
Ведь впереди, не расслабляйся,
Декабрь, январь, февраль и март.

ДАВАЙ, СЕМЕН, ЖЕНИСЬ

Женись на мне, мой кот Семен,
Жених во цвете лет.
Ты будешь приносить ворон
На праздничный обед.

Я научусь на выходных
Фаршировать мышей.
Всех предыдущих и блатных
Я выгоню взашей.

Мы будем жить душа к душе,
Мурлыкать да тупить.
Мы будем принимать дюшес
И валерьянку пить.

Твою растяжку во весь рост
Я стану повторять.
Я отращу пушистый хвост
И стану им вилять.

И может, даже мне усы
Пойдут, как и тебе.
Мы будем греть свои носы
На городской трубе.

Ты будешь мой, а я твоя
Под сенью батарей.
Ты, Сень, уже моя семья.
Ты, Сень, меня согрей.

Семья: красавица и кот —
Ну как не обомлеть.
Фотограф мимо не пройдет,
Чтоб не запечатлеть.

Мы будем проводить досуг,
О, как же мы гульнем...
А к ночи купим колбасу,
Нажремся и уснем.

Вот так живем во весь опор,
Малина, а не жизнь.
Но не женаты до сих пор,
Давай, Семен, женись...

Дмитрий ТРАВИН

FROM RUSSIA WITH LOVE

Любовь-1970. Промеж уток – промежуток

Детально конус изучая,
Мы видим вот что: боковая
Его поверхность – пи эр эль,
Ты строен конус, как газель.
Чему, объем, твой конус рад?
Ведь он – треть аш пи эр квадрат.

У деда весь курс математики был зарифмован подобным образом. Наверное, он был учителем от Бога. Как измерять объем конуса и все такое прочее, Алеша запомнил на целую жизнь. Хотя никогда никаких формул запоминать не хотел.

Геометрия казалась ему нестерпимо скучной. Парню хватало арифметики в школе, и изучать вне класса то, что другие дети станут проходить лишь через пару лет, было не самым приятным занятием.

Лето уходило. Сентябрь приближался. До начала обычной школьной каторги оставалось меньше недели. Алеша слушал деда, но мыслями был еще в июле, когда на пляже каждый день царил футбол.

Старик видел, как парень вяло болтал ногой. А в пустые глаза внука даже не хотел заглядывать. Лев Яковлевич пытался дать мальчику то, что имел. Но тот не брал. Или, точнее, брал с неохотой. Как брали тогда в нагрузку к билетам на очень престижный спектакль какой-нибудь хлам, залежавшийся в театральных кассах.

Алешу к старикам в Пушкин закидывали на недельку в самом конце августа. Чтоб просветился, побродил по царскосельским паркам. А в целом лето он проводил в Усть-Нарве, на северо-востоке Эстонии. Там были море, сосны, футбол, городки, война с бледнолицыми, большая мальчишечья компания и хлопотливая тетушка, весь день стоявшая у плиты, а потому не встревавшая в детские дела, в которые ей встревать и не полагалось.

За семь отведенных ему дней Лев Яковлевич пытался излить на внука всю копившуюся у него в течение года любовь. Еще с февраля он начинал придумывать, как сделает из Алеши лучшего математика в классе, как разберет с ним на шахматной доске блистательную защиту Нимцовича, как долго будет водить его по лицу и говорить, говорить, говорить...

– Говоришь, говоришь, говоришь... Ты с внуком пойдешь когда-нибудь погулять? Ребенок в школе еще уроков наслушается. А летом нужен воздух.

– Соня... Понимаешь, у меня с утра сердце как-то... Я, может быть, завтра... Или вдруг к вечеру станет легче... Погода.

Лев Яковлевич не хотел спорить с женой, поскольку и вправду ведь ребенку нужен был воздух. А главное, спорить – себе дороже. Особенно когда болит серд-

Дмитрий Яковлевич Травин родился в 1961 году в Ленинграде. В 1983 году окончил экономический факультет ЛГУ. Публицист, журналист, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге.

це. Он возражал робко и при этом как опытный шахматист понимал, что неуверенная защита — верный путь к поражению. Партия против жены была, как обычно, проиграна им фактически уже в дебюте.

— Лева, а у меня что? Не сердце? Я с утра вообще умирала. Но встала, чтобы сделать ребенку рыбу-фиш. Мне бы такую жизнь, как твоя. Я о прогулке лишь мечтаю, а для тебя, оказывается, это тяжкий труд. Пойти в парк, подышать свежим воздухом. Чтоб ты знал, на воздухе даже сердце проходит. Вот у меня за плитой не пройдет. Я вообще не знаю, на каком свете. Делаю завтрак, мою посуду, затем готовлю обед, потом снова посуда. Ее какие-то горы скапливаются. А ночью я не могла заснуть от духоты.

Софья Вениаминовна могла говорить еще долго. Муж, похоже, ее уже не слушал. Но откровенно игнорировать не решался. Приходилось терпеть.

В молодости дед, похоже, к подобным атакам относился с иронией. Как-то раз, став уже взрослым, Алексей, разбирая архив умершего старика, обнаружил небольшую тетрадку стихов. В молодости Лев Яковлевич не только рифмовал математику. Писал он в духе своей эпохи, пытаясь впитать то, что давал Серебряный век. Порой выходило откровенно слабо. Порой получше. Но иногда сквозь строки проступал тот дед, которого Алеша так никогда и не узнал. Умный, яркий, нестандартный. Тонкий шахматист, умелый мастер. Друг самого Алехина.

Женщина ангел — таков общий говор.
Но дайте женщине в руки швабру,
И она тотчас выйдет из берегов,
И внутри у ней жаба подымет жабру.
Замелькают в глазах огоньки синие,
Очелюстятся со скрежетом зубы,
Прорежут лицо кровавые линии,
Распухнут призывно чувственные губы.
Швабра станет описывать в воздухе эллипсы.
Кого-то случайно заденут по морде.
Баба прозубоскрежет, словно не ели псы.
И запляшет швабра в бравурном аккорде.
Но дайте тысяче баб по швабре,
И когда в безумной абракадабре
Вся эта тысяча швабр
Затанцует свой *danse macabre*,
То берегись, кто попался навстречу:
Убью, изувечу, искалечу.

Наверное, сохраняя иронию ему помогала параллельная жизнь. Шахматы были выше семейных склок, выше унылой школьной текучки, когда надо год за годом впихивать в туповатые ученические головы то, что им вовсе не хотелось воспринимать. До поры до времени дед был намного выше той жизни, которой жил. «Баба прозубоскрежет, словно не ели псы». Одна эта фраза стоит десятка лет школьной математики.

Но к тому времени, когда появился на свет внук, ни от шахматиста эпохи Алехина, ни от поэта Серебряного века не осталось уже ничего. Или, возможно, осталось где-то в глубине души, но тот инфантильный, замкнутый в себе мальчик, которым был Алексей, ничего не мог да и не хотел разбирать в жизни своего деда. Ребенок воспринимал старика таким, каким ему его демонстрировали, а не таким, каким тот был на самом деле.

— ...В общем, Лева, если ты не хочешь моей смерти, встань и пойдешь гулять с ребенком. Ему нужен свежий воздух.

Алеше не нужен был свежий воздух. На море за лето он надышался им вволю. Однако непрочная защита Льва Яковлевича была сломлена наступающим противником сразу во всех возможных местах. Дед тяжело поднялся из-за стола, на котором стояла доска с не до конца разобранный партией «Петросян–Фишер», и медленно стал собираться. Ни Петросяна, ни Фишера Алеша знать не хотел, так же как математику. Оставался последний шанс — Царское Село.

Сначала они медленно шли к автобусу. Дед с трудом передвигал ноги. Долго державшаяся этим летом августовская жара сильно давила на него. Внук, никакой жары не ощущавший, все время вырывался вперед и непроизвольно тянул старика за руку. Тот не хотел отставать, не хотел сдерживать порыв мальчика. Ему казалось, что он и так мало делает для Алеша и должен хотя бы сейчас идти в том темпе, который комфортен ребенку. Несколько раз Лев Яковлевич споткнулся, однако до остановки добрал.

Автобус пришел переполненный. Деда изрядно помяли. Присесть не дали. Всю дорогу пришлось простоять. К счастью, от дома до парка ехать было близко.

Выходил он весь бледный. Рухнул на лавочку. Расслабился, отдышался. Теперь уже точно было не до гонки за внуком.

Алеша, скучая, присел рядом. Он не вполне понимал, зачем нужно куда-то тащиться за свежим воздухом. Глаза мальчишки заметно скучнели. Ногой он что-то такое странное выводил на песке возле скамейки. Дед глядел на него, чуть не плача. Парень скучает, сердце болит. И это те дни, которых он ждал целый год!

Лев Яковлевич попытался что-то рассказать о парке, о дворце, о временах Екатерины. Математик и шахматист — он знал об этом немного, но говорил увлеченно, как всякий талантливый человек, читающий свою первую лекцию на новую тему. Дед был целиком захвачен интригой екатерининского переворота и даже забыл про сердце. Пожалуй, на какое-то время ему стало легче.

Алеша сначала увлекся и даже начал переспрашивать. Про братьев Орловых. Про заговор. Про убиенного государя. Спросил, защищался ли тот? Вел ли себя достойно? Встретил ли врагов со шпагой в руке?

Дед не знал, была ли шпага у Петра в руке, когда его цинично прихлопнули, но подозревал, что там не было ничего достойного. Наверное, для ощущения романтизма в этой истории надо было ребенку приврать. Алеша любил ведь играть в войну и верил в достойные схватки. Однако приврать дед не мог. Как математик он верил лишь в факты.

Внук снова заскучал. «Век золотой Екатерины» влетал у него в одно ухо и вылетал через другое. У деда опять заболело сердце. Старик не знал, доживет ли до следующего лета и будет ли у него еще хоть одна попытка стать настоящим дедом для своего внука. Он много раз по мере своих скромных сил пытался отдать ему самого себя. Пытался передать то, что было его семидесятипятилетним жизненным опытом. Но внук в этом опыте не нуждался. И, собственно говоря, вообще не нуждался в деде. Дедом больше, дедом меньше...

Вокруг уныло бродили голуби, пытаясь что-то клевать. В отличие от людей, они были заняты делом. Боролась за выживание. И выживание заставляло их присматриваться к людям на скамейке. Кто знает, что у этой почтенной публики в карманах? А вдруг полезные крошки? А то даже целый батон?

Дед вдруг почувствовал, что говорит скорее для голубей, чем для внука. Они хотя бы присматривались. Ситуация становилась трагикомичной. Вспомнилось из стихов полувекковой давности:

Вот направо стая уток,
Вот налево стая уток.
Промеж уток — промежутки,
В промежутке я.
Я стихи читаю уткам.
Мне-то шутка —
Уткам жутко.
Льется песнь моя...

Старик вдруг оборвал стих. Жутко стало уже не уткам, а ему самому. Как будто когда-то давно все это написано было им о нынешней тяжелой и бессмысленной прогулке с внуком.

Они вновь двинулись вперед. Старик предпочел бы вернуться, закрыться в комнате и тихо плакать от бессилия. Но это было бы просто нелепо. Не нужный ни тому, ни другому ритуал требовалось исполнять. И они медленно тащились дальше. Один, страдая от скуки, другой — от непрерывно ноющего сердца.

Но вот и цель. Девушка с кувшином. «Дева печально сидит, праздный держа черепок». Здесь они хотели отведать водички. Все ж какая-то цель. Ребенку интересно попить не дома из чайника, а здесь, на природе.

Дед вытащил припасенный заранее стаканчик и вяло пристроился на отдаленной скамейке, отправив внука набрать чудотворной воды с легким привкусом старой пушкинской поэзии. Алеша ожил, подхватил стакан и бросился напрямик к струе. Попить из источника для городского ребенка — уже приключение.

Он суетился, наклонялся, подбирался поближе, чтоб встать поудобнее. Долго пил. Выливал недопитое, а затем вновь наполнял стакан. Он был еще ребенок. И этому ребенку не было никакого дела до того, что у деда столь ограничен запас времени.

Наигравшись, Алеша вернулся к скамейке, на которой расположился старик. Тот прямо, не мигая, смотрел в небо, как будто следил за полетом птиц. И лишь неудобно откинута голова навела внука на мысль, что птицы тут ни при чем.

Любовь-1980. Великое посвящение

Первую половину ночи в кухне тайком варили глинтвейн. Заперлись у плиты одни только посвященные. Молодых не пускали. Даже не говорили о том, что здесь на самом деле происходит. Дешевое вино из соседнего магазина проносили тайком и быстро сливали в огромный таз. Добавляли сахар, специи. Сюда же пошли абрикосы с соседних деревьев. Вместо коньяка, который был студентам не по карману, смешивали с водочкой. «Некошерно», зато по убойной силе как раз подходило для готовящегося действия. Глинтвейн советикус. Дешево и сердито.

На дело пошли далеко за полночь, когда уверились, что молодые заснули. Группа захвата собралась в холле. В нее вошли абсолютно все парни. Планируемая операция была столь соблазнительна, что удержаться не мог никто.

И вот наконец сигнал. Молча, не зажигая света, «захватчики» бросились по комнатам. Важно было обеспечить внезапность, чтоб девушки не успели подготовиться и натянуть на себя хоть какую-нибудь одежду. Брать их надо было тепленькими. Прямо из-под одеяла.

Впрочем, наши девчонки, похоже, что-то заранее проведали. Наслышались небось раньше о том, как это бывает. Во всяком случае, испуга на их лицах не было. Скорее, томительное ожидание. Казалось, они готовились к захвату, однако при этом сознательно не покидали постель, ожидая парней в пижамах.

Сложнее было с немками. Эти дрыхли без задних ног, и вторжение насильников стало для них настоящим кошмаром. Не то чтоб они восприняли его как циничное покушение на невинность. Скорее, предположили, что это старинный русский обычай, утвердившийся с незапамятных времен в университетах. Примерно, как поединки на шпагах в германских студенческих корпорациях.

Немки понимали, что приехали в Ленинградский университет изучать загадочную русскую душу, и теперь имели возможность ощутить ее целиком, да к тому же в совокупности с загадочным русским телом. Парни врываются в их комнаты, хватали полусонными, заворачивали в одеяла, брали на руки и куда-то тащили, крепко прижимая к груди. Обычай был страшен и чарующ одновременно. Немки не знали, чем завершится для них эта ночь, но понимали: будет что рассказать на родине даже полвека спустя.

Наши парни не думали о том, что будет полвека спустя. Их волновала текущая ночь со всеми ее многочисленными возможностями. Они быстро разбирали девиц вне зависимости от национальности и гражданства, а затем сносили в холл, где временно оставляли одних, чтобы отправиться за другой партией. Наконец женщины кончились, и пришлось перетаскивать мужчин. Это было не столь интересно, да к тому же порой просто тяжело. Но игнорировать эту часть обычая не позволяла совесть. Пусть кто-то думает, что у студентов — внезапное б..., но мы-то знаем, что это посвящение в бойцы ССО — студенческого строительного отряда.

Когда и как установился подобный обычай, никто в отряде не знал. Он явно был не столь древен, как поединки в германских университетах. Зато значительно более приятен. Парни не рисковали ничем, и даже девушки почти не рисковали невинностью. Посреди ночи ветераны, то есть те, кто уже бывал в стройотрядах и проходил посвящение раньше, врываются в комнаты новичков, хватали в чем мать родила или, точнее, в чем спал в данный момент посвящаемый, а после тащили туда, где вплоть до утра предполагалось танцевать и пить водку. Глинтвейн был отнюдь не традицией, а местной спецификой. Отряд размещался в Пятигорске, в маленькой местной школе и был окружен со всех сторон дешевым красным вином и абрикосовыми деревьями, плодами которых грех было не воспользоваться ради старинного русского обычая.

Отряд был интернациональным, то есть соединяющим вместе обычных русских студентов с каким-то числом иностранцев, учащихся в наших университетах и пытающихся совместить постижение загадочной русской души с изучением загадочного русского языка и обретением загадочной советской профессии, которая давала бы у себя в фатерланде возможность что-нибудь зарабатывать.

В ряде случаев интеротряды заканчивались еще и интернациональными браками, хотя эти последствия вряд ли входили в намерения комсомольской пропагандистской машины, придумавшей для студентов подобное своеобразное летнее времяпрепровождение. Немки были на лицо ужасные, добрые внутри. По доброте душевной и для обеспечения своего социального статуса они выходили замуж за презентабельных советских парней и забирали их с собой в фатерланд. Для парней это был единственный способ выбраться из опостылевшего совка, а для девиц — избавиться от опостылевшего одиночества.

Комсомол когда-то давно предполагал, наверное, что иностранцы будут учиться передовому коммунистическому труду на ударных советских стройках. Однако реальные интернациональные стройки учили, скорее, волынить и пробавляться водочкой. Интеротряды формировали в приятных местах с непыльной работой, тогда как по-настоящему ударный труд за большие деньги, плохо совместимые с коммунистическими принципами, шел далеко на севере, куда иностранцев не привле-

кали, чтоб не отпугивать. Там были плохие условия, работа с утра до ночи и высокие заработки, формировавшиеся фактически на рыночных принципах, прямо противоречащих принципам комсомольской пропаганды.

В общем, о том, что русские могут по-настоящему вкалывать ради денег, иностранцы не знали. Но в интеротрядах они узнавали, что русские любят много гулять и мало работать, что они безразличны к деньгам, но не безразличны к женщинам. И главное — что они все в гробу видали комсомольскую пропаганду, которую по традиции им еще пытались навязывать начальство.

В пятигорский отряд среди многочисленных немцев затесался каким-то образом единственный немец — Йорг Штраус. Похоже, он впрямь пытался познать русскую душу с помощью чтения Достоевского на языке оригинала. И чем больше он этим занимался, тем меньше понимал окружающее, поскольку ни в одном из парней, с которыми общался, никакой достоевщины не находил. Впрочем, когда его разбудили ночью и понесли посвящать, Йорг понял, что явились бесы.

Бесам, правда, было тяжелее, чем Йоргу. Они уже натаскались женских тел и в данном случае предпочли бы, наверное, забрать лишь душу, поскольку немецкое тело составляло в длину сто девяносто шесть сантиметров и весило соответственно. В одиночку взять его никто даже не пытался, но когда двое дюжих парней потащили Йорга из комнаты, выяснилось, что пятая точка существенно провисает и волочится по полу, увлекая за собой чьи-то тапочки. Немец при этом бессмысленно хлопал глазами, вспоминая, наверное, князя Мышкина и всю кротость его.

Увидав беспорядок, Алеша подхватил Штрауса в провисающем месте и помог дотащить до холла. А после пошел посмотреть, не потеряли ли кого-нибудь в пути. Выяснилось, что потеряли. Аня Тихомирова до сих пор лежала в своей постели, и ее глазки медленно наливались слезами. Отряд не заметил потери бойца. Наверное, это было бы удивительно в любом другом случае, поскольку группа захвата вихрем прошла по всем комнатам. Но в случае с Аней удивляться не приходилось. Ее вообще никогда не замечали. Даже тогда, когда не заметить, казалось бы, было трудно.

Она была маленькая и хрупкая, но страшно некрасивая. К тому же застенчивая до комплексов. Алексею она не нравилась. Зато нравилась Оля Скрипниченко. И накануне он даже решил попытаться ее посвятить. Но Оля нравилась многим, и группа захвата чуть ли не в половинном составе сразу бросилась к ее кровати, так что даже возникла давка. Алеша взглянул грустно на эту битву самцов и завернул в одеяло Марту Кроос, лежавшую по соседству с Олей. А когда отнес немку по назначению и разъяснил ей вкратце суть исполняемого древнего русского обряда, увидел волоочащийся зад Йорга.

Теперь он бережно нес Аню и вдруг почувствовал, как нежно прижалась малышка к его груди. Легонькая, уютная, она весила меньше, чем одна лишь пятая точка герра Штрауса. И так аккуратно разместилась у него на руках, что Алексей не заметил, как оказался у места назначения.

Анюта явно была благодарна за то, что ее «нашли» и не пришлось самой тащиться в холл вслед за девчонками, которых уносили туда на руках. И Алексей эту благодарность каким-то образом ощущал. Он растерялся слегка, потом на мгновение отключился и замер посреди холла с завернутой в одеяло малышкой на руках. А она тихо лежала, совсем не стремясь соскочить, и смотрела на него совсем просохшими от слез глазами.

В эту ночь Алеша танцевал только с ней. Оля, понятно, была нарасхват, но дело вообще-то сводилось не к этому. Он ощущал, как что-то неясное сблизило его с Аней и наделило ответственностью за эту скромную девчушку.

Потом они сидели до утра, тесно обнявшись. Молча и даже не целуясь. Аня по-прежнему ему не нравилась как женщина, но то, что неожиданно было пережито в то странное мгновение, уже не забывалось.

Потом до конца лета они дружили. Алеша бросил бессмысленные надежды на то, чтобы понравиться Оле, и просто общался со своим новым другом. Пожалуй, для него в этом больше ничего не было. Однако для Ани внезапный поворот в жизни был чем-то таким, что трудно переоценить. Скорее всего, она не влюбилась, поскольку Алексей был не из тех, в кого девушка может втрескаться без ума. Но для нее это лето вдруг из пустого, бестолкового прозябания превратилось в реальный жизненный шанс. И Анечка, несмотря на свою застенчивость, конечно, не могла этого не почувствовать.

Увы, ее замкнутость мешала в нужной мере раскрепоститься. А детская неопытность мешала понять, как надо себя вести. С каждым днем Алеша начинал все больше чувствовать отчуждение и понимать, что все это рано или поздно необходимо кончать.

Впрочем, закончить такую историю было нетрудно. Алеша учился на историческом, а Анечка — на филфаке. В обычной жизни пути их не пересекались. И когда поезд из Пятигорска пришел на вокзал в Ленинграде, он так и не попросил ее телефона. Сказал: «Пока», взглянул в последний раз и вдруг увидел то самое выражение глаз, какое было у Ани той странной ночью.

Она помахала рукой, с трудом сдерживая слезы. Кончалось лето, и исчезал призрак, на миг поманивший счастьем. А дальше ничего уже не было.

Любовь-1990: химия судьбы

Гуляли у Михаила до позднего вечера. Пили какую-то дрянь. Что достали — то достали. А про закуску никто вообще не подумал. Традиционно считалось, что это женское дело, но где простая советская женщина в декабре девяностого могла найти продукты для хорошей пьянки трех десятков былых одноклассников?

В последний момент прошвырнулись по магазинам, но лишь в одном месте обнаружили сыр, который к тому же кончился за два человека до подхода очереди. Жрали хлеб с солью. Немного огурцов, припасенных в огромной стеклянной банке запасливыми родителями Мишки. Сварили картошку — тоже из дачных запасов.

Когда подмели абсолютно все, стали занюхивать рукавом. В кино про простой русский народ такая метода обычно срабатывала, но в реальной жизни почему-то не помогала. Алексей быстро захмелел, но остановиться с выпивкой все равно не мог. Поднимал рюмку за рюмкой, чтоб ничего не видеть. Ему было по-настоящему плохо и от излишка алкоголя поплохеть еще больше уже не могло.

Очнулся он лишь под утро. Его затащили на диван в большой Мишкиной гостиной и там оставили, чтобы проспался. Причем явно не одного. Диван был единственным местом в квартире, куда можно было складывать не добравшиеся до дома тела, и сейчас Алексей чувствовал, что одно из них тяжело навалилось на его правое плечо. Тяжесть он уже способен был ощущать, однако понять, какое такое тело ее создает, поначалу не удавалось. Глаза продирались плохо. Сильно болела голова. И затекшая от неудобной позы шея практически не ворочалась.

Алеша попытался сконцентрироваться, и наконец ему это удалось. Как только заработали мозги, он стал решать задачу — что проще сделать: сначала двинуть плечом по навалившемуся на него уху, а затем изучить результаты действия или сначала попробовать повернуть шею и взглянуть на лицо, которому это ухо принадлежало, а потом уже ликвидировать сомнительный симбиоз. Скопившаяся за

годы неудач злость требовала принятия первого решения, однако врожденная интеллигентность склоняла скорее ко второму.

В конечном счете победила интеллигентность. «Культуру не пропьешь», — решил Алексей и медленно стал поворачивать шею. Сначала он увидел длинные волосы, затем ощутил пробивающийся сквозь алкогольное амбре запах дешевых духов и наконец понял, что это была женщина. На плече у него спала Вера Полищук. Или Верка Многощук, как стали называть ее в классе, когда начали понимать греческий на уровне подросткового дискурса.

Алеша не видел Веру двенадцать лет. И в детстве ее практически тоже не видел, потому что видеть было особенно нечего. Они учились в одном классе, но Верка была непривлекательна и язвительна. Алешка — непривлекателен и инфантилен. В таких ситуациях может сблизить разве что совместное проведение опытов на уроке химии, однако судьба не разместила их за одной партой, и химия в итоге у каждого оказалась своя.

За время, прошедшее после учебы, они никогда не бывали в одной компании. Алексей стал историком, вернулся в школу и тупо трендел на уроках детям о роли коммунистической партии в походах князя Олега на Царьград. Вера, как выяснилось сегодня, не вышла замуж и тупо сидела вечерами перед телевизором, потому что ей не для кого было стирать пеленки. В общем, через двенадцать лет после десятилетки налицо было два отчаянных неудачника, которым оставалось разве что напиваться. Итог этого процесса сейчас и лежал на диване Мишкиной гостиной. А за окном, выходящим на Мойку, медленно пробивалось сквозь мрачную ночную действительность хмурое воскресное утро.

Пора было вставать. Лежать в неудобной позе в чужой квартире на чужом диване и ждать неизвестно чего Алеше совершенно не хотелось. Однако же двинуть плечом в ухо с учетом прояснившихся обстоятельств было бы странно. И выползти из-под Верки, придерживая это самое ухо, чтоб не шмякнулось, было не менее странно. Возможно, следовало ее просто разбудить, но Алексей почему-то медлил. Он продолжал лежать полчаса, час, а Верка посапывала, совсем не подозревая, какую провоцирует тем самым семейную идиллию.

Конечно, до реальной идиллии было весьма далеко, однако во всей этой пьяно-лирической истории неожиданно оказалось что-то приятное. Алеша вдруг понял, что первый раз в жизни кто-то всерьез опирается на его плечо. Пусть даже во сне и не отдавая себе в этом отчета. Но опирается. Ей хорошо, и ему хорошо. Она дрыхнет, перерабатывая алкоголь, а он выполняет общественно полезную функцию. Намного более полезную, чем та, которая ему досталась как учителю.

Первые полчаса было хорошо и очень спокойно, несмотря на больную голову и затекшую шею. Затем стало ныть плечо. Минут пятнадцать Алеша терпел, а после начал ерзать. Сперва осторожно, чтобы не разбудить. Однако к исходу часа пребывания в подобной идиллии терпеть уже было невозможно. Он попытался слегка переменить позу, и Верка проснулась.

Она посмотрела на него своими маленькими невыразительными глазками, а затем улыбнулась. Он улыбнулся тоже. Она засияла. Он хмыкнул и вдруг расхохотался. Она прыснула в ответ. Им было хорошо.

— Послушай, мы что, с тобой спали?

— В известном смысле.

— Тебе-то известном, а мне пока неизвестном.

— Судьба связала нас на одну ночь, Полищук.

— Скорей, не судьба, а та химия, которой мы надрались. Ты что-нибудь помнишь?

— Начало процесса нет, а завершение отчетливо. Мы соединились с тобой через

одно место. Угадай какое: слово из трех букв, одна «х», вторая «у»... Можешь не краснеть. Это «ухо».

— Да что ты говоришь! Химия творит чудеса.

Алексей объяснил ей, что дело обошлось без чудес. Весьма буднично.

— Ну, раз все невинно, пора подниматься.

— Можешь доспать на другом плече. Оно еще не болит.

— Я так тебе понравилась?

Ему хотелось сыронизировать, но вместо этого прозвучало почти что признание:

— Ты была как ребенок.

— А я и есть ребенок, особенно когда расслаблюсь и перестаю злиться на этот мир. Хочешь обо мне позаботиться?

— Так сразу?

— Какое там сразу. Мы же с тобой соединились через букву «х» и букву «у». У нас была ночь прекрасной близости.

— О которой ты узнала с моих слов.

— Душа моя знала об этом и раньше. Ты просто изложил на словах... И на буквах.

— Ладно, пойдем по домам. Я позабочусь о тебе в прихожей. Подам пальто.

Спящего Мишку будить не стали. Просто захлопнули за собой дверь.

Утренний Ленинград был сырым и зябким. Они шли по берегу Мойки к метро. Дорога обледенела, и Верка, с трудом восстанавливавшая после пьянки и сна координацию движений, два раза чуть не шлепнулась. Алеша взял ее под руку. Она прижалась к нему потеснее, и он вдруг понял, что ему это понравилось.

— Слушай, почему ты на мне до сих пор не женился?

Алексей поскользнулся и рухнул как подкошенный. Вера, естественно, удержать его не смогла и упала сверху. Он лежал и думал, что сделать сначала: попросить ее слезть с него поскорее или же прояснить вопрос о том, почему, собственно говоря, она задает такие вопросы.

— А ведь правда, нам хорошо вместе.

— Знаешь ли, Полищук, в этом месте не очень хорошо: холодно, мокро, да к тому же я стукнулся головой, которая и без того болит.

— Вот-вот. А если б женился, мы лежали бы в воскресное утро там, где тепло и сухо. И я гладила бы тебя по больной голове.

— Хорошая перспектива... А может, лучше, чтоб голова не болела совсем?

— Нет проблем, сейчас перестанет. — И Верка начала целовать его во все возможные места головы. — Ну как? Полегчало?

— Немного. Но сильно полегчало бы, если б ты с меня слезла и дала подняться.

— Тебе со мной не нравится? А ведь недавно предлагал второе плечо.

— Видишь ли, оно предлагалось в комплекте с диваном. А в комплекте с тротуаром, на который я грохнулся, плечо не вполне уместно.

— Все это мелочи в сравнении с тихой семейной жизнью, которая нас ждет.

— Возможно, и мелочи, когда лежишь сверху, но снизу мир выглядит иначе.

— Ты предпочитаешь быть сверху? Так что ж сразу не сказал?

Верка стала переворачиваться на спину и потянула за собой Алексея.

— Я предпочитаю прямохождение.

Воспользовавшись долгожданной свободой, он встал и потянул за собой подругу. Та бодро вскочила, однако прямохождением заняться не дала.

— Постой, давай рассудим здраво. Ты привлекателен, я чертовски привлекательна. Так что же время зря терять? Тем более когда нам уже под тридцать?

И Верка шмыгнула носом, втянув образовавшуюся на морозе соплю. Алеша заржал. Эта не вполне протрезвевшая дуреха с красным носом и в сбившейся на сторону одежде ему положительно нравилась. Ни с кем до сих пор он почему-то не чувствовал себя так легко.

— Ну, что ты ржешь? Непривлекательна? Возможно. Но вместе нам будет лучше, чем по отдельности. Плюнь на любовь. Только трезвый расчет.

— А в чем расчет-то?

— Ты хочешь по вечерам быть дома один? — ответила Верка вопросом на вопрос. — Смотреть телевизор до одури? Напиваться? Ты хочешь ребенка, в конце концов, или предпочтешь завести собаку?

Алеша не отвечал.

— Ты в б... и пьянках протянешь еще, может, лет пять. Но это не вечно. А вот семья вечна. И чем старше ты будешь, тем больше она тебе станет нужна.

— Так просто? Рационально? Как сделка на рынке? Без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви?

— Не перебивай. Пушкина я со школы не перечитывала. Жизнь — это не любовь. Жизнь — это рынок. Взаимовыгодный обмен. Ты — мне, я — тебе. Иначе все будет как в совке. Со слезами и с вдохновением, но без жилья и без колбасы. Пойми, Алеша, сейчас старый мир рушится. Пройдет время — и не будет совка. Не будет твоей поганой школы с враньем вместо истории. Не будет вообще никакого вранья о любви и высоких чувствах. Не будет заезженного романтизма, который в приличных странах лет сто как уже не в чести и только у нас выдается толпе, поскольку без романтизма никто не поверит в их дерьмовое светлое будущее имени Карлы Марлы и всех прочих. Я предлагаю тебе сделку. Предлагаю то, что создает цивилизацию. Я просто хочу тебя купить и в то же время продаю себя. Без божества и без любви. Ради нормальной жизни. Соглашайся, Алеша. Сегодня мы поняли, что это возможно. Не верь мифам, не отказывайся от будущего.

Через полгода они поженились. Через девять месяцев у них появился Левушка. Через год рухнул Советский Союз. Через пять они купили квартиру.

А через семь разошлись навсегда.

Любовь-2000. Прощай, Симонетта

Звали ее Симонетта. Родом она была из Лигурии из Портовенере, и многие флорентийские знатоки античности любили уподоблять юную Симонетту Венере, родившейся из пены морской. Брат ее мужа был (и остался) самым знаменитым человеком за всю историю человечества. Поскольку только его именем назвали целый континент. Но Алексей сейчас думал не об Америго Веспуччи, а именно о Симонетте. Поскольку, как справедливо заметил один толковый русский, посетивший Флоренцию сто лет назад, картина, на которой ее изобразил Сандро Боттичелли, — «лучшая из всех картин на свете».

Ничего себе получилась парочка. Он — человек и континент, она — первая модель человечества. Можно представить себе, как бедный Сандро был в нее влюблен. Симонетта стала для него не только «Рождением Венеры», но и «Весной».

Учитель Боттичелли фра Филиппо Липпи — буйный монах-кармелит, не умевший смирить свою плоть даже в пятьдесят лет, знал толк в женской красоте. Однажды он увел из монастыря юную монахиню и сотворил с ней на пару Филиппино Липпи. А кроме сына — множество мадонн, для которых жена послужила моделью. Эти мадонны преодолели грань, отделяющую божественность небесную от эротичной привлекательности земной, и, пожалуй, немалое число флорентийцев влюбилось в мадонн грешного фра Филиппо так же, как сам он влюбился в девуш-

ку, ставшую их прообразом. Богородицам, написанным в XIV веке, можно лишь поклоняться. Мадонн XV столетия, — понял Алеша, не раз прочесав всю Италию вдоль и поперек, — можно поистине обожать.

Фра Филиппо «размножал» женскую красоту и наполнял ею Флоренцию. Боттичелли пошел дальше своего учителя. Он не просто тиражировал любовь. Он творил ее из подручных ему средств. И Симонетту, умершую совсем еще юной, он превратил в образ, живущий по сей день своей собственной жизнью. Как-то раз Алеша обнаружил вдруг эту жизнь в одной небольшой trattoria, затерявшейся среди улиц и переулочков старой Флоренции.

Называлась она «San Zanobi». Алеша, лишь начинавший тогда свою внезапную карьеру гида, не знал, кто такой был этот Зиновий и за какие заслуги он сделался «Сан». Однако кормили в trattoria неплохо.

Хозяйка — дама лет шестидесяти пяти — подавала счет и принимала деньги. А также с бесконечным радушием говорила клиентам «Buona sera». Обслуживала гостей дочь. Или, по крайней мере, она казалась дочерью. Светловолосая итальянка с лицом не то чтобы грустным, но каким-то отсутствующим. Алеше она виделась Симонеттой. Только дожившей до сорока лет, родившей десять детей, из которых девять умерло, а один сел в тюрьму. То ли за компьютерное мошенничество, то ли за то, что раздел странствующего монаха где-то на проселочной дороге между Ареццо и Кортоной. И теперь Симонетта должна была носить ему передачи в тюрьму.

Кроме этого, ее, по-видимому, ничего уже не интересовало. В том числе Алексей, не раз уже пытавшийся с Симонеттой заговаривать. Однако она лишь приносила ему моцареллу с помидорами и произносила по-итальянски дежурную фразу так, что трудно было понять, обращается ли она к помидорам или все-таки к гостю. Мать Симонетты в этом смысле была разборчивее. Она точно знала, что клиент — это тот, который платит, а помидор — тот, за кого платят.

В этой семейной trattoria существовал, наверное, еще и отец. Но его Алексей никогда не встречал. По-видимому, именно он соединял на кухне моцареллу с помидорами и никогда не выглядывал наружу.

Моцарелла была хороша. Раньше Алеше казалось, что она вкусом напоминает кусок белой резинки. Но в «San Zanobi» он узнал, что это лишь плохая моцарелла напоминает резинку. А хорошая моцарелла напоминает моцареллу. Впрочем, вряд ли все это что-нибудь скажет тому, кто никогда не заглядывал в «San Zanobi».

Алеша туда, кстати, заглядывал не из-за моцареллы и даже не из-за Симонетты. Он заглядывал из-за молодого красного вина, которого там наливали пол-литра за четыре двадцать. По соотношению «цена — качество» это было лучшее из того, что ему доводилось когда-либо пить.

Пол-литра к ужину, конечно, многовато. Однако он ничего не мог с собой поделаться. Каждый непоглощенный стакан воспринимался как страшный убыток.

Вино выпивалось целиком, ужин съедался до последнего шарика сыра, пожилая хозяйка переходила от «Buona sera» к «Arrivederci», и Алексей шел бродить по вечернему городу. Дорога его всегда вела в одно и то же место — к ступеням лоджии «Ланци». Каждый вечер там, у стен Palazzo Vecchio, играла музыка. А Алексей сидел и глядел на соседей.

Самым дальним был Козимо Медичи. Герцог. Железный. Верхом на лошади. Алеше этот тип совершенно не нравился. Все признаки успешно выстроенной вертикали власти отражались на его лице. Впрочем, Алеша, как человек, живший на полтысячелетия позже герцога, знал, что именно с Козимо начался упадок Флоренции, которую до построения вертикали называли порой Афинами-на-Арно.

Чуть поближе стоял Нептун. Он был центром фонтана. Что, впрочем, не спасало ни его, ни фонтан. Поговаривали, будто Нептун — это тот же Козимо, но «под прикрытием». Судя по физиономиям, у них действительно было нечто общее. Впрочем, никто к ним внимательно не приглядывался.

Еще ближе располагалась некто с головой Олоферна. Алеше никогда не нравилась эта история, столь вдохновляющая на борьбу за независимость. Он не мог представить себе, например, Симонетту с частями тела господина Олоферна. Кстати, прямо над его головой, непосредственно в лоджии какой-то античный тип тряс еще головой Медузы горгоны. И это уже был явный перебор.

Зато совсем близко стоял Давид. Безупречный во всех отношениях. Хоть и был лишь копией того микеланджеловского Давида, что находится в галерее академии. Но рассуждать о нем Алеша был не готов. Пол-литра за четыре двадцать лишили его права рассуждать о великом.

А кроме того, если честно, больше всего ему нравился Мардзокко. Этот парень был львом и стоял между Нептуном и той теткой, что с головой Олоферна. Ростом Мардзокко не вышел, да к тому же на фоне белизны Нептуновой мраморной плоти казался каким-то темненьким. Но присмотревшись к морде его лица, нетрудно было определить за невзрачной внешностью, как минимум, двенадцать поколений интеллигенции. Куда там Козимо Медичи!

Мардзокко работал геральдическим символом Флоренции, и в связи с этим ему приходилось время от времени участвовать в одной не слишком приятной символической процедуре. Захваченных в плен врагов флорентийцы по традиции заставляли целовать льва в зад. Однако эта символическая власть не испортила парня. Наверное, интеллигентность прививает иммунитет даже против властной вертикали. Мардзокко с некоторой тоской смотрел на то, как в лоджии Ланци кто-то древнеримский похищал сабинянок, и это была единственная нескромность, которую лев себе позволял.

Соседей — как бронзовых, так и мраморных — возле Palazzo Vecchio было много. И чтобы разобраться в каждом, Алеша на пару с Мардзокко принимал еще пол-литра, принесенных с собой. А после этого к нему являлась Симонетта.

Она наливала себе вина на самое донышко, доставала завернутую в пакетик моцареллу и предлагала закуску льву. Но скромный Мардзокко отходил в сторонку (к себе на постамент), чтоб не мешать молодым. А Алексей с Симонеттой начинали беседу двух одиноких людей.

— Ты вновь слишком много пьешь. Не стоит.
— В России я пил больше. По крайней мере, до женитьбы.
— Так ты, оказывается, женат?
— Теперь уже не женат.
— Она тебя не любила?
— Сначала нет. Но через семь лет, пожалуй, всерьез привязалась.
— Значит, ты ее не любил?
— Сначала нет. Но через семь лет я не мог без нее жить.
— Тогда почему ты живешь здесь?
— Полагаешь, я здесь живу? Скорее, выживаю. Вожу экскурсии для обывателей, набравших наконец денег для поездки в Италию, о которой за «железным занавесом» они раньше могли лишь мечтать. Это родители моих старых учеников. Столь же тупые, только со средствами. И потому они здесь. Но вбить что-то серьезное в их головы невозможно ни в Ленинграде, ни во Флоренции. Им наплевать на культуру, понять которой они не в состоянии, но важно отщелкать всю камеру, чтобы потом похвастаться.

— Речь не о них, а о тебе. Об одиночестве. И о жене, которая там. Я это плохо пока понимаю.

— Я сам это плохо все понимаю.

— Вы скверно с ней жили? Нуждались?

— На первых порах, конечно. Особенно в девяносто втором. Зарплата учителя превратилась в пыль. Жена дома сидела с сыном. Теща слегка помогала, но нервы мотала каждый день. И жить было негде. Только в ее хрущобе на двенадцати метрах с кладовкой. Впрочем, тебе не понять, что такое хрущоба.

— И вы разошлись от нужды?

— Знаешь ли, нет. Ее мы пережили. Спас итальянский, который я худо-бедно знал. Пришлось бросить школу и пойти переводчиком в бизнес. Сперва был «шестеркой», потом мне стали всерьез доверять. Сам ездил в Милан, решал вопросы, привозил контракты. Разбогател, купил квартиру. Потом узнал, что ходил под бандитами, и ушел из бизнеса.

— Что значит под бандитами?

— Тебе это тоже не понять. Я сам это плохо понимал до поры до времени. Но когда меня чуть не убили, мозги быстро прочистились. Правда, лишь у меня. А жену одолел страх. Не работала, не выходила из дома. Боялась за сына, за меня, за себя. Боялась нищеты. Боялась будущего. Боялась возвращения совка. Ну, про совок ты, впрочем, тоже вряд ли поймешь. Это как при Савонароле, но без божества и без вдохновенья.

Алеша замолчал, взглянул на бутылку, а затем приподнял и показал ее Мардзокко. Тот, не слезая с пьедестала, отрицательно мотнул головой. Алексей вылил остатки в свой стакан и немедленно выпил.

— Закуси моцареллой, а то не дойдешь до отеля. Так что ж было дальше?

— А дальше не было ничего. Она хотела выстроить брак на рацио, но сама же сломалась. Стала безумной, иррациональной. Пришлось ее бросить, уехать сюда.

— Но это подлость.

— Отнюдь. Это была шокотерапия, стоившая мне, правда, седых волос. — Алексей тряхнул головой, и Симонетта увидела, что она блее, чем у Мардзокко, которому стукнуло полтысячи лет. — Оставшись одна, Верка вышла из дому. Сейчас в бизнесе. Богатеет. Меня ненавидит. И деньги на Левушку давно перестала брать.

— А ты пьешь?

— А я пью. И ишу, на кого опереться. Останься со мной. Вдвоем будет лучше. Ты привлекательна, я черто... Тьфу. Все это где-то уже было... В общем, останься. Мы вместе будем любить моцареллу.

Тут дунул с Арно холодный ветер. Алеша встряхнулся, слегка протрезвел, а Симонетта исчезла. И не было больше вина, чтоб заманить ее в ловушку. Лишь ночь, опустевшая площадь и старый Мардзокко, печально пожимающий плечами.

Любовь-2010. Возраст дожития

По ночам над Капитолийским холмом парят большие белые птицы. Собираются они начинают поздно вечером, когда стихает гул толпы и суетливые туристы растекаются по отелям. А к полуночи, когда на площади, созданной самим Микеланджело, остаются лишь две-три влюбленные парочки, птицы захватывают все пространство древнеримской твердыни. Вдали на других холмах города еще светятся огни, но здесь человеческая жизнь практически полностью затихает.

— Не думал, что в Риме бывает такая глушь, — промолвил Левушка, разливая из фляжки по двум бумажным стаканчикам принесенную отцом граппу.

— Здесь в этот час нечего делать. Едят обычно на Кампо-дель-Фьоре, гуляют — на пьядца Навона. А здесь лишь дух Марка Аврелия бродит.

— Да ладно тебе. Не на экскурсии. Я приехал не Рим повидать, а родителя. Пора все-таки в девятнадцать лет с ним познакомиться.

— Совсем не помнишь меня? Мы много возились, пока ты был маленький. В футбол играли. Гуляли. Павловск, Пушкин. Девушка с кувшином.

— Так, что-то смутно. Как будто в другой жизни. И ты в той другой жизни был не ты.

— Да, я был не я. А может, сейчас я — не я? Без поллитры не разберешься. Давай-ка выпьем. Хорошая граппа. И, главное, дешевая. Ее у меня в деревеньке гонят. Свой виноград, свой опыт. Говорят, начинали еще при Марке Аврелии.

— Про Марка ты уже говорил. Помянем?

Они выпили и слегка помолчали. Город шумел где-то внизу. Чуть выше стоял бронзовый император, любивший философствовать. А здесь, на склоне, среди деревьев, два русских приканчивали виноградную водку, закусывая ее сыром и мягким итальянским хлебом.

— Мама легко уходила?

— Не очень. Ты ж понимаешь, рак. Сильные боли, наркотик, хоспис. Но длилось недолго. И, главное, она толком едва лишь успела осознать, что происходит. Была вся в делах. Надеялась бизнес расширить... Надеялась...

— Мне не хотела сообщить?

Левушка хмыкнул.

— Ты думаешь, почему я сейчас лишь приехал? Она не желала к тебе отпустить. В пятнадцать мне очень Италию повидать хотелось. Порой думал, на все каникулы летом удастся махнуть. Ведь папа, не кто-нибудь. Поселит, расскажет, повозит... Какое там... И слышать не хотела.

— Давай еще по капле. Не крепкая?

— Нормально. Не крепче жизни.

— Помянем.

На этот раз молчали значительно дольше. Алеша смотрел на птиц. В башке непрерывно крутилось: «Не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей». Последнее время его голова была постоянно наполнена старыми песнями, а тут эти птицы, как будто нарочно...

— Ты думаешь, я виноват? — Он в этот вечер долго рассказывал сыну свою жизнь. Рассказывал, почему бросил Веру. Рассказывал, что было с ней до того, как пришлось расстаться. Конечно, всего Алексей про мать Леве не говорил, но в целом картину постарался обрисовать так, чтобы тот понял.

— Не знаю. С твоих слов вроде все правильно. Она, как я помню, безумно энергичной стала. Глаза горели. Руки чесались. В бизнесе на ходу подметки рвала. Дралась за каждую копейку. Деньги, деньги, деньги... Мне даже противно порой было. Зато нужды мы не знали.

— Так у нее появился смысл жизни.

— Наверное... Но только жизнь ушла... Осталась еще граппа?

Алеша нацедил остатки. Ни сыра, ни хлеба уже не было, и Левушка занюхал стаканчик водки своим рукавом. «Откуда он это подхватил?» — подумал отец. Но вслух ничего не сказал.

О том, что сын будет сегодня в Риме, ему было известно. Левушка в старых бумагах мамы нашел телефон отца и позвонил заранее. Но Алексей жил в дальней деревне на севере. Там было дешевле, чем в крупных городах. Когда появлялась работа с экскурсиями, он приезжал в аэропорт, встречал русских, возил их по стране и ночевал вместе с ними в отелях. А после опять отправлялся в провинцию пропи-

вать заработанные деньги, благо граппа была там невероятно дешевой. А еды его проспиритованному организму требовалось немного.

К встрече сына он готовился тщательно. Настолько тщательно, что стал ее отмечать заранее. А потому проспал нужный поезд. Приехал следующим, когда в Риме уже наступила ночь. Идти в ресторан было поздно. И Алексей решил обставить встречу по-русски, благо нужный напиток привез с собой.

Нет в центре ночного Рима более тихого и романтического места, чем склон Капитолия. Воздух, деревья, огни большого города. Два полицейских сидят под копытом императорской лошади, но тех, кто мирно бухает среди деревьев, менты итальянские не беспокоят.

В ресторане побыть можно еще завтра, а ныне Веркина душа парила над Тарпейской скалой, и Алексей понимал, что им слевой надо быть именно здесь.

— Как ты познакомился с мамой?

— А что, никогда не рассказывала?

— Нет, никогда. Она страшно тебя ненавидела. Уж извини. Понимаю, как тяжело это слышать. Но злость так чувствовалась во всем нашем быте. В воздухе витало.

— Понятно. Примерно так я и думал. Она полагала, что можно жизнь рассчитывать, а в жизни реальной была вся на эмоциях.

— Но знаешь, бизнес-то она рассчитала, как компьютер.

— Тоже верно. Здесь без поллитры не... Черт, уже кончилась.

— Ты не ответил на мой вопрос.

— Мы целовались на Мойке. Безумно. Взахлеб. Взасос. Где-то на этих камнях Распутина добивали такой же зимой шестнадцатого. А мы были счастливы в девяносто первом. Тоже мир рушился. А нам хоть бы хны. Мир становился белый и чистый, как снег.

«Господи, что я несу? — думал Алеша, пока говорил. — Ведь все было совсем по-другому. Прекрасно помню. Мир черный и гадкий. А два одиночества спариваются, чтобы не пропасть в тоске. Зачем я вру сыну? Ведь это бессмысленно».

Но тут он понял, что в некотором смысле вовсе не врет. Алексей помнил, как все было на самом деле, и в то же время безумно желал помнить тот день по-другому. И даже не только тот день, а всю свою жизнь. Как будто бы в жизни этой не было невзрачной одноклассницы Верки Многощук. Как будто они встретились уже взрослыми и всерьез полюбили друг друга. Как будто бы брак с Верой был чем-то большим, нежели брак по расчету тех двух людей, которым не на что больше рассчитывать.

Я делаю миф из своего прошлого, и это мне нравится. Я вру сам себе и хочу верить в фантазии. Почему? Ведь раньше такого не случилось.

А не случилось потому, что я врал о будущем. Я сочинял себе ту прекрасную жизнь, которой когда-нибудь заживу. И эта мечта скрашивала всю будничную гадость. Мне удавалось жить в этой гадости лишь с помощью мечты, с помощью представления, будто это лишь временно. Временна школа, временна учительская зарплата, временно одиночество, временна бездомная жизнь. Однако настанет день, когда мир примет меня и когда сам я превращусь из унылого гадкого утенка в прекрасного лебедя. Разбогатею? Воспитаю гениального сына? Или найду себе Симонетту, которая сразу сотрет память о том, как мы, нажравшись по-свински, обрели с Веркой друг друга.

Все эти мечты были глупы и неконкретны. Все они были фантазией, а вовсе не жизненным планом. И я мечтал о будущем, ни разу не делая сколько-нибудь конкретных шагов к цели. Однако до тех пор, пока существовала мечта, я примирялся с реальным миром. А ныне этот мир превращаю из говна в фантазию, поскольку без красоты, хотя бы навранной, жить не могу.

— Ты что-то замолчал, папа. Не перебрал?

Уже три года я вру себе направо и налево. Вру про семейные корни, про деда, от которого так ничего и не смог взять: ни математики, ни шахмат, ни стихов, ни царскосельской эстетики. Вру про свою якобы первую любовь, хотя Тихомирова Анька была лишь испуганным жалким зверьком, случайно оказавшимся у меня за пазухой. Вру даже про то, что строил семью. А ведь на самом деле я только лишь жался от страха к некрепкому Веркиному плечу, тогда как она от такого же страха жалась к плечу моему.

И в общем, нет в моей жизни на самом-то деле никакой красоты. Нет ничего, что пригодно для конструирования романов. Ни мудрости предков, ни искренней страсти, ни твердых житейских основ. А есть лишь мудрое, страстное и твердое желание не признавать реалий.

Все ложь, бесконечная ложь. Но ложь не осознанная, рассудочная, а чисто животная, иррациональная. Ложь выживания. Ложь экзистенциального ужаса.

— Да что с тобой, отец? Ты еще здесь или с Марком Аврелием?

— Мне плохо, Левушка. Мне очень-очень плохо.

— Брось, не парься. Не виноват ты в ее смерти. Наверное, иначе и быть не могло.

— В ее смерти я точно не виноват. Но, может, я виноват в своей?

— Час от часу не легче. Мать сумасшедшая, и этот не лучше. Каким же я сам стану с такими генами годам к пятидесяти?

— Послушай, родной мой. Что ты сказал мне сегодня про универ? Ну, когда говорил, чем там занимаешься с профессором.

— Экономикой. Актуарными расчетами.

— Это я понял. Вернее, совсем не понял, но про расчеты неважно. Ты мне про возраст дожития что-то сказал.

— Ну, да. Считаю пенсии. Беру население, то есть его численность. Затем сумму бабок, причитающуюся на нос одному старику. И, наконец, средний срок, какой старик протянет, когда кончит работать. Из этого всего вместе получаю размер пенсионного фонда. Ну, взносы, там, которые надо платить. И всякое прочее. Тебе-то что? Мутотень скучная. Я вообще в Финэке не хотел учиться, но мать заставила. Как обычно, рассчитала, что человеку надо для успеха. Плюнь, не парься. О себе лучше скажи... Ну, хочешь в отель ко мне пойдем, приляжешь. У тебя же, наверное, в Риме даже ночлега нет.

— Я понял, Лева, про возраст дожития. Это сколько старик протянет. Не проживет, а протянет. То есть жизнь уже кончилась, а он еще тянет.

— Вот-вот. Вроде того. Но тебе-то еще нет пятидесяти. Не пенсионный возраст.

— Не пенсионный. Но жизнь переходит в дожитие вне зависимости от того, какой возраст для этого установит государство. Перестаешь верить в будущее — и все. Начинаешь любить прошлое. Старые песни, старые фильмы, старую власть, старые нравы. Поскольку нельзя ничего не любить. Ты любишь мгновения, когда в прошлом был счастлив, хотя на самом деле ты был несчастлив или же просто скучал, ожидая чудесных перемен. Ты любишь людей, которых на самом деле не любил, поскольку любил лишь героев своей мечты. Ты любишь страну, где когда-то вырос, хотя, подрастая, чихал на нее с колокольни, поскольку была она серой, пустой, несвободной...

Сын долго слушал вполуха, смотрел на огни Рима и ждал, когда пьяный отец наконец замолчит. Он замолчал, оборвав монолог на полуслове, которого парень вообще не расслышал. Затем они долго молчали. А после Лев обернулся...

Андрей ЕГРАШОВ

ВЧЕРАШНИЕ ЛЮДИ

Рассказ

Петров Федор Петрович родился в 1870 г., д. Ольховка, русский, неграмотный, б/п, крестьянин. Арестован 13 сентября 1937 года, приговор — ВМН, разстрелян 8 октября 1937 года, место захоронения — Боровичи. *Источник: Книга Памяти Новгородской области*

...Ягодиночка на льдиночке, а я на берегу!
Дайте тоненьку тесиночку, к нему перебегу!

Я в Боровенке, у сродников в гостях. Середина зимы: за мерзлым стеклом на бельмастом градуснике не вдруг разберешь и поверишь — минус тридцать пять! — мы же беззаботно сидим за столом в уютной кухоньке.

...С ягодиночкой гуляли — и не два, а много лет...
И чево тако случилось — в сердцах любви нет!

Бабушка Настя, из-за которой, собственно, я ныне специально сюда прикатил, расстаралась — уважила гостя: я переполнен материалом, боюсь взорваться, как еще от чая и пряников. Достало бы лишь теперь таланта складно записать добытое: это как чемодан со значимыми вещами уложить в длительную командировку. Помогите, Господи!

...С ягодиночкой прощались у куста смородины:
дорогая, уезжаю на защиту Родины!

Диктофон моргает красным глазом: цифровое время кончено, со вздохом убираю полезную игрушку в карман рюкзака, пока неугомонная бабка выдает очередной перл:

В воскресенье мать-старушка
К воротам тюрьмы пришла,
Своему родному сыну
Передачку принесла:

Андрей Владимирович Еграшов родился в 1963 году на Новгородчине. Окончил в 1986 году Новгородский политехнический институт по специальности «инженер-строитель промышленного и гражданского строительства». В 2005 году окончил Академию госслужбы РФ, одновременно работал в Правительстве Ленобласти начальником отдела качества строительных работ. В 2008 году оставил службу и переехал на постоянное жительство в Окуловский район Новгородской области. Публиковался в журнале «Всерусский собор», альманахах «Вече», «Молодой СПб». Член Союза писателей России.

«Передайте передачку,
А то люди говорят —
Заклоченных в тюрмах много,
Сильно с голоду морят».
Ей охранник усмехнулся:
«Твоего тут сына нет,
Прошлой ночью был расстрелян
И отправлен на тот свет».
Повернулась мать-старушка,
От ворот тюрмы пошла...
И никто про то не знает,
На душе что понесла...

Бабка, за мой живой интерес разохотившаяся вспоминать, словно из мешка горохом весь вечер сыплет всякие частушки и исторки; стихотворение исполняет сейчас бесстрастно, вовсе без выражения, нехитро, но это оно и есть — ИСПОЛНЕНИЕ! — вдумайтесь, вникните в корень слова — «полнота»; в подобных случаях мой знакомый — питерский театральнй режиссер, радуясь, хлопает в ладоши и кричит актрисе: «Есть! В десятку!» — от матери бедного арестанта просьба звучит потухше, смиренно, а насмешка охранника — бесчувственно.

Затем без никакого перерыва начинается другое чтение. Удивительное дело, поэму «Орина, мать солдатская» она наверняка учила когда-то ещё девчонкой, давным-давно, в школе, но именно сейчас, в устах многоопытной старухи, когда-то в порядке послушания заученные, некрасовские строки приобрели подлиннне глубину и смысл, которые меня буквально потрясают:

Чуть живые, в ночь осеннюю
Мы с охоты возвращаемся,
До ночлега прошлогоднего,
Слава богу, добираемся.
«Вот и мы! Здорово, старая!
Что насупилась ты, кумушка!..

Пронзительно звучат слова, словно себе сама выговаривает бабушка Настя:

Не о смерти ли задумалась?
Брось! пустая это думушка!

Боровенка. Две тысячи десятый год, морозная русская зима электронного века — последнего?! Трещат дрова, мурлычет кот...

...Восемь лет сына не видела,
Жив ли, нет — не откликается,
Уж и свидеться не чаяла,
Вдруг сыночек возвращается.
Вышло молодцу в бессрочные...
Истопила жарко банюшку,
Напекла блинов Ориниушка,
Не насмотрится на Ванюшку...

Бабка — хрипнет ли, сбивается? — отхлебывает из чашки остывший чай, после небольшой паузы продолжает:

...Да недолги были радости.
Воротился сын больнехонек,
Ночью кашель бьет солдатика,
Белый плат в крови мокрехонек!
Говорит: «Поправлюсь, матушка!»
Да ошибся — не поправился,
Девять дней хворал Иванушка,
На десятый день преставился...

Трещат дрова в круглой печи, простецкого вида рыжий котяра бесцеремонно метит взгромоздиться мне на колени, а бабушка Настя так же монотонно, невыразительно читает стихи и уже сама плачет — крупными, старыми слезами. Где-то глубоко плачу и я...

...Прошептал: «Прощай, родимая!
Ты опять одна осталась!..»
Я над Ваней наклонилась,
Покрестила, попрощалась,
И погас он, словно свеченька
Восковая, предыконная...
Мало слов, а горя реченька,
Горя реченька бездонная!..

Я снова и снова поражен... осознанием полезности скорбей! Да, людей безмерно жаль, но ведь что обидно! — некоторые наши современники признают героический подвиг, особые качества предков, но признают их как-то **вообще**; ну да, мол, отцы на большее, чем мы, были способны! — признают, но беда — и их, и моя отчасти, — что при том немаловажном признании мы **сами себя** безнадежно унизили, приняв — тоже как-то **мимоходом**, что уж нам-то в том заведомо отказано, мол-де, ныне иная эпоха, и напряжение сил попросту ненадобно; ша! — все, спорить не о чем, вопрос закрыт! Есть и другая, как бы примирительная точка зрения: нам оставлены испытания иного рода, меньшего градуса; мы слабже — и испытания слабые. А коли так, твоя личная ненормальность, мой дружок-современник, вполне нормальна, она **в порядке вещей**, не винись!

В детстве зачитывавшихся Джеком Лондоном, Жюлем Верном, Майном Ридом и Вениамином Кавериним, нас растили на героических книжках с идеологической присадкой: «Работай, учись и живи для народа, советской страны пионер!», откуда недвусмысленно следовало: если надо — то и умри! И не так давний Афган — можно ругать как глупую аферу выживших из ума политиканов, а можно принять как часть славной армейской истории, как испытание, из которого мы, пусть даже поначалу неправые, вышли сильнее и лучше... эх! да когда бы с умом и сердцем! Но был же, был настрой на подвиг! — общегосударственная установка на летчика и геолога, а сейчас... обезумевшая страна поет и скачет под дудку блудливой примадонны, да не для души поет, не в семейном кругу, а в концертных залах — с корыстью «тоже!», «пролезть!» — не в космонавты, а в эстрадные «звезды», у которых наибольшие ныне респект и гонорары.

На последней моей «нормальной» работе случилось обсуждать с сослуживцами

армейскую службу. Пустое время рождает пустые разговоры: устроился горячий диспут на немислимую тему — «Комфорт на войне»! Великовозрастные мальчики, домашние, сами и сборов не служившие, едущие в лютую зиму в легких курточках на неломающихся иномарках без комплекта гаечных ключей в багажнике, мне пренебрежительно указывали, что умирать в будущем надлежит роботам, а у солдат-компьютерщиков должны быть спальные мешки, кофеварки и достойная зарплата. Ругали безжалостных генералов, без числа и жалости отправлявших солдатиков на кровавую бойню. Какая уж тут готовность умереть — за свою страну, за други своя?! Не хочется им — умирать-то; так ведь и естественной смертью, по старости, не захочется — до последнего станут деньгами прикрываться: шунтирования всякие, титановые суставы, пластиковые вкладыши; но от смерти, как от армии, не отмажешься, дураку ясно: умирать все равно придется, только тогда уже точно — «впустую», подлинно «ни за что».

Я сторонникам «гуманной войны» сдуру пытался возражать, схлопотав лишь ярлык человеконенавистника и сам себя олухом ощутив — куда спорить! — такие всегда и кругом правы — у них конституция и ихняя высшая ценность — «человеческая» (понимай — мещанская) жизнь! Такие нами нынче правят: помрут — проклинать грех и молиться за них смех. Мне же в утешение оставлены вчерашние люди, которые надо — идут лес валить, надо — роют окопы, надо — берут винтовки; уж такая хрень! — все равно до смерти чем-то придется заниматься! Умирать? — да, страшно, да тоже, кажется — надо! Надо! — слышите, нет?! Эх, как трудно сделалось умирать теперешним людям! — гордым, осутившимся, при том, что и жить-то им не так, чтобы очень хочется, потому как, что за жизнь — не в полную грудь!

Недавно на окуловских сухарях потерял пломбу: сначала было немного, а потом, через какое-то время, нерв дал себя знать. Мне, прежде лечившемуся в лучших клиниках, в своем нынешнем стесненном финансовом положении невмочь уже вкладываться на каждый зубик по несколько тысяч; решил вырвать проблему; и впредь так же действовать! — обходится же дедушка мой без лишних костей во рту!

В регистратуре требуют страховой полис.

— Нету! — развожу руками с выразительной гримасой.

— Придется платно удалять.

Что поделаешь: удалять в любом случае дешевле, и проблема на будущее решается кардинально. Обул полиэтиленовые калоши, с шуршанием поднялся на второй этаж, отсидел с понятных страхов откровенную очередь, а хирург — симпатичная и тоже отнюдь не молчаливая особа, удалять зуб отказывается наотрез:

— У вас такой рот хороший! Мы вон с бабками — за каждый зуб боремся!

Говорю: нема у меня уже лишних грошей «на хороший рот». А она (похоже, помнящая клятву Гиппократову даже в наше шоколадное лихолетье!) секундой мне поставила бесплатный укол и отвела в другой кабинет, где не рвут, а лечат. Тамошняя врачиха, не сильно радуясь внеплановому «бюджетному» клиенту, но не удивляясь и не споря такому развитию событий, другой секундой высверлила дыру, заложила мышьяк, чем-то наспех замазала, покровительственно и с ходу перейдя «на ты»:

— Придешь через неделю, поставлю постоянную пломбу.

Пришел через неделю, со «Сникерсом», ушел с прежним количеством зубов. Общие впечатления от провинциальной клиники — работа выполнена не так чтоб очень качественно, но в целом нормально. Пока трудилась, врачиха то и дело говорила: «Сплюнь!», а куда плюешь — лучше не смотри; в медсанбатах нет времени на марафет. Нагрузка на врачей огромная, рты «плохие», «полости несанированные»:

сермяжный народ прет валом, и помощь оказывают, почти как на передовой — без лишних соплей, уговоров, но по-человечески как-то даже более сочувственно, нежели в капиталистическом, платном гламуре, куда я прежде был вхож. И разговоры здесь откровеннее: проще, грубее, при том честнее — в коридоре мужики матом кроют свою работу, политику партии и правительства, а в самом кабинете такой срисовал забавный сюжетец: смоталась одна из врачих за пирожными к чаю (стол накрыт тут же, за ширмой), возвращается, со свежего-то воздуха раздуманная и ругается беззлбно: «Фу, девки, зубами-то навоняли палеными!» А ей так же беззлбно отвечают, не вынимая взглядов из широко распахнутых ртов своих земляков, в основном лично знакомых или сродников: «Иди ты в ж...!»

И все весело смеются — и врачи, и больные! И я смеюсь, потому что, помимо дребезжания в нижней челюсти, чувствую: мы — свои, мы — вместе!

...Трогаю свежую пломбу языком, на котором еще вертится: «Передайте передачу, а то люди говорят...»

— Что за стихотворение, бабушка? Откуда?

Бабка, довольная, подхватывает:

— «...Заклученных в тюрьмах много, сильно с голоду морят!» Не стихотворение, сынушко Ондрюшенька! Песня! А откуда? — не ведаю. Бабка старая! Все померли, онная я осталася — на весь ЭСЭСЭР!

В свои восемьдесят девять она не «гораз» и перебарщивает; оттого я к ней и приехал, что нет эсэсэра, нет эпохи и бабок таких наперечет. Однако напоминаю:

— Как же, бабушка? А Татьяна? Концерты у нас в Заручевье выдает!

Ее — старшая! — сестра каждое лето снова и снова объявляется в деревне. Дети зиму терпят ее в городской квартире, пока она вытребует от них, чтоб отвезли в родительскую избу. Тогда Толя Воробьев наконец доукомплектовывает бригаду своих Тань — старух подопечных, с которых он кормится, а главное — поится; их у него, кажется, семь, сам я могу перечислить только четверых: бабка Таня Петрова, бабка Таня Корунова, бабка Таня Устинова и бабка Таня Зорина. Толины Тани — мои «птицы» («Птицы неперелетные» — название сборника); у меня они проходят со своими — уже «укомплектованными» судьбинushками, в которые заплелись всякие прочие судьбы, судьбы многих других старух и стариков, живых и мертвых уже. Речь идет о «вчерашних людях», до которых немного кому есть дело: сама бабка то и дело с лукавым поглядом переспросит:

— Чево ты, Ондрюшенька, про мертвых-то все спрашивашь? Пускай они себе в земле, о живых надо говорить...

Но сама что помнит, заводится с пол-оборота. И дочь ее Валентина, моя дальняя по егравшовой крови сестра, «с трех нот» подхватывает, и, кажется, она уж больше матери знает о той эпохе, от нее приняв и храня память родовую, хоть прежде досадливо отмахивалась от старухиных исторок в домхозяйственной колговерти — давно ль Пискаревы корову держать оставили!

— ...Как чево, бабанюшка?! Вот ты, например, отца своего любила? Как ты его, кстати, величала — отец, папаня?

— Тата. А коли пряников хотела — татушка! Любила! А он меня — без памяти любил. Сколь годов мне было — семь? — корью болела: жар, лицо все окинувше — шершавое, в пузырях, слышу, — матери говорит: «Анна, (если) Настенька умрет, я ведь и пятнадцати минут жить не останусь на свете!» И плачет. А и я слышу, с печки-то, тож плачу: «Не надо, тата, не надо! Я не умру!»

И сейчас плачет, слезами горячими-текучими:

— Думал, я сплю! Жалел гораз меня! Тошнёшенько. Тыи уж большие, а я посленная...

- У него борода была? — спрашиваю зачем-то.
- Короткая. Скобочкой. Приотрастет, просит: «Анна, поброй. Чешется!» Он же у нас культурный был, после ерманского плена, шесть годов там отбыл.
- Как это? Ты же говорила, он в войну уже болел...
- Это она про Первую мировую, — объясняет Валентина, что-то мастеровившая увлеченно у плиты, сама слова не упускавшая из нашего разговора.
- Да?! — удивляюсь.
- Бабка кивает головой, довольная и гордая, будто сама побывала в Германии:
- Я, было, заберусь к нему на печку — ён любил на печке... и молодой — всегда на печке, я и не видела, чтоб на полу...
- Это когда болел уже?
- Да и еще здоровый был, тоже любил — всегда спал на печке. И постелено внизу — пять минут не пролежит, мама смеется: «Айда, чемодан под мышку!» — подушку, значит... И я все у него, до двадцати годов. Приду, было, с улки, ён: «Настыка, сыпь на печку!» Ругается, ноги щупает — ледянки! — сунет к себе промеж ног, греться. А я ему: «Тата, поговори про Германию...»
- И помнишь, чего говорил?
- Чисто, говорил, там. На полу иголочку увидишь. Ну, да мы и сами всегда чисто жили...
- Валя в это самое время принимается на нее капитально бурчать: бабка ела с чаем черничный пирог, измазала руки — дочь отправила ее мыть руки, она пошла, но, оказалось, упавшая ягода прилепилась ей на тапок и она извазюкала кухонный линолеум. Чтобы утишить конфликт, хватаю тряпку и устраняю аварию.
- Наплевать! — дерзит бабка, подставляя скрюченные радикулитом ноги под обтирку и чешет скороговоркой:

...Дроля спрашивал года у реки, у бродика.
— Дроля, я тебя моложе на четыре годика! —

заливается язвительным смехом, видя, что я хватаюсь за карандаш.

Дочке никак не успокоиться:

— Забыла, сама сколько мне крови спортила со своей чистотой в былые годы...

Влезаю:

— Что посеешь, то и пожнешь. Мне вот чаще и чаще бабки со старой квартиры вспоминаются. Я, дело прошлое, любил музыку гонять. А под нами старушки жили — три сестры. Старшая у них была — Мария, самая грозная. Папиросы, помню, курила. «Беломор». Ваты внутрь напихает... Мы двери-то не закрывали в прежние времена. Придет без звонка, шнур из розетки выдернет. Я тогда дверь на замок, снова завожу. Начинает стучать по батарее или под дверью плачет: «Андрей, убавь, сестра болеет!» Убавлю, выжду малость, и снова на полную... А пришло время, и меня негритянской музыкой уважили соседи-рэперы...

Спохватываюсь — себя я и дома наслушаюсь:

— Ну, бабушка, сыпь дальше!

— А чего? Попал к немцу — богатый, хороший человек. Звал — сперва Пётров, потом — Ваня. «Запрягай, Ваня, машину, поедем!» Поедут — по делам, на рынок, в магазины. Отцу домой вертаться, — немец просит: «Ваня, оставайся, все будет твое!» У него только дочка онная была, никого больше.

— Вот и вернулся ваш Иван Петров на любимую печку, а тут ему советская власть и устроила кузькину мать... — грустно иронизирую, припоминая стихотворение Ольги Берггольц:

По равнинам гуляют дожди,
Сивой гривой — лесные просторы...
У деревни Ольховки в груди
Шевелится лохматое горе:
В этот год на полях по весне
От мороза корежился колос.
— Мало вяжут мешков на гумне
За скосившимся частоколом...
Потому бороздою пролег
На челе у деревни вопрос:
Не тяжел бы пришел продналог?
Не померз бы кудрявый овес?..
И снопами тоска залегла,
Крепких вязок не развязать...
И на поле сквозь муть стекла
Смотрят грустно бабьи глаза...

Бабка Настя на мой юмор вдруг не шутя сердает:

— Мы не худо жили!

Вмешивается в разговор Валя:

— Колхоз по деревне назывался — «Ольховка». Мама говорила, его промеж себя Украиной называли, потому что все росло. Хлебá росли. Все нищие шли туда, после войны, в войну. Всего несут, менять на хлеб: «Идем в Украину!» Голодное время-то было, наверное, года три. А в Михновичах, в Запольке хлеба росли хуже.

Бабушка прекословит, возвыся голос с раздражением на лодырей из прочих деревень:

— Да не хотели тоже!.. Они все яблоки возили — у них до тридцать девятого сады были, повимерзли — мороз страшный...

Валя уточняет:

— В финскую, финская война была. Пятьдесят четыре градуса!

Бабушка:

— ...Да, закоковело все. А у нас... очень хорошие были у нас хлеба! Пшаница — эва! — бабушка разводит руки: они у ней разбухшие, изработанные, с синими жилами под вощеной кожицей, а личико тоже сухое, но аккуратное — на нем маленький, ровный, будто несостаренный носик.

Валя согласно дополняет:

— Да, «Ольховка» — богатый был колхоз. В Михновичах колхоз назывался — «Лучки», «Красный Заполек» — в Запольке, «Смена» — в Заручевье, их потом все укрупнили, в пятьдесят седьмом. И хуже стало, уравниловка началась...

Бабушка продолжает грезить про сказочную пшеницу:

— Мололи, мельница была в Малом Запольке...

— Водяная? Ветряная?

— Которая на реке. Меня маленькую брали, я на мешках завязки делала. Пшаница белая-белая, вот такая! — бабка трогает скатерть. — Было, перед воскресеньем, тата скажет: «Анна, растворяй квашню, завтра опять пойдут...» — это он про попрошаек с других деревень. Божественный был, добрый. Мама спечет пироги, тата нахваливает: «У Анны пироги — не наистья!»

— Мать смиренная была?

— Смирная?! У! Да чистый мазурик! — бабка говорит и смеется вслед за доче-

рю, подглядывая за мной еще острыми, с искоркой глазками. Отсмеявшись, объясняет:

— ...Из газет не вылезала. Передовица! Что задумает — выполнит. Печки клала, на крыши в семьдесят-то лет — босиком лазила, ремонтировала — отец-то уж не мог — себе делала, соседям... Все умела, за все бралась! Запольская!

— Из Заполька?

— Да. А отец — тот ольховской. Заполек-то и славился — яблокам! У, Ондрюшенька, милый, поедут, смотришь, только энти нагружены на парах... подводы! — яблоки-то, в Торбино продавать. Дядя Ваня Беденков, мамин родной брат, у них тоже... хороший был сад. Вымерзло.

— Мама, давай-ка ложись! — напоминает дочка, поглядывая на часы. — Поздно уже.

— Наплевать! — снова грубит бабка и по-свойски клонится ко мне. — Мы ночь сидеть будем, так? Лей! — подталкивает свою чашку с розовым цветком.

— Тебе? — поражаюсь. — На ночь-то глядя...

— Наплевать! — упорствует бабка и выдает вообще несообразное: — Грунька, сси в щепки, **высохнёт!**

— Это еще откуль?

Валя смеется.

— Дедка Шалай такой жил в Ольховке. Старый-старый! Им с бабкой трудно зимой с печи слазить...

Я с сомнением, но таки переношу простонародные скабрёзности на свой листок. Тем более что Шалай — мой весьма вероятный сродник, по линии Евсея Андреева.

— Значит, у вас нет обид на Советы? — спрашиваю промежду прочим.

— Как же! Дядю Федю, отца брата, арестовали — застрелили, новый дом ево разобрали. Ён верующий был, в церкву ходил кажинное воскресенье. Тата не ходил, а он ходил. Потом устарел, — тоже не ходил, и церкву закрыли, так какой праздник когда — все (тропари) он знал: «Вот нынче эту молитву поют!» — сплет, что надо.

В ее голосе не слышать злой памяти. Простые люди не умеют злиться на власть, которая в их нехитром понимании есть некая неизбежная досада, попущенная за грехи; но зато через поколения попомнят конкретному человеку, причинившему конкретную же боль:

— Не так сказать, что власти, как потом народ... Коленька, брат, с двадцать первого — я с двадцать третьего, — уехал на призыв. И соседка идет... Таисса... мамушке говорит: «Анна! постой-ка!» — «Чего?» «Кольку-то вашего... не возьмут служить!» — «А чево не возьмут-то?» — «Так ён лишенец!» Мама говорит: «Мы не лишенцы!» — отцов брат, того — да, обрали всего, лишили голосу... «Да, — мол, — все равно!» Мамушка ей — хлясь позатычину! Так та уж после приходила: «Анна, прости!»

— Взяли?

— Коленьку? Взяли. Во флот! Пришел, довольнешенек: «Мамушка! Татушка! Бабушка! Меня во флот взяли!» Целует нас, обнимает. Он гораз хотел, ростом-то высокой был. Было, скажут: «Колька-то у Иван Петровича — не хочет и гулять!» Все работает, работает: пойдет — дрова топором нарубит, сам потом и вывозит. Топить-то надо! Дома-то — старые были. Да и вообще зимой холодно... Заготовлял... Взяли. Целый год письма писал, с Прибалтики: «Все хорошо!» Сфотографировался на карточку — высокий, красивый, одежда морская. Хотел во флот, и взяли во флот, дак. Место-то такое — море! Балтийское. «Очень хорошо, красиво все...» Потом написал: «Мама и тата, можа и долгонько не будет письма. Не расстраивайтесь, будет все хорошо!» Как написал эти слова, и капут, больше не пришло... Утопили где-то, антихристы!

Снова на бабкиных щеках повысыпали прозрачные бусины, а я вспоминаю свою — пусть и мирную, армейскую службу: уж как мне тогда хотелось домой — непременно, скорее, сейчас! О том уже однажды думалось, у воинского мемориала в нашем Высоком Острове, где на каменных плитах длинный перечень Колек и Ванек, так и не воротившихся в свои единственно желанные Заручевье, Михновичи, Низовку, Оленино, Пластиши, Ермолино, Заполек, Ольховку, Лекалово. Мне до туги сердечной жаль их: по эпохе — дедов, по возрасту — уже сынов моих, на чужих землях и водах приконченных самыми немисливо разными фронтовыми смертями; жаль, но я будто и позавидую им: эх вы, мои блаженные, сыскавшие ребяческую лазейку, да прямо-то в Рай! А немногим прочим остальным, теперь уж тоже трудно ушедшим, досталось разорить голубую мечту: солдатское братство вспоминать как лучшую пору жизни, на милой родине им была приготовлена не меньшая военной заботушка, и разруха продлилась дольше, чем у самих ослабло желание цепляться за реальность, в которой так и не сыскалось ни спокойного счастья, ни — главное! — ответа на замятый безбожной властью вопрос: зачем ты рожден, Иван-дурак, и ради чего тянешь жилы! Вот те, Ванька, пряником, бутылка горькой за собственные нищенские копейки и вот те, Ванька, кнут, если ты вдруг с той бутылки лишка ошалеешь...

Молчу, ничего больше не пытаю у бабки, устал: привык в заручевской пустыни рано укладываться: больше спишь, меньше грешишь. Валя стелет мне диван в зале. Зала просторная, по-современному обставленная, кажется — городская квартира: роскошные шторы, мягкая мебель, огромный экран жидкокристаллического телевизора, всякие там DVD-приставки с мерцающими огоньками, магнитофонище с огромными колонками, на полу ковер, на потолке — золоченая люстра. Все как у людей. Нынешних.

Здесь разгадка моей ностальгии. Нами овладели вещи! Мы в рабство попущены жратве и барахлу; ту, незаметно приключившуюся, беду мы прямо не засекали, удивляясь уже на последствия — дефицит времени и так же вдруг стремительно потускневшую жизнь.

Я сделал это открытие случайно, когда прошлым летом, налегке — с полупустым рюкзаком, в котором всего-то лежали бутылка пластиковая родниковой воды и краюшка хлеба, — шествовал с Заручевья до Боровенки, чтобы уже оттуда, как-нибудь автостопом добираться дальше, в Окуловку. Шел себе, шел, ноги до крови потер, и вдруг ощущение такой безграничной свободы охватило меня, такого детского счастья! По обе стороны дороги высились узкоплечие ели, в лесных зарослях, ошалелые, буянили птицы, и мне некуда было спешить: изовсюду уволен, и отца шесть лет как схоронил, откуда ясно, что самому тоже невольге отсюда вовсе предстоит уйти, и то — кому-то печальное, мне нисколько — понимание дало мне другое, неожиданно радостное: жизнь проста! и незачем здесь шустрить, незачем всерьез приспособливаться, и какое счастье, что можно так вот тоже совершенно просто — идти, идти и ни от кого и ни от чего не зависеть! И если суждено еще пожить, значит, найдется и чего жунуть... и поделаться чего.

«Ваня, оставайся, все будет твоё!»

...От печи пышет жаром, мягкая же постель еще холодит, не вдруг угреешься, но я уже засыпаю, сквозь ватную дрему слыша из соседней комнатушки Валентиного незлое бурчание на колготню расходившейся бабушки:

Я любила и люблю солдатика военного,
никогда не изменю своёва слова верного!

ПОЭТЫ

Первой мировой войны

Шарль ПЕГИ

«Блажен, кто пал за сторону родную...»

Пьер Шарль Пеге — французский поэт, писатель, философ. Родился в 1873 году в Орлеане в семье плотника. Окончил Высшую школу, где его преподавателями были философ Анри Бергсон и писатель Ромен Роллан.

Впоследствии занимался политической деятельностью, издавал литературно-философский журнал, но основное время уделял литературному творчеству. Образ Жанны Д'Арк — национальной героини, причисленной к лику святых, — стал центральным в его драмах, поэмах, мистериях. Необычайное впечатление на современников также произвела «Мистерия о младенцах Вифлеемских», которую Ромен Роллан назвал «уникальным шедевром литературы всех времен».

Последняя поэма «Ева» была посвящена истории человечества от грехопадения до кончины Орлеанской девы. В ней особое место занимали славословия в честь павших в бою. С началом мировой войны поэт призвал не отдать врагу ни пяди родной земли и в числе первых записался добровольцем в армию. Лейтенант Шарль Пеге погиб 3 сентября 1914 года во время атаки на немецкие позиции близ городка Вильруа.

Блажен, кто пал

Из поэмы «Ева»

Блажен, кто пал в бою за пядь земную,
Но только в праведном бою святом,
Блажен, кто пал за сторону родную,
Как полагается, к врагу лицом.

Блажен, кто пал на поле страшной брани,
Стяжая дух пред ликом Божества
И восходя на высоту страданий
Среди великой скорби торжества.

Блажен, кто пал за города земные,
Что града Божьего и плоть, и кровь.
Блажен, кто пал за очаги родные,
За почести отеческих домов.

Поскольку дом есть запечатлевань
Божественной обители одной,
Блажен, кто умер в этом целованье,
В объятьях чести и любви земной.

Поскольку честь есть запечатлевань
Необычайной почести Творца,
Блажен, кто умер в этом бушевань,
Обет земной исполнив до конца.

Земной обет есть запечатлевань
Необычайной верности Тебе,
Блажен, кто умер в этом увенчанье,
В смиренье и покорности судьбе.

Блаженны павшие на прах кровавый:
Вернуться в глину — верная судьба.
Блаженны павшие в той битве правой:
Колосья сжаты, собраны хлеба.

Эрнст ШТАДЛЕР

«Здесь звучит хорал небытия...»

Эрнст Мария Рихард Штадлер родился в 1883 году в Кольмаре (Эльзас) в семье чиновника. Еще в гимназии увлекся поэтическим творчеством. Как житель Эльзаса, в совершенстве владел французским языком и, делая многочисленные переводы, считал необходимым сближение немецкой и французской культур. Поэтому, поступив в университет Страсбурга, изучал не только германистику, но и романистику, а также сравнительное языкознание. Впоследствии преподавал в университетах Страсбурга и Брюсселя.

В начале 1914 года поэт издал свой основной труд — стихотворный сборник «Порыв», который стал одной из важнейших поэтических книг раннего экспрессионизма. В нем он провозгласил философию «новой жизнерадостности», которая должна воплощаться в полноценном приятии бытия. В поисках новых форм поэт порою пользовался свободным ритмом и поэтической прозой. Под влиянием американского поэта Уолта Уитмена ввел в немецкую поэзию длинную строку — Langzeile.

Свою философскую программу — «апофеоз жизни вместо утраченной веры» — поэт изложил в своей последней лекции «История немецкой лирики Новейшего времени», которую прочел перед уходом на Западный фронт. Лейтенант Эрнст Штадлер храбро сражался, был награжден Железным крестом и погиб под бельгийским городом Ипром 30 октября 1914 года.

Наступление

Однажды труба полковая мой дух мятежный уже будила:
Его как взнузданного коня в буйную даль уводила.
Гремела дробь барабанов на каждой дороге терновой
И славной музыкой земли звучал для нас ливень свинцовый.
Внезапно жизнь замерла. Между деревьев дорога змеилась.
Настал долгожданный покой. Сладкая греза во сне явилась,
Будто от пыльной брони освободилась моя плоть живая,
И ее, утомленную, приняла мягкая перина пуховая.

Но вдруг на туманном рассвете сигнал прозвучал тревожный,
Резкий, как свист меча, и, как луч во мраке, сполошный.
Будто труба полковая протрубила — подъем! — на привале,
Разом свернулись палатки, и лошади загарцевали.
Я помчался в первых рядах, над шлемом пули звенели,
Вперед, где кипела кровавая битва, и поводья в руках пламенели.
Быть может, сегодня вечером сыграют нам марш победный,
А может, падем среди мертвых в стремительный миг последний.
Но прежде, чем наши преображенья начнутся,
Наши глаза этим солнечным светом вдоволь напьются.

Сумасшедший дом

Форт Жако, Юккль

Отныне жизнь здесь ничего не знает о себе —
Сознание скрылось в самую глубь мироздания.
В холодных залах здесь звучит хорал небытия.
Вокруг умиротворение, возвращение домой, детство.
Здесь ничто никому никогда не угрожает.
Но испуганные глаза здесь висят в пустоте
И дрожат от ужаса, пытаясь куда-нибудь ускользнуть.
Кое-кто еще цепляется за жизнь немощной плотью.
Они не хотят позволить дню исчезнуть.
Они бьются в судорогах, вопят в ваннных комнатах
И, присев на корточки, жалобно стонут в углах.
Зато некоторым из них открываются небеса.
Вокруг они слышат безжизненные голоса вещей
И музыку, парящую в огромной Вселенной.
Они порой бормочут непонятные слова.
Они улыбаются тихо и дружелюбно, как дети.
В потерянных непостижимых глазах витает счастье.

Очищение

Забудь шальные ночи и шальные дни!
Чужие образы из дома изгони!
Пускай нахлынет грозовая тьма с высот
И в жилах кровь твоя забродит, запоет.
Уже бурлит вокруг сверкающий поток —
Ты от божественного счастья изнемог.
Объятый светом воскресения Его —
Когда вокруг пустынная земля одна,
Но влагой благостной душа напоена —
Ты слышишь утром голос Бога твоего.

Утро

Меня пронзает взор Твоих прекрасных глаз
И облакает в храме сумрачный рассвет.

Колена преклонив, смиренно жду тот час,
Когда Твой день, Мария, с витражей сойдет.

Отеческой рукой ласкает он теперь...
Давно ли потешался вечер напролет,
Когда меня терзал жестокий глад, как зверь,
И гордо презирал в ночлежках всякий сброд?

Благоуханием Твоих прекрасных роз
По моему лицу он благостно течет,
И вот душа моя, исполненная грез,
В ладу с божественной мелодией поет.

Эдвард ТОМАС

«И горек был мой хлеб и виноград...»

Филипп Эдвард Томас — англо-валлийский поэт и эссеист. Родился в 1878 году в предместье Лондона в семье служащего. После окончания колледжа Линкольна в Оксфорде занимался литературной поденщиной. Публиковал также эссе, посвященные творчеству Метерлинка, Суинберна и др.

Хотя Томас считал поэзию высшей формой литературы, но сам долгое время избегал служения музам. К этому его подвигнул выдающийся американский поэт Роберт Фрост, с которым он подружился летом 1914 года. За два года Томас успел создать 140 шедевров. Своим творчеством он продолжил древнюю буколическую традицию, переосмысленную теоретиками георгианской школы в духе поэтического реализма.

Между тем литературная поденщина перестала приносить доход. Чтобы содержать семью, в июле 1915 года поэт записался в армию и, обучившись артиллерийскому делу, добровольно отправился на Западный фронт. Лейтенант Эдвард Томас погиб 9 апреля 1917 года в битве при Аррасе. Узнав о гибели друга, поэт Роберт Фрост посвятил ему стихи: «Ты был из тех, кто, не боясь судьбы, жил как поэт и умер как солдат».

Слезы

Я разучился плакать, но скупые слезы
Едва не проступили на глазах, когда
Помчались двадцать молодых веселых гончих
В цветущий луг, где посолонь кружился хмель,
И звонким лаем первый гон провозгласили:
Готовы к схватке хоть с самим драконом...

А этим утром я до слез растроган был,
Когда из сумрачной пустой казармы вышел
На воздух, напоенный светом и теплом,
Как будто выбрался волшебным коридором
Из царства одиночества и тишины,
А на плацу дробь барабанов раздавалась,

Свистели дудки песенку о гренадерах,
Сзывая на развод, и строились солдаты
Розовощекие, в мундирах белоснежных...
И эта музыка, и этот строй британский
Мне истинно великими вдруг показались,
Что красотой своей блеснули и прошли.

Сова

Пылает над дорогою закат,
И холод пробирает до кости.
Я так замерз и был, конечно, рад,
Когда трактир увидел на пути.

Я взял вина, согрелся у огня
И задремал под мерный шум листвы,
Но среди ночи разбудил меня
Исполненный печали крик совы.

Казалось, он покинул темный дол
Напомнить мне про совестливый суд,
Что на ночь я пристанище обрел,
А вот другие вряд ли обретут.

И горек был мой хлеб и виноград,
Когда я слышал этот крик ночной
За всех убогих и за всех солдат,
Кто спит сегодня в поле под звездой.

Солдат

А пахарь, что убит в бою свирепом,
Дремал частенько под открытым небом
И похвалялся, что, хлебнув немного,
Спал под кустом — за пазухой у Бога.

А что за куст и где произрастает,
Никто не знал, да и теперь не знает,
Во Франции или в краю ином
Тот пахарь почивает вечным сном.

*Предисловия и перевод
Евгения Лукина*

Алексей ВАРЕХОВ

РУССКОЕ БОГАТСТВО

В сущности, что это такое — богатство, чувство богатства, ощущение себя богатым, стремление обогатиться? Русским часто говорят: вы такие умные, но почему вы такие бедные? Формула, которую приписывают Курту Воннегуту если ты такой умный, то где же тогда твои денюжки, — это как раз для нас. Вам срочно нужен иной уровень благосостояния, — говорят дружественно относящиеся к нам иностранцы. Вы каким-то образом переживаете одновременно проблемы и высокоразвитых, и малоразвитых стран — высказывается Джеймс Биллингтон, хорошо говорящий по-русски директор Библиотеки Конгресса США, автор книг «Икона и топор» и «Пожар ума». И все это от бедности. Вся история России — нескончаемая борьба с бедностью.

Имеет ли вообще стремление обогатиться национальные особенности и оттенки? Может быть, это свойство человеческой природы, инстинкт, унаследованный от животного накопительства. Ведь стал же навозный жук скарабей символом великой египетской цивилизации. Тот самый скарабей, для которого шарики, скатываемые им из навоза, то есть всего лишь пищевой запас, были его богатством. Так, наверное, и у человека обогащение — тайная, неукротимая, первобытная страсть. И такое же, как у навозного жука, усердие в накоплении.

Но обогащение — это не только усердие, но и ум, и терпение, и воля, и смелость. «Богатство — сильное свидетельство в способностях к всему», а «бедность — уничтожение всех наших дарований», — писал в своем Толковом словаре ранний русский драматург Княжнин.

Между богатыми и бедными лежит пропасть. Богатый говорит бедному: ты слаб, ты раб своих слабостей, ты ленив, ты живешь сегодняшним днем, ты не способен думать о будущем; даже любовь к собственным детям не заставляет тебя отказаться от своих слабостей. То есть, в сущности, все то, что говорилось издавна на Руси: «У того, кто ленив, спит долго, да еще и пьет, нужда — скудость у него дома сидит, а беды у него на плечах сидят... убожество у него в кошельке гнездо свило, привязалась к нему злая лень, как милая жена».

Бедный же говорит богатому: я беден, потому что ты богат; я такой, какой я есть; так было, так есть и так будет. Но не слышит богатый бедного. Глухота — болезнь богатых людей, так на Руси сказано.

Но бедный еще и завистлив, и опасен. От бедного всегда исходит опасность разрушения порядка, который необходим всем. Бедными были восставшие римские рабы, нидерландские гёзы и русские крестьяне под предводительством Ивана Болотникова. Бедными были парижские коммунары («Шагайте, усачи и нищие девчонки, / Несите секачи и с порохом бочонки»). Бедными были силезские ткачи в Германии и китайские «боксеры» с лозунгом «Кулак во имя справедливости и согласия». Наконец, Иисус Христос тоже был беден и тоже опасен. Иначе откуда

Алексей Григорьевич Верехов родился в 1938 году. Преподаватель вуза Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ).

взялась бы эта чудовищная ненависть против него осудивших его на смерть. Мудрейший Сатана, знающий человеческую природу лучше, чем Иисус, показывал ему все царства мира и искушал, говоря: все это дам тебе, если падши, поклонись мне, — но он выстоял. Откуда, в сущности, берет начало трагедия этого бедняка? Его судей возмущало его презрение к жизненным благам, к положению в обществе, к почестям и к деньгам. Этот нищий, объявивший себя к тому же еще и богом, обрушивал вековые устои, власть, державшуюся на богатстве. Он был преступником, и висеть ему было суждено на кресте между двух разбойников. Такова была злобная воля его судей. Потому что одинаково непонятны среднему (нормальному) человеку и праведники, и бандиты, поскольку и те и другие — искусители. Этот слишком плох, а тот — слишком хорош, но и тот и другой недоступны для личного примера или даже для подражания. Ведь и христианство поначалу стало религией бедняков, и убивали первых христиан богатые язычники.

Традиционная русская бедность или индигестия (*l'indigence*) на французский лад, как ее стыдливо обозначали в XIX веке люди из культурного слоя общества, становилась привычным складом жизни. Бедность порождала не только апатию и беспомощность, но и отчаянную анархистскую энергию. Вспомним хотя бы гоголевского израненного ветерана капитана Копейкина, который, отчаявшись добыть себе пенсию, стал разбойничать в рязанских лесах. Вспомним и русские пословицы, обеляющие бедность, которым несть числа: «Без денег сон крепче»; «Нищета прочней богатства»; «Денег нет, так подушка под головой не вертится»; «Богатому не спится, богатый вора боится»; «Божья благодать лучше богатства». И все в таком же роде. А как казнокрады и взяточники на Руси говорили: Хоть и стыдно, да сытно; Какая честь, коли нечего есть. Или вот фонвизинский персонаж (Ермолай) пишет: «Которая десятина земли принесет мне столько прибыли, как мое бесчестье». До чести ли было тут. Бедность коверкала человеческие души.

В описании Сумарокова читаем: «Вышел думный дьяк и стал ему герой взятку (пятьдесят рублѐв) давать. А он: “На что это? Это, право, напрасно”. Говорит: “На что это?” — и берет». Взятка порождала одновременно и нахальство, и какую-то скользкую, поганую стыдливость. А как появились на Руси взятки? Все от того же, от бедности. От того, что государство, которое по этой причине и государством-то назвать было трудно, мелкому чиновничьему люду жалованья не платило. Отсюда и появилась взятка, которую опять-таки стыдливо обозначали как «акциденцию» (по Салтыкову-Щедрину, «слово оригинально не русское, но от долгого употребления совершенно обрусевшее»). Само-то слово, означающее что-то случайное, выражало собой поначалу случайный заработок, так сказать, на прокорм живота, а позже превратилось во «взятку». Сначала — «сколько дадут», а потом уже — «сколько запросишь».

Бедность порождала устойчивую философию жизни. Как у Островского в «Грозе»: «В мещанстве, сударь, вы ничего, кроме грубости да бедности нагольной не увидите. И никогда нам, сударь, не выбиться из этой коры...» Бедность порождала казнокрадство. «Что же касается до казны, то, по моему глупому разуму, несть греха и до нее от времени до времени прикасаться», — высказывается фонвизинский персонаж, надворный советник Артемон Взяткин. «Прикосновение» к казне воровством не называлось, хотя на самом деле таковым и являлось. «Вор — подлое слово, а благородные люди заменяют его на умение жить, блюсти свои интересы или что-то в этом роде» — таковы были лицемерные формулы повседневной жизни.

Это была всеобщая бедность, которую позднее Герцен обозначал как «бытовой, непосредственный социализм». Та самая бедность, из которой впоследствии вырастет так называемый «победивший социализм», узаконивший ее. «Бедность — не

порок», а так, обычное наше состояние, оправдывали себя люди. Бедность породила лень и пассивность, она была как рок и обреченность. Гоголевский помещик Хлобуев в «Мертвых душах» выразил это тоскливыми словами: «Мне кажется, что мы совсем не для счастья рождены».

Но она (то есть бедность) уживалась каким-то парадоксальным образом с «природным жизнелюбием и природным величием русской души, для которой даже богатство становилось каким-то второстепенным, временным и воздушным». Как писал, наверное, самый пронзительный русский человек и лучше всех знавший русскую душу Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин: «...не могу не благоговеть перед широкой русской натурой, равно великой и в умении сколотить деньгу на шарамышку, и в умении разбросать ее на ветер...» В другом произведении («За рубежом») того же замечательного автора, не входящем, понятно, в школьную программу изучения русской литературы, «мальчик в штанах» (немецкий мальчик) никак не может понять «мальчика без штанов» (русского мальчика), которому на эту бедность, равно как и на все разумные доводы немецкого мальчика в пользу богатства и благополучия, как будто бы и наплевать: «...у нас, брат, шаром покати, зато занятно». О, как нам на самом деле это все понятно, эта занятность русской жизни. Да и все сегодняшние наши западные переселенцы в Европу или Америку дружно говорят, что скучно живется «у них там». Как будто все хорошо, а скучно. Один современный литератор отметил, что всякий культурный русский, читая Салтыкова-Щедрина, испытывает странное наслаждение. Но это не смех над собой, это — радость самоидентификации.

Но полнота и разнообразие («занятность») русской внутренней жизни постоянно натывалась на бедность. Бедность питала лень и питалась ленью. Лень располагала к высоким, но бесплодным рассуждениям. Эти рассуждения развивали в обществе презрительное отношение к простому труду и простому человеческому существованию. Занятия стали делиться на низкие и высокие. Развивалось даже не просто социальное неравенство, а скорее нравственное и культурное неравенство. Утрачивалось чувство национального единства, национальной среды обитания. Известный ядовитый французский маркиз понял это лучше всех других: если французская жизнь, писал он, постоянно плодит тип честолюбивого эгоиста, то русская жизнь — тип бескорыстного философа. Если первый из этих типов действует в самой гуще социума, то второй — возвышен и отстранен от жизни. Не то чтобы он «страшно далек от народа» — *он вне народа*.

Розанов с тоской, чувствующейся в каждом слове, писал: «Нобель — угрюмый, тяжелый швед, скупал в России все нефтяные земли. Купил — и закрыл... Русские все зевали. Русские все клевали... Были у них (*то есть, у нас*) Станиславский и Немирович-Данченко. Станиславский был красив, а Немирович-Данченко был умен. И основали они Художественный театр. Им рукоплескали, их засыпали цветами, о них писали». О Нобеле никто не писал, это было неинтересно. Было это в 1894 году, а как будто бы и сегодня. Все помнят эпизод из советского замечательного фильма об «Иване Васильевиче», где посол шведский вожделеет о «Кемской волости». А чем все кончается? Человек из будущего, наш сегодняшний, советский, «социально близкий», обчищает посла шведского. Вот такая это была занятная и отнюдь как будто бы не порочная, а, напротив даже, жизнеутверждающая и «занятная» аберрация общественного сознания. Другое дело, что в нашем сегодняшнем жестоком прагматичном мире оно, это бескорыстное величие русской души, оказалось пока как будто бы и не к месту, но слава богу, если это только пока. В том-то и штука, что душа русского народа жива; дремлет, но жива; закостенела, но держится ее косная, но устойчивая организация. Эра «Великого Прагматизма» может нако-

нец надоест людям и закончиться, а экологическая полнота и «занятность» русского национального сознания, даже его талантливая непоследовательность и эклектичная энергия сможет влиться в общечеловеческий поток развития. Но на сегодня существует какая-то глубокая технологическая неувязка между русским национальным характером, невосприимчивым в целом к обогащению, и системой отношений в современном мире.

Люди талантливые, ученые, артисты или художники, часто относятся к богатству довольно хладнокровно. Но этих людей немного. «Ученые — малое число людей, занимающихся размышлением, между тем как прочие пьют только да едят», — пишет русский автор XVIII века. Люди идейные бывают сыты своей идеей, как Дон Кихот Ламанчский, «чье имущество заключалось в фамильном копье, древнем щите, тощей кляче и борзой собаке». То же мы читаем и у Пушкина: «...деньги рыцарю не нужны, на то есть мещане — как прижмет их, так и забрызжет кровь червонцами». Другими словами, есть чувства и есть люди, которые выше денег. Их мало, но, слава богу, они есть. Но бедность любого человека постыдна, и недостойн любви тот правитель, народ которого беден. «О, бедность, бедность, / Как унижает сердце нам она!» — это Альбер, сын пушкинского Скупого Рыцаря, барона Филиппа. Мы ведь помним, как в нашем российском фильме Смоктуновский изображал барона, в одиночестве чахнувшего над своим золотом в подвале: «...тут есть дублон старинный...»ю Вдова принесла монету за долг своего умершего мужа, молит простить долг, ведь у нее ничего больше нет; старик неумолим, грозит ей тюрьмой и она отдает монету кровопийце-ростовщику. А бедный парень, сын скряги-отца, повредивший шлем на поединке, не может поправить его, не имея денег. Но то же бывало и в русской истории. Например, в фонвизинском «Недоросле»: «Батюшка г-жи Простаковой был воеводою пятнадцать лет... Челобитчиков принимал всегда, бывало, сидя на железном сундуке. После всякого сундук отворит и что-нибудь положит... Покойник-свет, лежа на сундуке с деньгами, умер, так сказать, с голоду...». Таков же купец Савёл Прокофьевич Дикой из «Грозы», типичный скряга русского покроя: «Заикнись мне о деньгах, у меня всю внутренность разжигать станет». Приходит к Савёлу Прокофьевичу мужик и просит отдать честно заработанные деньги: «...я отдам, отдам, а обругаю». Вот такая пакостная натура.

Наверное, у всех народов были свои легендарные скряги. Диккенсовский дядюшка Скрудж, Гарпагон из мольеровского «Скупого», бальзаковский ростовщик Гобсек, американка Хетти Грин и бог знает кто еще. Да и скряжничество, вообще-то, и сегодня явление обычное. Говорят, чуть ли не все голливудские знаменитости, хоть и заставляют себя быть щедрыми (иначе средства массовой информации засмеют), — на самом деле ужасные скряги. Такой вот разумный гибрид экономности и скупердяйства стал образом жизни. Но легендарный Гобсек («глотающий всухомятку», в переводе с французского) был филантропом и хотя и присваивал чужие состояния, но для того только, чтобы не давать разным бездельникам их разбазаривать.

Россия и русская литература дала множество типов людей, желавших разбогатеть. Вот перед нами незабвенный Павел Иванович Чичиков, с детства испытавший жестокую нужду.

После провала блестящей таможенной аферы обращается он к своим не рожденным еще детям: «И почему я должен пропасть червем?.. Вот скажут, отец — скотина: не оставил нам никакого состояния». Да ведь когда умирал собственный его отец, этот смысленный мальчик свою родительницу о том же спрашивал: «Маменька, остаемся ли мы с состоянием?» А все состояние, доставшееся от отца, составляли «четыре заношенных безвозвратно фуфайки, два старых сертука, подби-

тых мерлушками, и незначительная сумма денег». Трижды пытается этот подлец, если попробовать точно его обозначить, разбогатеть тремя разными способами. Сначала традиционно, по-русски, казнокрадством («Кто же теперь зевает на должности? — все приобретают», это по Гоголю), а потом уж теми гоголевскими хитроумными способами, от которых просто дух захватывает от восхищения писательским талантом. И трижды терпит крах. Вот кому поставить надо бы памятник в современной Москве, так этому «не красавцу, но и недурной наружности, не толстому, но и не слишком тонкому» коллежскому советнику и кавалеру Павлу Ивановичу Чичикову. Но в нем (Чичикове) «не было привязанности собственно к деньгам для денег; им не владели скряжничество и скупость. Ему мерещилась... жизнь во всех довольствах, со всеми достатками; экипажи, дом, отлично устроенный, вкусные обеды — вот это беспрерывно носилось в голове его». И с такой точки зрения Чичиков выглядит как современный европеец и уж точно сильно отличается от классических хоть русских или хоть европейских скупердяев. А уж какую схему взяткодательства или взяткополучения, как кому больше нравится, придумал Гоголь для этого виртуоза мошенничества — просто пальчики оближешь. Да и вся схема лихо чиновничьей жизни Павла Ивановича была в точности такая же, как и сегодня: «зацепил, поволок; сорвалось — не спрашивай». Впрочем, вернее сказать, сегодняшняя схема в точности равна тогдашней, чичиковской. Чичиков у Гоголя (точнее, по Достоевскому, но как писал Розанов, вся «муть Гоголя» как будто проясняется под пером Достоевского) — подлец чистокровный или просто подлец, тогда как случаются еще подлещи наивные и подлещи стыдящиеся. Подлость — свойство его природы. Чичиков — подлец настоящий, чистокровный, как того хотел, вероятно, и Гоголь.

А вот для Аркадия Долгорукого из «Подростка» Достоевского накопительство приобретает метафизические, иррациональные черты — страсть, игра. Точно так же, как для несчастного немца Германна из «Пиковой дамы», которого страсть разбогатеть довела до безумия. Игрок не «чахнет над золотом», ему не нужно накопление в день по ломаному грошу, и он не боится проигрыша, ибо проигрыш — всего лишь противоположность выигрышу. Таков же и вполне современный Мавроди, чем и определяется его привлекательность для тех простаков, которых он многократно обманывал. Мавроди — это их мечта и надежда на будущее, скрытая тяга к возвышенному и необыденному, которая есть на самом деле в каждом человеческом существе, даже загнанном в угол тяжелыми жизненными обстоятельствами. Однако были и такие ничтожные личности, как Плюшкин и старуха процентщица Алена Ивановна из «Преступления и наказания», личности ничтожные и жалкие, одержимые алчностью и скупостью.

Незаконнорожденный дворянский отпрыск Аркадий Долгорукий («не князь, просто Долгорукий») — носитель метафизической идеи обогащения, идеи денег и богатства как высшего достижения, для Достоевского совершенно загадочного и непостижимого, но писательски очень привлекательного. Деньги сравнивают все неравенства. «Деньги, конечно, есть деспотическое могущество, но в то же время и высочайшее равенство», и в этом главная их сила. Деньги — это «единственный путь, который приводит на *первое место* даже ничтожество». «Будь я богат, как Ротшильд — кто будет справляться с лицом моим (*Аркадию кажется, что его лицо слишком ординарно*) и не тысячи ли женщин, только свистни, налетят ко мне со своими красотами». Таковы мысли подростка, изложенные пятидесятичетырехлетним Достоевским, знавшим, что такое бедность. Аркадий хочет «накопить Ротшильдовы цифры», а потом все отдать, да не половину, а все до копейки, и, став нищим, быть вдвое богаче Ротшильда (имелся в виду тогдашний Джеймс Рот-

шильд, парижский). Вот оно — ewig russisches. Копить он будет не как немецкий «фатер» (бережливый отец семейства), то есть всю жизнь, скрупулезно и экономно, а так, чтобы «сразу взять все».

Итак, процесс накопления начинается, как у Ротшильда. Дело это очень простое, нужны только *«упорство и непрерывность»*, но деньги сами по себе ценности не представляют. (Трудно поверить в то, что для Ф. М. это был только писательский прием для описания сумбура, царившего в подростковой головке.) Будь он Ротшильдом, мечтает Аркадий, ходил бы в стареньком пальто и с зонтиком, но сознание того, что он Ротшильд, веселило бы его. Для Аркадия одинаково неприемлемы и нищия с волжского парохода, ходивший в отрепье, у которого «по смерти его нашли зашитыми в его рубашке до трех тысяч кредитными билетами», и Ротшильд, враз отхватывающий миллион при какой-нибудь выгодной негодии.

Почему богатые или разбогатевшие русские так легко отделялись и отделяются стеной от своего бедного народа? Ведь именно это и было всегда источником слабости страны.

Вот пред нами два современных персонажа, отстоящие от Чичикова и Аркадия Долгорукого на полтора года. Один из них — Чичваркин Евгений (школьная кличка Чича), а другой — Полонский Сергей, оба разбогатевшие вдруг баснословно и, в общем, как будто не «на шарамыжку», а благодаря трудам праведным. Состоятельные и *«какбэ»* (по язвительному и очень меткому обороту Ирины Ясиной) образованные selfmademens.

У Жени Чичваркина начиналось все так же, как и у Павлуши Чичикова или подростка Аркадия. Павлуша Чичиков, «накупивши на рынке съестного, сидел в классе возле тех, которые были побогаче, и как только замечал, что товарища начинало тошнить, — признак наступающего голода, — он высовывал ему из-под скамьи будто невзначай угол пряника или булки и, раззадоривши его, брал деньги, соображаясь с аппетитом». Точно так же подросток Аркадий, купив на аукционе «дрянной старый альбом» за два рубля пять копеек, тут же продает его за десять рублей человеку, просто опоздавшему на аукцион, но которому, причем единственно ему, этот альбомчик чем-то был дорог. Этот заинтересованный покупатель просил уступить за четыре рубля, но Аркадий тверд, как камень: «Рынок; где спрос, там и рынок». Один шаг, и семь рублей девяносто пять копеек нажил — Аркадий «поцеловал десятирублевую». Это не было выражением любви к деньгам, а было, скорее, выражением восторга самим собой, своим успехом и своей удачей. Женя же Чичваркин покупал сигареты «Космос» за квартал от школы за семьдесят копеек, а продавал одноклассникам по рублю; точно так же бывало и с лаком для ногтей для девочек, и с грампластинками. «Появление денег из ничего его вдохновило», — пишет автор бестселлера о жизни и деятельности нашего героя. Цель также была «накопить Ротшильдовы цифры». Основа накопления была, как и у Аркадия Долгорукого, — *«упорство и непрерывность»*.

Дело было в начале 90-х годов, и на страну, уставшую от того, что Женя презрительно и даже со злостью именовал «совком», надвигалось какое-то подобие капитализма или, по крайней мере, то, что предвещало капитализм. В Россию потекла «обильная, как дерьмо, продукция капитализма», по выражению одного английского журналиста. К двадцати двум годам Женя стал миллионером, основателем компании «Евросеть», торговавшей по всей стране радиотелефонами и черт знает чем еще. Население быстро приобщалось к западному образу жизни. Радиотелефоны производились в другом, настоящем капиталистическом мире, контуры которого стали ясно видимы после падения стены, разделяющей оба мира. Но в телефонах нуждались, все и они должны были продаваться во всех странах и в огром-

ных количествах. Простенький и всем понятный в России слоган, придуманный Женей, «Евросеть — цены просто о..еть», гарантировал бойкую торговлю. Быстро формировался слой энергичных деловых мешан, отнюдь не рыцарей, а как раз тех, у которых, по Пушкину, «кровь брыжжет червонцами». В конце концов радиотелефонами обзавелось чуть не все население огромной страны, ущемляя другие, даже гораздо более насущные свои потребности. Это и был так называемый капитализм в стране, в которой он еще совсем недавно считался чуть ли не преступлением.

Путей развития у России, как известно, было два: первый из них, так называемый капитализм, был, в согласии с остальным миром, историческим продуктом естественного отбора; второй же путь, избранный страной, так называемый социалистический путь развития, европеец и нобелевский лауреат Фридрих Хайек называл (наряду с фрейдизмом) извращением XX века, а Иосиф Бродский — «преступлением против человеческой природы». Оба пути, по выражению Вернера Зомбарта, деконкретизировали мир, то есть подрывали конкретные человеческие отношения. Капитализм заменил человеческие отношения сделками между людьми, а марксизм заменил их «лишенными запаха и вкуса» классовыми отношениями. И то и другое привело к изменению и обеднению человеческой психики, «понижению психического уровня», по выражению Василия Розанова. Социализм загонял психику внутрь, подчиняя ее бесплодным мечтам о светлом будущем, и упрощал ее «до ясности коротких желаний» (Розанов). В том же, вообще говоря, направлении, но гораздо быстрее действовал и капитализм, растворяя психику, подобно концентрированной серной кислоте, в деловых отношениях, но оставляя, впрочем, нетронутыми отдельные территории, в том числе честность, верность слову и, главное, непосредственность и естественность бытия.

Русский капитализм был в начале XX прошлого столетия задушен в младенческой колыбели, а его второе зачатие было отложено чуть ли не на столетие вперед. В 1917 году Россия спряталась от капитализма и всех его ужасов за социалистическим забором, превратившимся вскоре в «железный занавес». Когда были стерты «границы между трудом физическим и трудом умственным» и стала ощущаться нехватка того и другого, когда были стерты «границы между городом и деревней», в результате чего была уничтожена деревня как основа русского национального самосознания, возникло ощущение пустоты и страха перед будущим. Воспринятый через почти столетие капитализм также испугал всю страну, а те, кто не испугался, стали миллионерами и миллиардерами.

Демократизация российского общества в 90-е годы выбросила на поверхность жизни огромное количество бандитов и большое разнообразие каких-то вывороченных наизнанку личностей различных оттенков, но также и молодых, деятельных людей, которые хотели одного — свободы. Среди них был и Женя Чичваркин, который позже, уже став вполне состоятельным, на деньги своей компании издал книгу знаменитой американки российского происхождения Айн Рэнд «Атлант расправил плечи». Абсолютизм Рэнд очень точно соответствовал настроениям представителей антисовковой молодежи вроде Жени. Для этой молодежи она стала, подобно Колумбу, открывшему Америку, открывателем Соединенных Штатов Америки. По Рэнд, неизвестная другим народам и странам американская формула «take money» привела к тому, что «вырождающиеся культуры прочих континентов ненавидят Америку». Рэнд считала, что исходной точкой капитализма была индивидуальная свобода. Ее возмущало, например, что в статье «Капитализм» в *Encyclopedia Britannica* нет рассуждений о свободе, но очень много рассуждений об «общем благе». Чего не могла понять Рэнд, возможно, в силу своего пролеткультовского советского образования 20-х годов, так это того, что давно было начерта-

но в классической экономике (Адам Смит): сначала — «низшая добродетель частного интереса», потом — «невидимая рука, направляющая к общественному благу стремление индивидов к максимуму собственной прибыли». Этой «невидимой рукой» была общественная мораль, неписанные нравственные законы. Она не понимала, что исходной точкой капитализма была не свобода, а лишь желание что-то делать и коллективная работа. Разум индивидуален, не бывает коллективного разума, — писала Рэнд. Это вело к абсолютизации рынка как среды, в которой действуют такие разумные индивидуумы. Именно так, то есть как призыв не к работе самой по себе, а к «деланию денег», и воспринял Женя Чичваркин рэндовскую свободу. А в его собственной, огромной и совершенно сбитой с толку стране одни тосковали по социалистическому прошлому, другие мечтали о каком-то мифическом шведском социализме, а все вместе постепенно превратились в мешочников наподобие тех, которые колесили по стране в первые годы советской власти.

Вот это и была обстановка, в которой жил и действовал Женя Чичваркин. Но и Павлуша Чичиков, окажись он в нашем времени, действовал бы подобным образом. Их обоих объединяет жажда деятельности, неважно какой и какими средствами. Родители Павлуши, правда, «были дворяне... столбовые или личные — бог ведает, обедневшие до последнего предела и имевшие в собственности единственную крепостную семью. То есть, по Гоголю, как и у помещика Андрея Ивановича Тентетникова, «чинишка на нем был дрянь». Сам же он был, по выражению родственницы, видевшей Павлушу в ювенильном возрасте, «ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца». Этим Гоголь намеренно хотел оторвать своего героя от его убогих корней. Иначе как бы можно было объяснить всю жизнь этого гениального мошенника и авантюриста. Чичиков должен был быть сам по себе, самородок и символ своего времени. В этом была вся суть. Но точно так же и Женя Чичваркин, имевший заурядное советское происхождение, случайное порождение каких-то исторических зигзагов в жизни своей страны, открывавших путь к богатству, без преувеличения, самородок и символ нашего времени.

Когда продавцов радиотелефонов стало больше, чем их покупателей, Женин бизнес стал клониться к закату. Компания была продана, а сам Евгений оказался в Лондоне, но при деньгах. Стало быть, жить было можно, да не просто жить, а припеваючи. Проблема состояла в том, что делать-то, в сущности, было нечего, а жить без этого было скучно. Все деловые изобретения Жени вроде концепции «тухлой дыни» или замены ребрендинга на ребрейнинг здесь, в Лондоне, никому были не нужны, как и вся его предпринимательская энергия. Однако его деятельная натура берет свое, и запускают они с давним другом в «Лондоне щепетильном» («Все, чем для прихоти обильной / Торгует Лондон щепетильный...»; увы, — как было, так и есть) винный бизнес с претенциозным и вполне «совковым» названием «Hedonism drinks Ltd». Употребление термина «гедонизм» здесь появляется отчасти как результат «какбэ» образованности, но главным образом благодаря приобретению некоего особого знания того образа жизни, который был типичен для московской постперестроечной знати. Надо сказать, что и молодой Чичиков был настроен гедонистически и вся его подлая деятельность была направлена совсем не на «общее благо», а лишь на то, «чтобы наконец потом, со временем, вкусить непременно все это (наслаждение жизнью), вот для чего береглась копейка, скупно отказываемая до времени и себе и другому». Но и для Жени на самом верхнем этаже его помыслов располагались представления о той вакханалии удовольствий, которую он хорошо знал и которая была типичной для богатых московских, с позволения сказать, *stime de la societie* конца 90-х годов. Так что Чичиков со всеми своими провинциальными запросами по части удовольствий Жене Чичваркину и в подметки не годился.

Каков же итог? Самый плачевный. Вот бегал и трудился деятельный, энергичный человек, каких на Руси, где «в каждом сидит значительная доля Обломова» (Добролюбов), не так уж и много, который мог бы более разумно и, главное, с наибольшей пользой для самого себя построить свое собственное будущее, в котором не было бы гедонистического алкоголя для английских ценителей удовольствий или каких-либо других глупостей. Человек, который создал в своей стране несметное количество рабочих мест в то время, когда государство уничтожало эти рабочие места. А вся штука в том, что вся эта бурная деятельность изначально направлена была исключительно на личное обогащение, а об «общем благе» никаких представлений не было да и быть не могло. Да и откуда было им взяться, этим представлениям, не из той ли московской школы, где каждый день твердили о морали и духовности, но как-то вяло и неубедительно. Наш герой Женя — добытчик денег по своей индивидуальной человеческой природе, и высокие помыслы об «общем благе» ему были непонятны, что было совершенно естественным. Трудно представить себе вообще человека столь ангельски чистого и непогрешимого, который исходил бы уже в самом начале своей беготни и своей деятельности, еще не ведая всех ее результатов, принципиально из общественной пользы и к ней бы изначально стремился. При Гоголе такие люди в нашем отечестве были, теперь нет.

Но все же когда уже появились деньги, много денег, очень много денег, вот тогда мог бы прорезаться внутренний голос в соображении того, чтобы предпринять какое-либо общественно полезное деяние, ибо уважение общества, не говоря уже о любви, есть тоже капитал. Но молчал этот голос, то ли сел от натуги, то ли не было его вовсе.

Другой столь же характерный персонаж российской эпохи первоначального накопления — Сергей Полонский. Еще один «Атлант, расправивший плечи». Физиономия, в общем виде, самая простецкая. Но при всем том строитель и архитектор, миллиардер, десять лет деятельной жизни, два с половиной миллиона квадратных метров построенных объектов недвижимости. И после этого всего, после деятельной и как будто бы плодотворной жизни все обесценивается и летит к черту — безобразия, хамство, скандалы, мордобитие, камбоджийская тюрьма, психопатическое поведение и уверения в своей нормальности посредством демонстрации томографии своего мозга. Что же он вообще такое, этот мордобитый *девелопер* Полонский, как не насмешка над всем нашим огромным, стойким и очень талантливым и неглупым народом. Тут бы и пригодились ему крыловские советы молодому дворянину-щеголю «казаться разумным, не имея ни капли разума». «Вообрази, что ты счастливый трутень... и что деды твои только для того думали, чтобы доставить твоей голове право ничего не думать». Но крыловский молодой дворянин был хотя пустым и глупым, но, по крайности, не хамом. Однако связь времен была утрачена.

А ведь могли бы эти «атланты» хотя бы шаг сделать в сторону «общего блага», в сторону пусть хоть и полузабытой русской меценатской традиции. Ведь завещал же вологодский купец первой гильдии Христофор Леденцов все свое состояние, побольше нобелевского, на развитие российской науки. Уже внешность молодого Христофора Леденцова, учившегося в Кембридже и свободно говорящего по-английски, поражает своим благородством. И почти одновременно с Альфредом Нобелем написал он в 1897 году свое завещание. Это на деньги Леденцова построена была в Петербурге Физиологическая лаборатория нобелевского, по иронии судьбы, а не леденцовского лауреата Ивана Павлова.

Это на деньги Леденцова построена была в Московском университете аэродинамическая лаборатория Николая Жуковского. Это благодаря леденцовским

деньгам не умерла наша наука в страшное время между Россией и Советским Союзом.

Ведь построил же на свои деньги еще один купец первой гильдии Козьма Солдатенков бесплатную Боткинскую больницу в Петербурге. Их было много, этих благородных богатых людей. Это они ради процветания России снабжали деньгами большевиков, боровшихся с самодержавием, еще не ведая всех близких и далеких последствий этой борьбы. В «победившем социализме» сбылось замечательное высказывание Рэнд: «Когда деньги перестают быть инструментом отношений между людьми, таким инструментом становятся сами люди — в руках других людей».

И наконец, все-таки гётевское «Im Anfang war die Tat» (вначале было дело).

Игорь СУХИХ

ЧЕХОВ В XX ВЕКЕ¹

Пять этюдов

Мнимый Чехов?

Еще одна фальсификация Бориса Садовского

В академическое собрание сочинений Чехова входит короткое письмо под № 4438, адресованное поэту Борису Садовскому.

Вот оно:

Многоуважаемый Борис Александрович!
Возвращаю Вашу поэму. Мне лично кажется, что по форме она превосходна, по ведь стихи — не моя стихия: я в них понимаю мало.
Что касается содержания, то в нем не чувствуется убежденности. Например, Ваш Прокаженный говорит:
Стою изысканно одетый,
Не смея выглянуть в окно.
Непонятно, для чего прокаженному понадобился изысканный костюм и почему он не смеет выглянуть?
Вообще в поступках Вашего героя часто отсутствует логика, тогда как в искусстве, как и в жизни, ничего случайного не бывает.
Желаю Вам всего хорошего.

А. Чехов.
28 мая².

Несмотря на краткость, письмо достаточно известно: цитаты из него (особенно афоризм об искусстве, жизни и случайности) попали в «Летопись жизни и творчества Чехова», многочисленные исследования и даже пособия по литературному редактированию.

Игорь Николаевич Сухих родился в 1952 году, критик, литературовед, доктор филологических наук, профессор СПбГУ. Автор книг «Проблемы поэтики Чехова» (1987; 2-е изд. 2007), «Сергей Довлатов: время, место, судьба» (1996; 3-е изд. — 2010), «Книги XX века: Русский канон» (2001), «Двадцать книг XX века» (2004), «Чехов в жизни: сюжеты для небольшого романа» (2010), «Проза советского века: Три судьбы. Бабель. Булгаков. Зощенко» (2012), «Русский канон. Книги XX века» (2013), «Русская литература для всех» (Т. 1–3, 2013), а также школьных учебников по литературе для 9–11 классов. Лауреат премии журнала «Звезда» (1998) и Гоголевской премии (2005). Живет в Санкт-Петербурге.

¹ Продолжение чеховского цикла. См.: Сухих Игорь. Чехов в XXI веке. Три этюда // Нева. 2008. № 8.

² Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Письма. Т. 12. М., 1983. С. 108. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы. Серия писем обозначается: П.

Привлекают внимание не только содержание письма, но и биографические обстоятельства: за неделю до отъезда в Баденвейлер, всего за полтора месяца до смерти, чуткий Чехов заметил и поддержал молодого поэта — пусть даже сочетая похвалу («по форме она превосходна») с осторожной критикой («не чувствуется убежденности», «отсутствует логика»).

Комментарий к тексту в указанном собрании лапидарен и сводится к перепечатке примечания адресата: «В предисловии к своей публикации Садовской писал: «В 1904 году, весной, я жил в Москве, в Леонтьевском переулке. Узнав, что рядом со мной поселился Чехов, я послал ему рукопись моей поэмы „Прокаженный“, с просьбой дать о ней отзыв. Ответ был получен через несколько дней» (П., 12, 355).

«Местонахождение автографа неизвестно», — отмечают комментаторы, воспроизводя печатный текст по источнику, о котором я скажу чуть позже.

Попытки дополнить комментарий, восстановить контекст единственного контакта адресата и адресанта ведут к возрастающему недоумению и безответным вопросам.

Во-первых, ничего не известно об упоминаемой Садовским поэме «Прокаженный». Она не печаталась ни самим автором в прижизненных сборниках³, ни поздними публикаторами, работавшими с архивом поэта⁴. Более того, в первом сборнике стихотворений первой половиной 1904 года (то есть до контакта с Чеховым) датировано всего три текста общим объемом 11 четверостиший. Первая из пяти опубликованных в жанровом сборнике поэм, «Леший», тоже имеет датировку: «Май 1906. Нижний».

В юности Садовской написал, конечно, больше (С. В. Шумихин упоминает о двадцати пяти стихотворениях, опубликованных в самом начале века в газете «Волгарь»), но почему он, издавший до 1922 года семь книг, так и не удосужился познакомить читателей с поэмой, читанной и, в общем, высоко оцененной самим Чеховым, остается загадкой. При том, что уже в предисловии к первому сборнику, «причисляя себя к поэтам пушкинской школы», он декларировал необходимость последовательного представления и отражения творческого пути: «Стихи, как отдельные точки поэтического сознания, должны восприниматься в той последовательности, какую создало для них время. Оттого строго хронологический порядок всегда представлялся мне единственно удобным и нужным для собрания лирических произведений»⁵. В этой строго хронологической последовательности на месте «Прокаженного» зияет пробел.

Во-вторых, сам факт обращения почти два года жившего в Москве («3 сентября 1902 г. утром я прибыл в Москву»⁶) Садовского именно к Чехову выглядит странным. Его круг, его референтная группа — не реалисты, а модернисты (В. Брюсов, А. Блок, К. Бальмонт). О Чехове в позднейших записках он отзывается то иронически, то просто враждебно.

«Чехов никогда не говорил о Пушкине. Это понятно.

Пушкина необходимо преодолеть. Теперь это очень легко» (20 февраля 1931)⁷.

³ См. Позднее утро. Стихотворения Бориса Садовского. 1904–1908. М., 1909; Садовской Б. Косые лучи. Пять поэм. М., 1914.

⁴ См.: Садовской Б. Стихотворения. Рассказы в стихах. Пьесы / Сост., подг. текста, вст. статья и прим. С. В. Шумихина. СПб., 2001 (Новая библиотека поэта. Малая серия); Садовской Борис. Морозные узоры: Стихотворения и письма / Сост., послесл. и коммент. Т. В. Анчуговой. М., 2010.

⁵ Позднее утро. С. 3.

⁶ Садовской Б. Записки (1881–1916) // Российский архив. Т. I. М., 1991. С. 147.

⁷ Садовской Б. Заметки. Дневник (1931–1934) // Знамя. 1992. № 7. С. 178.

«Вообще атеизм у детей пустых, формальных церковников явление любопытное. Взять хотя бы Чехова. И его братьев. Конечно, благочестие Павла Егоровича и сам он, грубый и пошлый торгаш, гудевший по ночам акафисты, как попугай, — все это отталкивало Чехова — воображаю, как он люто ненавидел отца, как презирал его! Но неужели сам Чехов не мог различить шелухи от ядра? Давно я убеждаюсь, что Чехов умел казаться умнее и глубже, чем он был на самом деле, что, в сущности, он такой же пошляк, как его брат Александр, автор несусветных по пошлости «Записок репортера» (25 февраля 1931)⁸.

«Гроб Чехова недавно открывали: костюм вполне сохранился, но лицо принуждены были закрыть.

В 1904 г. после погребения Чехов являлся во сне одной монахине, прося, чтоб над его могилой не говорили речей» (1933)⁹.

«Бунин крепче, ароматнее Чехова. Бунин венгерское, Чехов — бургонское. Все-таки один дворянин, а другой интеллигент»¹⁰.

В-третьих, ни автору письма, ни его адресату в это время, кажется, было не до писем и не до стихов.

В мемуарах весенним месяцам Садовской посвятил два абзаца. «Весну 1904 г. переживал я с жадностью. Любовь, экзамены, весна, слухи о войне, “Весы”, расцвет здоровья и юности. Я полюбил гулять по ночам; после занятий тушил лампу, брал ключ и до утра скитался по городу.

25 апреля в чудный весенний вечер я был на открытии “Аквариума”, летнего сада Омона. Гремела музыка, визжали шансонетки, какой-то подгулявший офицер порезал себе нечаянно руку шашкой. На рассвете я возвратился домой в мягких лучах зари, при радостном колокольном звоне. Дома долго стоял на коленях перед раскрытым окном, держа медальон с портретом Беатриче, обещаясь вечно любить ее»¹¹.

Беатриче — не названная по имени московская барышня, которую Садовской «катал <...> на лихачах, возил по театрам и ресторанам, подносил цветы». Однако здесь же мимоходом упоминается о посещении «веселых домов», которое привело к трагедии.

«В мае 1904 года он <Садовской> заразился сифилисом, — пишет биограф поэта. — Болезнь в то время в принципе уже излечивалась, и Садовской лечился старательно и даже чрезмерно. В стремлении перестраховаться он принимал ртутные средства в таких количествах, что от передозировки наступило общее отравление организма»¹².

Поэт делил время между любовью к Беатриче и веселыми домами, а прозаик в это время уже с трудом мог написать даже несколько слов. В день, которым датировано письмо Садовскому, 28 мая 1904 года, О. Л. Книппер-Чехова пишет на Дальний Восток дяде А. И. Зальца.

К тексту ее письма Чехов делает краткую приписку: «Обнимаю и целую Вас, милый мой дядя Саша! Я по Вас очень соскучился, хочу видеть! Ваш Антон». После нее Книппер дописывает: «Вот я отошла, а он и приписал. Ты рад?» (П., 12. 108).

Таким образом, написать даже одну строку любимому родственнику в этот день Чехова было нелегко. (Любопытно, что это письмо Садовской знать не мог: оно опубликовано лишь в 1972 году.)

⁸ Там же. С. 178.

⁹ Там же. С. 190.

¹⁰ Там же. С. 190.

¹¹ Садовской Б. Записки. С. 152.

¹² Шумихин С. В. Узоры Бориса Садовского // Садовской Б. Стихотворения. Рассказы в стихах. Пьесы. С. 9–10.

Столь же скверно Чехов чувствовал себя и весь май, со дня приезда в Москву.

«Милый Виктор Александрович, вчера я приехал в Москву, но не выхожу и, вероятно, не скоро еще выйду; у меня расстройство кишечника — с самой Святой недели» (В. В. Гольцеву, 4 мая 1904; П., 12, 97).

«Дорогой Виктор Сергеевич, я болен, с постели не встаю и днем. У меня обстоятельный катарихе кишок и плеврит» (В. С. Миролубову, 16 мая 1904; П. 12, 100).

«Дорогой Исаак Наумович, я как приехал в Москву, так с той поры все лежу в постели, и днем и ночью, ни разу еще не одевался» (И. Н. Альтшуллеру, 26 мая 1904; П. 12, 105).

Представить себе, что деликатный и внимательный к молодым дарованиям писатель в таком состоянии мог прочесть опус неизвестного поэта и быстро ему ответить, довольно затруднительно.

Наконец, в-четвертых, даже в тех напрашивающихся случаях, когда Садовской позднее мог упомянуть о хранящемся у него письме Чехова (пусть даже временно затерянном), он хранит упорное молчание.

«Я и мой одноклассник Мясников получили от Ведерниковых приглашение к ним в Самарскую губернию на Сергиевские минеральные воды. 19 июня мы выехали на кавказ-меркурьевском пароходе „Императрица Екатерина II“. Позже из газет я узнал, что с нами на том же пароходе ехал Чехов»¹³.

«Начало моих литературных дебютов почти совпадает с поступлением на историко-филологический факультет в 1902 году.

Я застал еще старую историческую Москву, близкую к эпохе „Анны Карениной“, полную преданий сороковых годов. <...> Еще живы были престарелый Забелин, хромой Бартенев, суровый Толстой. В Сандуновских банях любил париться Боборыкин. В „Большой Московской“ легко было встретить Чехова, одиноко сидящего за стаканом чаю»¹⁴ (почему бы не добавить здесь или ранее: «Кстати, у меня есть его письмо, которое...» — И. С.).

Особенно характерный случай — позднее письмо К. И. Чуковскому (декабрь 1940). В нем Садовской отвечает на предложение Чуковского написать воспоминания. «Воспоминания я написал бы в полубеллетристической форме очерков: 1) бабушкин альбом (неизд. 4 стиха Лермонтова и его рисунок в альбоме моей бабушки), 2) Последние дни Фета (бабушка в 1892 г. возила меня в <...>ское, недели две мы жили у гр. С. А. Толстой, и в это время умер Фет), 3) Горький. Знакомство в 1899–01 гг. <...> два письма, 4) Чехов (встреча у Тестова, зимой 1903), 5) Весы 6) Золотое руно 7) Петербург (1912–1916)»¹⁵.

Встреча у Тестова — это, вероятно, тот же самый эпизод «Чехова, одиноко сидящего за стаканом чаю». Но опять-таки, почему не упомянуто полученное от Чехова письмо, хотя рядом, в соседнем пункте, сказано про письма Горького? Может быть, потому, что в 1940 году этого письма еще не существовало?

Таким образом, кроме заверения самого Бориса Садовского, нет ни одного убедительного свидетельства о существовании адресованного ему чеховского письма, но есть довольно много косвенных аргументов, его свидетельству противоречащих.

Этот вывод заставляет повнимательнее присмотреться к личности свидетеля.

Борис Александрович Садовской (1881–1952) — писатель драматической судьбы, объем и направление творчества которого стали выясняться лишь в последние десятилетия.

¹³ Садовской Б. Записки. С. 146.

¹⁴ Там же. С. 181.

¹⁵ Садовской Б. Заметки. Дневник. С. 194.

Интересно и разнообразно проявивший себя в предреволюционное десятилетие (стихи, рассказы и повести, работа в журналах, публикации о биографии Фета, которой Садовской занимался много и увлеченно: «Любовь моя к Фету стала болезненной страстью»¹⁶), после революции он потерял как возможность двигаться (в результате упомянутой ранее болезни), так и возможность печататься. За тридцать пять послереволюционных лет ему удалось издать только две маленькие книжки¹⁷. С конца 1920-х годов Садовской жил в полуподвале Новодевичьего монастыря, год за годом из своего инвалидного кресла наблюдая, как по соседству появляются могилы его бывших знакомых. Его многочисленные поздние литературные труды, включая роман о Лермонтове, рассказы и повести, воспоминания начали публиковаться только с 1990-х годов.

И тут выяснилась поразительная вещь: *Борис Садовской, пожалуй, — самый успешный мистификатор/фальсификатор в русской словесности XX века*. Он десятилетиями вводил в заблуждение искушенных знатоков литературы, авторитетные редакции, в конечном счете — многочисленных потенциальных читателей. Перечень его достижений по этой части, установленный благодаря разысканиям М. Л. Гаспарова, М. Д. Эльзона, С. В. Шумихина, на нынешний день таков¹⁸.

Садовской выдал за произведение Блока и опубликовал в 1926 году известную ранее в фольклорных записях «Солдатскую сказку», вошедшую в приложение к двенадцатому тому Собрания сочинений поэта (1936). В архиве сохранилась рукопись с его собственной правкой.

Две «автопародии» А. Блока были опубликованы в «Литературном наследстве» (1937. Т. 27–28), а затем вошли в третий том восьмитомного собрания сочинений Блока (1960)¹⁹. Выяснено, что до революции они публиковались в периодике под именем Садовского.

Одно из этих стихотворений, «За сучок сухой березы месяц зацепился...», в публикации воспоминаний Садовского о С. Есенине было выдано за есенинское и также благополучно попало в его собрание сочинений (1962).

Еще одно «блоковское» стихотворение «Лишь заискрится бархат небесный...» в 1928 году печаталось в журнале, а затем перепечатывалось в «Литературном наследстве» (Т. 27–28) и входило в три блоковских собрания, включая упомянутый восьмитомник, правда, с осторожной пометкой: «Текст этого стихотворения не может считаться абсолютно достоверным»²⁰.

В 1962 году были опубликованы «Мемуары» старого нижегородца, некоего М. И. Попова, его воспоминания о Н. А. Некрасове и С. М. Степняке-Кравчинском, включающие неизданные стихотворения обоих авторов. Опять-таки в архиве Садовского обнаружилась рукопись с пометкой «Моя мистификация».

Всякий раз логика обнародования текста была сходной. Садовской использовал «символический капитал» знакомства с классиками: рассказывал о встрече с автором, обстоятельствах сочинения текста и его утрате («Альбом с записью Блока украден вместе с чемоданом»), предъявляя затем текст под «честное публикаторское слово». Редакторы и исследователи верили очевидцу с трудной судьбой и славной, хотя и подозрительной биографией — и публиковали.

¹⁶ Садовской Б. Записки. С. 158.

¹⁷ См: Морозные узоры: Рассказы в стихах и прозе. Пг., 1922, 78 с.; Приключения Карла Вебера: Роман. М., 1928, 143 с.

¹⁸ См.: Шумихин С. В. Мнимый Блок? // Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 4. М., 1987. С. 736–751.

¹⁹ См.: Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 3. М., 1960. С. 416–417.

²⁰ Там же. С. 319–320, 443.

Подводя предварительные итоги мистификаторской деятельности Садовского, С. В. Шумихин размышлял о предъявленных Садовским письмам В. В. Розанова и А. М. Ремизова: «Возникает вопрос, не являются ли эти два письма очередными мистификациями? Однозначный ответ дать трудно. Отсутствие автографов и точной датировки наводит на некоторые подозрения. <...> Пока не обнаружено других примеров, когда Садовский подделывал письма, адресованные к нему, — до сих пор мистифицировалось художественное творчество, записки, мемуары вымышленных или реальных лиц.

Вероятно, письма Брюсова и Розанова все же подлинные. Однако повторим еще раз, что однозначный ответ дать трудно. Слишком уж „темновато“ происхождение многих текстов, идущих от Садовского»²¹.

Кажется, можно утверждать, что Садовской заполнил и эту, эпистолярную, лакуну своих мистификаций.

Обратим теперь внимание на то, что письмо Чехова явилось как яичко к Христову дню. В 1944 году, в разгар великой войны, советское государство не забыло о Чехове. 29 апреля Совнарком принимает решение об издании Полного собрания сочинений писателя, которое будет служить чеховедам и читателям более тридцати лет, до тех пор, пока не появится академический тридцатитомник. Книгу о Чехове в том же году выпускает всегда державший нос по идеологическому ветру В. Ермаков. В сдвоенном номере 4/5 журнала «Новый мир» под шапкой «К сорокалетию со дня смерти великого русского писателя Антона Павловича Чехова» публикуется его статья-препринт книги «А. П. Чехов. Творческий портрет» (С. 195–217), а сразу после нее, в подбор, на оставшейся половине страницы — уже известный нам текст под заголовком «Неопубликованное письмо А. П. Чехова» и с цитированной выше преамбулой Садовского (С. 217). Скорее всего, письмо и было сфабриковано в первые месяцы 1944-го, незадолго перед отсылкой в журнал.

Любопытно, что Садовской попытался развить успех, вернувшись к знакомым персонажам и сюжетам. В августе 1944 года он отправил в редакцию «Нового мира» машинописный текст поэмы «Белая ночь» с объяснением, что она была написана А. Блоком для альманаха «Галатеея», но альманах не вышел, и поэма осталась в архиве Садовского.

Однако привычная модель вброса (неизвестно откуда взявшийся текст плюс правдоподобное объяснение его появления в архиве Садовского) на этот раз не сработала. Сотрудник редакции Н. И. Замоскин запросил рукопись, но вместо нее получил успокоительные заверения: «Поэма Блока, переписанная по его просьбе для меня поэтом Пястом, долго считалась утерянной и только этой весной я случайно нашел ее в одной из книг моей библиотеки. Я не нашел нужным оставить ее у себя и уничтожил как обыкновенную рукопись. За подлинность поэмы я Вам ручаюсь».

Однако на этот раз, без суматохи вокруг знаменательной даты, ручательства возможного публикатора оказалась недостаточно. Поэма не появилась ни в журнале, ни в сборнике «Звенья», куда Садовской тоже пытался ее устроить, а осталась в архиве с карандашной правкой подлинного автора и пометкой «Публикуется впервые»²².

Присмотревшись в свете изложенных фактов к тексту письма, можно заметить, на какие источники оно опирается.

«Стихи — не моя стихия» — воспринимается едва ли не как цитата из каламбурной эпиграммы Д. Минаева «В Финляндии» (1876): «Область рифм — моя сти-

²¹ Шумихин С. В. Мнимый Блок? С. 749–750.

²² Там же. С. 747–748.

хия, / И легко пишу стихи я...» Но мог ли Чехов в состоянии, которое описывалось выше, каламбурить? Причем в его текстах это слово встречается редко и, как правило, имеет отрицательные коннотации. «Я совсем не деревенский житель. Мое поле — большой, шумный город, моя стихия — борьба!» — жалуется претенциозный бездельник в рассказе «У знакомых» (1898) за минуту до того, как попросить у приятеля-адвоката деньги (10, 19). А сам Чехов предупредит знакомого драматурга: «...название “Стихия” не достаточно просто, в нем чувствуется претенциозность» (П., 11, 63).

Выражение же «по форме» в эстетическом смысле Чехов употребил только дважды, причем в 1883 году. «...она <рукопись> не серьезна по форме, хотя и занялась серьезной задачей» (М. М. Дюковскому, 5 февраля 1883; П., 1, 51). — «Мои рассказы не подлы и, говорят, лучше других по форме и содержанию...» (Ал. П. Чехову, 13 мая 1883; П., 1, 68). В позднейшем огромном эпистолярии оно не встречается *ни разу*, хотя его часто использовали привыкшие к эстетическим шаблонам чеховские адресаты.

Можно с большой вероятностью предположить, что моделью для Садовского стал эпистолярный отзыв на стихи А. В. Жиркевича (10 марта 1895 года): «Стихи не моя область, их я никогда не писал, мой мозг отказывается удерживать их в памяти, и их, точно так же, как музыку, я только чувствую, но сказать определенно, почему я испытываю наслаждение или скуку, я не могу. В прежнее время я пытался переписываться с поэтами и высказывать свое мнение, но ничего у меня не выходило, и я скоро надоедал, как человек, который, быть может, и хорошо чувствует, но неинтересно и неопределенно излагает свои мысли. Теперь я обыкновенно ограничиваюсь только тем, что пишу: «нравится» или «не нравится». Ваша поэма мне понравилась» (П., 6, 35).

Суждения, близкие к кульминационной фразе письма «В искусстве, как и в жизни, ничего случайного не бывает», тоже обнаруживается в других чеховских текстах в близких, хотя и менее броских формулировках. «Теперь я знаю, что ничто не случайно и всё, что происходит в нашей жизни, необходимо», — говорит героиня только что цитированного рассказа «У знакомых» (10, 15). «В этой жизни, даже в самой пустынной глуши, ничто не случайно, всё полно одной общей мысли», — сказано в рассказе «По делам службы» (1899), написанном в следующем году. Отчетливо видно, по какой модели сделан афоризм: чеховская формулировка доведена до щегольства, и к «жизни» еще добавлено «искусство».

Таким образом, место письма маститого писателя А. П. Чехова начинающему литератору Б. А. Садовскому в лучшем случае — в разделе «Dubia» («Сомнительное»), но, скорее всего, — в главе учебника по текстологии, среди других, уже разоблаченных, литературных мистификаций и подделок. Во всяком случае, сегодня нужно доказывать не то, что это письмо не принадлежит Чехову, а, напротив, выдвинуть хоть какие-то аргументы в пользу того, что оно могло быть им написано. Ручательство Садовского — настаиваю — в данных обстоятельствах в расчет не принимается.

Р. С. И все-таки Борис Садовской добился своего: вписал свое имя — пусть и в такой странной форме — в круг современников Чехова, став — пока единственным — его псевдоадресатом!

Чехов и Толстой в свете двух архетипов

1. Личные и творческие связи Чехова и Толстого хорошо изучены. Стоит вспомнить хотя бы тремя изданиями вышедшую книгу В. Я. Лакшина, коллектив-

ный сборник-спутник академического собрания сочинений и сравнительно недавнюю антологию, подготовленную А. С. Мелковой²³. Поэтому задача наших «положений» — не в расширении круга исследуемых материалов (их сводка если не исчерпывающа, то велика), а в попытке взглянуть на них под иным углом зрения. Речь пойдет не о контактных или типологических связях между текстами, а об *отношениях между авторами*, в которых проявляются некие общие принципы, модели, архетипы²⁴.

2. Один из вечных культурных архетипов: *учитель — ученик*.

На русской почве, в русской традиции его можно конкретизировать благодаря одному биографическому эпизоду и одной надписи. В 1820 году В. А. Жуковский дарит юному Пушкину портрет с надписью: «Победителю ученику от побежденного учителя в тот высокаторжественный день, в который он окончил свою поэму “Руслан и Людмила”. Марта 26. Великая Пятница». Оставляя в стороне историческую интерпретацию сюжета²⁵, мы имеем право на уточняющую формулировку: *побежденный учитель — победитель-ученик*.

Эта модель хорошо объясняет отношения не только Жуковского и Пушкина, но и Державина — Пушкина, Пушкина — Гоголя, Гоголя — Достоевского (заочно) и Гоголя — Островского, Тургенева — Гаршина (отчасти).

3. Каковы структурные составляющие этого архетипа, его элементы, микромотивы?

а) Отношения учитель — ученик строятся в координатах не соперничества, но приязни, взаимного притяжения, согласного выбора.

б) Объединяет учителя и ученика не столько поэтика, сходство эстетических принципов, сколько понимание культурных ролей, связанное с идеей общего дела, наследования и преемственности («Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться»).

в) Взаимный выбор должен быть точен, связан с культурной перспективой: Жуковский избирает Пушкина — тот оправдывает надежды. Если бы Жуковский выбрал Дельвига, а Пушкина благословил старик Шишков, мы бы имели дело с иными архетипами.

г) Эти отношения строятся по принципу не простой, а двойной иерархии, асимметрии, ситуации-перевертыша. В связке *победитель-ученик* акцент делается на разных частях.

Победителем признает ученика учитель. Но младший ощущает себя как раз не победителем, а именно *учеником*. При взгляде с разных сторон позиции верха и низа, старшего и младшего, победителя и побежденного меняются.

4. Отношения Толстого и Чехова прекрасно укладываются в этот архетип, подтверждаются множеством биографических фактов.

Толстой постоянно восхищается как Чеховым-человеком, так и Чеховым-про-

²³ См.: Лакшин В. Я. Толстой и Чехов. В 2 т. Т. 1 М., 2009. (1-изд. — 1963, 2-е изд. — 1975).; Чехов и Лев Толстой. М., 1980; Л. Н. Толстой и А. П. Чехов. Рассказывают современники, архивы, музеи... / Сост. и автор комментариев А. С. Мелкова. М., 1998 (далее это издание цитируется в тексте с указанием страниц, датировки встреч и времени высказываний также приводятся по этой антологии).

²⁴ Это понятие используется не в специальном, фрейдистском или юнгианском, понимании, а в самом общем смысле, в ракурсе практической поэтики: архетип — мотив, ситуация или персонаж, регулярно повторяющиеся в истории литературы и культуры, выявляющие ее специфические, глубинные, свойства. Попытку культурно-биографического истолкования архетипа см.: Абрамов П. В. Гёте как архетип поэта : Дис. <...> канд. филол. наук. М., 2006.

²⁵ См., например: Проскурин О. А. Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М., 1999. С. 52–55.

заиком, выбрав его из всех окружавших его литераторов (включая Горького) и, в сущности, *назначив* его своим учеником.

Это особое отношение Толстого к Чехову замечали современники и, соглашаясь с ним, формулировали ту же самую идею преемственности.

«Прочтя Ваше письмо я подумал: слава Богу! Если Толстой умрет, останется человек того же духа — Вы. Великая традиция идеализма в русской литературе не будет прервана. И если для Вас Толстой, как пишете, служит поддержкой, то Вам же придется и сменить старика. И я рад, что это будет Вам по силам» (М. О. Меньшиков — Чехову, 27 февраля 1900; 168).

«Если Толстой в литературе подобен Христу, то Вы Петр, а Горький Иоанн... а я хотел бы у Вас быть хоть Фомою» (Б. А. Лазаревский — Чехову, 10 ноября 1901; 181).

Иоанн-Горький придал сопоставлению уж совсем родственный характер: «Чехова любит отечески, и в этой любви чувствуется гордость создателя» («Лев Толстой. Заметки» 31 марта 1902; 266).

Характерно, что и Чехов правильно понимал смысл этого архетипа, регулярно подчеркивая противоположное: не только собственную подчиненную, ученическую позицию по отношению к Толстому, но и мизерную роль в сравнении с ним всей современной литературы и даже жизни.

«Знаете, что меня особенно восхищает в нем, это его презрение к нам как писателям. Иногда он хвалит Мопассана, Куприна, Семенова, меня... Почему? Потому что он смотрит на нас как на детей. Наши рассказы, повести и романы для него детская игра, поэтому-то он в один мешок укладывает Мопассана с Семеновым. Другое дело Шекспир: это уже взрослый, его раздражающий, ибо он пишет не по-толстовски...» (И. А. Бунин. О Чехове, Ялта, 12 сентября 1901; 254).

«Вот умрет Толстой, все пойдет к черту! — повторял он не раз. — Литература? — И литература» (И. А. Бунин. О Чехове, Ялта, 31 марта 1902; 264).

До поры до времени не очень заметное нарушение конвенции тоже происходит с двух сторон.

У Толстого — в отношении к чеховской драматургии. Здесь он категорически отказывается считать себя и побежденным, и учителем.

У Чехова — при вторжении Толстого в область науки (медицины) или обсуждения с ним религиозных (и шире — мировоззренческих) вопросов. Младший в таких случаях мягко, но решительно выходит из роли почтительного ученика.

«Отец с ним разговаривал о литературе, о земельном вопросе, о современном положении России. Он высоко ценил некоторые рассказы Чехова, но его драматические произведения не одобрял и говорил: „Ваши пьесы, Антон Павлович, слабее даже шекспировских“. Как известно, отец не любил Шекспира и критически относился к нему. Антон Павлович кротко его выслушивал, и выказывал к его речам почтительный, но скептический интерес. Сам он говорил мало и не спорил. Отец чувствовал, что Антон Павлович, хотя относится к нему с большой симпатией, не разделяет его взглядов. Он вызывал его на спор, но это не удавалось; Антон Павлович не шел на вызов. Мне кажется, что моему отцу хотелось ближе сойтись с ним и подчинить его своему влиянию, но он чувствовал в нем молчаливый отпор, и какая-то грань мешала их дальнейшему сближению.

— Чехов — не религиозный человек, — говорил отец»²⁶.

Однако в целом этот архетип существовал до конца жизни одного из участников. Самую высокую оценку Чехова современники услышали от Толстого в знаме-

²⁶ Толстой С. Л. Очерки былого. Тула, 1975. С. 206.

нитом, позднее зацитированном до дыр интервью корреспонденту газеты «Русь». Чехов здесь назван художником жизни, создателем совершенно новых для всего мира форм письма, поставлен, со ссылкой на книгу некоего немца, выше всех современных писателей. В конце этого монолога Толстой произносит слова, почти синонимичные формуле *победитель-ученик*: «Я повторяю, что новые формы письма создал Чехов и, отбрасывая ложную скромность, утверждаю, что по технике он, Чехов, гораздо выше меня!.. Это единственный в своем роде писатель» (А. Зенгер. У Толстого. Ясная Поляна, после 9 июля 1904; 287).

5. После смерти Чехова ситуация резко меняется. Суждения о высокой технике, уникальности чеховского письма больше не повторяются. Добродушно-ворчливое отрицательное отношение к чеховской драматургии превращается в отзывы преимущественно раздраженные, тотально-пренебрежительные.

«И теперь уже получил два письма от революционеров. Один цитирует Чехова. “Надо учиться, учиться науке спасения”. Искусственная, насилию придуманная фраза, которой Чехов закончил какой-то рассказ. Они видят в Чехове (как видят в Горьком, Андрееве в том их великое влияние, придаваемое им значение) таинственные пророчества. Я в Чехове вижу художника, они — молодежь — учителя, пророка. А Чехов учит, как соблазнять женщин» (Д. П. Маковицкий. Дневник. 17 августа 1905 года. Ясная Поляна; 294).

Чехов здесь уже не выделен, а поставлен в ряд, правда, пока еще не с Семеновым, а с Горьким и Андреевым.

«Долгоруков о 50-летию со дня рождения Чехова, о Чехове.

Л. Н.: Самый пустяшный писатель.

Кто-то: Но его вещи художественные?

Л. Н.: Очень художественные, <но> содержания нет никакого, нет *raison d'être* <разумного основания>, и даже какая-то неясность, нытье постоянное. Даже то, что мне нравится, „Душечка“... он хотел посмеяться, а вышло...» (Д. П. Маковицкий. Дневник. 31 января 1910 года. Ясная Поляна; 307).

Из этого суждения вытекает, что автор «Душечки» не только выше всех, даже самого Толстого, по технике, но даже не может справиться с собственными замыслами.

И осенью этого последнего года, накануне ухода, Толстой столь же непримирим к бывшему победителю-ученику: «Лев Николаевич написал довольно резкое письмо гимназистке 6-го класса.

Говорил:

— Это одна из тех, которые ищут ответа на вопрос о смысле жизни у Андреева, Чехова. А у них — каша. И вот если у таких передовых людей — каша, то что же нам-то делать? Обычное рассуждение. Ужасно жаль» (В. Ф. Булгаков Л. Н. Толстой в последний год его жизни, Ясная Поляна, 30 сентября 1910 года; 310).

Итог — уже с некоторой дистанции — подводит жена: «...К сожалению, о Чехове мало могу сообщить. Помню, что одно время Л. Н. очень им восхищался, но потом как будто стал холоднее к нему относиться» (С. А. Толстая — В. Ф. Булгакову, Ясная Поляна, 13 августа 1915).

Таким образом, после смерти Чехова Толстой практически разрушил архетип учитель-ученик, не только отказавшись от роли побежденного, но даже отлучив Чехова от себя как ученика. Объяснение этому, кажется, находится при обращении к другому архетипу, на русской культурной почве, как и первый, связанному с Пушкиным, хотя имеющему корни в предшествующей культуре.

6. «Традиционное место церкви как хранителя истины заняла в русской культуре второй половины XVIII века литература. Именно ей была приписана роль создателя и хранителя истины, обличителя власти, роль общественной совести. При

этом, как и в средние века, такая функция связывалась с особым типом поведения писателя. Он мыслился как борец и праведник, призванный искупить авторитет готовностью к жертве. Правдивость своего слова он должен был быть готов гарантировать мученической биографией»²⁷.

Здесь, в сущности, описывается архетип *русского творца* — борца, учителя, мученика, — определяющий разные пушкинские тексты от «Пророка» до «Памятника» и реализованный в биографиях, жизненных текстах Гоголя, Достоевского и, конечно, Толстого.

Архетип имеет и другую сторону, четко сформулированную в «Поэте» (1827): «Пока не требует поэта / К священной жертве Аполлон, / В заботах суетного света Он малодушно погружен; / Молчит его святая лира; / Душа вкушает хладный сон, И меж детей ничтожных мира, / Быть может, всех ничтожней он».

Однако подобная ничтожность имеет особый характер. Разъяснение ее, прозаическая расшифровка — в пушкинском письме П. А. Вяземскому (вторая половина ноября 1825 года) по поводу смерти Байрона. «Мы знаем Байрона довольно. Видели его на троне славы, видели в мучениях великой души, видели в гробе посреди воскресающей Греции. — Охота тебе видеть его на судне. Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. *Он мал, как мы, он мерзок, как мы!* Врете, подлецы: он и мал и мерзок — не так, как вы — иначе»²⁸.

Вопрос таков: как сочетаются в тексте жизни просто человек и поэт, биографический автор и автор-создатель, автор как знак художественной системы?

Высокое призвание (поэзия) и *высокое ничтожество* (быт) — таков традиционный ответ, таков архетипический образ Творца, который может быть реализован в исторических вариантах Поэта, писателя, литератора²⁹.

«Альтернатива: плохая жизнь — хорошие стихи. А не: хорошая жизнь, а стихи еще лучше. Бог дает человеку не поэтический талант (это были бы так называемые литературные способности), а талант плохой жизни»³⁰.

7. Поздний Толстой решает вопрос парадоксально. Он вроде бы ликвидирует проблему, отрицая искусство, художество и, следовательно, только что описанный архетип. Однако в его жизни та же оппозиция приобретает еще более острый характер. Высокое (его собственное учение, толстовство) никак не может прийти в соответствие с ничтожным, низким (образ жизни его и его семьи). Это противоречие завершилось (но не разрешилось) уходом.

Чеховский ответ тоже парадоксален, но совсем по-иному. Формально Чехов отказывается от роли хранителя истины, борца, праведника, мученика и пр., выбирая скромную позицию литератора, не хранителя, а соискателя истины.

Но фактически он задает (не вербально, а практически) дополнительные вопросы: «А почему он обязательно должен быть мал и мерзок, пусть даже иначе, чем подлая толпа? Почему на него не распространяются десять заповедей и другие нравственные максимы?»

Уже раннее чеховское письмо брату — едва ли не буквальный ответ пушкинскому Поэту. «И среди детей ничтожных мира / Быть может, всех ничтожней он». — «Ничтожество свое сознаешь? <...> Ничтожество свое сознавай, знаешь где? Перед Богом, пожалуй, пред умом, красотой, природой, но не пред людьми. Среди людей нужно сознавать свое достоинство» (М. П. Чехову, не ранее 5 апреля 1879 ; П 1, 29).

²⁷ Лотман Ю. М. Архаисты-просветители // Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. Т. 3. Таллинн, 1993. С. 362.

²⁸ Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Т. 10. Л., 1979 С. 146.

²⁹ Подробнее см.: Сухих И. Н. Проблемы поэтики Чехова. Изд. 2-е. СПб., 2007. С. 338–344.

³⁰ Малоизвестный Довлатов. СПб., 1996, С. 487.

И дальнейший его путь — это жизнь, без извинительных ссылок на писательство, творчество, вдохновение, священные жертвы ради Аполлона.

Десять заповедей существуют и для художника. Искусство (даже талантливое) не оправдывает бездарную жизнь.

«У него была педантическая любовь к порядку — наследственная, как настойчивость, *такая же наследственная, как и наставительность*» (выделено мной. — И. С.), — заметил много общавшийся с Чеховым в последние годы Бунин³¹.

Однако это свойство в чеховской жизни реализовывалось странно, в форме, которую иногда называют апофатической этикой (Хотя может ли этика быть апофатической? Наука, вероятно, — да, практическое же поведение — нет, ибо воздержание от поступка — тоже поступок.)

Это было не учение (хотя четкие этические формулировки мы без труда можем обнаружить в письмах и даже в прозе), а *конкретно реализуемая жизненная программа*, просто жизнь.

Что бы ты ни свершил, нельзя оправдывать себя тем, что ты художник, творец, «избранник божий». Дар — не извиняющее многое привилегия, а тяжелое бремя, которое нужно с достоинством нести.

«Вы пишете, что писатели избранный народ божий. Не стану спорить. Щеглов называет меня Потемкиным в литературе, а потому не мне говорить о тернистом пути, разочарованиях и проч. Не знаю, страдал ли я когда-нибудь больше, чем страдают сапожники, математики, кондуктора; не знаю, кто вещает моими устами, Бог или кто-нибудь другой похуже. Я позволю себе констатировать только одну, испытанную на себе маленькую неприятность... <...> Дело вот в чем. Вы и я любим обыкновенных людей; нас же любят за то, что видят в нас необыкновенных. <...> Никто не хочет любить в нас обыкновенных людей. Отсюда следует, что если завтра мы в глазах добрых знакомых покажемся обыкновенными смертными, то нас перестанут любить, а будут только сожалеть. А это скверно» (А. С. Суворину, 24 или 25 ноября 1888 ; П 2, 78)

Таким образом, Чехов и Толстой совершенно по-разному решают «пушкинский» вопрос о «священной жертве», связи человека и художника.

Философско-эстетическая система М. М. Бахтина начинается с постановки проблемы «искусства и ответственности», тоже с отсылкой к пушкинским вопросам: «Художник и человек наивно, чаще всего механически соединены в одной личности: в творчество человек уходит на время из “житейского волнения” как в другой мир “вдохновения, звуков сладких и молитв”. <...> И нечего для оправдания безответственности ссылаться на “вдохновение”. <...> Правильный не самозванный смысл всех старых вопросов о взаимоотношении искусства и жизни, чистом искусстве и проч., истинный пафос их только в том, что и искусство, и жизнь взаимно хотят облегчить свою задачу, снять свою ответственность, ибо легче творить, не отвечая за жизнь, и легче жить, не считаясь с искусством. Искусство и жизнь не одно, но должны стать во мне единым, в единстве моей ответственности»³².

Пушкин (как автор «Поэта») *разъединяет*, разводит области искусства и жизни, отделяет Поэта от человека.

Толстой (в бытовом поведении и философии, но не на практике) *отрицает* искусство во имя жизни, тем не менее перенося в нее то же самое противоречие.

Чехов словно проводил какой-то необъявленный эксперимент: на собственном примере доказывая, что жизнь художника должна подчиняться тем же законам,

³¹ Бунин И. А. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 6. С. 172.

³² Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 5–6.

что жизнь любого человека. Чехов *объединяет* искусство и жизнь, подчиняет их критерию ответственности, от чего, конечно, сама проблема никуда не исчезает.

Но расхождение между учителем и учеником временами вело к тому, что они становились двойниками.

8. Всмотревшись в приведенные выше поздние суждения Толстого о Чехове, можно заметить, что они провоцировались сходными поводами. Толстой с удивлением стал замечать, что отведенная им Чехову роль «художника жизни» оказалась слишком узкой. Появились какие-то революционеры и какие-то гимназистки (крайние точки спектра, внутри которого множество «просто людей»), и оказалось, что решение своих вопросов они ищут не в толстовстве, а в еще не определенном *чеховстве*. И с этим они обращаются к основоположнику толстовства!

Современники, особенно люди чеховского и следующего поколений, увидели в Чехове, его мире и личности, не просто художника, но — *учителя жизни*. Но эту роль Толстой уступать не хотел. И потому раздражался на автора «Дамы с собачкой», как когда-то — на Шекспира: Чехов учит соблазнять женщин, а не способен понять даже Ольгу Семеновну Племянникову.

9. Вопреки краткости отпущенного ему века в архетипе учитель-ученик Чехов успел занять и другую позицию. В отношении с Буниным и Горькому он оказался в роли учителя, после нескольких попыток (Н. Ежов, А. Лазарев-Грузинский) точно угадав вектор литературного процесса, его следующие ступени. И избранные писатели достойно сыграли роли учеников.

Затем с этим архетипом что-то произошло. Бунин и Горький, прожив существенно больше Чехова, так и не стали учителями в пушкинском, толстовском, чеховском смысле.

Бунин, вероятно, был слишком эгоцентричен, сосредоточен на прошлом и не угадывал вектор литературного развития. Об этом свидетельствуют, с одной стороны, стойкая неприязнь к модернизму, с другой — выбор в качестве учеников Г. Кузнецовой и Л. Зурова.

Горький же подменил поиск настоящего ученика массовой литературной учебой. А это — совсем иное дело.

Для понимания этих процессов необходимо обращение к иным архетипам.

Чеховед Скафтымов: размышления о методе

1. Статьи А. П. Скафтымова о Чехове — чудо и парадокс³³.

Чудом представляются время их появления и их удивительная жизнестойкость. Написанные во второй половине 1940-х годов, во времена В. Ермилова, включавшего Чехова в число строителей социализма и новой жизни, они выдержали уже больше двух лотмановских сроков, что ученый считал уделом единичных гениев³⁴.

³³ Исследования А. П. Скафтымова о Чехове естественно разделяются на две группы. Первая — статьи-интерпретации, дающие целостную концепцию чеховской драматургии: «О единстве формы и содержания в «Вишневом саде» А. П. Чехова (1946) и «К вопросу о принципах построения пьес А. П. Чехова» (1948). К ним примыкают более ранние незавершенные работы «Драмы Чехова» (датируемая публикатором А. А. Гапоненковым концом 1920-х гг.) и «О Чайке» (1938–1945). Вторая группа — источниковедческие и фактологические работы «О повестях Чехова «Палата № 6» и «Моя жизнь» (1948) и «Пьеса Чехова «Иванов» в ранних редакциях» (1948). Далее речь пойдет о статьях первой группы. Цитаты даются по наиболее полному собранию трудов: Скафтымов А. П. Собрание сочинений: В 3 т. Самара, 2008 — с указанием тома и страницы. Выделения в цитатах — наши.

³⁴ «Наше короткое бессмертие состоит в том, чтобы нас читали и через 25 лет (дольше в филологии — удел лишь единичных гениев)...» — писал Ю. М. Лотман Л. М. Лотман 23 июля 1984 года.

Кое-что в их судьбе объяснили архивные публикации скафтымовских учеников уже третьего поколения. За четырьмя печатными листами завершённых работ стоит не менее двадцати лет размышлений и поисков, исторических и личных трагедий (см.: 3, 315–367).

Но мы редко задумываемся над парадоксом скафтымовских работ: бесспорный и значительный научный результат достигнут при отсутствии или, по крайней мере, неочевидности, неясности методологических установок ученого.

2. Это тем более странно, потому что в размышлениях о методе А. П. Скафтымов вроде бы помогает исследователям и последователям. Ранняя его работа, статья «К вопросу о соотношении теоретического и исторического рассмотрения в истории литературы» (1923) имеет отчетливый методологический характер. В ней представлена вполне последовательная и определенная система взглядов, четкая концепция анализа литературного произведения.

Теоретический подход здесь противопоставлен историческому.

Специально отмечено, что генезис, исторические и биографические обстоятельства создания произведения не поясняют его смысла.

Далее четко постулировано, что объективный смысл произведения *есть* (что противоречит как современным Скафтымову психологическим установкам на индивидуальность чтения, так и будущим постмодернистским утверждениям о множественности и равнозначности любых прочтений текста).

«Цель теоретической науки об искусстве — постижение эстетической целостности художественных произведений, и если в данный момент пути такого постижения несовершенны, то это говорит лишь о том, что мы далеки от идеала и долг путь, по которому мы приблизимся к решению предстоящей проблемы. Но это не освобождает науку от самой проблемы. Не нашли, так нужно искать» (1, 33).

3. Опорой в этих поисках становится представление о *центростремительной структуре произведения*, о его *доминанте*, или, по-старинному говоря, *идее*: «В художественном произведении много идей — это правда, но за этой правдой следует другая: эти идеи здесь существуют во взаимной связи, в иерархической взаимозависимости и, следовательно, среди многих есть *одна центральная обобщающая, и для художника направляющая все остальное*» (1, 36).

Чуть позднее, в статье «Тематическая композиция романа “Идиот” (1924) представление о центростремительно-иерархической структуре произведения будет детализировано: «Компоненты художественного произведения по отношению друг к другу находятся в известной иерархической субординации <...> Концепция действующих лиц, их внутренняя организованность и соотношение между собою, каждая сцена, эпизод, каждая деталь их действенно-тематических отношений, каждое их слово и поступок, каждая частность их теоретических суждений и разговоров — все обусловлено каждый раз некоторой единой, общей для всего произведения идейно-психологической темой автора. *Внутренний тематический смысл безусловно господствует над всем составом произведения*» (3, 57–59).

4. Эти эстетические суждения подкрепляются крайне важной этической установкой: «Исследователю художественное произведение доступно только в его личном эстетическом опыте. В этом смысле, конечно же, его восприятие субъективно. Но субъективизм не есть произвол. Для того, чтобы понять, нужно уметь отдать себя чужой точке зрения. *Нужно гестно гитать*. Исследователь отдается весь художнику, только повторяет его в эстетическом переживании, он лишь опознает те факты духовно-эстетического опыта, которые развертывает в нем автор» (1, 34).

5. Легко заметить, что намеченная теоретическая система через четверть века органически реализовалась в анализе «Вишневого сада» и чеховской драматургии в целом.

Скафтымов исходит из того, что воспроизведение *быта*, а не событий является исходной *тематической установкой* чеховской драматургии. «Будни жизни с их пестрыми, обычными, внешне спокойными формами в пьесах Чехова выступили как главная сфера скрытых и наиболее распространенных конфликтно-драматических состояний» (3, 458). (Эта мысль близка идее Замятина о воспроизведении в «молекулярной драматургии» Чехова органических, а не катастрофических эпох.)

Отсюда вытекает новый *тип конфликта*, имеющего не персонально-личностный, а трагически-обобщенный характер: «Драматически-конфликтные положения у Чехова состоят не в противопоставлении волевой направленности разных сторон, а в объективно вызванных противоречиях, перед которыми индивидуальная воля бессильна» (3, 458).

С ним связан «маятниковый» характер *драматического действия*, которое не столько движется, сколько колеблется вокруг исходного состояния «привычной, тягучей, давно образовавшейся неудовлетворенности». «Дальнейшее движение пьес состоит в перемежающемся мерцании иллюзорных надежд на счастье и в процессах крушения и разоблачения этих иллюзий» (3, 476).

Подобной структуре действия отвечает и *система персонажей*, не противопоставленных друг другу по принципу герой — антигерой, порок и добродетель, а объединенных сходством судьбы, удела человеческого. «В «Чайке», в «Дяде Ване», в «Трех сестрах», в «Вишневом саде» «нет виноватых», нет индивидуально и сознательно препятствующих чужому счастью <...> Кто виноват? Такой вопрос непрерывно звучит в каждой пьесе. И каждая пьеса говорит: виноваты не отдельные люди, а все имеющееся сложение жизни в целом. А люди виноваты только в том, что они слабы» (3, 470–471).

Наконец, в подобной структуре конфликта и персонажей находит объяснение и чеховский *драматический диалог*. «Случайных» реплик у Чехова множество, они всюду, и диалог непрерывно рвется, ломается и путается в каких-то, видимо, совсем посторонних и ненужных мелочах <...> Подобные диалоги и реплики в общем сценическом контексте у Чехова осуществляют свое назначение не прямым предметным смыслом своего содержания, а тем жизненным самочувствием, какое в них проявляется» (3, 460). Другими словами, именно такой диалог и является одним из главных средств создания *подводного течения* или *подтекста*.

Система чеховской драматургии действительно убедительно и наглядно объяснена из *единого принципа*, начиная с предельно общих вещей (отношение произведения к реальности) и заканчивая мельчайшими особенностями формы («случайные» реплики и детали). Статья с неприятным, скромным заглавием «К вопросу о...» стала этапной. Созданная А. П. Скафтымовым концептуальная рамка и до сих пор служит основой анализа чеховской драмы.

6. Вернемся к проблеме научного метода.

Кто же такой А. П. Скафтымов как автор статей о драматургии Чехова?

Не формалист, не социолог, не сторонник психологического или биографического метода. Напоминание о саратовской филологической школе лишь усложняет проблему: потому что свидетельство о прописке не отменяет вопроса о методе.

В противовес отчетливым методологическим концепциям В. М. Маркович недавно напомнил о *традиционном литературоведении*, объединив под этим знаком таких разных ученых ленинградской филологической школы, как Д. Е. Максимов, Г. А. Бялый, Г. П. Макогоненко, В. Э. Вацура³⁵. (Любопытно, что о методологически

³⁵ См.: Маркович В. М. Традиционное литературоведение в лицах // Маркович В. М. Мифы и биографии. Из истории критики и литературоведения в России. СПб., 2007. С. 237–312.

определенной стадийной концепции реализма Г. А. Гуковского идет речь в предшествующем разделе «Странные судьбы идей».)

Характерно, что А. П. Скафтымов последовательно избегал термина метод, говоря (в статье «Тематическая композиция романа “Идиот” о “телеологическом принципе в формировании произведения искусства” (Б. М. Эйхенбаум в спорах двадцатых годов тоже предпочитал говорить о формальном принципе, а не методе³⁶).

И в более позднем методологическом рассуждении последовательно проведена та же позиция: Скафтымов говорит не о своем методе, а о некоторых четких и фундаментальных принципах, позволяющих наиболее точную — честную — интерпретацию произведения. «Меня интересовала внутренняя логика структуры произведения (взятого, конечно, во всем целом). <...> И никогда я не навязывал автору никакой “философии”. О философствующей мысли всегда говорилось лишь изнутри, т. е. насколько к этому обязывали все данные, заключенные в содержании и соотношении всех частей и элементов, составляющих целое. <...> Я старался сказать о произведении только то, что оно само сказало. Моим делом тут было только перевести сказанное с языка художественной логики на нашу логику, т. е. нечто художественно-непосредственное понять в логическом соотношении всех элементов и формулировать всё это нашим общим языком. Тут о какой-то преднамеренной “психологизации” или “социологизации” и речи не могло быть. И все вышеперечисленные “психологи” никакой помощи мне не могли оказать» (письмо Ю. М. Оксману 28 июля 1959 года; цит. по: 1, 18–19)

7. В этом методологическом отказе видится большой методологический смысл.

Многие литературоведческие открытия персональны и воспроизодимы в науке лишь в форме повторения, цитирования. (Потому, возможно, А. П. Скафтымов не написал о других чеховских пьесах. Принципы чеховской драматургии были открыты и описаны в целом, проверены на примере «Вишневого сада». Дальнейшие уточнения и корреляции были уже менее интересны.) Причем «последний смысл» произведения, центральная обобщающая идея может быть сформулирована не на методологически-категориальном, а на нашем общем языке.

8. А. П. Скафтымов — не единственный большой *угеный без метода*. Таковы Н. Я. Берковский, поздний Б. М. Эйхенбаум (в отличие от «среднего» — формалиста), поздний Ю. М. Лотман (в отличие от прежнего структуралиста). — и т. д.

Верность методу в области интерпретации — удел эпигонов. Она предопределяет результаты работы, подменяет постижение процедурой.

Вероятно, нужны не только формальная, структуральная, психо- и прочие поэтики, но систематическая *поэтика до метода*: общее представление о структуре художественного текста, которое может быть встроено в разные методологические системы.

Но и эта поэтика не заменит смыслового прыжка, инсайта, без которого невозможна глубокая интерпретация-постижение.

Чеховские статьи Скафтымова наталкивает на важные, принципиальные выводы, касающиеся специфики литературоведения в той его — важнейшей — части, которая связана с пониманием конкретного произведения и художественного мира писателя.

³⁶ См. Эйхенбаум Б. М. Теория «формального метода» // Эйхенбаум Б. М. О литературе. М., 1987. С. 375: «Понятие „метода“ вообще несоответственно расширилось и стало обозначать слишком многое. Принципиальным для „формалистов“ является вопрос не о методах изучения литературы, а литературе как предмете изучения. Ни о какой методологии мы, в сущности, не говорим и не спорим. Мы говорим и можем говорить только о некоторых *теоретизе-*

Жизнь после жизни: Б. Ш. как мифолог А. Ч.

1. Поскольку инициалы А. Ч. не нуждается в расшифровке, начнем с Б. Ш.³⁷

В 1992 году писатель Борис Штерн (род. в 1947 году), известный, прежде всего, как фантаст, сочинил короткую автобиографию в жанре не бюрократически-напыщенном, а иронически-самокритичном, пародийном, напоминающем аналогичный опус раннего Зощенко («О себе, об идеологии и еще кое о чем»). Из нее мы узнаем, что автор родился в Киеве, но семнадцать лет прожил в Одессе; окончил одесский филфак, но не любит литературоведческие термины вроде «архитектоника», потому что «объелся этими терминами на всю оставшуюся жизнь»; «где только не работал», но в конце концов вернулся в родной город. «Основная работа ныне: сижу дома на опушке леса на окраине Киева, курю „Беломорканал“ и стучу чего-нибудь на пишущей машинке в надежде на гонорар».

Видимо, еще на машинке Борис Штерн и настучал первый большой роман (раньше он сочинял рассказы и повести) — «Эфиоп» (авторская дата — *Киев, апрель 1994 — декабрь 1996*)³⁸.

Это произведение в огромной современной чеховиане упоминается, кажется, впервые.

2. Роман «Эфиоп», получивший в профессиональной среде фантастов (которая очень замкнута, отделена от «просто литературы» и пользуется специфическими критериями) прямо противоположные оценки (от сопоставления с «Мастером и Маргаритой» до припоминания фолкнеровских слов о блистательной неудаче), задуман и написан в жанре альтернативной истории литературы³⁹.

В, кажется, единственном большом интервью серьезному изданию («Литературная газета», 1997. № 33. 13 августа) Штерн отчитывался журналисту, парафразируя мотивы «Моей родословной» и «Арапа Петра Великого»: «Написал вот громадный роман — “Эфиоп или Последний из КГБ”. Добрый он или не добрый... Но веселый, точно. Значит, добрый. В нем восемь частей, первая часть называется “Эфиоп твою мать”». А на вопрос журналиста «Что это вас в Эфиопию занесло?» дополнительно разъяснял: «Сюжет занес. Одна из линий романа. История арапа

ских принципах, подсказанных нам не той или другой готовой методологической или эстетической системой, а изучением конкретного материала в его специфических особенностях».

³⁷ Используемые биографические данные взяты из автобиографии, интервью и писем Бориса Штерна Б. Стругацкому и Г. Прашкевичу, размещенных на сайте Либрусек (<http://lib.rus.ec/a/11401>).

³⁸ Штерн Борис Эфиоп. М.: АСТ; СПб.: Terra Fantastica, 1997 (Сер. «Вертикаль»); 2-е изд. — Эфиоп, или Последний из КГБ. Фаллическо-фантастический роман из жизней замечательных людей. М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2002 (Сер. «Звездный лабиринт: коллекция»). Далее в тексте цитируется это издание с указанием страницы.

³⁹ В среде фанфанов (фанатов фантастики) популярностью пользуется и еще одна вышедшая одновременно с «Эфиопом» книга в жанре альтернативной истории литературы — роман А. Лазарчука и М. Успенского «Посмотри в глаза чудовищ» (1997). Это биография пережившего 1921 год Николая Гумилева: он под разными именами пророчески наводит порядок в хронотопе советской эпохи: беседует с Булгаковым на Патриарших прудах («Не Михаила ли Афанасьевича перед собой вижу? — спросил я больше для проформы. — Ваш покорный слуга, — снова кивнул он, — С кем имею честь? — Фридрих Мария фон Виланд., — отрекомендовался я. — Лингвист. Счастлив познакомиться с великим мастером Слова»), является Маяковскому перед его самоубийством («Я пришел, потому что ты поэт, продавший душу дьяволу»), слушает доклад Горького на Первом съезде писателей («Доклад длился три часа, а показалось — десять. <...> Странное дело: покойником здесь был я, но именно я-то смотрел на них на всех как на мертвецов. И пожалуй, впервые почувствовал, что запах разлагающегося Слова — отнюдь не метафора»).

Петра Великого наоборот. Во время гражданской войны украинского хлопчика Сашка Гайдамаку вывозит из Крыма французский шкипер, негр. Спасает хлопчику жизнь, доставляет его в Эфиопию и дарит тамошнему императору. Цель, генетический эксперимент: в четвертом поколении вывести из хлопчика африканского Пушкина. Сашка запускают в императорский гарем, где он и трудится изо всех сил не за страх, а за совесть».

Сложные и даже запутанные фабульные перипетии книги опираются на пушкинское определение «*под небом Африки моей*» и тяготеют к лозунгу «Вырастим Пушкина на его исторической родине». Герой, Сашко Гайдамака, вырастает, путешествует по Европе, появляется даже на независимой Украине (верхняя хронологическая граница романа совпадает со временем его написания), но затея оканчивается грандиозным провалом, не помогает даже чудовищная любвеобильность героя.

«И все же смелый генетический эксперимент Гамилькара вскоре пошел вразнос — все гены перепутались и смешались, многочисленные дети Сашка сначала разбрелись по всему Офиру, по соседним (в тот период) Египту, Эфиопии и Сомали, а потом заплонили всю Африку. Гамилькар со счета сбился их считать. Была даже создана счетная комиссия, но толку не получилось, комиссию тут же поразила коррупция — брали взятки за фальшивые свидетельства о рождении очередного Сашка Гайдамаки и т. п. и т. д. Офир всходил и заходил, исчезал и появлялся со свойственной этой стране непредсказуемостью, Сашки Гайдамаки росли как на дрожжах, выросли в детском возрасте, служили в гвардии негуса, были дипломатами, писцами, скитались бродягами, бомжами, проходимцами, бичами, плавали моряками, вкалывали железнодорожниками и т. д., были желанными для всех африканских женщин, но вот настоящих поэтов среди них не случилось — вернее, многие рифмовали, зная цель своего выведения на свет, но эти попытки были не пушкинские, „Русланом и Людмилой“ не пахло. <...> Только потом с высоты состояния современной генетической инженерии стало ясно, что подлинного Александра Пушкина вывести невозможно в силу нарастающей неопределенности, но тогда генетика пребывала еще в зачаточном состоянии и гадала на экспериментальном горюхе основателя генетики монаха Менделя» (473–474).

Вполне «школьный» по материалу (альтернативная история часто лежит в основе как неграмотных сочинений, так и анекдотов о русских классиках, вроде известного цикла «Веселые ребята»), роман оказывается весьма рискованным и не совсем школьным стилистически. Авторский подзаголовок (снятый редактором первого издания и восстановленный лишь во втором) — «Фаллическо-фантастический роман из жизней замечательных людей». Один из лейтмотивов книги — стоящее в сильной рифмованной позиции непечатное слово из пушкинской «Телеги жизни» и аналогичный густой слой обценной лексики, ставшей предметом специального ученого исследования в статье с пространным и — в духе романа — игровым заглавием «Наречие на “Н” из пяти букв, отвечающее на вопрос «куда?»⁴⁰.

В романе, однако, важна не только языковая и тематическая игра с телесным низом (за что книга от людей, окончивших другие филологические факультеты и читавших Бахтина, получила высокое и малопонятное звание мениппеи), но и литературная игра с прежними и современными текстами, клише, мифами. В воронку

⁴⁰ См.: Назаренко М. Наречие на «Н» из пяти букв, отвечающее на вопрос «куда?». Функционирование обценной лексики в романе Бориса Штерна «Эфиоп» // «Злая лая матерная...». Сб. статей / Под ред. В. И. Жельвиса. М., 2005. С. 494–522 (Серия «Эротика в русской литературе»).

романа втягивается история XX века: действие развертывается во время гражданской войны в Ялте и Севастополе, в вымышленном утопическом Офире, похожем на райское Эльдорадо (замена первоначально предполагаемой ганнибаловской Эфиопии), на Капри, в Париже, в уже независимом Киеве начала 1990-х годов. В шутовском хороводе романских героев, кроме главного, Сашка Гайдамаки, его наставника и спасителя африканского шкипера Гамилькара, его спутницы и возлюбленной Люськи, предстающего в разных реальностях «вечного следователя» Нуразбекова, участвуют батька Махно, барон Врангель и Булат Окуджава, Хемингуэй и Толстой (они ведут боксерский и словесный и поединок, в котором, безусловно, побеждает великий Лев).

В этой литературной кутерьме отчетливо прослеживается чеховский след.

3. Игра с заголовками и эпиграфами — любимый прием многих фантастов. Она позволяет обозначить круг авторских пристрастий, создать столь ценный знатоками интертекст.

Первый круг штерновского эфиопского интертекста — советская литература в диапазоне от школьных программных произведений до популярных приключенческих книг. Подзаголовок романа (он же — заглавие второй книги) «Последний из КГБ» — парафраз и аллитерация заглавия неоконченного романа А. Фадеева «Последний из удэге». Заглавие первой части — «Офир почти не виден» — такой же парафраз шпионской повести В. Ардаматского «Сатурн» почти не виден». Далее в литературную мельницу попадают Ю. Семенов («Бомба для председателя» — заглавие пятой части «Бомба для Муссолини»), В. Шукшин (его «Беседы при ясной луне» превращаются в заглавие восьмой части «Допросы при ясной луне»).

В заглавиях уже не частей, а глав без переработки использованы заглавия классических произведений и цитаты из них: «В числе молодых людей», «В белом венчике из роз», «Сей шкипер был тот шкипер славный», «Нет, и в церкви все не так» (Высоцкий), «Потомок негров безобразный», «А поутру они проснулись» (Шукшин), «Таинственный остров», «Бахчисарайский фонтан», «Слово и дело» (В. Пикуль), «Телега жизни».

Явное преобладание пушкинских цитат в романе на пушкинскую тему вполне объяснимо. Однако в многочисленных эпиграфах (они предшествуют всему роману, каждой части, каждой главе, оглавлению и даже «экологически чистой странице» без всякого текста, сопровождаемой дурашливым примечанием: «Просто пустая страница с эпиграфом, куда каждый Читатель может писать все, что ему заблагорассудится», 599) на первое место по индексу цитируемости неожиданно выходит Чехов. Ему приписано около 30 эпиграфов: фрагментов из художественных текстов (совсем немного), писем (больше всего), воспоминаний. Этот цитатный слой может и должен стать предметом специальной работы.

Иногда автор «Эфиопа» цитирует точно (или почти точно), но столкновение цитат создает необходимый эффект. Глава I части второй «Посвящение» тоже экологически чиста: она не имеет текста и состоит только из двух эпиграфов (79).

«Я вообще против посвящения чего бы то ни было живым людям. А. Чехов» (Это реплика из воспоминаний М. К. Куприной-Иорданской: «Антон Павлович громко говорил: “Я против посвящения чего бы то ни было живым людям. В молодости я сам этим грешил, о чем теперь жалею”»).⁴¹

«Многоуважаемый Петр Ильич! Прошу Вашего разрешения посвятить Вам эту книгу. А. Чехов — П. Чайковскому» (вольная цитата из письма композитору 12 октября 1889 г. с просьбой посвятить ему книжку «Хмурые люди» — П 3, 259).

⁴¹ Куприна-Иорданская М. К. Годы молодости. Воспоминания о А. И. Куприне. Минск, 1960. С. 149.

В исходном контексте суждения не противоречат, а, скорее, дополняют друг друга: в молодости посвящал (а письмо Чайковскому — как раз молодость) — теперь против посвящений (это уже ялтинский период, причем нужно учитывать, что воспоминания Куприной-Иорданской — не аутентичный текст). Но вынимая из контекста, сталкивая эти суждения, причем без всякой датировки, автор добивается нужного эффекта: ловит Чехова на слове, на неразрешимом противоречии.

В других случаях за чеховские выдаются явно мистифицированные цитаты, причем довольно хулиганские. «Манера повествования в “Войне и мире” похожа на работу унитаза — тихо, ровно журчат главы, где речь идет о Пьере, Наташе, князе Андрее; как вдруг грохот, водопад: началось авторское отступление. А. Чехов» (71).

Через эпиграф-апокриф происходит включение Чехова в хронотоп «Эфиопа»: «Ваш роман непременно высылайте бандеролью в Серпухов. Не пропадет — мне перешлют в Офир. А. Чехов» (глава 6 третьей части «Таинственный остров (продолжение)», 173).

Оно поддерживается авторским рассуждением в самом начале романа. «В «Эфиопе» не упоминается ни одной конкретной даты, кроме одного конкретного дня, месяца и года — 2 июля 1904 года. Именно в этот день наступил кризис в болезни Чехова и, как удалось выяснить исследователям Акимушкину и Нуразбекову, «произошел пространственно-временной сдвиг, который привел к встрече на Графской пристани генерала Врангеля и поэта Окуджавы, заставил психоаналитика Фрейда совершить путешествие в страну Офир, а начинающего писателя Хемингуэя выйти на боксерский ринг против графа Толстого, превратил поэта Гумилева в орнитолога Шкфорцопфа и привел его к открытию лунного купидона и симбиозной теории возникновения человека, забросил “Супер-Секстиум» с лазерным принтером в дореволюционную Одессу, а велосипедиста Гайдамаку — во времена Ильи Муромца и т. д. Акимушкин и Нуразбеков впервые наблюдали явления генетических сдвигов пространства-времени, — более того, непосредственно участвовали в них» (31).

А во второй книге романа, в «Главе между двенадцатой и четырнадцатой» «Укушенные купидоном» (363–365) появляется уже сюжетный эпизод. Еще один из героев романа О’Павло, монах в черной сутане, полюбивший путешествовать по воздуху, однажды летит «беспересадочно» через море в Рим, делает остановку на Капри и «знакомится со своим любимым писателем Чеховым, которого в прямом смысле едва ли не боготворит, принимая его чуть ли не за Иисуса Христа».

Дальше следует переадресованная автору цитата-описание черного монаха из одноименной повести, преходящая в апокрифический диалог: «Чехов поражен: “Монах в черной сутане, с седой головой и черными бровями, скрестив руки на груди, пронесся мимо меня. Босые ноги его не касались земли. Потом он оглянулся, кивнул мне головой и улыбнулся ласково и в то же время лукаво, с выражением себе па уме. „Ты призрак, мираж, галлюцинация, — проговорил я. — Ты не существуешь!” Он ответил: „Думайте как хотите. Я продукт вашего возбужденного воображения. Я существую в вашем воображении, а воображение ваше есть часть природы, значит, я существую и в природе. Как вы чувствуете себя, Антон Павлович?” — „Здесь скучно, — ответил я. — Без писем можно повеситься, а потом научиться пить плохое каприйское вино и сойтись с некрасивой и глупой женщиной”». (Более подробно встречи Чехова с О’Павлом описаны Сомерсетом Моэмом в эссе «Второе июля четвертого года» [см. ЭПИЛОГ].)

Посмотрев в «Эпилог», мы обнаруживаем там разделенное на несколько глав (582–588, 591–599, 602–610, 613–624) анонсированное эссе, у которого есть своя история.

4. «Пишу, пишу. Небольшую повестушку написал о Чехове (!), о том, как Чехов не умер в 1904 году, а прожил до 1944-го. То ли повестушка, то ли „фантастическо-литературоведческая статья“. И неплохо вроде, нескучно. А куда пристроить, не знаю, как всегда», — сообщил Штерн коллеге и другу (Г. Прашкевичу, 5 апреля 1994).

Через три дня текст был послан безусловному авторитету, Б. Стругацкому, с сопроводительным письмом-просьбой: «Вот, отправляю две небольшие повестушки (или фантастические эссе) в духе альтернативной истории. Хотя я далеко не пацан уже, но как-то по привычке посылаю Вам на прочтение и оценку. <...> А эссе про Чехова от имени Моэма, кажется, получилось. Во всяком случае, писалось не мучительно больно и с удовольствием. В этом году в июле 90 лет со дня смерти Чехова — куда бы пристроить эту “статью”? Может быть, “Звезда” заинтересуется?» (8 апреля 1994).

«Звезда» заинтересовалась и даже анонсировала публикацию, но в итоге в седьмом номере 1994 года вместо девяностолетия со дня смерти Чехова отметила двухсотлетие со дня рождения Чаадаева.

Повестушка-эссе вышла отдельной брошюрой, даже библиографическое описание которой выглядит как поэма: Сомерсет Моэм. Второе июля четвертого года: Новейшие материалы к биографии Антона П. Чехова. Пособие для англичан, изучающих русский язык, и для русских, не изучавших русскую литературу /Новороссийский государственный университет им. Н. И. Костомарова. Отделение русской словесности. — [Киев]: ВИАИ, 1994. 32 с. 3 тыс. экз. ISBN 5-7998-0045-9 [(о); К 200-летию Одессы; Пер. с англ. Б. Штерна; Гл. ред. Л. Ткачук; Ред. И. Кручик; При участии ЛИА «Одессей» (Одесса); © Сомерсет Моэм, 1966; Борис Штерн, перевод, 1994].

Под именем Моэма (намного чаще, чем под именем Штерна) текст до сих пор бродит по Сети, обсуждается в блогах, сегодня (17 января 2009) он доступен для скачивания на сайте Ялтинской городской библиотеки. Как новый биографический источник очерк «Моэма» попал даже в школьное пособие по литературе⁴² и вызвал оживленное обсуждение на одной из ялтинских конференций.

Мистификация, таким образом, блестяще удалась.

Через несколько лет появилось второе книжное издание, уже не в обложке, а в переплете — и с указанием имени подлинного автора⁴³.

Рецензенты обсуждают целесообразность и удачность последующего включения повести-эссе в роман. С текстологической точки зрения, однако, все очевидно: последней редакцией «Второго июля» стал эпилог «Эфиопа». Он расширен, структурно подготовлен, несколькими стежками (см. выше) пришит к основному тексту книги (что, как видим, не исключает и автономного существования первоначальной версии).

Пушкинскую фантасмагорию Бориса Штерна замыкает чеховская мифологизация.

5. Штерн совершенно по-особому относился к Чехову.

В автобиографии ответ на вопрос о любимом писателе лаконичен: «Любимый писатель: Антон Павлович Чехов». А ответ на следующий вопрос сопровождается

⁴² См. об этом: Скибина О. Размышления провинциального педагога на полях столичных учебников. Часть вторая // Чеховский вестник. 2004. № 14. С. 10–13.

⁴³ Штерн Борис. Второе июля четвертого года. Новейшие материалы к биографии Антона Чехова. Новосибирск: Свиный и сыновья, 2005. 3000 экз. 88 с. См. развернутую рецензию на это издание; Гульченко В. В. Звезда Штерна, или Ich sterbe nicht // Биография Чехова: итоги и перспективы. Великий Новгород. 2008. С. 206–212.

контрвопросом: «Любимая книга: странно, любимый писатель — Чехов, а любимая книга — “Три мушкетера” (“Колобок” не в счет), при том, что Дюма-отец не самый сильный писатель. Почему так?»

В письме Б. Стругацкому (25 ноября 1986) в связи с работой над очередным замыслом появляется признание: «Удивительные дела иногда происходят в писательстве! Я тут от первого лица пишу старого академика, который перед смертью одержим всякими бесами и маниями — и все время влетаю в тон чеховской “Скучной истории”, которую ужасно люблю, — и все время уничтожаю “чеховские” моменты (когда они проявляются напрямую)...»

Через два года в письме тому же адресату возможная поездка на Сахалин комментируется так: «Редкий шанс — хоть чуть-чуть, но по стопам Чехова» (15 сентября 1988).

Выстраивая типологию литературных форм, Штерн в качестве универсальной модели называет «Каштанку» (о чем — чуть далее).

При всей рискованности конкретных деталей (особенно раздражили профессиональных читателей реплика Льва Толстого при посещении садово-кудринского дома: «Ах, так у вас там девочки?!» — и объявление на воротах чеховской дачи: «Осторожно, злые старушки!»), впрочем, весьма мягких на фоне предшествующего текста, чеховский фрагмент строится в конечном счете как парадоксальное объяснение в любви, пропущенное сквозь жанровую призму альтернативной истории.

Чехов, оказывается, не умирает в Баденвейлере (в этот день в Москве умирает Горький), а, выпив вместо хрестоматийного шампанского спирта, внезапно выздоравливает и проживает еще одну жизнь (которую Штерн сочиняет по канве биографий Горького, Бунина, Солженицына и т. д. — всю фактическую базу этого цента она еще предстоит определить).

«Живем дальше, — вздохнул Чехов» (603). Он поселяется на Капри (как Горький), еще до мировой войны получает Нобелевскую премию (как много позднее Бунин), после смерти Толстого занимает его место властителя дум и абсолютного нравственного авторитета: «Когда умер Лев Толстой, Чехова никто не короновал, не назначал и не выбирал, по этому и не требовалось, он естественным образом, по праву «наследного принца» возглавил русскую литературу. <...> Авторитет Чехова был бесспорен. “Как хорошо, что в русской литературе есть Лев Толстой! — говорил Чехов в молодости. — При нем никакая литературная шваль не смеет поднять голову”. Теперь обязанности Льва Толстого перешли к Чехову, и по авторитету и по старшинству в свои пятьдесят лет Чехов был первым. Генетическая наследственная связь Чехова с Пушкиным, Гоголем, Лермонтовым, Достоевским, Толстым ни у кого не вызвала сомнений...» (606).

Особо возрастает его роль после революции (в альтернативной штерновской реальности главным вождем в СССР становится Киров). «Большевики ненавидели Чехова, но ничего не могли с ним поделать. Он был очень богатым человеком, самым высокооплачиваемым писателем в мире — его книги пользовались громадным успехом у западной интеллигенции, его почитали как святого, ему платили огромные гонорары. “Фонд Чехова” составлял полмиллиарда долларов. Он давал большевикам деньги на индустриализацию, электрификацию, здравоохранение, а завещание было составлено так, что в случае смерти Чехова большевики не могли претендовать на эти деньги, теряли все» (617).

Эффектную точку Штерн ставит в финале: «Антон Павлович скончался в Ялте именно в ТОТ день — второго июля, но через сорок лет, вскоре после открытия второго фронта. Он до конца был в ясном житейском сознании, но вряд ли уже отчетливо понимал, что происходит в стране и в мире. И слава Богу <...> Чехова вре-

менно похоронили в Ялте. Через полгода Рузвельт, Черчилль и Киров, перед тем как решать на Ялтинской конференции судьбу послевоенного мира, пришли с цветами, постояли у его могилы и проводили на аэродром в последний путь — тело Чехова доставили в Москву на самолете в свинцовом гробу <...> и перезахоронили на кладбище Новодевичьего монастыря. Еще через три дня был подписан исторический Ялтинский меморандум. Все было ясно. Миссия Чехова была выполнена. Фашизм был раздавлен, а коммунизм решили тихо свернуть.

Из Истории видно, что в древности жили дураки, ослы и мерзавцы.

А. П. Чехов» (624).

Многоплановое повествование замыкает вариация чеховской шутки из письма А. А. Киселевой: «Посылаю Вам из глубины Души следующие подарки: <...> 8) Древнюю Историю с Рисунками; из этой Истории видно, что и в древности жили дураки, ослы и мерзавцы» (8 января 1890; П 4, 7).

Многие ли профессионалы сразу вспомнят источник этой фразы?

6. В письме Б. Стругацкому (28 июля 1983) Б. Штерн предложил оригинальную вариацию распространенной литературной типологии, взяв в качестве модели-образца, как уже упоминалось, чеховский текст: «Вся художественная литература делится на два вида произведений: сказка “Колобок” и рассказ “Каштанка”. Вот два шедевра, и вся остальная проза примыкает к тому или к другому.

“Колобок” — произведение, где можно ответить “о чем”. Там мысль — хвастаться нехорошо, нарвешься на Лису и будешь съеден. Мысль эта отлично проиллюстрирована. Шедевры в этом виде литературы — вещи Достоевского (!). В этой шутке много правды. Это вид литературы, где можно довольно точно указать или небольшую мысль (Колобок), или сложную философскую концепцию (Преступление и наказание). Этот вид литературы построен на мысли, и от мысли у читателя возникают чувства. Это отлично.

“Каштанка” — когда я спрашиваю: а о чем “Каштанка”, то не слышу ответа. А она, в самом деле, ни о чем! Она о собачьей тоске — но ведь это не мысль! Это второй вид литературы литература чувства. Она бьет на чувство читателя, и тогда он сам начинает думать “а о чем?”. Это Чехов.

“Воскресенье” относится к “Колобку”, а “Война и мир” — к “Каштанке”.

Все можно уместить в эту схему, и поэзию тоже. Фантастика чаще принадлежит к виду “Колобок”, она чаще идет от мысли, но в ней встречаются много “Каштанок”.

Пастернак это “Каштанка”, а Маяковский — “Колобок”.

Если вернуть это разграничение автору «Эфиопа», его роман, скорее, относится к модели «Колобка». Пушкинская фабула строится на одной мысли: гений — уникален, не поддается искусственному воспроизведению, «подлинного Александра Пушкина вывести невозможно».

Чехов появляется в «Эпилоге» для демонстрации другого оттенка этой мысли: гений не может изменить ход истории, вразумить всех дураков, ослов и мерзавцев (революция в России все равно происходит, неизбежной оказывается и мировая война), но он становится лицом и голосом эпохи, уходит, лишь до конца исполнив миссию.

«Что было бы, если бы второго июля четвертого года умер Чехов, а Пешков остался жить? Праздные ли это вопросы? Для атеистического человека ход истории предопределен законами, для человека религиозного — история в руках Божьих. И тот, и тот согласны, что влияние человека на историю возможно: верующий — по воле Божьей, атеист — в некоторых конкретных пределах; вот вопрос и тому и тому: может ли человек влиять на Бога? Может ли человек изменять законы природы? Что было бы, если бы человек сделал то, а не это, если бы случилось то, а не

это? Русская присказка “Если бы да кабы...” сама по себе хороша, но любомудрием не отличается. <...> Может быть, просто: Бог хранил?... Может быть Тот, Кто Выбрал Чехова второго июля четвертого года, теперь чувствовал свою ответственность за него?...» (617–618).

7. В Статье «Иван Сусанин» (1862) Н. И. Костомаров рассуждал: «В важных исторических событиях иногда надобно различать две стороны: объективную и субъективную. Первая составляет действительность, тот вид, в каком событие происходило в свое время: вторая — тот вид, в каком событие напечатлелось в памяти потомства. И то и другое имеет значение исторической истины: нередко последнее важнее первого. Так же и исторические лица у потомков принимают образ совсем иной жизни, какой имели у современников. Их подвигам дается гораздо большее значение, их качества идеализируются: у них предполагают побуждения, каких они, быть может, не имели вовсе или имели в гораздо меньшей степени. Последующие поколения избирают их типами известных понятий и стремлений».

Эту мысль, с прямо противоположными целями, позднее цитировал С. М. Соловьев: Костомаров, пользуясь приемами «мелкой исторической критики», сомневался в подвиге Ивана Сусанина, Соловьев апеллирует к «высшей критике» и «состоянию духа народного», защищал костромского крестьянина.

Первую позицию можно определить как истину факта, вторую, используя определение немецкого философа К. Хюбнера, как *истину мифа*, вырастающую из фактов, но преобразовывающую их по законам предания, легенды, художественного образа. Эта дилемма имеет прямое отношение к нашему сюжету.

Уже цитированное интервью писателя «Литературной газете» называлось: «Надо избавляться от старых мифов, но при этом создавать новые». Писатель разъяснял: «Все земные цивилизации (неземные — не знаю) строились на мифах. Все. От египетской до советской. Когда первая обезьяна сочинила себе Историю, она превратилась в человека. Без мифов нет культуры. <...> Я считаю: от старых мифов надо избавляться, но при этом создавать новые, более удобные. А без мифов — скучно. “Волга впадает в Каспийское море” — это верно, но скучно».

В «Эфиопе» Борис Штерн продолжает русский миф о писателе-демиурге, мифологизирует образ Чехова как «нашего всего», ключевой фигуры не только русской литературы, но мировой истории XX века. Автор дарит Чехову еще сорок лет — целую жизнь после жизни — и делает его если не вершителем, то собеседником на пиру мировой истории, до которого создатель «Вишневого сада» не дожил.

Роман Штерна обычно называют постмодернистским, что, по-моему, совсем несправедливо, если понимать постмодернизм как слом всякой иерархии, презумпцию текста над миром, игру чистыми, означающими эстетический и нравственный релятивизм. Литературная игра у Штерна нигде не переходит эти границы (не говоря уже о приписанной Чехову беспощадной, с употреблением тех же обценных выражений, оценке одного из современных штатных представителей постмодернистского цеха).

Этот странный роман во многом уязвим. Но он, безусловно, — не деконструкция, не развенчание, а продолжение чеховского мифа.

8. В автобиографии Борис Штерн (случайно или нет?) обозначил как свой последний рубеж год чеховского 150-летия: «Еще о смерти. В юности одесская цыганка с Молдаванки нагадала мне 63 года в этой жизни. Вполне удовлетворен и с тех пор не гадаю. Значит, через 18 лет в 2010 году пора собирать вещички».

Заканчивается она редакторской припиской: «6 ноября 1998 года умер киевский писатель-фантаст Борис Гедальевич Штерн».

**Белая дача: одна экскурсия и три сюжета.
Хроника в пяти главах с эпилогом**

1. Одна экскурсия

Весной 1961 года на Белой даче оказались два человека, два друга. Они приехали на такси с набережной, от почты, с трудом нашли музей, прошли по дому без сопровождения, услышали нелепые вопросы одной праздной компании, потом долго сидели в садике, разговаривали и курили.

Через много лет, когда об этой экскурсии станет известно, автор одной статьи назовет их двумя моряками, мореманами, в другой работе они превратятся в «прожженных морских волков». Это — принятый на веру живописный вымысел, подмена реальных биографий литературными. «Стоял апрель, мы жили в Ялте, бездельничали после девяти месяцев отчаянной трепки в зимнем океане. Всю осень и зиму мы ловили треску в Баренцевом море, забирались иногда в Норвежское, в Атлантику, и ни разу залитая рыбьим жиром палуба нашего траулера не была спокойной»⁴⁴.

Во-первых, вместе этих людей никогда не трепало, потому что вместе они никогда не плавали. Они познакомились и подружились за четыре года до визита в дом Чехова.

Один вообще не был моряком. Он окончил Музыкальное училище имени Гнесиных (1951), потом Литературный институт (1958), некоторое время подрабатывал музыкантом (лабухом, как тогда говорили) в ресторанах (вечер в ресторане в только что процитированном тексте описан подробно, со знанием дела), но ко времени экскурсии был автором уже трех книг рассказов, из которых настоящей, правда, он считал лишь одну, московскую («На полустанке», 1959).

Другого морским волком назвать можно. Он был выпускником штурманского факультета Балтийского военно-морского училища (1952), несколько лет служил на военных судах, а с 1955 года, после демобилизации, работал на гражданском флоте, но не ловил рыбу, а перегонял суда по Северному морскому пути. В чеховский музей он тоже пришел не с пустыми руками, но автором двух книг («Сквозняк», 1957; «Камни под водой», 1959).

Этими посетителями были писатели Юрий Казаков (1927–1982) и Виктор Конецкий (1929–2002).

Через четверть века Конецкий вспоминал детали внезапной самодеятельной экскурсии.

«В доме-музее А. П. Чехова в Ялте мы были весной.

Все цело и благоухало вокруг.

Пошлая тетка говорила: “В таком доме и я написала бы чего-нибудь... Да, ничего себе домик! Сколько тут комнат? Ого!

А говорят, скромный был...”

Когда мы наслушались теток и побродили по дому, то ото всего этого устали, завяли. И долго сидели на скамейке под кипарисами, молчали. Потом Казаков сказал:

— А Гуров-то, а? Он с этой дамой с собачкой... Он в Симферополь потом провожать ее ездил. На лошадях, ты это учти, милый... Целый день в те времена тарантасили. А я да и ты до угла бы провожать не стали, а порядочными людьми себя считаем... — И засмеялся как-то неприятно, беспощадно, стирая бисеринки пота со своего римского носа»⁴⁵.

⁴⁴ Казаков Ю. Проклятый Север // Казаков Ю. Во сне ты горько плакал. М., 1977. С. 260.

⁴⁵ Конецкий В. О Юрии Казакове // Конецкий В. Ледовые брызги. Л., 1987. С. 526. Далее цити-

Столь неожиданное доказательство порядочности Гурова в исследовательских работах, кажется, не встречалось. Однако дело не только в этом. С этой экскурсией оказались связаны два литературных сюжета и *сюжет жизни*, который растянулся на сорок лет.

2. Два сюжета

Виктор Викторович Конецкий пришел в музей автором рассказа «Две осени» (1958–1959). Два года, согласно авторской датировке, ушли у него на текст объемом в три четверти печатного листа.

В связи с текстом в переписке Конецкого возникает любопытный — и вполне чеховский — диалог, из которого становится ясно, что интерес к Чехову формируется уже в годы его юности и писательского становления.

«Начал читать Чехова. Он заставляет думать о собственной пошлости, бесчисленное количество кусочков которой есть в душе. Он беспощадно бьет задушевую слабость и трусость. Я никогда не улыбаюсь, когда читаю его...» (В. Конецкий — матери, 13 июня 1954).

«Привет, старик! Получил твое письмо, наполненное слезами. Ты, брат, порешь ерунду. Хотя то, что ты писал до сих пор „не то“, — это факт.

В этом, к сожалению, я не могу тебя успокоить. Все твои рассказы — мура и бормотание сивого мерина. Равно так же и мои. <...>

Итак, у тебя есть хороший выход: работать, стремиться к совершенству. Ну и потом еще остается Пушкин, Толстой, Чехов и Бунин, остается Ленинград с его сумасшествием, остается биение сердца при виде прекрасной девочки, остаются слезы от мысли о кратковременности всего земного. Какого черта тебе еще надо?! Не правы оптимисты, которые считают, что жизнь прекрасна. Не правы также пессимисты, которые считают, что жизнь ужасна. В ней хватает того и другого. Будь реалистом!» (Ю. Казаков — В. Конецкому, 27 декабря 1957, 447–448).

«Привет, бродяга кэп! Новости: был в „Октябре“. Рассказы мои идут твердо — это в сборнике о молодых: „Легкая жизнь“ и „Звон брегета“. А твой Чехов, зануда, идет, но не твердо. В нем (не в пример моему Лермонтову), слишком выпирают источники. Слишком нету своего взгляда на этого хмурого представителя светлой литературы. Я, конечно, тебя защищал. Я говорил, что взгляды есть, а что, наоборот, источников нету. Я говорил, что ты вообще ничего не читал о Чехове, что ты и Чехова не читал, что там все придумано — как могут выпирать источники?» (Ю. Казаков — В. Конецкому, 23 сентября 1959, 460).

И еще один критический камешек, уже после публикации рассказа. «Чехов очень понравился, хотя и компилятивный рассказ, как я теперь понял (я недавно перечитывал письма Чехова)» (Ю. Казаков — В. Конецкому, 21 октября 1961, 447–448).

Из двух противоположных точек зрения на роль материала (выпирают источники — ничего не читал) точнее первая. Письма Чехова, материалы о нем Конецкий внимательно читал и перечитывал. В составленном Т. В. Акуловой списке «Прочитано Конецким» — двенадцатитомное (зеленое) собрание сочинений

руется в тексте с указанием страницы. В иной редакции, с сокращениями и дополнениями, и с другим заглавием дневниково-мемуарный очерк «Опять название не придумывается (Юрий Казаков)» вошел в седьмой том собрания сочинений Конецкого, начатого самим писателем и завершено его вдовой Т. В. Акуловой (СПб., 2001–2003, электронное издание: <http://www.baltkon.ru/about/works>). Другие произведения Конецкого и варианты очерка цитируются по электронной версии.

(1956–1957), сборник «А. П. Чехов о литературе» (1953), монтаж В. Фейдер «А. П. Чехов. Литературный быт и творчество по мемуарным материалам» (1928), том «Чехов в воспоминаниях современников» (1960), мемуары М. П. и М. П. Чеховых, четвертое издание книги Н. П. Сысоева «Чехов в Крыму» (1960), переписка Чехова с Горьким (1937), книги К. И. Чуковского, И. П. Видуэцкой, Б. М. Шубина и даже сугубо научный сборник-спутник академического собрания сочинений «Чехов и его время» (1977).

Понятно, что писателя привлекали не сугубо исследовательские, а мемуарные и документальные книги. Большинство изданий из библиотеки Конечского содержат пометки, а иногда — очень лапидарные — комментарии.

Особенно любопытна недатированная юношески-панибратская пометка на письме М. Горького Чехову второй половины августа 1900-го (№ 48 в указанном сборнике переписки): «Парнюги!! Эх! Кабы лапти вам, парни, можно пожать!».

Рассказ «Две осени» выдержан в другой интонации. Предмет изображения здесь — осень 1895 года, когда в мелиховском одиночестве пишется «Чайка», и следующая осень, когда при демонстративном злорадстве публики и многих друзей и растерянности критики она проваливается в Петербурге. Рассказ написан в форме несобственно прямой речи, характерного для Чехова «повествования в тоне и духе героя».

«Чехов работал над „Чайкой“ неторопливо, разделяя фразы большими паузами воспоминаний.

Всю свою нерастрченную любовь, всю тоску по глубоким, сердечным отношениям между людьми он хотел отдать этой рукописи. Он писал ласковым, осторожным пером; тонким, мелким почерком без нажима, но очень ясным. И нежным.

А когда он чувствовал, что переполнен красотой и волнением, то начинал подтрунивать над собой, своим писанием. И называл пьесу и воспоминания — пустяками, и говорил про себя, усмехаясь: „Ах-ах!.. Вы, Антоша, не умеете писать. Вы умеете только хорошо закусывать...“

Тянулись дни. Падали листья. Осень кончалась. По утрам от первых заморозков стал яснеть воздух. Все выше поднимались над крышами дальних изб дымы. Чехов работал, со смущением сознавая, что опять некоторые из живущих людей узнают себя, свои судьбы в его пьесе и будут обижаться, а может быть, и ненавидеть его за это.

И все время стояло перед глазами грустное лицо женщины, которая любила его и сейчас была несчастлива и страдала. И он знал, что чем-то виновен в ее страданиях».

Конечно, в тексте появляются и отмеченные Казаковым «компиляции», заковыченные и расковыченные цитаты: цитируются не только «Чайка», но и письма самого Чехова Л. С. Мизиновой.

В конце первой главы упоминается рассказ «Моя невеста» (его окончательное заглавие не названо), который, как уверен Конечский, автор начинает с конца, с фразы об одиночестве и восклицания «Мисюсь, где ты?».

Печать времени больше всего отражается в финале «Двух осеней». После провала (он практически не описан и дан лишь в восприятии автора, немногочисленными деталями) Чехов нанимает извозчика, потом бредет по темным петербургским набережным, и вдруг происходит неожиданная встреча.

«Из-за поворота, мотая мокрыми мордами и отбрасывая за спины пар, показались ломовые лошади. Одна подвода за другой — целый обоз. Загрохотали в ночной тишине ободья колес. Телеги были гружены тяжело — ог-

ромными плахами дров. И кони переступали медленно, упрямо влегая в хомуты, и процокивали подковами снеговую кашу на мостовой.

Возницы в мешках, накинутых углом на голову, шли подле телег; молчали, волоча по грязи кнуты, и на ухабах подпихивали плечом наваленные высоко плахи. По всему судя, шли они так издалека, шли долго.

Что-то угрюмое, сдержанное и сильное было в тяжелой, усталой поступи людей и коней, в том, как они брели сквозь темень, грязь и непогоду.

Последняя подвода с хромым мужиком возле задка, гремя ведром, прокатилась мимо. Мужик привычно протянул руку к картузу.

Чехов остановился и кивнул...»

Угрюмая и молчаливая народная сила если не спасает Чехова, то выводит его из состояния одиночества и катастрофы. Школьное клише «близость с народом» не прямолинейно используется автором, но все-таки ненавязчиво иллюстрируется.

Юрий Казаков обратился к Чехову не до, а после экскурсии. Через полгода Конечкий получает письмо. «Умоляю, вышли мне срочно те !!! фразы, которые ты записал в доме Чехова. Когда мы с тобой там были, ты записал, что говорила одна тетка пошлая, какие-то она задавала пошлейшие вопросы насчет Чехова, и ты записал в блокнот. Ты посмотри в блокноте и пришли срочно — мне надо, пишу нелепый рассказ про Ялту, *огень надо*» (Казаков — Конечкому, 21 октября 1961; 535).

На рассказ Казакова (он определен все-таки как рассказ, а не очерк, хотя вошел в очерковую книгу «Северный дневник») ушло три года. Он называется «Проклятый Север» (1964). В отличие от Конечкого, это не изображение Чехова, а размышление о его жизни. В основе рассказа — та самая экскурсия в чеховский музей, которая заставляет двух друзей-моряков заново посмотреть на жизнь собственную.

«— Подумать только! — с внезапной злобой сказал мой друг. — Как он жил, как жил, господи ты боже мой! Равнодушная жена в Москве, а он здесь или в Ницце, пишет ей уничижительные письма, вымаливает свидания! А здесь вот, в этом самом доме печки отвратительные, температура в кабинете десять градусов, холод собачий, тоска... В Москву поехать нельзя, и в Крыму болеет Толстой. А на севере — Россия, снег, бабы, нищие, грязь и темнота и угарные избы. Ведь он все это знал, а у самого чахотка, кровь горлом, эх! Пошли, старик, выпьем! Несчастливая была у него жизнь, а крепкий все же был человек, настоящий! Я его люблю, как никого из писателей, даже Толстого»⁴⁶.

Рассказ Казакова, как и рассказ Конечкого, двучастен. После музейного эпизода следует большая сцена в ресторане с описанием музыкантов, застойными разговорами, воспоминаниями о плаваниях и женщинах (здесь как раз отразился казаковский опыт ресторанного лабуха) и заключительный диалог на набережной.

«— Слушай, — старательно выговаривая, сказал мне друг. — Что должен делать человек? В высшем смысле что он должен делать?»

— Работать, наверно, — неуверенно предположил я.

— Это грандиозно! — сказал мой друг. — И мы работаем. И плевать нам в высшем смысле на всякие нежности. Пошли спать... Слушай, сколько нам еще осталось?»

— Чего осталось?»

— Быть в Ялте.

— Долго еще. Недели две.

⁴⁶ Казаков Ю. Проклятый Север. С. 264.

— Так... Пошли спать, а завтра поедem в этот... как его?

— Куда?

— Как его?... А! Да черт с ним, куда-нибудь!»⁴⁷

Знание об общем творческом импульсе этих текстов, написанных на разные темы, но в притяжении Чехова, обнаруживает неожиданные связи между ними.

Конечкий пишет об одиночестве Чехова: одиноких вечерах и ночах, когда пишется «Чайка» и одиночестве художника, которому не могут простить таланта, когда пьеса проваливается. Случайно встреченный обоз с ломовыми лошадьми и измученными возчиками — напоминание о мире, в котором существуют работа и долг.

О работе и долге, которые спасают от тоски и ощущения бессмысленности жизни, говорит Казаков. Символом этой идеи долга становится в рассказе уже Чехов.

Собственно чеховский сюжет в творчестве двух писателей К. этими двумя короткими рассказами исчерпывается. Но от экскурсии на Белую дачу пошли круги, распространившиеся едва ли не на всю жизнь двух посетителей музея.

3. «Сюжет для небольшого рассказа»

Это сюжет-интермедия, его можно изложить совсем коротко. Он, скорее, может стать эпизодом другой истории — истории чеховских экранизаций.

В 1967 году, всего за месяц до смерти, в журнале «Искусство кино» (№ 12) был опубликован сценарий Л. А. Малюгина (1909–1968) «Насмешливое мое счастье», посвященный отношениям Чехова и Л. Мизиновой. Конечкому сценарий резко не понравился. Он написал об этом Казакову и Л. К. Чуковской. На защиту Чехова пытались привлечь К. Г. Паустовского и К. И. Чуковского, причем Канецкий прямо ссылаясь на свой чеховский опыт: «Сложность моей позиции в том, что еще в 59 году я напечатал рассказ о истории “Чайки”. Называется он “Две осени”. И теперь я не могу считать себя объективным ценителем сценария Л. Малюгина. А если сценарий этот так плох, как мне это представляется, то необходимо предпринять какие-то решительные меры, дабы на экраны не вышел еще один позорный фильм об Антоне Павловиче» (Конечкий — Л. К. Чуковской, 28 января 1968).

Усилия добровольного защитника Чехова, однако, ни к чему не привели. Чуковской сценарий тоже не понравился. В ответном письме она согласилась с Конечким, конкретизировав его общие соображения конкретными примерами.

«Конечно, Вы правы — все это пошлость, т. е. ложь. Чехов изображен каким-то недотепой, на котором всякие ничтожества, вроде его брата, ездят верхом. Диалог между Ликой и Потапенко он еще может сочинить кое-как, но между Ликой и Чеховым — конечно, нет, сколько ни надергивай цитат из писем. К тому же Чехов у него говорит не как интеллигентный человек того времени, а как полуинтеллигентный — нашего. Чехов не мог сказать “помыть руки” — вместо “вымыть” — не мог воскликнуть, как какая-нибудь горняшка: “Кошмар!”, не мог сказать: “у меня пьесы не получаются”, потому что интеллигентные люди не употребляли этого недавнего “не получаются”, а говорили: “мне не удастся” или “у меня не выходят”. Ну и т. п. и т. д.

Провал “Чайки”, отъезд на Сахалин — все мотивируется неверно и пошло» (Чуковская — Конечкому, 4 февраля 1968).

Однако ни Паустовского, ни Чуковского к борьбе привлечь не удалось. В

⁴⁷ Там же. С. 276.

1969 году фильм Сергея Юткевича (во французском прокате он назывался «Лика — большая любовь Чехова») вышел на экраны и даже получил приз на фестивале в Венеции. Чехова сыграл Николай Гринько, Мизинову — французская актриса Марина Влади. Однако событием в кино он все-таки не стал. Хотя был и до недавних пор оставался одной из немногих картин, где Чехов появляется собственной персоной.

Побочным культурным следствием «Сюжета для небольшого рассказа» стало знакомство во время съемок в Москве Марины Влади с Владимиром Высоцким: одна любовная история стала катализатором другой, теперь не менее известной.

4. «Вишневый сад», действие пятое

Как раз во время перипетий с «Сюжетом для небольшого рассказа» друзья поссорились и надолго разошлись. Причины разрыва были подобны скандалам чеховских пьес: внешне пустячные случаи вызвали смертельную обиду.

Посвященная этому событию главка мемуаров Конецкого называется «Как литературно ссорятся литераторы». Он признается, что не может «с должной определенностью восстановить обстоятельства нашей ссоры и затем даже полного разрыва всяких дипломатических отношений в 1968 году». Но все-таки две причины называет: «1. Пьянство и дурь, которую люди вытворяют, находясь в пьяном состоянии. 2. Наше разное отношение к Константину Георгиевичу Паустовскому».

Одно из писем этого времени воспринимается как цитата, скажем, из «Дуэли». «Жизнь так бесконечно сложна, тяжка, надрывна; так все хорошие люди не умеют жить, напрягаться, побеждать и помогать друзьям. Так все мы безобразно, ужасно старательно приближаем к себе старость, немощь, бессилие. Так всем нам жутко от будущего, так боимся мы его, не верим в него, что и все вокруг начинает мельтешиться, мельчать и... Много здесь горького можно сказать. Только нет во всем этом толку. И нельзя бросаться друг другом» (514).

Однако «бросание» произошло. Отношения восстановились лишь через одиннадцать лет, когда «эпигон и декадент Ю. Казаков» поздравил Конецкого с пятидесятилетием.

В ответном письме (из порта Певек на Чукотке) как памятный знак появляется упоминание о рассказе «Две осени». «И еще я вспоминаю, как ты похвалил меня за “И следы позади оставались темные, земляные, в них виднелась примятая, блеклая, но кое-где все еще с зеленью трава” (это Чехов идет по первому выпавшему снегу в Мелихово). Ты-то забыл, а я помню, как ты заглянул сзади в мое печатанье — и похвалил. Видишь, какие штуки на всю жизнь остаются в памяти! Значит, мало меня хвалили люди, от которых единственных и ждешь похвалы...» (502).

А еще через два года в эпистолярном диалоге возникнут Ялта, Белая дача, тесно вплетенные в собственные жизни.

«Витя, напиши же, в конце концов, как ты и что? Давно ли умерла мама и отчего, и был ли ты в это время в море или при ней? И есть ли у тебя собака? Не покупай собаку, Витя! Ее выгуливать надо, а потом начинаешь ее любить, а потом, когда она помирает, начинаешь страдать, пить горькую и укорачивать и без того короткую свою жизнь. <...>

А помнишь, в Ялте, ежедневную утреннюю редиску, какую-то длинную рыбу, которую я таскал на кухню жарить, и водку, которую ты со стуком ставил на стол?» (Казаков — Конецкому, 18 марта 1981; 538).

«Отвечаю на вопросы. Мама умерла девять лет назад. Одна в квартире, ночью. Как утверждают врачи — во сне, но мне не верится, и потому иногда накатывает ужас за нее. Я в этот момент ехал из Кракова в Варшаву, и она мне приснилась, и я уже знал, что она умерла. И я спокойно верю теперь в телепатию — во всяком случае, между матерью и сыном.

Собаку я не заводил, потому что знаю про все, что ты об этом деле пишешь, — очень ответственное, и чувствительное, и счастливо-грустное это дело.

Ялту, редиску, длинных рыбин и водку, которая в те времена, казалось, лишь веселила, будила мысль, фантазию, веру в счастье, а нынче только угнетает и лишает творческого, оставляю в душе как самое прекрасное в прожитой жизни. И кабачок с музыкантами, и дом Чехова... Обнимаю. В. К.» (536–537).

Адресаты как будто цитируют героев «Чайки» или готовят материал для пятого действия «Вишневого сада»: прошло пять лет после звука лопнувшей струны...

В каждом письме последовательно проходят три мотива:

- смерть мамы;
- собака (хорошо бы собаку купить — не надо покупать собаку);
- Ялта, дом Чехова как одно из лучших в жизни воспоминаний.

Эти мотивы возникли еще в раннем письме: «А ведь мы с тобой в Ялте были. Редиску грызли. Весна была тогда, апрель. И сердца у нас, и желудки тогда болели. И про мам разговаривали, какие у нас мамы» (Кзаков — Конечкому, 10 ноября 1963; 478).

Прошло двадцать лет — и давняя встреча с домиком Чехова, точнее, память о ней, становится паролем, позволяющим восстановить отношения двух, в общем, близких, упрямых, одиноких и не очень счастливых людей

Сохранилось и еще одно письмо, в котором один писатель упрекает и воодушевляет другого Чеховым. «Так что прочитал я твоего “Лишнего” (имеется в виду книга «Третий лишний». — И. С.), прочитал и взяла меня досада, — что это ты, братец, нехорошо себя повел, начал всенародно плакаться. Ты вот подумай только, мог бы Чехов написать такое? Э? И ордена свои поминать?» (Кзаков — Конечкому, 21 ноября 1982, 443).

Через семь дней было написано ответное письмо, к которому автор мемуаров дает примечание: «Письмо это я отправил в 17 часов 28 ноября 1982 года. Плохие сны снились ночью. Утром позвонили из Москвы: Кзаков умер с 28-го на 29-е от диабетического криза и инсульта» (445).

Двойной сюжет посетителей чеховского дома завершился. Но для Виктора Конечкого Чехов остается важным предметом размышлений и сопоставлений еще два десятилетия.

5. «Он всегда прав»

И после рассказа «Две осени» Чехов часто поминается в романе-странствии «За Добрай Надеждой». «Боже, какое счастье, что был на свете Чехов! Все здесь мною читано, в этом томе, но за одну интонацию спокойного и сильного благородства хочется на Чехова молиться...» — цитирует Конечкий дневники 1975 года в повести «Вчерашние заботы», оконченной в 1996-м. Запись сделана в устье Енисея при чтении чеховских очерков «Из Сибири».

Позднее, во время другого плавания он размышляет об «Острове Сахалине», глядя на сахалинские берега, сравнивая то, что было, с тем, что стало.

Прочитав в мемуарах О. Л. Книппер о последней чеховской пьесе с путешествием героя к Северному полюсу, его смертью и проносящейся в воздухе тенью любви

мой женщины, он делает из этого мистического замысла неожиданный практический вывод (возможно, внутренне ироничный): «Вероятно, что своим гением уже в начале века ощущал новую роль Севера в судьбе России».

Он придирчиво, профессионально разбирает ранний чеховский рассказ «В море». «Как ни тяжело об этом говорить, у Чехова есть одно произведение, которое мне не просто не нравится... Оно называется “В море”, подзаголовок “Рассказ матроса” <...> Вот загадка: гениальный человек трижды печатает при своей жизни произведение, написанное на материале, который он знает чрезвычайно плохо» (529–530).

Однако в других случаях признается, что первоначальное впечатление было ошибочно и вынужден согласиться с критикуемым писателем. «Ночью после чтения „вразброд“ сахалинских произведений Чехова мне стало гнусно-стыдно своего бездумного отрицания этих вещей раньше. Кажется, я даже напечатал где-то, что „Сахалин“ можно употреблять вместо люминала, а вот „Мисюсь, где ты?“ — вершина. Все потому, что „Сахалин“-то я ни раньше, ни теперь не читал толком от начала до конца. И вот встретил чеховское „дай мне Бог никогда ничего не говорить про то, чего не знаю“, и душа моя стыдом уязвлена стала» (524).

В этих же записях 1979 года мелькает: «В год моего рождения Чехову было бы всего 69 лет» (530).

Там же — итоговое суждение о чеховском мировоззрении: «Да, в Бога Чехов не верил, но вел себя на этом свете так, чтобы на том свете Богу понравиться. <...>

В этом человеке, чем дольше живу, тем более поражает буквально все. А в самой основе восхищения — примат его воли. Это и жизненных поступков касается, и творчества» (525).

Но, пожалуй, самое существенное суждение Конецкого о Чехове возникает мимоходом, во вводном предложении: «Если Чехов прав (а он всегда прав)...» (528).

Совсем неважно, что последует дальше. Обаяние личности, общее впечатление перевешивает все рациональные аргументы и придирки.

Он всегда прав.

Эпилог

Многие вещи Чехова, как мы знаем, связаны с сюжетом ухода. В жизни Виктора Конецкого Белая дача оказалась включена в сюжет возвращения. По крайней мере, возвращения в памяти.

До конца жизни они с Казаковым перекликались именем Чехова. Это тем более важно, что Конецкий был не хилым филологом, и даже не просто коллегой-писателем, а человеком дела, моряком, который вроде бы мог отыскать множество других более близких примеров и образцов — от Хемингуэя и Экзюпери до своего близкого друга, летчика Марка Галлая.

Чеховской радиацией заражались не только современники, но и потомки, причем не беспомощные чеховские интеллигенты, как можно было подумать, а серьезные люди, моряки, путешественники, хотя и писатели по совместительству. Пусть это заражение носило не массовый характер, но все-таки оно было.

Этот часто невидимый культурный фон, а не только прямые исследования «влияния творчества АПЧ на писателя Имярек» надо тоже учитывать, если мы хотим понять место Чехова в культуре.

А. Терехов недавно мимоходом иронически заметил в очерке об А. И. Солженицыне: «Девушки спустя сто лет не заплачут над его книгами — все авторы руслита (русской литературы. — И. С.) мечтали об этих бледно-розовых чертовых

девушках спустя сто лет. Никаких солдат-контрактников или менеджеров среднего звена»⁴⁸.

Так вот, читатель, который заявляет, что Чехов всегда прав — не тургеневская девушка, а прожженный капитан, несколько раз обогнувший земной шар и умеющий общаться с грубыми моряками, которые, вероятно, поглубже солдат-контрактников, не говоря уж о менеджерах среднего звена.

Культура, в которой такой человек произносит подобную фразу, — это одна культура. Если же в обозримом (или необозримом?) будущем люди, говорящие на русском языке, станут спрашивать, кто такой Чехов (как сегодня уже спрашивают, кто такой Юрий Казаков), — это будут это уже другая страна, другая культура и другая история.

⁴⁸ Терехов А. Тайна золотого ключика // Литературная матрица. Т. 2. СПб., 2010. С. 745.

Владислав БАЧИНИН

ОН ВЗВЕШЕН НА ВЕСАХ И НАЙДЕН ОЧЕНЬ ЛЕГКИМ¹

Смерть, Венеция и игра
в гомоэротический бисер

Маленький шедевр Томаса Манна, его изящная и пикантная новелла «Смерть в Венеции» была написана сто лет тому назад. Но и сегодня она занимает заметное место в мировом художественном пространстве, живет активной социокультурной жизнью не только как литературный текст, но и в виде оперы Бенджамина Бриттена, фильма Висконти, многочисленных театральных спектаклей, радиоинсценировок и т. д.

Судьба героя новеллы, стареющего беллетриста Густава Ашенбаха, оказавшаяся в центре вечной темы *художник-эрос-смерть*, никого не оставляет равнодушным. Он испытывает нечто похожее по силе воздействия на то, что ощутили герои бунинского «Солнечного удара». Там у едущих на пароходе мужчины и женщины вспыхивает влечение, которое ломает все запреты и торжествует. Здесь же тема «солнечного удара» раскрывается не на совсем обычном материале. Для Ашенбаха предметом неодолимой страсти и всепоглощающего вожделения становится красивый четырнадцатилетний мальчик.

Эпатажная противоестественность запретного чувства облачается у Манна в изысканные художественно-эстетические формы, в результате чего возникает этически двусмысленная коллизия. Однако автор достойно выходит из нее, расставив все в конце концов на свои места: в финале повествования героя настигает воздаяние. За порочное вожделение, замешенное на мотивах педофилии и гомосексуальности, он расплачивается преждевременной, почти молниеносной смертью.

Владислав Аркадьевич Бачинин окончил философский факультет Ленинградского государственного университета, аспирантуру Института философии Российской академии наук, доктор социологических наук, профессор. Автор более 700 опубликованных работ по истории религии, философии культуры, социологии, литературы, в том числе более 50 книг, среди которых: «Достоевский: метафизика преступления» (2001), «Византизм и евангелизм» (2003), Малая христианская энциклопедия. Т. 1–4 (2003–2007), «Введение в христианскую эстетику» (СПб., 2005); «Девиантология и теология: от Библии к Достоевскому» (LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co, Saarbrücken, Deutschland. 2012), «Теология, социология, антропология литературы (вокруг Достоевского)» (2012). Победитель открытого конкурса философских трактатов на тему «Возможна ли нравственность, независимая от религии?», проведенного в 2010 году в связи со 100-летием кончины Л. Н. Толстого Российской академией наук и международным фондом «Знание». Живет в Санкт-Петербурге.

¹ «Ты взвешен на весах и найден очень легким» (Дан. 5, 27).

Когда Манн дает пространное художественное описание человеческого желания, то, взятое само по себе, оно ни хорошо, ни дурно и, казалось бы, не подлежит этическим оценкам. Но как только речь заходит о предмете желания и появляются мысли о наиболее вероятных путях, средствах и результатах его удовлетворения, то сразу же заявляет о себе нужда в таких оценках. Более того, эти последние становятся совершенно необходимы, поскольку в описываемом желании нарушены его внутренние пропорции. Оно поглощает человека целиком, превращается в страсть. А поскольку герой явно не хочет «сказать тубо собакам озверевшей страсти», не желает остановиться у роковой черты, то в самом ходе событий появляется и начинает нарастать что-то зловеще-угрожающее.

«Смерть в Венеции», при всей внешней незамысловатости ее сюжета, имеет признаки этического ребуса. Гуманитарная мысль, толкующая судьбу Ашенбаха, оказывается перед непростой задачей. Литературоведческая аналитика, проводящая критический демонтаж структуры шедевра и раскладывающая по полочкам его содержание, не может обойтись без оценочных действий. Но они требуют не только эстетических, но и этических критериев. И вот тут-то возникает вопрос: откуда эти критерии черпать? Где брать те измерители, которые позволят с твердой уверенностью отделить добро от зла и истину от заблуждений? На что опереться уму, который должен внести безупречную этическую ясность в сознание читателя?

Вообразим, что эти и другие, примыкающие к ним вопросы не являются выстрелами в никуда, а адресованы некоему абстрактно-конкретному, условно-реальному и одновременно символично-типичному современному интеллектуалу-гуманитарию. Как бы он на них ответил? И удовлетворят ли нас его ответы?

Предположим, что наш гипотетический критик образован, умен, хорошо знает классическую и современную литературу, неплохо осведомлен в истории древних религий и мифологий, но религиозными предрассудками не отягощен, мыслит сугубо секулярными категориями и не склонен злоупотреблять фигурами назойливой моралистики и скучной дидактики. Одним словом, дадим волю своему творческому воображению и представим себе, ну, например, булгаковского Михаила Александровича Берлиоза из «Мастера и Маргариты» живым и здоровым, живущим в наше славное время и превратившимся из сталиниста в постмодерниста. Он пишет какие-то книги, участвует в литературных дискуссиях, ведет популярные телепередачи, не чужд разным модным веяниям, находится всегда «в тренде» и «в контексте». И вот от него-то, как завязатого эрудита, мы и попытаемся услышать ответы на вопросы, касающиеся «Смерти в Венеции».

Непростая задача, стоящая перед нашим реально-символическим интеллектуалом, усложняется тем, что перед ним открываются, по меньшей мере, три перспективы, расстилаются три пути, по каждому из которых он может двинуться. Первый — это накатанная колея привычных для нашего времени сугубо секулярных толкований без примеси какой бы то ни было мистики. Открыта перед ним также и эстетически весьма привлекательная стратегия мифологизированной интерпретации, позволяющая привлечь неисчерпаемый арсенал древних языческих сказаний и дать изящное и остроумное толкование любого современного культурного парадокса. И, наконец, существует третье направление, отталкивающееся от классического ансамбля библейских смыслов, норм и критериев. Надо сказать, что сам автор новеллы, Томас Манн, пользуется в тексте всеми этими тремя языками — секулярным, мифологическим и библейским — и не торопится отдать явное предпочтение ни одному из них, как бы предоставляя читателю и критику полную свободу в выборе аналитически-оценочной стратегии.

Обратившись к воображаемому Берлиозу II, собравшемуся препарировать «Смерть в Венеции», мы столкнемся с неким довольно странным обстоятельством: обнаружится, что его эстетические рефлексии несут на себе следы какой-то умственной несобранности, непричесанности, сумбурности. Вопрос о том, какую из стратегий предпочесть, перед ним отчего-то не возникает. Он поочередно проделывает по несколько нерешительных шагов то в одном, то в другом, то в третьем направлении и тут же возвращается назад, на исходную развилку. Ум его, по сути, так и остается в состоянии неопределимости своих мирозерцательных оснований, не знает, за что ему окончательно ухватиться, что принять для себя за точку отсчета. Впрочем, чисто количественно в общем круговращении его мыслей преобладают высказывания, устремленные в банально-привычном секулярном направлении.

Эстетика без этики: искусство подмен

Если свести к «сухому остатку» мозаику из предполагаемых оценочных суждений Берлиоза II, то получится гирлянда из нескольких определяющих тезисов. Вот наиболее существенные из них:

- Новелла Манна — это мысленный «разговор художника со своим идеалом».
- Ашенбах как художник был мертв, а «страсть воскресила его, оживила его душу».
- Со стороны мальчика налицо чувство «благодарности» к пожилому господину.
- Ашенбах умер не сухарем, каким был, а «подлинно счастливым человеком».
- Писателя убила «подлинная страсть».

Первое, что бросается здесь в глаза, — это преобладание оценочных понятий в их превосходных, возвышенных степенях («идеал», «воскрешение», «благодарность», «подлинное счастье», «подлинная страсть»). Однако надо прямо сказать, что звучат они хотя и смело, но не слишком оправданно, поскольку принадлежат другой системе ценностных координат, где эстетика неотрывна от этики. Перенесенные же в чуждый им мир, где эстетика вполне комфортно существует в решительном отчуждении от этики, они, похоже, становятся жертвами подмен: их истинные смыслы используются явно не по назначению.

Из этих тезисов видно, как Берлиоз II вписывает все то, что чувствовал, думал и делал Ашенбах, не в графу имморальных, педофильских и гомосексуальных, вожделений, а в реестр вполне благозвучной парадигмы, которая обозначается словом «гомоэротика». И здесь нельзя не отдать должное изобретательности секулярного рас­судка, которая поистине не знает границ. Для нее нет ничего невозможного и недоступного. Во избежание таких грубых слов, как *педофилия*, *мужеложство*, *гомосексуализм*, *педерастия*, изобретается и используется вполне благозвучный термин *гомоэротизм*². Он предназначен обозначать, кроме всего прочего, страстное влечение мужчины к мужчине в его начальной стадии, когда то на девять десятых состоит из переживаний *гомоэстетического* свойства. Между прочим, вот налицо и еще один спасительный, маскировочный термин — *гомоэстетика*, уводящий мысль от этической категоричности в область оценочной неопределенности и расплывчатости. И таких камуфляжных слов можно изобретать несметное множество, чтобы с их помощью возвести высочайшую стену между эстетикой и этикой, между порочными наклонностями и нелепеприятными нравственно-этическими оценками.

² Гомоэротизм — репрезентация однополых отношений и гомосексуального желания в искусстве, прежде всего в изобразительном искусстве и литературе (Википедия — <http://ru.wikipedia.org/wiki/>).

В позиции Берлиоза II просматривается намерение если не поставить все, связанное с «гомоэстетикой», на пьедестал, то, по крайней мере, придать обсуждаемому материалу максимально возможное эстетическое благообразие. Его эстетическая оптика искусно сконструирована и пригодна для самых изощренных форм анализа. Но возникает все тот же неотступный, уже почти сакраментальный вопрос: если налицо эстетическая оптика, то где же все-таки оптика этическая? Ведь оба эти инструментария, эстетический и этический, устроены так, что самой своей природой призваны существовать в неразрывном единстве. И потому их взаимоотношенность не может не породить целого ряда недоумений.

Как быть со «всеми оттенками голубого»?

У оценочных сбоев такого рода имеется своя предыстория. С момента выхода новеллы в свет (1912 год) минуло целое столетие, утекло много воды. Мир стал другим, не став при этом ни лучше, ни нравственнее, ни духовнее. Сегодня «Смерть в Венеции» воспринимается не как скандальный опыт художественной презентации некоего антропологического курьеза, но как вполне приличный, почти академический текст, в котором не просматривается ничего вызывающего, неблагоприятного и тем более скандального.

Ныне культурное сознание, преодолевшее столетнюю дистанцию и оглянувшееся назад, убеждается, что «Смерть в Венеции» была одной из точек, намечавших некую особенную траекторию, отклонившуюся в сторону от прежней, традиционной магистрали культуры. Произошла одна из тех внутренних метаморфоз гуманитарного сознания, которые теперь называют поворотами и сдвигами. Художественный гомоэротизм начала века оказался мягкой формой подготовки последующего гомосексуального сдвига в элитарной и массовой культурах. До поры до времени, пока гомосексуальность нельзя было открыто культивировать и пропагандировать в силу ее откровенной аморальности, замещавшая ее гомоэротика легко преодолевала барьеры моральной цензуры.

Хотим мы того или нет, но приходится признать, что гомосексуальный сдвиг состоялся в культуре модерна не без участия «Смерти в Венеции». Новелла стала одной из художественно-эстетических вех на траектории этого изменения. И дело было отнюдь не в факте описания Томасом Манном известной антропологической девиации. Ведь и в Библии мы находим историю городов Содомы и Гоморры, жители которых были злостными девиантами, бесчинствующими сладострастниками, людьми-пауками, пытавшимися посягнуть даже на ангелов, посланных Богом. Дело в другом: подлинная, серьезная, отнюдь не бульварная, не маркизо-десадовская литература заявила о своем намерении эстетизировать несомненный порок при помощи самых добротных художественных средств. Прежде крупные художники первого ряда не спешили вступать на эту скользкую стезю. Срабатывали внутренние тормоза, включались заградительные нравственные механизмы, и порочные страсти не достаивались высокохудожественной и толерантной дескрипции. Но вдруг как будто что-то изменилось в самом воздухе эпохи, и доселе твердые моральные бастионы стали размягчаться и оседать, и через них в литературу хлынуло все то, что еще недавно считалось запретным. Нравственные ориентиры, которые должны были указывать, где добродетель и истина, а где порок и самообман, оказались сбиты, сорваны со своих прежних мест. И теперь неискушенный потребитель культурной продукции, окунувшийся в литературный квир-текст либо оказавшийся посетителем квир-выставки, зрителем квир-спектакля или квир-фильма, уже не мог разобраться, где правое и левое, верх и низ, свет и тьма.

Повсеместно звучал мощный гул голосов, утверждавших, будто тьма — это свет, зло — это добро, война — это мир, рабство — это свобода, запретное — это дозволенное, порок — это добродетель и т. д.

Пошла полным ходом большая, чреватая непредсказуемыми последствиями игра на понижение, в результате которой душа европейца если и не ушла в пятки, то опустилась в гениталии. Не замедлили появиться услужливые проводники, которые вслед за Фрейдом стали настойчиво рекомендовать отыскивать ее именно там. Тот, кто следовал их советам, уже не мог твердо и однозначно сказать себе и другим, где он находится — в легитимном ли поле культуры или же в пространстве чего-то недолжного, девиантного, имморального, нечистого, а то и просто откровенно низкого, грязного, извращенного.

Но вернемся, однако, к собирательному образу нашего символического Берлиоза II. Уж о ком, о ком, но о нем никак нельзя сказать, что он откровенный апологет имморализма. Ведь он, например, не скупится на жесткие оценки морального облика Венеции, за которой издавна закрепились репутация старинного гнезда пороков, города куртизанок и наемных убийц. И хотя в наше время эти оценки большей частью не оправданны, все же находится немало желающих воспользоваться ими. Но примечательно, что как только речь заходит об отношениях Ашенбаха и Тадзио, оценочная трезвость мгновенно улетучивается из речей нашего интеллектуала и сменяется горячей эстетической апологетикой пикантной контроверзы.

Одна из причин появления фигур выборочного морализирования заключается в том, что содержательная ткань новеллы состоит не из твердых ценностно-смысловых кристаллов, а из мягкой, зыбкой художественной фактуры, готовой принимать разные формы в зависимости от желаний интерпретаторов. Поэтому очень многое зависит от настроения толкователя, от свойств его критического сознания, от направленности его этических воззрений.

Когда это сознание выводит ашенбаховский курьез и сопровождающую его гомоэротическую эстетику за пределы недвусмысленных этических оценок, то это означает только одно — намерение заставить читателя признать за формулой эротического либертинажа право полного господства.

Но тогда возникает очередной вопрос: если допустить, что такая формула действительно достойна признания и заслуживает высокого статуса, то что же тогда делать с другой формулой: «Мне отмщение, и Аз воздам»? Как быть с библейскими заповедями, называющими все, что касается сексуальных отношений между представителями мужского пола, извращением и мерзостью и категорически запрещающими все это? (Лев. 18, 22; 20, 13). Как быть с ответственностью человека за их нарушения? Как относиться к той нормативной системе, за которую западная цивилизация последних двух тысячелетий пыталась держаться всеми силами вплоть до наступления эпохи модерна?

Сделать вид, что этого ничего нет? И предоставить стареющим писателям, поэтам, музыкантам, профессорам, учителям с вожделием смотреть на наших юных сыновей и внуков и волочиться за ними? Не думаю, что среди критиков, готовых благосклонно рассуждать о перипетиях гомоэротики, найдется много таких, кто бы согласился увидеть на месте Тадзио своего ребенка. Не думаю также, что эротические переживания какого-нибудь развращенного сластолюбца, вожделеющего при виде их дитяти, были бы оценены ими при помощи слов «идеал», «благодарность», «подлинное счастье» и «подлинная страсть». Скорее всего, их оценочный словарь оказался бы совершенно другим.

Гомоэротическая сакральность

В новелле налицо фактически два Ашенбаха. Идентичность героя в Венеции изменяется: перед изумленным читателем предстает совершенно другой Ашенбах, разительно непохожий на того солидного, почтенного литератора, каким он был в Германии. Появляется странноватый либертин, эмансипировавшийся от своего добропорядочного прошлого, легковесный, пустоватый, совершенно потерявшийся от нахлынувшего на него увлечения, забывший обо всем на свете и готовый ради своего идола на различные сумасбродства.

Ему не удается вырваться из капкана гомоэротики, в который он попался. У него нет для этого необходимых духовных сил. Он с головой погрузился в атмосферу эротического либертинажа, и это новое состояние ему нравится. Он не борется с «буйным волнением крови», не сторонится источника ранее неведомых ощущений. Он жаждет жаждать, хочет хотеть, желает желать. Внутреннее томление питает его какой-то темной, неизъяснимо притягательной, пьянящей энергией. Внутренних же сил, чтобы оторваться от источника, к которому он припал, повторяю, у него нет. Духовно он крайне слаб. Для него Бог «умер» и библейские запреты мертвы, и это — причина всего остального. То, что он понимает под безмерным, вечным, нераздельным, обозначается для него словом *Низто*. Но на *низто* невозможно опереться, им нельзя напитать свой дух, из него не почерпнуть подлинного, высокого творческого вдохновения. Отсюда сонливая вялость внутренней жизни Ашенбаха. Она частично преодолевается изнурительным трудом дисциплинированного ремесленника, привыкшего ощущать ритмы жизни своего тела и своей души, но жизни духа в себе не чувствовавшего, потому что ее в нем не было.

Где-то в глубине своего «я» Ашенбах ощущал, что в его жизни недоставало чего-то подлинного, настоящего. Иногда к нему вплотную придвигался страх пустоты, разрастающийся и временами принимающий угрожающие масштабы. И вот эта встреча с мальчиком, внезапное приключение, обещающее защиту от пустоты. Раз нет в жизни истинного, высокого, святого, то пусть будет хотя бы это! Пусть оно не истинное, не высокое и не святое, но в моих силах сделать его таким. Надо лишь приложить усилия. И он, создавая свою собственную сакральность, творя себе божка-идола, напрягается изо всех сил, как тяжелоатлет, взявшийся за штангу с чемпионским весом. Поднимая ее, он разрывает себе жилы, вены, внутренности, смертельно калечит и убивает себя. Вес взят, но наградой за победу, которая явно не стоила такой жертвы, становится смерть.

Новая сакральность, сотворенная Ашенбахом из предмета своей гомоэротической чувственности, из поклонения своему юному идолу, так и не успела дать творческих плодов, как он того хотел и как на то надеялся. Но, может быть, это и к лучшему. Ведь не могут быть от дерева худого хорошие плоды и не растут на репейнике смоквы. Да и не прибавилось бы в мире от этих плодов ни добра, ни истины, ни красоты.

Ашенбах, не знавший Бога, не имевший с Ним личных отношений, создал свое собственное сакральное пространство, далекое от Него. Для этого не требовалось каких-либо духовных усилий. Оно творилось как бы само собой. Его конструктором и строителем выступил эрос, находившийся до этого на положении раба, а тут вдруг получивший от хозяина невиданные преференции, ставший господином и тут же превратившийся в беспощадного деспота, которому невозможно не подчиниться. Новый деспот незамедлительно произвел себя в статус бога. Вокруг него образовалось личное сакральное пространство Ашенбаха, в котором не было ни малейшего намека на присутствие истинной божественной трансцендентности.

Чтобы так легко, быстро и бесповоротно попасть в рабство к сотворенному собственными усилиями идолу, надо иметь особый строй души. Прежде всего, она должна пребывать в таком отдалении от Бога, чтобы совершенно не ощущать Его притягательной силы. И это как раз случай Ашенбаха, для которого Бог мертв и не играет никакой роли в его духовной жизни. В результате вакансию в центре ашенбаховской картины мира занял мальчик, явившийся на венецианский берег, подобно ветреной Венере, чуть ли не из пены морской.

Мифологизирующая / языческая оптика

Среди читателей, не склонных осуждать Ашенбаха-либертина, есть не только завзятые атеисты, но и те, кому близка мифоязыческая оптика. Они отчего-то снисходительны к ее почтенному историческому возрасту и к стоящей за ней древней интеллектуальной традиции. Блистательная античность, великий греки, божественный Платон с его литературно-философскими диалогами, рассказывающими о союзе стареющего философа Сократа и прекрасного юноши Алкивиада, выдают современным апологетам гомоэротике весомые индульгенции, прощающие грех мужеложства, оправдывающие и превозносящие все сопутствующие ему философско-эстетические инфраструктуры. Когда Платон в «Пире» сопрягает гомосексуализм с философским творчеством, то порок педерастии утрачивает под его пером свою безобразность и гнусность и предстает в виде вполне благообразной стороны человеческой жизни. С этих позиций даже финал «Смерти в Венеции» выглядит эстетически-возвышенно: мол, красивый отрок, подобно языческому богу-проводнику, уводит душу Ашенбаха в царство мертвых.

Главная черта этой традиции в том, что она не только не выработала набора необходимых защитных механизмов против имморальных извращений человеческой природы, но, напротив, искусно культивировала эти извращения.

Не оттого ли Томас Манн избрал местом действия именно Венецию, воспринимая ее как остаточный фрагмент той античной почвы, на которой греко-римское язычество некогда породило ядовитые плоды апологетики разнообразных сексуальных отклонений?

Современный интеллектуал, охотно пользующийся языком мифологических образов, как правило, неохотно и неумело прибегает к ресурсам библейской интеллектуальной традиции. Даже если в его речах время от времени и мелькают близкие к ней высказывания, то это происходит как-то автоматически, без малейшей рефлексии по поводу их библейского родословия. Так он может употреблять околорелигиозные трюизмы, вроде «смерти Бога» и «знаков Апокалипсиса». Но дальше этого дело чаще всего не идет. Возможность полномасштабного библейско-теологического прочтения той же «Смерти в Венеции» не привлекает наших берлиозов. И не потому, что в ней есть что-то неприемлемое, а просто оттого, что они внутренне не готовы к движению в этом направлении, к использованию тех необъятных аналитических ресурсов, которые несет в себе библейский интеллектуализм. Ни полученное образование, ни имеющиеся ученые степени, ни жизненный и культурный опыт не располагают их к этому.

Библейский интеллектуализм, «похоть очей» и визуальная антропология

Ашенбах по натуре — не деятель, не практик; он — созерцатель. Из созерцаний и плодов воображения он черпает большую часть того, что ему нужно для творче-

ской жизни. Образы занимают его больше, чем сама действительность. Они для него не только буфер между его «я» и внешним миром, но одновременно и ковчег, находясь в котором его воображение плывет в потоке существования.

Созерцая красоту мальчика, Ашенбах-либертин весь уходит в плотское зрение. Мир становится для него эротоцентричным, и «похоть очей» его одолевает. Зато сектор его духовного зрения предельно сужается, и он духовно слепнет. Все смыслы, ценности и нормы, не имеющие отношения к предмету вожделения, для него обесмысливаются, обесцениваются и оттесняются далеко на задний план его внутреннего «я».

Ашенбах не собирается учитывать того, что безумная разгульность плотского зрения таит в себе серьезную опасность, угрожая ему утратой должной глубины самосознания и миропонимания. Мысль, плененная сладострастными созерцаниями, теряет способность погружаться туда, где пребывают корни, истоки, причины, основания сущего и должного. Но там, где нет глубины жизнепонимания, нет и должной высоты духовной жизни. Эта жизнь оказывается мелкой, приземленной. Ашенбах, при всех его, казалось бы, рафинированных эстетических рефлексиях, не глубок и разительно не духовен. Пребывая в сугубо профанном мире, он может еще отдать должное некоторым формам сакрального, что явственно проступает при samozабвенном идолопоклонстве красоте мальчика. Но трансцендентная реальность ему недоступна. Столь высоко его ум не взбирается. А это означает, что и настоящей мудрости ему взять неоткуда. Лишенный же мудрости, он ведет себя крайне легкомысленно и совершенно недостойно. Когда он тащится за мальчиком по улицам, прячась за углами домов, или подкрашивает у парикмахера волосы, глаза и губы, то это смешные и горькие свидетельства того, что даже элементарный здравый рассудок покинул его.

Так продолжается до того момента, пока жизненная ситуация, в которую он попал, не обнаруживает свою дотоле скрываемую грозную сущность и не предстает в роли высшего судьи, вынесшего ему приговор: «Ты взвешен на весах и найден очень легким» (Дан. 5, 27). А это означает, что «исчислил Бог царство твое и положил конец ему» (Дан. 5, 26). Личное беззаконие наказывается личной катастрофой. Обрушивается весь личный мир, гибнет вся личная вселенная. На ее место приходит то самое *нигто*, о котором он за несколько дней до смерти легкомысленно и опрометчиво судил как об одной из форм совершенства. Неосновательность этого суждения можно сравнить разве что с неосновательной смехотворностью косметических усилий парикмахера, который тщетно пытался омолодить увядшую внешность Ашенбаха. Это ли не урок читателю? Это ли не назидание поклонникам гомозротики?

Смерть либертина

Сюжет новеллы обрамлен смертью: она начинается с кладбищенской картины, с погружения мыслей Ашенбаха в «прозрачную мистику» надгробных надписей и завершается сценой отхода героя в вечность. Близ кладбища он внезапно ощутил импульс, который истолковал как жажду странствий. Его дисциплинированная душа и педантичный ум, для которых путешествия были всего лишь некой гигиенической мерой, вдруг как-то необычно встрепенулись. Привычная вялость чувств, придавленных писательской самодисциплиной, исчезла. Прошедший по ним странный трепет показался сигналом того, что предстояло путешествие. Но ему было невдомек, что ожидало его не обычное, земное, а куда более серьезное странствие, устремленное за пределы земной жизни. Это был, как оказалось впо-

следствии, роковой зов смерти, который он понял как простой позыв к обычной туристической поездке в другой город, в другую страну.

«Теперь послушайте вы, говорящие: „Сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль“; вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить: „Если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое“, — вы, по своей надменности, тщеславитесь: всякое такое тщеславие есть зло» (Иак. 4, 13–16).

Ашенбаху, бесконечно далекому от жизнепонимания апостола Иакова, Венеция не принесла ничего из того, что он ожидал. Пару, явившемуся на малое время, предстояло исчезнуть. Город, где он надеялся приятно провести время и с упоением предаваться запретному удовольствию, стал для него смертельной западней.

Писатель, пребывавший в состоянии духовной слепоты, считал себя зрячим. Находящийся во власти высших сил, он полагал себя совершенно свободным. И лишь оказавшись в губительной ловушке, получил возможность убедиться в том, как жестоко ошибался в своем самомнении. Но было уже поздно: времени на исправление ошибок не осталось. Он мог бы их исправить гораздо раньше. За пятьдесят лет жизни это можно было сделать многократно. Но жизнь была потрачена на какие-то другие дела, которые казались важнее всего прочего. И в результате он оказался беззащитен перед натиском темных сил греха и смерти, которые скрутили вначале его духовное существо, а затем убили его физически.

И, конечно же, не мифический бог-красавец умыкнул Ашенбаха в царство мертвых. Мифологические пассажи такого рода красочно-эстетичны, но не убедительны, поскольку этически инертны и мало что объясняют. Душу писателя, подцепленную на приманку греховной страсти, похищает тот дух зла и тьмы, о котором рассказывает Библия. Собственный грех человека, забывшего обо всем, в том числе об ответственности за свои поступки, уводит его в кромешную тьму. Легкомысленно отдавшийся соблазну, погрузившийся в него со сладострастным упоением, он камнем идет на дно.

Почему Ашенбах оказался не защищен от искушения и стал его жертвой? В русле мифоязыческой и секулярной парадигм ответов на этот вопрос нет. Кроме разве что ссылок на то, будто всем заправляет случай: мол, внезапно вспыхнуло желание путешествовать, случайной была встреча с семейством мальчика, импульсивно была съедена зараженная холерой земляника и т. д. И когда авторская воля связала эти случайности в единую причинно-следственную цепь, то последним звеном в ней оказалась смерть. Секулярным сознанием она воспринимается как что-то до дикости несправедливое, путающее все карты, нарушающее приятно-беззаботную картину гомоэротического либертинажа, портящее общее куртуазно-романтическое впечатление от новеллы.

Однако если переместить весь ансамбль мотивов, поступков и событий из секулярного оценочного контекста в контекст библейской парадигмы, то возникнет совершенно иная картина, где смерть выглядит уже не нелепой случайностью, а закономерным итогом, резюмирующим вердиктом. Вся причинно-следственная цепочка встраивается в грозный этический контекст огромной религиозной мощи, где царит закон неминуемой платы за всякое аморальное, безответственное деяние: «Ибо повсюду за грех — смерть» (Рим. 6, 23).

Но Ашенбах-либертин совершенно не склонен мыслить в этих категориях. Он думать не думает и слышать не желает ни о чем подобном. Слово «ответственность» отныне не из его словаря. Попав в Венецию, он окунулся в волшебную

атмосферу упоительного либертинажа. С ним произошла метанойя: ум его перестроился. Одновременно изменилась направленность чувств и поступков. В сущности, это была антиметанойя, поскольку произошло не благое, а, напротив, в прямом смысле роковое, гибельное для него изменение его «я». Ум и душа не очистились, а затемнились. Отныне он чувствовал, мыслил и действовал как либертин, для которого самое важное — это не исполнение моральных предписаний, а следование зову потребности в удовольствиях. В Венеции он распрощался с моральными принципами добропорядочного немецкого бюргера, чьи добродетели трудолюбия и самодисциплины позволяли даже из небольшого таланта извлекать немало пользы и выгоды. Теперь он — мономан, почти обезумевший под гнетом навалившейся на него демонической страсти.

Но уже в первом раунде он проигрывает поединок с демоном вождления. Будь он тверже в своих принципах, имей он более основательный запас духовности, его жизнь была бы спасена. Но, увы, тайна личного беззакония уже в действии, уже написан Вертер, уже произнесены роковые слова о «мертвом» Боге, уже призрак вседозволенности бродит по Европе, и число тех, кто убежден, будто опираться на старые библейские прописи смешно и глупо, превысило все мыслимые пределы. Ныне прочно утвердилось общее убеждение, будто жизнь, не замечаящая этих прописей, весела и увлекательна. В том, чтобы держаться за евангельские предписания, нет ничего интересного, а вот чтобы шагать по жизни легкой походкой влюбленного либертина, необходимы отвага, дерзость, авантюризм. Во всем этом столько интригующей романтики, захватывающей поэзии! Так что прочь ветхие, прогнившие веревки старой морали, которые кто-то пытается набросить на меня! Да здравствуют моя свобода и мое наслаждение!

И сказал ему дьявол: «Поклонись демону сладострастия, поживи в Венеции по своей свободной воле, и я открою перед тобой такие творческие выси и глубины, что весь литературный мир будет у твоих ног». И он вместо того, чтобы сказать: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: “Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи»», исполнил все, что сказал ему дьявол.

Красота — «страшная вещь»

Новелла подтверждает известную мысль о том, что красота — это не только чудо, но и «страшная вещь», где дьявол с Богом борется. Судьба Ашенбаха убеждает в том, что при определенных условиях дьявол может побеждать. Побеждает он, конечно же, не Бога, а человека, в чьем сердце это сражение развернулось. Поражение Ашенбаха было предопределено тем, что Богу он не доверял и фактически не оставил Ему места в своем сердце. Красота была для него не богом, как он наивно полагал, а идолом, то есть демоном, и этот идол-демон победил его и воцарился внутри него. Впрочем, никакой особой борьбы за господство в его душе не было. Мелкая и вялая, она не смогла вместить истинного Бога ни прежде, в Германии, ни здесь, в Венеции. А идолу глубина не требовалась.

Демоническое в его мягких, вкрадчивых формах вползло в жизнь Ашенбаха, проскользнуло в душу, взяло ее в плен, поработило его целиком и под конец убило. И Томас Манн вполне внятно это прописывает. Вот, к примеру, место, где он говорит об Ашенбахе, скрытно преследующем семейство мальчика в их прогулках по Венеции: «Он шагал вперед, повинувшись указанию демона, который не знает лучшей забавы, чем топтать ногами разум и достоинство человека».

С библейских позиций все, что переживает Ашенбах, есть безусловное зло, «похоть очей», греховная страсть. Если бы сам Ашенбах руководствовался этой

традицией жизнепонимания, то он бы поостерегся вступать на этот скользкий и опасный путь. И даже если бы искусительные мысли и чувства стали одолевать его, он, скорее всего, вспомнил бы немало библейских предписаний, помогающих охладить разыгравшееся воображение. В Ветхом Завете Бог предупреждает Каина накануне совершения братоубийства: «У дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним» (Быт. 4, 7). В Новом Завете, в Евангелии от Марка Иисус Христос самым категорическим образом предупреждает о последствиях разнузданной «похоти очей»: «И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную» (Мк. 9, 47).

Тот, для кого эти предписания имеют характер абсолютных императивов, безусловных приказов, и не подумает вступать в спор с ними. Их абсолютный статус таков, что они не обсуждаются, а беспрекословно исполняются. Конечно, безусловное подчинение дается нелегко. Но оно спасительно и целительно во всех отношениях и для тела, и для души, и для ума, и для творчества — одним словом, для всей жизни в целом.

Ашенбах, затеявший свою эротическую интригу, сам того не подозревая, ввязался в чрезвычайно опасное дело, вступил в схватку с гигантской, сверхчеловеческой силой, защищающей бытие от небытия. Имя этой силы — Бог. Полагая, что сила эта умерла, исчезла, Ашенбах жестоко ошибся.

Для него собственная смерть — плата не за созерцание красоты, не за «буйство глаз и поволоде чувств». Она — плата за ядовитую недоброкачественность того, что возрастало в его душе под покровом эстетических созерцаний, в такт с тихими самоубаюкиваниями совести. И коль сам хозяин задремавшей совести не пожелал остановить себя, то вмешался «*deus ex machina*», появилась холера. Тот, Кто сказал: «Мне отмщение, и Аз воздам», включил механизм возмездия, который тут же легким движением смахнул с лица земли венецианского созерцателя, плененного своим идолом.

Смерть оказалась платой за соблазн, за уступку соблазну. Художник, ясно понимавший, что грех стоит у его порога, но не пожелавший властвовать над ним, жестоко поплатился за потакание искушению, за слабость и неисправность своих духовных тормозов. Живущий вдали от Бога, он привык считать, что ему ничто не угрожает. Но стоило только чарам демонических обольщений начать атаковать его, как он тут же потерпел сокрушительное поражение.

Томас Манн хотя и ненавязчиво, но вполне внятно говорит имеющим уши: человеку невозможно жить долго, счастливо, творчески полноценно без опоры на безусловные предписания и абсолютные запреты. Имеющим глаза он указывает на вечную книгу, где этим предписаниям отведено достойное место, где они пребывают в своем изначальном виде и откуда распространяются по всем сферам человеческой жизни и культуры.

Порог нравственного восприятия

Из попыток игнорировать объективность существования всеобщих нравственных повелений и абсолютных запретов ничего хорошего, как правило, не следует. Использование разнообразно мотивированных фигур этических умолчаний неизбежно влечет за собой тяжелые, болезнетворные гуманитарные деформации: грубо упрощаются важнейшие жизненные смыслы, обесцениваются базовые ценности, разрушаются фундаментальные нормы человеческого общежития.

Сегодня прямые этические оценки не в моде. Как редкая птица долетит до сере-

дины Днепра, так и редкий современный читатель осмелится назвать греховную, порочную страсть Ашенбаха греховной, порочной страстью. Как будто эти слова где-то основательно и прочно застряли. В публичных обсуждениях «Смерти в Венеции» недвусмысленные категории педофилии и гомосексуальности не принято упоминать. Рамки эстетической корректности не позволяют пользоваться столь грубо-прямолинейными понятиями, способными вносить нежелательную диссонансность в приятную атмосферу интеллигентных салонов. В них могут звучать высокоумные выступления молодых и зрелых берлиозов, рассыпаться мелкий интеллектуальный бисер, но при этом главная нравственно-этическая коллизия, серьезнейшая религиозная проблема *греха-ответственности-возмездия* так и останется в тени.

Создается впечатление, будто современное гуманитарное сознание в своем отношении к таким реалиям, как феномен Ашенбаха, успело сползти в некое имморальное пространство, располагающееся существенно ниже *порога нравственного восприятия*. Оно как будто утратило должную моральную чувствительность, необходимую остроту нравственного слуха и зрения, требуемую восприимчивость к огромному сектору жизненных смыслов и духовных ценностей. Томас Манн, описав *феномен Ашенбаха* как антропологический эксцесс и этическую аномалию, не утратил нравственной чувствительности. Текст новеллы не стал апологией греха, поскольку за «цветущей сложностью» порочной страсти последовало суровое возмездие, уничтожившее грех вместе с его носителем.

Другое дело — гуманитарии XXI века. Среди них немало тех, кто находится по сю сторону порога. Те нравственно-оценочные механизмы, которые должны у них включаться при столкновениях с реалиями такого рода, как феномен Ашенбаха, серьезно повреждены и не выполняют своих функций. Эстетика Манна привлекает их внимание и скрупулезно исследуется, а его этика остается невостребованной. Эстетическое сознание трудится в полной мере, а этическое сознание практически бездействует. В результате корабль гуманитарной аналитики, плывущий по волнам литературных дебатов, начинает от такого дисбаланса крениться набок и черпать бортом воду... Что его ожидает, мы не знаем. Но Бог знает.



Год культуры

Юлия ЩЕРБИНИНА

ВНАЧАЛЕ БИЛО СЛОВО

Слова действительно являются сильнейшим
из наркотиков, применяемых человечеством.

Редьярд Киплинг

Что ни день — опаньки: у нас новое слово! Чем бы дитя ни тешилось — названия найдутся. Охмурил девушку — ты *пикапер*. Организовал презентацию — *культуртрегер*. Подрался спьяну на официальном мероприятии — *траблмейкер*. Применил нехитрые приемы для решения бытовых задач — *лайфхакер*. Развлек детишек на празднике — *аниматор*. Бросил курить и начал бегать по утрам — занялся *велнесом*.

Покупки (точнее, *шопинг*) тоже дело непростое: в моде нынче *бадлоны*, *свитишоты*, *лонгсливы* и прочие *худы*. Одним словом — *оверсайз*. В переводе: водолазки, толстовки, фуфайки и хэбэшные кофты с капюшоном, все — свободного покроя. Смущает неблагозвучная фуфайка? Замените футболкой с длинным рукавом.

В спорте (пardon, *фитнесе*) также ни слова в простоте: *сандбег*, *болстер*, *бодибар*... Только тссс, никому не говорите, что это всего-навсего тренировочный мешок с песком, мягкий валик для йоги и обыкновенная гимнастическая палка. Слово — оно, и только оно превращает палочку из простой в волшебную.

Точно так же обыкновенный подогреватель еды превращается в замысловатый *стимер*, заурядная пивнушка — в уважаемый *паб*, нехитрая закуска — в модный *снэк*, надоевший компот — в оригинальный *смужи*, обычный творожный сыр — в благородный *кварк*, простая вода — в особую, *бутилированную*.

Вся окружающая действительность — «модельное агентство», поставляющее стандарты речи, стереотипы речевого поведения. Коммуникация — словесное «дефиле», шествие по красной дорожке языка (не случайно «дискурс» дословно с греч. «бегать туда-сюда»). Вопрос: кто выступает в роли лексических кутюрье? Ответ вроде бы лежит на поверхности: публичные авторитеты, причем преимуще-

Юлия Владимировна Щербинина — филолог, профессор Московского педагогического государственного университета. Основная специализация — речеведение, коммуникативистика. Занимается исследованиями дискурсивных процессов в разных областях культуры.

ственно медиаперсонажи (ведь если человека нет на телеэкране и в Интернете — значит, нынче его вовсе нет). Видные общественные и культурные деятели, известные журналисты, статусные политики, популярные артисты, влиятельные бизнесмены — вот кто прежде всего задает языковую моду, так или иначе вводит в повседневный обиход те или иные слова, выражения, обороты речи.

Однако если поразмыслить глубже, то личностная привязка слов окажется скорее частной возможностью, нежели общей закономерностью. Стоит посмотреть масштабнее — и станет очевидно: появление, распространение, усвоение речевых форм стихийно, хаотично, неуправляемо. Вряд ли в наше время можно говорить о персонификации словесной власти. Ведь зачастую мы совершенно не помним, где, когда и от кого узнали новое слово, — но мы его присвоили, включили в индивидуальный оборот и считаем «своим».

Не менее очевидно и то, что незнакомые нам слова в речи статусных лиц нередко вызывают недоверие и даже отторжение, а вовсе не желание пополнить персональный словарь. Возьмем конкретный пример — интервью главного редактора издательства «Ад маргинем» Александра Иванова «Бизнес-газете» Татарстана: *меппинг, фидбэк, лонг-селлер, ворк-шоп, фиксин-развлечения*. Добавить, что многие читатели названного издания не особо ведают и вряд ли используют употребленные в том же интервью *медиашум, тренд, кэш*¹ — и получится вполне убедительное доказательство последнего тезиса.

Так что же все-таки первопричинно и первородно — предмет или слово? Явление или речь о нем? Тот, кто сказал, или то, что сказано? Традиционный ответ давно известен, но в современных условиях, где перевернулись и исказились все категории, изменился и порядок установления отношений. Порой начинаешь замечать: сначала возникает слово — и параллельно возникают соответствующие социальные, культурные, бытовые практики. Человек цепляется за ранее неизвестное ему понятие — и начинает встраиваться в систему открывшихся значений, инсталлировать свое мышление в новую лексическую систему.

ВНАЧАЛЕ БИЛО СЛОВО.

Однако постмодерн изменил не только формы мироустройства — он изменил характер, способы и механизмы отношений между вещами и их названиями. Конфуцианская идея «исправления имен» и древнегреческие споры о «природе имени» рассматривали реально существующие предметы и относительно устоявшиеся, предустановленные понятия. Лингвокультура новейшего времени принципиально иная: слова не только именуют новые реалии, но и порождают вовсе... несуществующие.

Если принять тезис А. Ф. Лосева о мире как «совокупности разной степени затверделости слова», то современный мир представляется предельно размягченным, очень пластичным и переменчивым. В нем уже не вещи требуют имен, но сами имена бродят в поисках материальных оболочек.

Причем проблема отнюдь не в «старом и новом слоге» и не в банальных варваризмах — чуждых и ненужных иноязычных заимствованиях, о которых рьяно спорили еще «шишковисты» с «карамзинистами». Брюзжать по поводу «засилья иностранщины» в эпоху глобализации попросту бессмысленно. Проблема совершенно в другом: искусственные слова, обозначающие мнимые понятия, создают пространство псевдосмыслов. Точно так же можно измазать лицо краской, сделать отпечаток на бумаге и назвать портретом.

¹ Александр Иванов: «Конкуренции нет, и это касается не только книжного рынка. У нас похожая ситуация с авиацией» // Бизнес-газета. 2013. 7 декабря.

Такие слова — костыли сознания и котурны мысли. Они превращают ничтожное в значительное, низменное — в возвышенное, ненужное — в полезное. Используя технологическую метафору, эти слова еще можно уподобить девайсам — вспомогательным речевым устройствам для комфортного существования в современных условиях, коммуникативным приспособлениям для средовой адаптации, достижения жизненного успеха, повышения социального статуса, профессиональной реализации и т. п. Так семантические связи трансформируются в социальные связи, так отношения между словами превращаются в отношения между людьми. Эти связи и отношения заметно спекулятивны и во многом симулированы. Аналогично понятию *информационный шум* пора ввести понятие *семантический туман*.

Вряд ли стоит говорить о тотальном засилье искусственных («как бы типа») слов, но вполне можно заметить, что они уже образовали некую параллельную вселенную, особую логосферу и обозначили смысловые доминанты современности. Условно эти слова-подмененши можно распределить по трем кластерам:

- виды деятельности (псевдопрофессии);
- формы речи (квазижанры);
- способы и инструменты создания высказываний (паратехнологии).

Рассмотрим каждый из них подробнее.

Кафедра бубна

Изобретение псевдопрофессий имеет у нас достаточно давнюю и весьма яркую историю. Первая заметная волна реноминаций хлынула в постсоветское время. Проститутки стали кликать *путанами*, поскольку те стали брать за свои услуги «зелеными», а не «деревянными». Кладовщики решили стать *мергендайзерами*, так как трудились теперь не в универсах, а в супермаркетах. Нянечки хотели называться *беби-ситтерами*, потому что смотрели уже не за простыми ребятами, а за отпрысками нарождающихся бизнесменов. Охранники желали именоваться *секьюрити*, ибо стерегли драгоценные тела все тех же бизнесменов. Штат уборщиц превратился в *клининг-персонал*. Конторы переименовались в *офисы*, обеденные перерывы — в *кофе-брейки*, праздничные мероприятия — в *корпоративы*. Закупщики превратились в *байеров*, виночерпии — в *сомелье*, садоводы — в *ландшафтных дизайнеров*, маникюрши — в *специалистов ногтевого сервиса*. Даже уличные зазывалы — и те стали *промоутерами*, поскольку зазывали уже не простых прохожих, а все тех же байеров, мерчендайзеров и специалистов ногтевого сервиса.

Постиндустриальная эпоха принесла новые профессии: *брейдер*, *постинджер*, *си-садмин*, *супервайзер*, *лайф-коуч*, *тайм-менеджер*, *арт-терапевт*, *веб-садовник*, *гастрономический журналист*... Но это вполне нормально и закономерно. На сломе эпох мы были эстетамы и жаждали красоты. На этапе укоренения в новой жизни мы были педантами и стремились к номинативной точности.

Нынче мы пошли гораздо дальше: названия профессий начали прирастать словами, обозначающими симулятивные и имитационные виды деятельности. *Нутрициолог*, *космохирург*, *персональный шопер*, *ивент-маркетолог*, *участник MLM-сети*. К вечным русским вопросам «Что делать?» и «Кто виноват?» впору добавить еще один, едва ли не самый актуальный: кто все эти люди? А «всех этих» людей — отправить на кафедру бубна из знаменитой КВН-репризы «Уральских пельменей». Кафедра бубна пускает пыль в глаза, втирает очки, вешает лапшу на уши; занимается псевдонаукой и псевдопреподаванием.

В настоящее время за профессию нередко выдается некий набор прикладных

умений и частных навыков, притом зачастую не предполагающих специального обучения. Главное не *быть*, а *слыть*. Этакая профи-хлестаковщина. Эрзац-опыт без научной основы, без социальной потребности, без опоры на культурную традицию.

Особо можно говорить о псевдодеятельности в области писательства, сочинительства и — шире — создания текстов вообще. Про *блогеров* говорить не интересно: их уже давно препарируют в научных работах и делают персонажами анекдотов. Но в блогосфере есть более специфические, узпрофильные «профессии». Например, *созинитель отзывов на книги*. Думаете, ерундовое занятие? Ан нет: в организованной компанией OZON «Книжной премии Рунета» есть спецноминация «Лучший книжный блогер» и соответствующее звание — «Человек слова».

Еще в Интернете водятся *буктуберы* (англ. book — книга + tube — канал) — ведущие персональных литературных онлайн-видеоканалов. Упрощенно: видеооператоры на литтемы. Адресуясь самой широкой аудитории, рядовые интернет-пользователи на правах профессионалов от библиоиндустрии рассказывают о своих книжных покупках, пересказывают сюжеты произведений, отзываются о прочитанном, обозревают и комментируют. У нас сие занятие только набирает популярность, а в Европе и США вовсю процветает; слово «буктубер» зафиксировано в словаре «Urban Dictionary».

Есть и другие, не менее популярные занятия, связанные с сочинительством. Например, *сторителлер* — профессиональный рассказчик историй. **Английская калька «сторителлинг»** означает нарративный способ обмена информацией, используемый преимущественно в бизнесе и психотерапии. В ход идут как готовые притчи, легенды, сказки, так и реальные жизненные случаи, и самостоятельно придуманные рассказы. История должна быть яркой, запоминающейся и «трансформирующей», то есть дающей стимул и импульс к каким-либо изменениям в сознании слушателей.

Методика пользуется спросом, разработаны специальные упражнения, проводятся тренинги, выпускаются практические пособия. Соединивший эстетику с прагматикой, приспособивший древнейший подход к новейшим условиям сторителлер — сказитель новейшей формации, этакий Боян с айфоном. Еще в 2003 году возникло русскоязычное интернет-сообщество Narratoria. В 2013-м российское издательство «Манн, Иванов и Фербер» выпустило перевод книги Аннет Симмонс «Сторителлинг. Как использовать силу историй».

Любителям больше читать, чем говорить и слушать, может приглянуться работа *бета-ридера* (англ. бета-тестер + читатель) — эксперта, дающего по запросу автора предварительную оценку произведения перед его публичным обнародованием и/или отправкой в издательство. В задачи бета-ридера входит выявление ошибок любого рода, смысловых пропусков, неоправданных повторов, сюжетных нестыковок, стиливых недочетов, сложных для восприятия фрагментов². Иногда также требуется экспертиза соответствия написанного представлению, восприятию и запросам целевой аудитории. В зависимости от конкретной ситуации бета-ридер совмещает функции редактора, корректора, внутреннего рецензента, литературного критика, маркетолога и даже библиопсихолога. Чаще всего такую работу выполняют друзья или близкие автора; реже — наемные специалисты. Иногда их можно идентифицировать по разделу «Благодарности» в уже выпущенной книге.

Работа, безусловно, нужная и важная, но все же рутинная и не имеющая четкого функционала, чтобы считаться подлинной профессией, как считают иные амбици-

² Подробнее см., например: Барякина Э. Бета-ридер: человек, который первым читает книгу // Avtoram.com: интернет-портал.

озные работники пера. Суждения, замечания, оценки бета-ридера нередко проходят по категории явной вкусовщины, балансируя между частным отзывом и дружеским советом. Однако бета-ридерству порой придается статус гиперзначимости, а сам бета-ридер кичится своей причастностью к чужому тексту. Особенно часто такое можно наблюдать на сайтах фанфикшна — любительского сочинительства по мотивам и сюжетам популярных книг, фильмов, интернет-игр.

Желающим не читать чужое, а писать свое — прямая дорога в *рерайтеры* (англ. *rewriting* — переписывание), переработчики текстов с изменением формы изложения при сохранении оригинального смысла и фактической основы. Рерайтинг применяется для текстового наполнения сайтов и повышения релевантности информационных материалов в поисковых системах, при передаче и тиражировании сообщений информационных агентств в СМИ, а также при использовании чужих проектов, рефератов, дипломов и т. п.

Основные приемы рерайтинга — перефразирование, синонимические замены, перевод прямой речи в косвенную, переструктурирование абзацев, изменение грамматического строя предложений. При этом часто используются специальные компьютерные программы-трансформаторы (см. далее). Специально выделяют и особо ценят SEO-рерайтинг — оптимизацию текстового документа под поисковые интернет-системы для улучшения его ранжирования. Метод предполагает включение в заданном количестве в исходный текст определенных слов и фраз, по которым страница с текстом будет продвигаться в поисковых системах и успешно проходить фильтрацию на уникальность³.

В зависимости от сферы конкретной деятельности и поставленных задач специалиста по рерайтингу называют *райтер*, *технический писатель*, *контент-писатель* (англ. *content* — объем, содержимое), а иногда и просто «заливщик». Рерайтер — техническая услуга компьютерного инженеринга, журналистики, отчасти педагогики и, конечно, спекулятивной науки, выдающей компиляции и плагиат за оригинальные исследовательские разработки.

Если же у вас не просто потребность писать, но именно творческий зуд — добро пожаловать в *гострайтеры*, сочинители книг на заказ. Правда, при этом придется наступить на горло тщеславию и амбициям, отказавшись от собственного имени и подписываясь псевдонимом, а то и просто отдавая свои труды фиктивным авторам. Изначально услугами гострайтеров пользовались преимущественно во вне-творческих целях — для создания текстов публичных выступлений, имиджевых речей, деловой литературы, официальных биографий, семейных историй. Однако затем эта прикладная деятельность прочно вошла в художественную сферу и обрела статус «профессии». Безымянные наемные авторы обслуживают не только производителей массовой литературы, но и получивших серьезное признание писателей, для которых обрабатывают черновой и/или «доводят до кондиции» готовый текстовый материал⁴.

Гострайтер лишь на первый взгляд представляется творческим работником — на поверку его труд строго регламентирован, до предела формализован и определен множеством условностей. Не случайно само слово происходит от англ. *ghost* (дух, тень) и дословно означает *писатель-призрак*, *призрак пера*; а его синонимы сплошь

³ Подробнее см., например: Алешин Л. И., Гузев Ю. С. Рерайтинг — переработка текстов своими руками: учебно-практическое пособие. М.: Литера, 2011.

⁴ Подробнее см., например: Горалик Л. Его зовут Лабиринт // Грани.ру: интернет-газета. 2001. 13 марта; Басинский П. Книгтеры // Русский курьер. 2007. 31 июля; Коваленко Ю. Литературный негр против трех мушкетеров // Известия. 2010. 12 февраля; Жуков В. Как стать писателем за 60 минут... и даже меньше. М.: НТ Пресс, 2007.

пренебрежительны и ироничны: *hackwriter* (англ. «литературный поденщик»); *книггер* (искаж. контаминация «книга + негр»); *литературный негр* (калька с фр. *nègre littéraire*); *литраб* (сокр. от «литературный работник»); *афролитератор* (ирон. произв. от «литературный негр»). Не случайно также данный род занятий применительно к художественным текстам часто обозначается эвфемизмами вроде *творческий помощник*, *литературный секретарь*, *литературный обработчик*, *художественный редактор* и др.

Не менее очевидно и то, что само гострайтерство во многом основано на интеллектуальном паразитизме (заказчика) и спекуляциях (исполнителя). Примечательно, что еще в 1999 году автор «Толкового словаря обществоведческих терминов» Н. Е. Яценко охарактеризовал использование услуг гострайтеров как один из путей возникновения плутократической формы собственности, то есть «такой системы экономических отношений и деловых связей, которая определяет присвоение различных благ не по труду и не по способностям, базируется на незаконных формах присвоения общественного продукта».

Псевдопрофессии на ниве речетворчества уже стали источником фантазий для... самих писателей. Так, герой романа Юстейна Гордера «Дочь циркача» — литературный фабрикант, продавец книжных сюжетов. В романе Джаспера Форде «Дело Джен, или Эйра немилосердия» герой — агент литературной полиции, которая ловит преступников, покушающихся на литературных персонажей. Герой «Медведок» Марии Галиной избрал не менее благородное ремесло — он пишет на заказ произведения, оказывающие терапевтическое воздействие на клиентов, избавляя их от комплексов и душевных страданий. Название романа Мерси Шелли (Алексея Андреева) «Худловары. Или Страшная правда о писателях» говорит само за себя: герои — «специалисты по худлу», язык — «вирус», литература — «болезнь»...

Итак, писателем нынче может назвать себя любой человек: издавший книгу за собственный счет или выложивший ее в Сеть, рядовой блогер и популярный певец, школьник-двоечник и высоколобый интеллектуал. Иногда даже не обязательно что-то публиковать — достаточно стать, например, покупателем телефона Vertu от компании **Rush PLC**, которая решила увековечить имена своих клиентов: каждый приобретатель аппарата из коллекции Signature с корпусом из драгоценного металла, украшенным бриллиантами, сапфирами и рубинами (цена от 26 тысяч), может стать героем литературного произведения⁵. Фирма разослала 400 состоятельным россиянам именные «удостоверения писателей» и предложение «вписать свою главу в книгу Vertu». Стиль и жанр — на выбор: от мелодрамы до приключенческого романа.

Вместо резюме — знаменитое пелевинское: «Криэйтором, Вава, криэйтором, творцы нам тут на х... не нужны!»

Занимательное стихоплюйство

Псевдосочинительство вызывает к жизни соответствующие ему типы текстов, порождает квазиформаты и квазижанры.

Наиболее аутентичными и иллюстративными можно считать «нерукотворные» произведения — сгенерированные компьютерными программами и получившие собирательно-обобщенное название *киберлитература* (и даже короче — *кибература*). В некоторых источниках в качестве синонимов используются также понятия *компьютерная литература*, *цифровая литература*, *электронная литература* (не

⁵ Горелова Е. Роман с бизнесом: продакт-плейсмент в книгах // Ведомости. 2008. 10 ноября.

путать с цифровой книгой!). Ее основу составляет нелинейный текст (гипертекст), а базовым критерием успеха является высокая скорость производства.

Один из первых отечественных опытов — созданная еще в 1991 году простенькая программка «Стихоплюй», содержащая базу слов с указанием ударных и безударных слогов и возможностей рифмовки. Программа выдавала псевдостихотворения, составленные из случайно подобранных слов, но с учетом ударений и рифм. Через десять лет Сергеем Тетериным был создан уже технически более сложный проект «Кибер-Пушкин: стихи из машины»: в компьютер были заложены размер стиха, правила рифмы и лучшие образцы русской поэзии. «Кибер-Пушкин» прогремел в австрийском Museumsquartier, был представлен в Третьяковке, красовался в Эрмитаже. Публика восторгалась тетеринской изобретательностью, но читать творения машинного «поэта» не рвалась.

Массовое распространение в России компьютерное сочинительство получило в 2008 году — после создания романа «Настоящая любовь» программой PC Writer 1.0, база данных которой содержала тексты 17 писателей, а за основу была взята «Анна Каренина». По свидетельству разработчиков, на сочинение сего опуса машине понадобилось лишь три дня, и последующая литературная правка была минимальной. Плюясь от зависти, Толстой босиком ушел из Ясной Поляны скитаться по бескрайним просторам Сети...

Однако, несмотря на массивную издательскую рекламу и ажиотаж в Интернете, текст не вызвал массового интереса и не был принят большинством экспертов. Так, Андрей Степанов беспощадно назвал его «случаем так называемого вранья», «текстом удручающе бездарным» и иронически предложил издателям «гораздо более перспективный проект: роман, написанный собакой»⁶. Что ж, добавить к этому нечего, кроме разве что «лайка», только не собачьего, а блогерского. И еще, наверное, вопроса: чего здесь больше — смелого экспериментаторства, творческой симуляции или торжества все той же интеллектуальной плутократии?

С киберпрозой конкурирует киберпоэзия, наиболее заметным направлением (или популярной технологией?) которой можно считать *фларф* (англ. сленг. flarf — нечто неприятное, дурацкое, фривольное) — создание стихотворений с использованием поисковых интернет-систем и компьютерных программ⁷. Тексты, написанные с привлечением компьютера как «поэзогенератора», получили также обобщенные названия *человеко-машинная поэзия*, *гугл-поэзия*, *яндекс-поэзия*, *спамопоэзия*, *поэзия поисковых запросов*.

Изобретатель фларфа Гарри Салливан определил его как «своего рода коррозионную, симпатичную или надоедливую ужасность». Специфические свойства фларфа: намеренная концентрация ненормативных и эрозивных элементов языка путем грамматической несогласованности, «опечаточной логики», орфографических девиаций, смысловых нестыковок и т. п.

Дальше — круче: за писателями и поэтами потянулись... ученые. 3 августа 2012 года авторитетный математический журнал «Advances in Pure Mathematics» принял статью от генератора текстов Mathgen, подписанную именем вымышленного профессора Marcie Rathke из несуществующего университета Южной Северной Дакоты. Полностью (от аннотации до библиографического списка) написанная маши-

⁶ Степанов А. PC Writer 1.0. Настоящая любовь // Прочтение. 2008. 2 июля.

⁷ Подробнее см., например: Суховой Д. А. Графика современной поэзии: Дис. <...> канд. филол. наук. СПб., 2008; Оборин Л. Фларф, поэглы и спамоззия: как это делается // OpenSpace. 2010. 1 октября; Сундуков А. «Рифматор»: почувствуйте себя заправским рифмоплетом // Планета iPhone. 2013. 21 июня.

ной статья называлась незамысловато: «Независимые, отрицательные, канонические стрелы Тьюринга в уравнениях и задачах прикладной формальной PDE». Через десять дней редакция направила «автору» поздравительное письмо: текст принят к печати! Увидеть свет сему достославному творению помешала разве что скупость его подлинного создателя — математика Натана Эддриджа, решившего не платить пятисотдолларовый взнос за публикацию.

Конечно, все эти опыты и опусы можно не воспринимать всерьез, а просто побрязжать или посмеяться, исключая даже мысль о том, что подобное квазитворчество способно потеснить «настоящую» литературу. Между тем за беззаботным зубоскальством нередко скрывается тревожный симптом. В качестве метафорической его иллюстрации украинский писатель Алексей Надэмлинский приводит следующий исторический случай: в начале XX века Сергей Уточкин на одесском ипподроме катал всех желающих на аэроплане — и один бравый генерал высказался о воздушных полетах как о бесполезной вещи, способной разве что развлекать народ. Спустя несколько лет генерал погиб на германском фронте от бомбы, сброшенной с немецкого аэроплана...

Квазижанры разрастаются с заметной скоростью, захватывая все новые уголья изящной словесности. Причем вовсе не обязательно прибегать к помощи компьютерных программ или копаться в интернет-поисковиках — в ход идут самые обыденные вещи и подручные средства. На этом основана, например, предложенная еще в 1913 году французским художником Марселем Дюшаном творческая практика *реди мейд* (англ. *ready-made* — букв. «сделанный из готового»), представляющая в качестве произведения уже существующий предмет или готовый текст, построенная на обыгрывании реальной вещи в новом контексте, ее изъятии из среды утилитарного функционирования и перемещении в сферу искусства.

Один из методов авангардного искусства и ведущий принцип дадаизма, *реди мейд* оказался невероятно востребован постмодерном, став одновременно концептуальным и технологическим приемом для целого ряда экспериментов в сфере литературного творчества⁸, в частности — *фаунд-поэтри* (англ. *found poetry* — букв. «найденная поэзия»; контекстный синоним — поэзия «готовых слов»), которая обнаруживает эстетическое содержание в текстах иной функциональной направленности и «присваивает» эти тексты, подвергая творческой обработке и переработке.

Популярность *реди мейда* навязчиво волнообразна. Но если, скажем, в 1979 году опыты Михаила Гробмана по изготовлению стихов-коллажей из заголовков журнала «Америка» носили явно маргинальный характер, то спустя тридцать лет технология *блэкаут* (англ. *blackout* — букв. «затемнение»; контекстный русский перевод — «зачеркнутые стихи») Остина Клеона, создающего поэтические тексты вычеркиванием слов из газетных колонок, сделалась предметом всемирного обсуждения и оказалась в центре внимания экспертов.

В схожей — конструктивистско-аппликативной — технике выдержан другой, не менее востребованный нынче квазижанр *блог-роман*, или *блук*, основу которого составляют записи в персональных интернет-дневниках⁹. По одной версии, название

⁸ Подробнее см.: Неклассические письменные практики современности: Коллективная монография / Под ред. Т. В. Шмелевой. Великий Новгород, 2012; Степанов А. Д. Минимализм как коммуникативный парадокс // Новый филологический вестник. 2008. № 2 (7). С. 5-29; Губайловский В. Искусство памяти // Дружба народов. 2012. № 5.

⁹ Подробнее см., например: Левкович-Маслюк Л. Информативный и циничный блук // Компьютерра. 2005. 18 октября (№ 38); Биргер Л. Клики книжку // Ведомости. 2006. 18 августа; Галина М. Блог-романы // Знамя. 2007. № 3; Формула появления блуков / Пер. А. Макаровой // Seonews.ru: интернет-портал. 2007. 3 июля.

происходит от механического соединения английских слов *blog* (сетевой журнал) и *book* (книга); по другой версии — это производное от «looks like a book» (*букв. англ.* «выглядеть как книга»).

Среди наиболее известных российских блог-романов — «Владимир Владимирович™» Максима Кононенко, «Дневник 2002–2006» и «Дневник 2006–2011» Александра Маркина, «Путь ежика» Леонида Каганова, «Год жизни» Евгения Гришковца, «Убить эмо» Юлии Лемеш, «Бутырка-блог» Ольги Романовой, «Любовь к истории» Бориса Акунина.

Помимо увлеченности сетевыми откровениями и общением в соцсетях, высок интерес к технике *вербатим* (*лат.* «дословно») в документальной драме и новейшей прозе. Если в интернет-дневниках материал все-таки редактируется, то в вербатим-произведениях реальные монологи и диалоги лишь отбираются и монтируются в соответствии с авторским замыслом.

«Живые» истории нынче вообще на пике популярности. Их тиражирование возведено в эстетический принцип, поставлено на поток и запущено как соцсоревнование: у кого круче повороты биографии, драматургичнее судьбы, головокружительнее жизненные виражи. Но достоверность и документальность — разные понятия. Бытовое правдоподобие отнюдь не критерий художественной подлинности.

В этой связи весьма симптоматичен особо пристальный интерес литературной критики к вышедшему в 2013 году дебютному роману Антона Понизовского «Обращение в слух», значительная часть которого составлена из реальных интервью, собранных автором в лечебных и торговых учреждениях. Произведение было напечатано тиражом 50 тысяч, вышло в финал премии «Большая книга». Преувеличенные восторги и дифирамбы — словно бы от неведения, что задолго до Понизовского у нас были (и есть!) Светлана Алексиевич и Людмила Петрушевская. Про последнюю еще в советские годы ходил миф, будто ее рассказы и пьесы не что иное, как перенесенные на бумагу магнитофонные записи.

Популярность вербатима тем выше, чем отчетливее ощущение фальши реального бытия и отсутствия вкуса к жизни. Вербатим не просто восполняет нехватку чувств, но более того — имитирует их отсутствие. «Чувства уходят, остается какой-то стон, затиснутый меж тэгов и баннеров», — справедливо заметил переводчик Дмитрий Коваленин в «Дискуссии о Сетературе».

Профицит креатива при дефиците эмоций. Кстати, это тоже отражается в языке. Раньше говорили: *меня это трогает, волнует, впечатляет*. Сейчас говорят куда проще: *доставляет!*

Того же самого — квазихудожественного, суррогатного, эрзацного — происхождения не менее популярные жанры массовой литературы *фанфик* (*англ.* fan fiction) и *мэшап-роман* (*англ.* mashup)¹⁰. Первый трансформирует идеи, сюжеты, персонажей оригинального произведения в производный текст его поклонников и эпигонов; второй — имплантирует в классические сюжеты элементы современного хоррора.

Появление фанфиков принято связывать с научно-фантастическим журналом «Sprockanalia» (1967). Мэшап начался с «Гордости и предубеждения и зомби» Сета Грэм-Смита (2009), после которого последовали не менее популярный «Андроид Каренина» Бена Уинтерса и множество других подобных текстов. В 2011 году издательство «Астрель» выпустило первый отечественный мэшап «Тимур и его команда и вампиры» авторства Татьяны Королевой.

Идейная новизна, приращение смыслов, эстетическая ценность здесь весьма

¹⁰ Подробнее см., например: Антоничева М. Роман с зомби // Знамя. 2012. № 1.

сомнительны. Вместо творческого поиска и жанрового прорыва — имитация, комбинирование, перестановка слагаемых без изменения суммы. Это тот же самый рерайтинг, только на ниве художественного сочинительства. Сферы разные — технологии одинаковые.

Той же квазиприроды — устойчивая мода на *ремейки* (новые версии и интерпретации ранее изданных произведений) и *новеллизации* (создание вторичных произведений по сценариям либо сюжетам кинофильмов, сериалов, компьютерных игр). Не менее показательна активная спекуляция самим понятием «ремейк», что, по справедливому мнению М. В. Петровой, «указывает на приоритетность ремейка в массовой коммуникации» и «делает его поистине модным аспектом повседневной жизни»¹¹. Из художественной сферы ремейк переключивается в самые разные виды деятельности — для подтверждения этого тезиса исследователь приводит примеры употребления слова применительно к... футбольному матчу, новой модели «Нивы», парфюмерной продукции и даже голодовке Ходорковского. И, видать, близок час, когда начнут создавать фанфики мэшапов, а потом делать их ремейки.

В квазижанрах есть поле для фантазии, но нет пространства для мысли. То есть сама мысль присутствует, усилием слова все же прорастая сквозь замысловатый сюжет, пробиваясь через хитросплетения отношений героев, — однако ей негде развернуться, не в чем развиваться, некуда двигаться. Налицо очевидный парадокс: напрямую апеллируя к уже существующим текстам, эти произведения предельно герметичны и изолированы от жизни. Они наследуют не общенациональной культуре, а породившим их субкультурам. Они коммуницируют лишь сами с собой, в них нет диалога между автором и читателем.

Основная цель пишущего — самовыразиться, сказать свое слово. Отклик интересен лишь как эхо собственного высказывания, отзвук персональной речи, но не как чужое (другое) слово. В такой системе понятие «Другой» вообще нивелируется, обнуляется и автоматически исчезает — остается только «Я». По сути, это то же самое «занимательное стихоплюйство».

Заметна и другая особенность квазижанровых текстов: все они выражено механистичны и процедурно выверены. Процесс их создания определяется не перинатальной (родовой), а технической метафорой: они не вынашиваются и не рождаются, но конструируются, кроются, вытачиваются, склеиваются и т. п. Это не организмы, а механизмы. Или даже электроприборы, работающие от розетки маркетинга на переменном токе потребительского спроса.

Причем в отличие от традиционной массовой (в известной теории Дж. Кавелти — «формульной») литературы, основанной на типовом наборе сюжетных, идейных, образных схем, литература квазижанровая создается из полностью готовых элементов. То есть она даже не моделируется по предлагаемым образцам, а отливается из заготовок. Это комплект заранее отформатированных слов, набор готовых речевых форм — этакое «лего-лого». Подобное сочинительство живо напоминает импатику — литературу будущего, спрогнозированную в фантастическом романе Юрия Никитина «Великий маг»; гибрид собственно литературы, компьютерной игры и кинофильма, основанный на новых элементарных устойчивых образах — «импах».

Авторы квазипроизведений вполне способны на художественный *вымысел*, но не способны на творческое *изобретение*. Как вращение калейдоскопа лишь меняет

¹¹ Петрова М. В. Ремейк как социокультурный феномен // Ярославский педагогический вестник. 2009. № 3 (60). С. 165.

конфигурацию имеющихся элементов, но не создает принципиально новых узоров. В подлинной литературе перестановка и замена слов онтологически невозможны, тогда как квазитворчество изначально основано на механической комбинаторике, произвольном сочетании разнородных элементов. Синтез подменяется эклектикой. Это становится одновременно и целью, и средством, и инструментом создания текста. Основной принцип — эффект ради эффекта.

Именно поэтому квазижанры так легко упорядочить, каталогизировать, разместить на полки книгоиздательских форматов, что и делают педантичные редакторы, маркетологи, дистрибьюторы. И это уже даже не постмодернизм, а его самоисчерпание. Тотальное замещение естественного искусственным. Энтропия речи.

Бестселлер за/на час

Как верно заметил Вальтер Беньямин, «в основании литературного мастерства лежит отныне не специальное образование, но многообразие техник, оно в известном смысле становится общим достоянием». Применяя техники, каждый может сочинять, создавать тексты. К таким техникам логично приписать приставку «пара-», которая указывала бы на их условную, относительную причастность к подлинному творчеству. Все они в лучшем случае «возле» и «около» настоящего писательства, а в худшем — «мимо» и «вне».

Можно рассматривать три вида паратехнологий создания текстов:

— *автоматические* (существующие в виде готовых компьютерных и онлайн-вых программ, не требующие участия человека либо предполагающие его минимальную вовлеченность);

— *дидактические* (учебные пособия, практические руководства, сборники рекомендаций, просветительские брошюры);

— *процедурные* (специальные приемы, особые способы текстопорождения).

Так, софт для писателей представлен множеством программ, среди которых наиболее известны *yWriter* (позволяет разбивать произведение на главы и сцены, добавлять персонажей, вносить комментарии); *yEdit2* (имеет функцию ограничения количества символов, что облегчает создание текстов для литконкурсов); *Delirium generator* (позволяет создавать иллюзорно осмысленные тексты); *CELTx* (помимо текстов, позволяет работать с графикой, аудио, видео); *RHYMES* (подбирает рифмы на основе множества словарей); *Fresh Eye, Word Tabulator* (дают статистику слов и словосочетаний, выявляют тавтологии и трудночитаемые фрагменты); *XMind* (сервис для составления ментальных карт для наглядного изображения и пошагового воплощения идей); *Liquid Story Binder XE, Scrivener* (текстовые редакторы с функциями заметок, тезауруса, таблиц, шаблонов сюжетных зарисовок, создания резервных копий книг и мн. др.); *Dramatica Pro* (программа для разработки сюжетных линий, анализа отдельных эпизодов произведения, редактирования характеристик героев); *Russian Word Constructor* (алгоритмический генератор неологизмов).

Особое место занимают так называемые *синонимайзеры*, или *инонимизаторы*, — программы, позволяющие изменять текст посредством близких по значению слов из имеющейся базы и продуцировать из одного исходного текста ряд содержательно одинаковых, но написанных разными словами. Синонимайзеры бывают десктопные (устанавливаются на компьютер; например, *Generating The Web, USyn*) и серверные (располагаются в Интернете; например, *Sinonimy.ru, Seosin.ru*). Более частные различия заключаются в объемах и составе баз данных и наборах дополнительных функций.

Помимо компьютерных помощалок, нет отбоя и от живых помощников, гордо именующих себя «литературными наставниками» и выпускающих соответствующие руководства. Книги по написанию текстов самых разных жанров (проза, стихи, театральные и киносценарии, деловые письма, ведение блогов, создание афоризмов) заполнили российский рынок с конца 1980-х. Что ни год — то новое издание, оригинальное либо переводное: Ю. Никитин «Как стать писателем и заработать миллион», Э. Барякина «Справочник писателя», Т. Неретина «Искусство беллетристики», Ю. Вольф «Школа литературного мастерства», Д. Ягер «Писателями не рождаются», Т. Любовская «52 способа написать бестселлер», А. Парабеллум «10 дней для создания книги», У. Зинсер «Как писать хорошо», Д. Фрэй «Как написать гениальный роман», Р. Макки «История на миллион долларов», Я. Франк «Муза и чудовище: как организовать писательский труд», М. Леви «Гениальность на заказ»... Переиздаются и советы от именитых авторов, например: «Слова» Сартра, «Радость писательства» Брэдбери, «Создание научно-фантастических романов» Желязны, «Как писать книги» Кинга.

Гуру от писательства выступают как сольно, так и коллективно, организуя разовые мастер-классы, авторские курсы для начинающих авторов и целые школы «креативного письма» (*англ.* creative writing). Так, активно рекламирует свою «Школу писательского мастерства» издатель и бизнесмен Сергей Лихачев из Самары. Известен интернет-проект Артема Васюковича «Твоя первая книга». Популярны дистанционные курсы Андрея Воронцова. В 2013 году Московская городская организация Союза писателей России, Союз писателей-переводчиков и Лига писателей Евразии запустили образовательный курс коммерческой литературы. Задача: «за шесть месяцев сделать из новичка востребованного писателя, сотрудничающего с крупнейшими издательствами России». Ни больше ни меньше! Чаше всего вступающим на писательское поприще предлагают комбинированные техники, сочетающие несколько подходов к развитию и совершенствованию литературных способностей. Среди самых часто упоминаемых: наблюдение и фиксация заметных явлений, фактов, событий; моделирование общения с реальными людьми и ролевые перевоплощения в вымышленных персонажей; написание тематических аметок, отчетов, этюдов, эссе; комбинирование случайно и целенаправленно отбираемых слов по заданным образцам; составление словарных списков и лексических карт; поиск и творческая обработка новой, необычной, оригинальной информации; трансформация текстов других авторов (создание продолжений, жанровых вариаций и т. п.). Конкретные методики и частные рекомендации различаются концептуальными подходами, степенью оригинальности, сложностью практического воплощения. Так, многие литнаставники наследуют традициям американской риторики, исходя из того, что «перед листом чистой бумаги (или клавишами и экраном компьютера) все равны» (Н. Басов «Творческое саморазвитие, или Как написать роман»). В книге А. Цукермана «Как написать бестселлер» способ создания художественного текста сформулирован уже в подзаголовке: «Рецепт приготовления суперромана, которым будут зачитываться миллионы». Писательство уподобляется кулинарии, автор — повару¹². В статье Р. Флореску «Технология управления сюжетом в научной фантастике» предложена модификация «четырёхэтажной лестницы», или «эвроритма», Г. Альтова, дающая возможность развивать фантастические идеи, ситуации и сюжеты. Почитать подобные руководства — увериться в том, что научить сочинять можно точно так же, как кататься на коньках, заниматься икебаной или составлять индивидуальные гороскопы. При этом все посо-

¹² О пищевой метафорике в сфере современного книгоиздания и литературных практик — см.: Шербинина Ю. Дикта(н)т еды // Нева. 2012. № 7.

бия кричат об уникальности (пардон, *эксклюзивности*) предлагаемых методик. Твори, выдумывай, пробуй — и будет тебе цунами творческой активности, море новых идей, океанские глубины мысли. Так ведь, не ровен час, и захлебнуться можно! Существуют также специальные, имеющие самостоятельные названия технологии различного уровня сложности. Проще всего создать какой-либо текст, используя элементарный *копипаст* (англ. copy-paste — скопировать-вставить; от англ. названия операций текстовых редакторов: копирования и вставки из буфера обмена) — механическое комбинирование фрагментов из одного или нескольких источников, иногда даже без итогового редактирования. Такой текст заведомо может содержать логические нарушения, зияния на границах цитат и, как следствие, быть неинтересным и малоинформативным. Между тем именно к копипасту прибегают нерадивые студенты при написании рефератов, некомпетентные журналисты в ситуации аврала, амбициозные, но косноязычные блогеры, выдающие чужие мнения за собственные. При более осмысленном подходе и претензии на самостоятельное творчество предлагается использовать *кьюбинг* (англ. cubing) — генерацию идей и целостных текстов путем изменения фокуса внимания и преодоления стереотипов мышления-речи¹³. Кьюбинг относят к тренировочным (разминочным, «разогревающим») техникам и применяют в журналистике, дизайне, контент-менеджменте, а также в художественном сочинительстве. Методика предлагает задания, связанные с уровнями познавательной деятельности (знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка) по Бенджамину Блуму. Для тренировки необходимо выбрать материальный предмет со сложной топологией (скажем, игрушку, чашку, статуэтку) и как можно более полно и подробно описать его качества, свойства, особенности, возможности применения, а также возникающие ассоциации, мнения, оценки. Затем — повернуть предмет на 90 градусов и опять описать, не дублируя ответы. Процедура кьюбинга предполагает описание вещи с каждой грани гипотетического куба — в шести ракурсах (отсюда название). Аналогичные операции проводятся при создании текстов: необходимо представить минимум шесть разных точек зрения при разработке какой-либо темы, концепции, идеи, тем самым генерируя «информационное поле» вокруг исследуемого объекта. Назвать кьюбинг новым словом в создании новых слов вряд ли возможно. Еще в классических учебниках риторики широко тиражировано упражнение по описанию яблока с использованием речемыслительных моделей — топов, или «общих мест» (род и вид, часть и целое, причина и следствие, etc.). Для натур романтических, не приемлющих рационализации творчества и ратующих за свободный полет фантазии, — не менее модная нынче технология *фрирайтинг* (англ. freewriting — букв. «свободное письмо»; возможные русскоязычные синонимы: простописание, вольное самовысказывание) — выработка сочинительских навыков с помощью спонтанного произвольного безостановочного письма. В результате, как уверяют специалисты, возникает временная блокировка критического мышления (так называемого «внутреннего цензора»), происходит преодоление эмоциональных барьеров, устранение информационных помех, высвобождение творческих ресурсов. Психологические механизмы фрирайтинга обоснованы в теории психоанализа и активно пропагандируются рядом современных практических психологов (Джулия Кэмерон, Питер Элбоу, Марк Леви и др.)¹⁴. В России последних лет фрирайтинг набирает все большую популярность у начинающих писателей, блогеров, журналистов, специалистов в сфере рекламы и пиара. Как и кьюбинг, эта технология

¹³ Подробнее см., например: Колесник В. Креативные методы // www.kolesnik.ru: персональный сайт Виталия Колесника. 2009. 8 августа.

¹⁴ Подробнее см., например: Кэмерон Д. Путь художника. М.: Гаятри, 2008; Леви М. Фрирайтинг: современная техника поиска креативных решений. М.: Эксмо, 2011.

явно не отличается ни новизной, ни оригинальностью. Прямые аналоги фрирайтинга обнаруживаются в целом ряде давно известных интеллектуальных практик: «автоматическом письме» Бретона, «потоке сознания» Джойса, творческих экспериментах Беккета, бредогенерации (например, знаменитая задача-вопрос Л. Кэрролла «Что общего между вороном и столом?»). Приемы фрирайтинга реконструируются также из черновых рукописей, записных книжек, писем, дневников писателей-классиков: Гюго, Бальзака, Франса, Гоголя, Достоевского. Вспоминаются, например, гоголевские наставления обуреваемого ленью Владимира Соллогуба. Так, Соллогуб сетовал: «Не пишется». Гоголь отвечал: «А вы все-таки пишете... Возьмите хорошенькое перышко, хорошенько его очините, положите перед собой лист бумаги и начните таким образом: “мне сегодня что-то не пишется”. Напишите это много раз кряду, и вдруг вам придет хорошая мысль в голову». Не правда ли очень похоже на фрирайтинг?

Возникает проблема оценки: как относиться к формализованным процедурам и «особым» технологиям текстопорождения? Ответ неоднозначен. Конечно, можно получить вполне качественный оригинальный текст, но и то лишь в случае, если автор обладает какими-то способностями и проявляет добросовестность в работе. Гораздо чаще возникает так называемый *паразитный текст* — созданный за счет эксплуатации чужого интеллектуального труда¹⁵ (см.: Караковский А. Паразитный текст и массовое книгоиздание // Вопросы литературы. 2011. № 3). В сущности, это все та же плутократия в сфере словесности. Набор спекулятивных манипуляций, создающих ложный эффект изменения либо приращения смыслов.

В поисках лектона

Попавший в плен слов-подмененшей начинает жить в подмененном мире, напоминая героя известного анекдота: «Ты зачем в шкаф залез?» — «Нарнию искал!» Но нечисто находится некто, способный задать нам этот вопрос. Все активнее и все чаще *псевдавторы* создают *квазитексты*, используя *паратехнологии*. Как автопортреты, сделанные мобильником перед зеркалом, давно стали показателем дурного вкуса, но с завидной регулярностью продолжают появляться в блогах и соцсетях. И все очевиднее: слова не просто отрываются от своих смыслов и начинают жить непонятной, причудливой, хаотической жизнью — они уже начинают творить собственную реальность, создавать новые предметы и понятия, претендующие считаться настоящими. И уже давным-давно никем не ведется «спор о названиях» — они входят в нашу речь без разрешения и даже без стука. И мы все дальше и дальше от того, что у древнегреческих стоиков называлось *лектон* — «чистый смысл». Лектон — трудноформулируемое, сложно определяемое на современном языке понятие, которое в наиболее общем виде можно представить как словесно оформленное исходное содержание, нейтральное по отношению к значениям, но так или иначе соотносимое с действительностью. Нечто умопостигаемое, а не чувственно-воспринимаемое. А. Ф. Лосев в «Истории античной эстетики» описывает лектон как «словесную предметность физического тела», «смысл высказываемой предметности»; словесный атрибут, лишенный какой бы то ни было положительной или отрицательной оценки, «безразличный» к внешним воздействиям. Лектон — субстанция, устанавливающая объективные отношения между словами и вещами, приводящая предметы и их названия в гармоническое соответствие. Нейтральный и безоценочный лектон стоиков противопоставлен платоновским «эйдосам» — идеальным образам предметов. По Лосеву, «идея была не чем иным, как

¹⁵ См.: Караковский А. Паразитный текст и массовое книгоиздание // Вопросы литературы. 2011. № 3.

слепым и безотчетным представлением, лектон же трактовался как осмысленная конструкция, являющаяся предметом разумного высказывания». Последнему «свойственна своя имманентная истинность, не всегда соответствующая объективной истинности материальных вещей». Где и как искать лектон в мире развоплощенных смыслов? Может, нужен новый исихазм? Речевой покой, режим безмолвия, словесная отрешенность. Намеренный отказ от знания того, что искажает речевую картину мира и множит паразитные тексты. Возможно, необходима словесная диета, вербальное самоограничение? Жесткий отбор лексических единиц для индивидуального употребления. Строго критическое осмысление всего, что слышим и читаем. Либо стоит отважиться на прорыв — к живому истоку Речи, к естественному состоянию Языка? Заменить суррогат вербатима «реальным театром» из романа Павла Крусанова «Мертвый язык», где актеры живут и умирают не понарошку, а взаправду, по-настоящему. Или надо просто перестать постоянно потреблять чужое, присваивать готовое — но обретать свое? Не придумывать слова для несуществующих вещей, а самим стать *воплощенными словами*, постепенно возвращая Слову утраченный статус Дела. Или... Press any key to continue.

ИСКУССТВО ЧТЕНИЯ

Алексей МАШЕВСКИЙ

«ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА»
Горация и принцип
дополнительности
(к вопросу о неклассичности классики)

Говоря об *aurea mediocritas* Горация, принято ссылаться на десятую оду, посвященную Лицинию Мурене из второй книги од поэта:

Тот, кто золотой середине верен,
Мудро избежит и убогой кровли,
И того, в других что питает зависть, —
Дивных чертогов¹.

Алексей Геннадьевич Машевский родился в 1960 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский электротехнический институт (1983). Работал в Физико-техническом институте АН СССР, вел разделы литературы и публицистики в журнале «Искусство Ленинграда» (1990), «Арс» (1992). Преподает в педагогическом колледже. Печатается с 1983 года. Автор книг стихов: «Летнее расписание» (Л., 1990); «Две книги» (СПб., 1993); «Признания» (СПб.: Арсис, 1997); «Сны о яблочном городе/Свидетельства» (СПб.: Urbi, 2001), «Вне времени» СПб, 2003), «Пространства и места» (СПб, 2005), «Древо желаний» (СПб, 2010) и книги эссе «В поисках реальности» (СПб, 2008). Печатает стихи и критические статьи в журналах: «НМ», «ДН», «Речитатив», «Звезда», «Постскриптум», «Знамя». Член СП СССР с 1991 года. Лауреат премии журнала «Звезда» (1999). Живет в Санкт-Петербурге.

¹ Пер. А. П. Семенова-Тян-Шанского.

В таком виде проповедуемый Горацием принцип и впрямь можно счесть апофеозом жизненной умеренности, чуть ли не посредственности, возведенной в идеал. Так и делали. «Возможно, что, получив место, позволяющее ему достигнуть *aurea mediocritas* Горация, г-н Сент-Бев, соблазнившись благополучием крысы в сыре, перестанет писать!..» — едко замечал Бальзак в «Письмах о литературе, театре и искусстве»². Ромен Роллан в «Жан Кристофе» обмолвился: «Она сразу же возмущалась, раздражалась, называла “мещанской пошлостью” убеждение, что можно и должно быть счастливой, исполняя домашние обязанности и довольствуясь *aurea mediocritas*»³.

В предисловии к собранию сочинений Горация В. С. Дуров разъясняет: «К идее “золотой середины” Горация привело убеждение в непрочности всего существующего. Проповедь умеренности и воздержания, звучащая в стихотворениях Горация, — основополагающий элемент так называемой “горацианской мудрости”, чрезвычайно популярной в Новое время. Источник счастья — в золотой середине»⁴. Как видим, и здесь *aurea mediocritas* трактуется прежде всего в смысле житейском, бытовом.

Глубже других всеобъемлющее значение «срединности» мировоззрения поэта⁵ понял М. Л. Гаспаров, писавший в предисловии к сочинениям Горация: «Если попытаться подвести итог... обзору идейного репертуара горациевской поэзии и если задуматься, чему же служит у Горация этот принцип золотой середины, с такой последовательностью проводимый во всех областях жизни, то ответом будет... слово... *независимость*. Трезвость за вином обеспечивает человеку независимость от хмельного безумия друзей. Сдержанность в любви дает человеку независимость от переменчивых прихотей подруги. Довольство малым в частной жизни дает человеку независимость от толпы работников, добывающих богатства для алчных. Довольство малым в общественной жизни дает человеку независимость от всего народа, утверждающего почести и отличия для тщеславных. “Ничему не удивляться” (“Послания”, I, 6), ничего не принимать близко к сердцу, — и человек будет независим от всего, что происходит на свете»⁶.

В этом перечислении отсутствует, быть может, самый важный аспект горацианской *независимости*: свобода от обусловленности собственным суждением, любой занятой тобой позицией — жизненной, политической, нравственной, эстетической, философской. И давала ему эту независимость лирика. Только «умеренность» у него, страстного, знакомого с полетами как любви, так и фантазии человека, была странной. Поэт, запросто признающийся в том, что воздвиг себе при жизни бессмертный памятник, ощущающий себя парящей в небе белой птицей («Лебедь»), как-то не производит впечатление умеренного.

Прочитаем знаменитую 37-ю оду из первой книги:

Теперь — пируем! Вольной ногой теперь
Ударим оземь! Время пришло, друзья,

² Бальзак О. де. Литературно-критические статьи / Бальзак О. де. Собр. соч. в 24 т. 21. М., 1998. С. 213.

³ Роллан Р. Жан-Кристоф. <http://tululu.ru/a14595>

⁴ Дуров В. С. Поэт золотой середины. Жизнь и творчество Горация / Гораций. Собр. соч. СПб., 1993, С. 16.

⁵ Тут просто напрашивается сопоставление со срединным путем Будды, предостерегавшим от крайностей и гедонизма и аскетизма, понимаемых как законченные системы жизнестроительства, делающие исповедующего их человека заложником принятой доктрины.

⁶ Гаспаров М. Л. Поэзия Горация / Квинт Гораций Флакк. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. М., 1970. С. 28.

Салийским угощеньем щедро
Ложа кумиров почтить во храме!
В подвалах древних не подобало нам
Цедить вино, доколь Капитолию
И всей империи крушеньем
Смела в безумье грозить царица

С блудливой сворой хворых любимчиков,
Уже не зная меры мечтам с тех пор,
Как ей вскружил успех любовный
Голову. Но поутихло буйство,

Когда один лишь спасся от пламени
Корабль и душу, разгоряченную
Вином Египта, в страх и трепет
Цезарь поверг, на упругих веслах,

Гоня беглянку прочь от Италии,
Как гонит ястреб робкого голубя
Иль в снежном поле фессалийском
Зайца охотник. Готовил цепи

Он роковому диву. Но доблестней
Себе искала женщина гибели:
Не закололась малодушно,
К дальним краям не помчалась морем.

Взглянуть смогла на пепел палат своих
Спокойным взором и, разъяренных змей
Руками взяв бесстрашно, черным
Тело свое напоила ядом,

Вдвойне отважна. Так, умереть решив,
Не допустила, чтобы суда врагов
Венца лишенную царицу
Мчали рабой на триумф их гордый⁷.

Оды Горация более всего поражают своей смысловой полнотой, тем, что им совершенно не свойственна шаблонность высказывания. Поэт, искренне ликующий в стане победителей (никакой умеренности: вино льется рекой, возносятся благословения богам), прославляющий мудрость и силу Августа, осуждающий высокомерие и «безумие» Клеопатры, внезапно заканчивает стихотворение нотой неподдельного восхищения поверженной царицей. Она, только что изображенная как «вакханка» и трусливая беглянка, вдруг предстает перед нами воплощением твердости и бесстрашия. В решимости ценой жизни лишить Августа торжества триумфатора Клеопатра побеждает своих победителей. Поди разберись, на чьей стороне поэт, кому в его оде принадлежит нравственное превосходство. А вот именно, что никому и каждому.

⁷ Пер. С. В. Шервинского.

Можно, конечно, утверждать, что Гораций таким образом занимает политическую «золотую середину», компенсируя восхваление Августа данью уважения его противникам. Но в оде нет и намека на умеренность «нейтрала». И в ликовании по поводу виктории, и в восхищении мужеством Клеопатры Гораций абсолютно бескомпромиссен. Получается, что радость от победы в то же самое время выступает как скорбь по благородному и достойному противнику. «Золотая середина» оказывается не равнодушной траекторией между двумя крайними чувствами, а их страстным антиномичным наложением.

Методология Горация в высшей степени интересна: всякое свое высказывание он не доводит до логического завершения, не формулирует некоего универсального принципа. Напротив, каждый раз, словно оспаривая только что высказанную мысль, он противопоставляет ей полярную, звучащую столь же убедительно, парадоксально исходящую из того же источника — целостно чувствующей и постигающей мир души. Как музыкальные темы в симфонии, сталкиваясь и расходясь, эти разнонаправленные «мысли» под конец стихотворения замирают в парадоксальном гармоническом отождествлении. Причем что важно: никакого снимающего противоречия синтеза в подводящем итог силлогизме у Горация нет. Противоречия не снимаются, а как бы являются нам в убедительной необходимости парадоксального сосуществования, которую опознает впадающее в катарсис сознание. В некотором плане каждый раз осуществляется гносеологический прорыв — мы принимаем как закономерное то, что, вообще-то говоря, наш разум по природе своей не может принять: смысловую обоснованность абсурдного. Нам каким-то образом удается опознать смысл в том, что для логики выступает тотальной бессмысленностью бытия. Но «живет» этот смысл лишь в силовом поле лирического высказывания, из которого невозможно сделать никаких окончательных практических выводов.

Банальность поэтических тем лишь подчеркивает неочевидность их разрешения. Вот поэту нужно воспеть в оде подвиги полководца Агриппы, ближайшего сподвижника Августа. Отказаться нельзя. Отказ был бы вызовом и однозначно заявленной политической позицией. И дело даже не в том, что Гораций не хочет выглядеть диссидентом. Он им и не является, он вполне лоялен установившейся власти, прекратившей террор и смуту. Но и восторга по поводу «героических свершений» на полях гражданской войны наш поэт не испытывает. К тому же подобная ода с самого начала известно из чего «приготавливается», лирическому чувству здесь вовсе негде разгуляться. Воспевать Агриппу поэт не хочет прежде всего по эстетическим соображениям. Находится гениальное решение: написать оду о том, как он, Гораций, не может написать оду в честь такого героя, как Агриппа, ибо его поэтического таланта недостаточно для прославления столь славных дел. Опять перед нами воплощенное противоречие: отказ от похвалы, который одновременно является высшей похвалой, причем такой, в которой при полном уважении к объекту восхваления сохраняется чудесный привкус иронии, направленной как на Агриппу, так и на самого себя. Так патетика, удерживая всю унаследованную еще от од Пиндара серьезность (вплоть до образов Марса и «Мериона, что крыт пылью троянскою»), дополняется анакреонтической шутливостью:

Я пою о пирах и о прелестницах,
 Острый чей ноготок страшен для юношей,
 Будь я страстью объят или не мучим ей,
 Я — поэт легкомысленный.

Внутренняя сложность содержания Горациевых од соответствует языку поэта, ставшему образцовым и с точки зрения его ясности, отточенности, и с точки зрения поразительного разнообразия, способности аккумулировать все потенциальные возможности и сложности латинской речи. Здесь опять антиномичный подход: писать просто языком богатым и сложным.

Интересно, что историки литературы неизменно обращали внимание лишь на одну сторону «классического» дара Горация, интерпретируя «золотую середину» как принцип последовательного рационализма. Лосев, анализируя «Послание Пизонам», замечал: «Вдумываясь во все эти советы Горация, нетрудно сформулировать... их общую тенденцию. Ясно, что она заключается в учении о координированной раздельности и рациональной индивидуальности стиля, как в сравнении со всем прочим, что не есть стиль, так и внутри его самого. Все эти наставления о единстве, ясности, простоте, непротиворечивости, равно как и учение об усовершенствовании поэта, сводятся именно к этому. Все должно быть просто, раздельно, закончено, рационально оформлено — и в поэтическом произведении, и в самом поэте, то есть все должно быть подчинено законам классицизма»⁸. И это сказано о поэте принципиально антиномичном, внутренне необыкновенно сложном и страстном! Другое дело, что он пытается держать себя в руках, выглядеть вежливым и умеренным, сдерживать злую иронию, замещая ее добродушной шуткой.

Замечательно, что Гораций, безоговорочно признаваемый мировым литературоведением классиком, своим *aurea mediocritas* фактически прокламирует (или, по крайней мере, на практике осуществляет) то, что много позже, уже в XX веке будет названо **принципом дополнительности**, выражающим неклассический характер современной методологии.

Восходящий к Нильсу Бору, этот принцип предполагает, что для полного описания квантовомеханических явлений необходимо применять два взаимоисключающих («дополнительных») набора классических понятий, совокупность которых дает исчерпывающую информацию об этих явлениях как о целостных. И. С. Алексеев поясняет: «Ход мысли... у Н. Бора таков. Обычно (классическое) описание природы “покоится всецело на предпосылке, что рассматриваемое явление можно наблюдать, не оказывая на него заметного влияния”. Иное положение дел в квантовой области. “Согласно квантовому постулату, всякое наблюдение атомных явлений включает такое взаимодействие последних со средствами наблюдения, которым нельзя пренебречь”. Это взаимодействие представляет собой неделимый, индивидуальный процесс, целостность которого воплощается в планковском кванте действия. А поскольку взаимодействие наблюдаемых микрообъектов и средств наблюдения имеет неделимый характер, то “невозможно приписать самостоятельную реальность в обычном физическом смысле ни явлению, ни средствам наблюдения”»⁹.

У Горация его оды и становятся своеобразным «планковским квантом действия», поскольку взаимодействие наблюдаемых жизненных феноменов и сознания поэта-наблюдателя имеет неделимый характер (это вообще характеристическое свойство лирики), откуда и вытекает невозможность приписать им самостоятельную реальность в «обычном физическом смысле». Можно сказать, что мир в лирическом стихотворении неотделим от переживающего его поэта и от самого переживания. А это означает, что «низкие истины» действительности не существу-

⁸ Лосев А. Ф. Античная литература. <http://antique-lit.niv.ru/antique-lit/losev/index.htm>

⁹ Алексеев И. С. Методологические принципы физики. История и современность. М.: Наука, 1975. Гл. VIII.

ют сами по себе и с необходимостью нуждаются в дополнении «возвышающим обманом» авторской идеологической установки, которая, однако, никак не может претендовать на тотальность. Иная идеологическая установка (иной *прибор* в терминологии Бора) приведет к иному «результату» описания «объекта-мира», столь же правомерному, как и предыдущий. Обычно это и реализуется в том, что поэт в различных своих стихах весьма убедительно высказывает противоположные воззрения на один и тот же предмет, постоянно впадая в логические противоречия. «Золотая середина» Горация лишь узаконивает этот принцип, распространяя его на каждый лирический текст: поэт, отождествляя нетождественное, оказывается как бы «равноудален» от категорических суждений и оценок, вытекающих из определенной идеологической, философской, эстетической системы.

Можно сказать и иначе, снова обратившись к процитированной выше 37-й оде: **рациональное** утверждение закономерности и благодатности победы Августа над Клеопатрой *дополняется* у Горация **арациональным** чувством восхищения героичностью поверженной царицы, что находит воплощение в «золотосрединности» фиксируемого эмоционально-смыслового состояния лирического субъекта, как бы говорящего одновременно «да» и «нет». Принцип дополнительности в современной философии по преимуществу и осмысливается как «дополнительность между рациональной и иррациональной сторонами действительности и ее познания»¹⁰. Впрочем, на наш взгляд, корректнее было бы говорить об арационализме, поскольку понятие иррационального содержит в себе заведомо отрицательную модальность (на практике та же самая рациональность, только со знаком «минус»).

В сущности, Гораций лишь наиболее полно воплощает в своей поэзии свойство любого лирического высказывания, основанного, как это было показано Е. В. Невзглядовой, на противопоставлении двух оппозиционных систем членения поэтического текста, разбитого на синтагмы и строки¹¹. Наличие в стихах (в отличие от прозы) этих двух систем разбиения приводит к тому, что возникают отношения взаимодополнительности и противоборства между фразовой интонацией, регулируемой синтаксисом («рациональное»), и монотонией, задаваемой строкой («арациональное»; не случайно паузу, возникающую при чтении стихов в конце каждой строки, в стиховедении принято называть асемантической). Благодаря такому принципиально противоречивому устройству стихи получают в свое распоряжение уникальную возможность «да-нетного» высказывания, то есть моделирования той самой антиномичной целостности, которую на рациональном уровне и призваны описывать утверждения, скомпонованные по принципу дополнительности.

Известно, что Сократ, первым осознавший «проблесковый» характер истины, ситуативность и контекстуальность ее явления, воздерживался от изложения своих взглядов в виде системы трактатов или диалогов. Думается, в письменной форме фиксации мыслей его настораживала «одновариантность» высказывания, «замыкание» антиномичного бытия в силлогизме, построенном по правилам логики и грамматики. Также известно, что незадолго до смерти старому мудрецу во сне явился Аполлон, повелевший ему сочинять стихи, к немалому изумлению философа. Не было ли это тайным указанием Бога на изначально присущую поэтическому способу выражения комплементарность, позже замечательно угаданную Горацием и воплощенную в его принципе «золотой середины»?

¹⁰ Климец А. Наука и иррационализм или обобщенный принцип дополнительности Бора. <http://filosofia.ru/70525>

¹¹ Невзглядова Е. В. Звук и смысл. СПб., 1998.

П И Л И Г Р И М

Архимандрит АВГУСТИН (Никитин)

ИСТОКИ СЛАВЯНСКОГО КНИГОПЕЧАТАНИЯ

Предисловие

Славянские народы, населяющие Восточную Европу, издавна пользовались разными алфавитами: латиницей, глаголицей, кириллицей. Исторически сложилось так, что первыми увидели свет славянские книги, напечатанные латинскими и глаголическими шрифтами. Одна из них — хорватский глаголический Миссал (1484). Что же касается славянского кирилловского книгопечатания, то его колыбелью суждено было стать Кракову, где в 1491 году были напечатаны первые богослужебные книги на церковнославянском языке. Как отмечал в начале XIX столетия отечественный исследователь П. М. Строев, «славянские народы (коих судьба многообразна) не отставали от других в просвещении; когда меч иноплеменников оставлял их в покое, и они узнали изобретение типографии. Необходимость целостности священнослужения была виной заведения книгопечатен славянских. И как скоро! Немного после Франции, в одно время с Испанией и прежде Англии. Нам известны книги 1476–1490 годов, напечатанные (латиницей) в разных местах Богемии; с 1491 года началась типография в Кракове».

Православие в краковских землях

История целого ряда поместных православных церквей имеет общие истоки — проповедь свв. братьев Кирилла и Мефодия: в первую очередь это относится к славянским церквам. Упрочивая христианство в Моравии и Болгарии, равноапостольные Кирилл и Мефодий обращали внимание и на сопредельные славянские земли, особенно с того времени, как Мефодий стал архиепископом всей Великой Моравии. Сопредельные с Моравией польские земли были одними из первых, куда обратилась его миссионерская деятельность.

С расширением границ Великоморавского княжества при Святополке часть польских земель, включая Краков, вошли в его состав и в церковном отношении стали частью Велеградской и Мефодиевской епархии. Более чем двадцатилетнее пастыреначальство св. Мефодия не могло пройти бесследно для его многочислен-

Архимандрит Августин (в миру — Никитин Дмитрий Евгениевич) родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.

ной паствы, в том числе и польской, которую он, вероятно, посещал для назидания, по существовавшему тогда у иерархов обычаю.

В 966 году князь Мечислав (Мешко) I (ок. 960–992) принял христианство вместе с польским народом. Ян Длугош (1415–1480), называемый князем польской истории, подробно описывая принятие христианства поляками при Мечиславе I, отмечал, что они приняли веру христианскую, православную, католическую (*fidem christianam, orthodoxam, catholicam*). (Длугош не употребляет термины *romano-catholicam, latinam*.) Кроме того, имена первых краковских епископов, упомянутых у Длугоша, — Прохор и Гедеон, необычные для римско-католических епископов, указывают на то, что они принадлежали к Восточной православной церкви.

Но еще ранее 966 года в краковских землях совершались богослужения по восточному обряду. Есть сведения о том, что в предместье Кракова, называемом Клепарж, еще до времени правления Мечислава — с начала X столетия, уже существовал славянский храм во имя Св. Креста, воздвигнутый на том месте, где прежде было языческое капище. Здесь нашли приют бенедиктинцы, бежавшие из Моравии от преследований венгров-язычников.

В конце правления Мечислава I православие в Польше начало постепенно уступать место обрядам Западной церкви. Но, несмотря на это, восточные обряды настолько глубоко укоренились в народе, что не могли быть сразу упразднены. При короле Болеславе I Храбром (992–1025) близ Кракова за рекой Вислой был основан Тынецкий монастырь, где поселились монахи-бенедиктинцы. Это был первый рассадник просвещения для всей страны; он славился ученостью своих монахов. Здесь богослужение совершалось на славянском языке.

Трудно определить, когда именно прекратилось славянское богослужение в Тынце. Однако судя по тому, что бенедиктинцы пользовались благорасположением польских королей, наделявших их богатыми имениями, а также принимая во внимание, что до XVI века славянские православные традиции пользовались здесь большим уважением, можно предположить, что славянское богослужение сохранялось здесь, по крайней мере, до конца царствования Казимира IV Ягеллона (1447–1492), известного покровителя славянского языка.

Сохранению православных обрядов в краковских землях способствовала и умеренная позиция, занятая епископом Богемским Войцехом (Адальбертом). Обнаружив большие способности и активное намерение трудиться сообразно своему призванию, Войцех в 982 году стал епископом Пражским и вскоре предпринял попытку вытеснить из Богемии восточные обряды и обратить ее жителей к Западной церкви. Но его действия получили отпор со стороны православных христиан Богемии, что побудило епископа Войцеха в дальнейшем проявлять умеренность, и в Польше он стал сторонником веротерпимости. Владея в совершенстве славянским языком, отличаясь даром слова, аскетическим образом жизни, епископ Войцех соединял в себе лучшие качества христианского проповедника. Продолжая свой миссионерский труд от одного края Польши до другого, от Кракова до Гнезно, он завоевал авторитет среди польского населения.

Впоследствии, после смерти епископа Войцеха, митрополитом Гнезненским стал его брат Гауденций. При Гауденции было учреждено два новых епископства, зависимых от Гнезненской митрополии: в Кракове (1000) и во Вроцлаве, а потом, для жителей Поморья, в Колберге. По мнению церковного историка Бандке, латинский обряд в Польше одержал перевес над славянским около 994 года. Но даже и после эпохи Болеслава (ум. в 1025 году) богослужения долго еще совершались на славянском языке. Даже таинство причащения долгое время преподавалось польскому народу под двумя, а не под одним видом, и только с внедрением в стра-

ну Общества Иисуса (иезуитов) эта традиция была упразднена. Славянская литургия оставалась в употреблении целые столетия. Подобными образом продолжали оставаться в силе в Польше и другие обряды и обычаи Восточной церкви.

Сохранению православных обрядов в Польше способствовало и то обстоятельство, что в домонгольскую эпоху польские князья были в близком родстве с православными русскими князьями. Так, в Вавельском кафедральном соборе в Кракове нашли свой последний приют русские княгини: дочь киевского князя Владимира Доброгнева Ярославна, супруга Казимира I; Вислава, супруга Болеслава II Смелого (1058–1080); Евдоксия, супруга Мечислава I.

Особое место в истории православия в краковских землях занимает период правления польского короля Ягайло (Ягелло) (1386–1434). Великий князь Ягайло, в православном крещении Яков, в католическом — Владислав, сын православного литовского великого князя Ольгерда и его жены, тверской княжны Юлиании, заняв польский престол и поселившись в краковском королевском замке, по своему образу жизни остался русским князем, каким и был раньше. Королевский престол окружали литовско-русские вельможи. И хотя польское духовенство убедило Ягайло принять католичество, как и его соратников, они все же сохраняли любовь и уважение к православным традициям.

Ягайло говорил по-русски, его последняя жена София по происхождению была русская княжна. Естественно, что сын Ягайло и Софии Казимир, выросший среди русских и живший как польский король и литовский великий князь то в Кракове, то в Вильно, также испытывал симпатии к православным традициям. В самом Кракове русский язык был придворным вплоть до времени правления Сигизмунда Августа (1520–1572). В Польско-Литовском государстве сохраняли свое влияние известные православные династии, такие, как князей Острожских, князей Олельковичей, Слуцких, князей Сангушков, Гарабурдов, Тышкевичей и многих других. Все они имели влияние при дворе. Древний род Гастольдов еще со времен Ольгерда был уже католическим; тем не менее Гастольды являлись главными покровителями русской письменности в Кракове.

В XV веке между Польшей и Россией продолжали поддерживаться тесные связи. Один из эпизодов в истории этих отношений датируется 1440 годом, когда делегация Русской православной церкви проследовала через Польшу и Литву, возвращаясь в Москву с Ферраро-Флорентийского собора. Русское посольство посетило крупнейшие города — Краков, Львов, Галич, Вильно — и большое число мелких населенных пунктов. Но никаких сведений о них автор «Хождения» не дает и только лишь в связи с упоминанием Кракова замечает: «Ту бо видехом короля Володислава и брата его Казимира». Основываясь на этом кратком сообщении, можно предполагать, что, очевидно, в Кракове польский король Владислав и его брат великий князь Литовский Казимир устроили прием для русского посольства.

К этому времени православие в краковских землях уже уступало свои прежние позиции, но его некоторые традиции по-прежнему сохранялись в лоне Польской католической церкви. Так, поляки добивались совершения богослужения на славянском языке даже в 1556 году, на Петроковском сейме. А король Сигизмунд Август (ум. в 1572 году) в письме к римскому папе также настаивал на том, чтобы совершение богослужения для польского народа было по-прежнему на народном языке.

Возрождение православных традиций в польских землях в XVIII–XIX веках связано с целым рядом исторических обстоятельств. Одним из них стало переселение в Польшу греческих православных семейств, которые начали прибывать сюда в первой половине XVIII века, спасаясь от турецкого ига. «Поселившись в

Польше, — отмечал один из дореволюционных исследователей, — православные греки, будучи твердыми и непоколебимыми в своей вере, старались сохранить этот святейший залог спасения души ненарушимым и в крае иноверном. Они ходатайствовали у польского правительства о дозволении строить для себя церкви и содержать при них священников. Но при тогдашней польской нетерпимости в отношении к диссидентам вообще означенное ходатайство было оставлено без всякого удовлетворения».

Но все же около 1828 года греческие православные храмы уже появились в городах, расположенных сравнительно недалеко от краковских земель: в Петрокове, Опатове, а также в Варшаве и Люблине. Все они были снабжены иконами, ризницей и церковной утварью; богослужебные книги на греческом языке для этих храмов были выписаны из Венеции, где они печатались по благословию иерусалимских патриархов. С тех пор в истории православия в краковских землях была открыта очередная страница, относящаяся уже к новому времени.

Православие в архитектурной летописи Кракова

Старинный Краков выгодно отличается от других европейских городов. Здесь не было той разрушительной религиозной борьбы, которая уничтожила в других землях так много славянских храмов. В Кракове до сих пор еще живы и сохраняются те древние церковные архитектурные памятники, которые роднят и сближают славян, побуждают их забывать про прежнюю вражду и религиозные споры. В Кракове уцелело несколько памятников, которые несут на себе печать как русской старины, так и византийского влияния.

Первые семена христианства были посеяны здесь братьями-славянами — чехами и моравами. Поэтому и первая христианская проповедь, первые поучения народа на главной площади города, называемой Большим рынком, произносились на понятном ему славянском языке, который в то время был близок к местному наречию. На этой площади находился небольшой храм Св. Войцеха (Адальберта), построенный на том месте, где в 995 году Войцех, епископ Пражский, проповедовал на славянском языке. После его мученической кончины жители Кракова воздвигли в его память эту святыню, восстановленную в 1611 году.

Первые христиане пользовались в Кракове сравнительно терпимым отношением со стороны язычников, и это дало им возможность воздвигнуть церковь во имя Св. Креста Господня и совершать в ней свои богослужения. «В дополнение к известию о сей церкви, — отмечал архиепископ Иннокентий (Борисов), — должно сказать, что построение ее замечено дееписателями не потому, что она была в то время в Польше единственной, а, вероятно, по месту ее постройки, и потому, что она отличалась от других церквей своей обширностью и великолепием: ибо нельзя думать, чтобы до того времени Кирилл и Мефодий оставляли значительную часть паствы своей в Польше вовсе без церквей».

Этот храм был построен моравами, бежавшими сюда от преследований язычников-венгров, и поэтому церковь вплоть до XIX века называлась «славянской» (sclavorum). Позднее древний храм Св. Креста был разрушен пожаром; в 1390 году Ягайло и Ядвига не только воздвигли новый храм, но и наделили монахов разными привилегиями. Богослужение на славянском языке продолжалось здесь до XVI столетия; в 1584 году вместо прежнего сгоревшего храма на этом месте была воздвигнута новая церковь Св. Креста, просуществовавшая до начала XIX века.

Стены первых храмов Польши, воздвигнутых в византийском стиле и расположенных по образцу православных храмов, на целые века оставались свидетелями

древнего православия в Польше. Один из них — построенная в Кракове церковь во имя Пресвятой Девы Марии, которую относят к эпохе свв. Кирилла и Мефодия.

Первая церковь, построенная в Кракове на горе Вавеле королем Мечиславом по желанию его супруги Домбровки, посвящена памяти ее дяди — чешского королевича Вячеслава (Вацлава), который почитается святым и в Православной церкви. Эта церковь в 1320 году была разобрана и заменена просторным храмом, который был богато украшен на средства короля Казимира Великого (1330–1370) и освящен во имя того же святого. Но и в новом храме многое напоминало о православии: он обращен алтарем на восток, престолы в нем, обложенные досками, отличались резьбой, позолотой и живописью в византийском стиле (лишь в начале XVIII века все эти украшения были заменены мраморными).

В Вавельском кафедральном соборе есть две часовни, особенно интересные по своему историческому прошлому. Одна из них — во имя Св. Троицы — была сооружена в 1431 году русской княжной Софией Андреевной (Сонькой), четвертой супругой короля Владислава Ягайло, дочерью Андрея Ивановича, князя Гольшанского и Вяземского. Можно предполагать, что эта часовня сначала была украшена в византийском стиле. Прах королевы Софии (ум. в 1461 году) покоится в этой часовне, восстановленной в 1830 году в католическом стиле. Княжна София пожертвовала в эту часовню драгоценную утварь и ризы.

Православная живопись Кракова

Другая часовня в Вавельском кафедральном соборе — справа от входа, во имя Св. Креста, до сих пор называемая русской, сохранила живопись, выполненную в византийском стиле. Фрески покрывают все стены часовни, так что она производит впечатление православного русского храма. Сохранившаяся надпись, выполненная кириллическими буквами, гласит: «Благоизволением, мудростью Бога Отца Всемогущего, подписана бысть сия каплица повелением великодержавного Казимира, за Божию милостью короля польского и великого князя литовского и русского... и иных многих земель осподаря, и его королевое пренаяснейшей паней Елизаветы..., под леты нароченья Божьего 1000 478 лет, доконьчали сию каплицу письмом месяца октября в...» Эта надпись указывает на окончание работ по росписи часовни в октябре 1478 года. Язык не дает возможность определить происхождение мастера; он мог быть и малороссом, и белорусом, и представителем псковской школы живописи. Живопись часовни изображает группы ангельских хоров соответственно литургическому канону: «Тебе Бога хвалят ангелы, архангелы, престолы, господства, начала, власти, силы...» Эта песнь продолжена и на сводах; в промежутках между ними размещены группы ангелов. Живопись изображает 46 цельных фигур и 59 голов, со славянскими надписями, которые в записях от 1473 и 1477 годов называются «мозаическими, греческими (*mosaic more picta, graeco more depicta, graeco more depicta et decorata*). В этом же приделе, вверху престола, находится образ Св. Троицы византийской живописи, «w sposobie ruskim», по выражению писателей, с подписью, что образ этот устроен в 1467 году.

По мнению местных историков, эта живопись относится ко времени Казимира Ягеллона, то есть к XV столетию. Впрочем, можно предположить, что постройка часовни может относиться к временам Ягайло, а живопись выполнена позднее — во времена «пресветлого Казимира», как свидетельствует надпись.

Краковские православные фрески не являются самыми древними в Польше. Еще задолго до их появления православные мастера работали в центре Люблина, в знаменитом королевском замке, где возвышается костел Св. Троицы, сооружен-

ный в 1395 году королем Владиславом Ягайло. Выросший в условиях господства русской культуры, бывший великий князь Литовский в 1418 году призвал расписать костел своего замка мастеров из Руси. Надпись, сохранившаяся на стене костела, говорит о том, что во главе этих живописцев стоял мастер Андрей. Как отмечает современный отечественный исследователь, «подобно так называемым русским фрескам на Вавеле, в Вислице и в Сандомеже, люблинские фрески являются одним из древнейших памятников украинского искусства и, вместе с тем, ярчайшим свидетельством русско-украинско-польских культурных связей в эпоху средневековья».

Наличие люблинских фресок, исполненных в 1418 году, позволяет сделать предположение, что православные мастера могли работать в эти годы в Кракове. А один из польских исследователей высказал еще более смелую догадку. В начале XX века краковский ученый Ф. Копера в издании «Polskie Museum» (1. 8) напечатал статью под названием: «О византийской живописи в Польше», где он, в частности, сообщал, что русские художники были в Кракове уже в 1393 и 1394 годах и что ими были расписаны не только люблинский костел и краковская часовня, но также монастырь Св. Креста на Лысой горе, костел в Гнездно и королевский дворец в Кракове.

Ученый киево-печерский монах Захария Копыстенский в 1620 году писал в своей «Палинодии»: «В диоцезии епископства Краковского по некоторым костелам найдутся малеванья грецким обычаем и кшалтом с надписями славянским языком над каждым образом». Таким образом, живопись в византийском стиле пользовалась правами гражданства в Кракове. И до сих пор сохранившиеся в краковских костелах самые древние иконы, относимые к XII–XIII векам, исполнены в византийском стиле. Византийский стиль в краковской иконописи стал преобладающим в XIV столетии, со времен Ягайло. Сын православной благочестивой княжны Иулиании, он с детства присмотрелся к византийской живописи в Вильне, в Троках (Тракае), в Киеве, в Полоцке. Им были приглашены в Краков русские живописцы. Значение византийского стиля было в Кракове так велико, что образовалась даже византийско-краковская школа живописи, существовавшая почти до времен Боны Сфорчии, супруги Сигизмунда I (Старого), когда итальянский стиль стал преобладающим.

Перечисление всех икон в византийском стиле, хранившихся в разных краковских костелах, заняло бы слишком много места, но следует упомянуть о некоторых. Так, в древнем храме во имя Св. Idziego, находившимся близ кафедрального собора Св. Вацлава, имелось 15 икон со славянскими надписями. (В этом храме, также как и в церкви Св. Девы Марии, посвященной ее Успению, обращала на себя внимание дуга с крестом вверху, отделявшая алтарь от других частей храма и символизировавшая собой алтарную преграду, стоявшую в древних православных храмах на месте нынешних иконостасов.)

Можно упомянуть про замечательные византийские иконы в кафедральном соборе на Вавеле, именно: Св. Войтеха и Св. Станислава. В этом же соборе сохранилось распятие, перед которым обыкновенно молилась королева Ядвига: прикрепленное к большой серебряной доске, оно носило отпечаток византийского стиля. В богатой ризнице собора хранился драгоценный крест, по преданию взятый Болеславом Храбрым на Руси. В старинных описях упоминается, что этот крест был привезен из Киева (olim metropolis Russiae). Наконец, в древнем краковском храме во имя Пресвятой Богородицы сохранялся древний кивот, или, скорее, медная дарохранительница, с изображением жития свв. Козьмы и Дамиана и со славянскими надписями галицкого или волынского происхождения, сделанными между XIII и XV веками.

В пределах Кракова, в его монастырях, костелах и музеях хранится немало церковной утвари, которая имеет отношение к истории православия в этом крае.

Краковский университет

В ту пору Краков являлся крупным богословским центром, что было обусловлено деятельностью Ягеллонского университета, основанного в 1364 году польским королем Казимежем (Казимиром) Великим (1310–1370). Попытки создания университета, предпринимавшиеся, по всей вероятности, уже начиная с 1351 года, не сразу привели к желаемому результату. Лишь папа Урбан V (1362–1370), некогда бывший профессором университета в Монпелье (Франция), издал буллу, позволявшую открыть высшую школу в Кракове. Заручившись поддержкой папы (1363), Казимеж Великий мог привести в исполнение свои планы, и 12 мая 1364 года торжественным учредительным актом санкционировал образование Генеральных курсов в Кракове.

После смерти основателя развитие университета приостановилось. Лишь после вступления на престол Ядвиги Андегавенской (1374–1399) и ее мужа Владислава Ягелло (ок. 1351–1434), после унии между Польшей и Литвой (1385) появилась потребность в обновлении и расширении ранее основанного научного учреждения. Драгоценности, составлявшие легат (наследство) королевы, были обращены в деньги, что позволило заполучить средства, необходимые для этой цели. Уже в 1397 году папа Бонифаций IX (1389–1404) издал буллу, согласно которой при краковских Генеральных курсах был образован богословский факультет, что поставило университет наравне с другими высшими школами Европы, такими, как Болонский и Падуанский университеты.

Богословский факультет Краковского университета прославили такие деятели, как св. Ян Канты (1390–1473) и Петр Скарга (1536–1612); в 1414–1418 годах в работе Констанцкого собора принимали участие краковские профессора-богословы Станислав из Скальбежа (ум. в 1431 году) и Павел Влодковиц (ок. 1370–ок. 1435). За шесть столетий университет сменил несколько названий: вначале — Генеральные курсы, потом — Главная школа, затем Краковская академия, после этого Главная коронная школа, наконец — Ягеллонский университет (1818). Девизом Ягеллонского университета является изречение: «Plus ratio quam vis» («Более разумом, нежели силой»). 1470–1520 годы — это период развития богословия и других наук в Краковском университете; к этому времени относится и начало польского книгопечатания.

Швайпольт Фиоль и его предшественники

О личности первопечатника славянских кириллических книг можно почерпнуть сведения из выходных данных выпущенного им Октоиха (Осмогласника) — богослужбной книги, изданной в 1491 году. На последней странице этого издания, под небольшой гравюрой с изображением герба города Кракова, помещено послесловие, которое гласит: «Докончана быс сия книга у великом граде оу Кракове при державе великаго короля полскаго Казимира, и докончана быс мешанином краковьским Швайполтом, Феоль, из немец немецкого родоу, Франк. И скончашас по Божием нарождении Дісьть девятыдесят и А лето».

То, что первопечатником славянских книг в Кракове был Швайпольт Фиоль из немецкой Франконии, не должно вызывать удивления. В ту пору между Польшей, Силезией, Чехией и немецкими городами поддерживались тесные связи. Начало

книгопечатания в Европе относят к 40-м годам XV столетия и связывают с именем Иоганна Гутенберга (род. между 1394–1399 годами, сконч. в 1468 году) из Майнца. Ко времени возникновения первой польской типографии прошло не так уж много лет со дня начала книгопечатания в Германии. Краковские печатники могли видеть Иоганна Гутенберга, могли даже учиться у него. Более того, до начала деятельности Швайпольта Фиоля в Кракове в этом городе действовала типография, выпускавшая книги на латинском языке, и одним из краковских издателей был Петер Шеффер, который ранее работал в типографии Иоганна Гутенберга.

Между Краковом и немецкими городами шел оживленный обмен специалистами в разных сферах. При таких оживленных взаимосвязях весть об изобретении книгопечатания пришла в Польшу вскоре после первых удачных опытов Гутенберга. Были завезены сюда и первые образцы печати — календари, индульгенции, а особенно элементарный учебник латинской этимологии, составленный римским грамматиком Элием Донатом.

О раннем знакомстве краковян с печатными книгами говорит и сохраняемый в Ягеллонской библиотеке экземпляр «Католикона», напечатанный в Майнце в 1460 году. Книга эта — грамматический и лексикографический труд генуэзца Иоанна Бальбо, жившего в XIII веке. В том же 1460 году в Майнце, в типографии Иоганна Фустера и Петера Шеффера, был выпущен труд папы Климента V «Constitutionis»; пергаменный экземпляр этой книги поступил в Ягеллонскую библиотеку в 1460-х годах. Но все же еще в течение ряда лет спрос на латинскую книгу для Польши удовлетворялся высокоразвитым книгопечатанием соседней Германии, что в значительной мере объясняет малочисленность первых польских типографий. До конца XV века на территории Польши их было всего пять (включая и типографию Швайпольта Фиоля). Тем более ценными представляются сведения о первых польских печатных книгах, вышедших на латыни в Кракове — городе, где впоследствии Швайпольту Фиолю было суждено открыть первую славянскую типографию.

Первопечатные польские книги

Одна из выпущенных Петером Шеффером книг — знаменитый краковский «Миссал» (1484); это издание католического служебника представляет собой библиографическую редкость. Отпечатанный красивым шрифтом, украшенный великолепными рукописными инициалами, Краковский «Миссал» является выдающимся памятником раннего типографского искусства. Всего пять экземпляров этого издания хранятся в польских библиотеках, по одному — в книжных собраниях Чехии, США и ФРГ. В России до недавнего времени был известен всего один неполный экземпляр, хранящийся в Российской национальной библиотеке (далее — РНБ) в Санкт-Петербурге. Но в 1964–1965 годах в книгохранилище библиотеки Ленинградского (ныне — Санкт-Петербургского) университета был выявлен еще один экземпляр краковского Миссала.

В начале 1830-х годов в составе собрания книг Полоцкой коллегии иезуитов в библиотеку Санкт-Петербургского университета поступил «Всеобщий лексикон» Иоганна Якоба Гофмана, изданный в Базеле в 1677–1683 годах. Это было солидное четырехтомное издание форматом в лист; картонные переплеты надежно оберегали тома от повреждений. Но значительно более ценным, нежели сами книги, оказалось содержимое их переплетов. С внутренней стороны переплета «Лексикона», сквозь наклеенный на него лист белой бумаги, просвечивали печатные строчки. Присмотревшись, можно было разглядеть текст, напечатанный крупным и краси-

вым готическим шрифтом. На картон для переплета «Лексикона» пошли листы книги, напечатанной в XV столетии, — одного из первенцев книгопечатания (инкунабула). Когда переплеты были раскрыты, перед исследователями оказалось 68 листов и 26 небольших фрагментов листов старинного издания. Среди обнаруженных листов был и последний лист с выходными данными. Текст гласил: «Напечатано Петером Шеффером из Гернсхейма, в благородном городе Майнце, изобретателе этого печатного искусства, в лето от Воплощения Господня тысяча четыреста восемьдесят четвертое, в 10-й день ноября завершено».

Подвергнутый тщательной реставрации, последний из дошедших до наших дней десятый экземпляр краковского «Миссала» занял почетное место в собрании инкунабулов библиотеки ЛГУ.

Польша была второй после Чехии славянской страной, узнавшей искусство книгопечатания. Эта дата лежит где-то в промежутке между 1473 и 1475 годами. В собрании инкунабулов РНБ имеются образцы первых трех печатных книг, выпущенных в Кракове на латыни. Сначала речь пойдет о «Толковании Псалтири», принадлежащем перу испанского богослова Туррекрематы. Автором первой печатной книги, выпущенной в Польше, суждено было стать испанцу Хуану, родившемуся в 1388 году в небольшом местечке около Валенсии. Название местечка — Туррекремата — Хуан впоследствии добавил к своему имени, которое в латинизированном виде стало звучать как Иоанн. В последние годы жизни он был настоятелем итальянского монастыря Св. Схоластики в Субиако. Здесь трудами просвещенного Иоанна Туррекрематы и была основана первая итальянская типография (1465). Среди монахов этой обители было несколько выходцев из Германии. С их помощью Туррекремата пригласил в Субиако двух немецких типографов — учеников Гутенберга — Конрада Свенгейма из Майнца и Арнольда Паннарца из Праги. Одной из книг, напечатанных ими в Субиако, было сочинение блаженного Августина «О граде Божием».

Богословские труды Иоанна Туррекрематы в XV–XVI веках пользовались большой популярностью и неоднократно переиздавались как в Италии, так и в Германии, Франции и некоторых других странах. Популярно было и его «Толкование Псалтири». Впервые книгу издал в 1470 году — два года спустя после смерти автора — римский типограф Ульрих Ган. Впоследствии «Толкование» печатали в Аугсбурге и Майнце, в Страсбурге и Базеле. Краковский текст во всем следует аугсбургскому; аугсбургское «Толкование Псалтири», выпущенное в свет около 1471 года, послужило оригиналом для краковского типографа. Следовательно, польское издание появилось на свет не ранее 1471–1472 годов; печатником этой книги был немецкий мастер Каспар Штраубе.

Следует отметить, что на экземпляре «Туррекрематы», хранящемся в собрании РНБ, имеется запись, которая является древнейшей из записей на краковских первопечатных изданиях. Она была сделана монахом августинского монастыря в городе Мехове Андреем Круцигером. Запись свидетельствует о том, что в 1476 году монах Андрей рубрицировал книгу, то есть вручную рисовал в ней киноварью инициалы и отмечал вертикальными красными черточками прописные литеры.

Второй плод краковской типографии — книга монаха Франциска де Платеа — также имеется в собрании инкунабулов РНБ. Написанные им богословские трактаты были собраны в одну книгу «Opus restitutionum, usurarum et excommunicationum», которая в XV веке выпускалась около 10 раз — в Италии и в немецких городах. Оригиналом для краковского издания «Опусов» послужило издание, выпущенное в Венеции в 1472 году печатником Бартоломео из Кремоны.

Первая польская типография имела тесные связи с нищенствующим монаше-

ским орденом францисканцев, а также с ветвью францисканского братства — бернардинцами. Об этом свидетельствуют владельческие записи в сохранившихся экземплярах краковских инкунабулов. С францисканцами и бернардинцами связаны четыре записи. В экземпляре «Платеа», который издавна находился в бернардинском монастыре Оломоуца, а ныне хранится в университетской библиотеке этого чешского города, имеется запись 1478 года о присылке книги «краковскими отцами» оим оломоуцким коллегам. Запись, сделанная в том же 1478 году, в другом экземпляре этой же книги, рассказывает об аналогичном даре, преподнесенном францисканскому монастырю в Нейссе. Известен еще один экземпляр «Платеа», принадлежавший в прошлом францисканской библиотеке в Глогове (Польша); на его страницах запись, сделанная в 1486 году. Связанная с бернардинцами запись имеется и в экземпляре, который в настоящее время находится в Курнике (Польша). Третьей книгой, вышедшей из краковской типографии, были «Сочинения» (Opuscula) блаженного Августина (354–430), знаменитого отца церкви, оказавшего большое влияние на развитие богословской мысли на Западе. Труды блаж. Августина постоянно переписывались, пользовались большой популярностью и с возникновением книгопечатания в XV веке неоднократно издавались и переиздавались. Они были широко распространены в Италии. Нет, пожалуй, ни одного сколько-нибудь значительного собрания инкунабулов, в котором не нашлись бы трактаты блаж. Августина; особенно наиболее популярный из них — «О граде Божием». Краковский инкунабул «Сочинений» блаж. Августина включает 16 трактатов этого замечательного отца церкви.

На сегодня известно 14 краковских экземпляров «Сочинений» блаж. Августина; один из них занимает почетное место в собрании инкунабулов РНБ. Что касается двух других первопечатных краковских изданий, то в книгохранилищах крупнейших библиотек мира имеется 23 экземпляра «Толкования Псалтири» Туррекрематы и 17 экземпляров «Трактатов» Франциска де Платеа. С петербургским собранием инкунабулов по праву соперничает московское: в книгохранилище Государственной библиотеки им. Ленина (далее — ГБЛ) также имеется по одному экземпляру каждого из трех краковских первопечатных изданий.

Эти книги поступили в ГБЛ в составе библиотеки министра народного просвещения Авраама Сергеевича Норова (1795–1869). В его книжном собрании были все три краковских инкунабула: «Туррекремата», «Августин» и «Платеа». В 1863 году краковские инкунабулы, принадлежавшие А. С. Норову, вместе со всей его библиотекой были приобретены московскими Публичным и Румянцевским музеями (на базе которых впоследствии была создана ГБЛ).

В литературе описано около 65 экземпляров первопечатных краковских латинских инкунабулов; большинство из них хранится в польских библиотеках, как государственных (Краков, Варшава, Вроцлав, Познань и др.), так и в церковных — в библиотеке монастыря бернардинцев в Кракове, в библиотеке Краковского капитула, в библиотеке краковского костела Тела Господня, в библиотеке аббатства в Могиле, в библиотеке Гнездненского капитула. Среди зарубежных книгохранилищ, обладающих бесценными краковскими латинскими инкунабулами, можно отметить Государственную библиотеку Мюнхена, Венскую национальную библиотеку, библиотеку бенедиктинского монастыря Паннонхальма (Венгрия). две краковских инкунабула, принадлежавшие Государственной библиотеке ГДР («Платеа» и «Августин»), в свое время были вывезены в Западный Берлин. В США имеются три краковских инкунабула: по экземпляру «Платеа» в собраниях П. Моргана и Хантингтона и еще один экземпляр «Августина» — в собрании Хантингтона.

Последнее известное нам издание краковской типографии — «Сочинения блаж.

Августина» — вышло в свет предположительно в 1476–1477 годах. Далее на протяжении четырнадцатилетнего периода, вплоть до появления первых книг Швайпольта Фиоля, отсутствуют какие-либо сведения о выпускавшихся в Кракове книгах. Но возможно, что между латинскими и славянскими первопечатными книгами, изданными в Кракове, существует преемственность. По словам отечественного исследователя Е. Л. Немировского, «Швайпольт Фиоль не был первым польским типографом. До него в Кракове существовала, по крайней мере, одна типография, выпускавшая листки и книги на латинском языке. Опыт этой мастерской мог быть использован славянским первопечатником. К нему могло перейти и некоторое оборудование, например, печатный стан. Все это — предположения, но весьма вероятные».

Издательская деятельность Швайпольта Фиоля

Итак, первопечатником славянских книг был Швайпольт Фиоль, прибывший в Краков с запада, из немецкой земли Франконии. Родился он в Нойштадте, в пятидесяти километрах от Нюрнберга. По происхождению он был «из немец, немецкого рода, франк» — так ответил он сам на этот вопрос в выходных данных двух своих изданий — Октоиха и Часослова. Примечательно, что в период начала славянского книгопечатания (1491) ключевые позиции в городском самоуправлении Кракова занимали представители богатых немецких семейств: Бонеры, Бетманы, Беры, Турзо и др. Члены династии Турзо и финансировали первую славянскую типографию.

Можно отметить и тот факт, что большая часть тиража фиолевских изданий печаталась на бумаге французского производства с водяным знаком «маленький гладкий кувшинчик». Эту бумагу могли привезти в Краков нюрнбергские купцы. Аналогичные знаки найдены в изданиях нюрнбергского типографа Антона Кобергера. Бумага других сортов, употребленных на печатание краковских изданий, также часто встречалась в Нюрнберге. Это указывает на связи Фиоля и его финансистов Турзо с этим немецким городом.

О местоположении типографии Швайпольта Фиоля достоверных сведений не сохранилось. Известно, однако, что уже в 1483 году Фиоль был членом краковского цеха золотых мастеров. Во времена Фиоля цех золотых дел мастеров был приписан к одной из часовен костела францисканского монастыря, которую именовали «венгерской». В те годы цеховой дом золотых дел мастеров находился неподалеку от обители францисканцев, на Братской улице, шедшей от монастыря и вливавшейся в Рыночную площадь. На этой же улице стояли дома мастеров. Возможно, что, приехав в Краков, Фиоль обосновался именно здесь. Не исключено, что и первая славянская типография находилась на Братской улице.

Предпринимая печатание богослужебных православных книг в католическом Кракове, Швайпольт Фиоль, по-видимому, рассчитывал на распространение этих церковных славянских изданий среди православных христиан, живших на обширных территориях Московского государства, Великого княжества Литовского, княжеств Молдавии и Валахии, на захваченных Османской империей землях южных славян.

Отечественный исследователь С. Голубев в 1884 году так писал об этом: «Фиоль, предпринимая издание церковнославянских книг, имел в виду все окрестные местности, нуждавшиеся в них. По крайней мере, мы имеем положительные данные относительно широкого распространения краковских церковнославянских изданий не только в Молдо-Влахии, но и Галиции и всех западнорусских областях.

Даже, может быть, что они имели небольшой сбыт и в самом Кракове. Как последнее предположение ни может показаться странным, тем не менее оно находит некоторую опору в указанном нами факте существования в означенном городе (в XV столетии) русской каплицы, с русскими иконами, с русскими около них надписями».

Книгоиздательская деятельность Швайпольта Фиоля в Кракове проходила в период правления короля Казимира IV Ягеллончика (1427–1492), который в 1447 году был избран на польский престол. Деятельность Казимира IV представляет немалый интерес, ибо именно в годы его правления в Кракове были основаны первая типография, печатавшая книги на латинском языке, и вторая, из стен которой вышли печатные книги кирилловского шрифта.

Казимир IV был мудрым политиком, убежденным сторонником сильной королевской власти. Он умел примирять соперничавшие друг с другом политические группировки. Значительна его роль и в религиозной сфере. Будучи убежденным католиком, Казимир IV в своей деятельности проявлял благожелательное отношение к православию: он изучает русский язык, уравнивает в правах католиков и православных. Традиция связывает с именем Казимира IV постройку в 1447 году шести православных церквей в Витебске, Бешенковичах, Могилеве, Кричеве, Орше и Черикове. Все они получили название Ильинских, так как постройку их связывали с избавлением в Ильин день от какой-то опасности жены Казимира Елизаветы. В 1451 году король Казимир подтвердил все ранее данные литовско-русским магнатам привилегии, в том числе — свободу вероисповедания.

В те годы в польско-литовских кругах вынашивалась идея об унии между Римско-католической и Православной церквями: подобная уния уже была провозглашена на Флорентийском соборе 1439 года. Но провести унию в жизнь оказалось трудно. Однако после взятия в 1453 году Константинополя турками и гибели Византийской империи по настоянию папы Пия II в Великом княжестве Литовском был поставлен митрополит, независимый от Москвы. Первым литовским митрополитом был Григорий Болгарин, воспитанник митрополита Киевского Исидора, сторонника унии.

Казимир IV проявлял широту взглядов в религиозных вопросах. Веротерпимость создавала условия, при которых в Кракове могла возникнуть типография, печатавшая славянские книги. Принятие унии не повлекло на первых порах никаких изменений в богослужебной практике и, в частности, что особенно важно, оставило в неприкосновенности старые богослужебные книги. Таким образом, продукция первой славянской типографии, работавшей в Кракове, несмотря на церковную унию 1439 года, могла рассчитывать на сбыт как в пределах православной Московской Руси, так и в границах примкнувшего к унии Великого княжества Литовского.

В конце XV века между Польшей и Московским государством поддерживались тесные связи, и первопечатные славянские книги легко могли распространяться так же в пределах православной Руси и Украины. Попадая в Россию, эти книги сохранялись в церквях, монастырях, оседали в частных собраниях, а с начала XIX века стали поступать в крупнейшие отечественные книгохранилища.

Первопечатные церковнославянские книги на Украине и в Белоруссии

То обстоятельство, что первые церковнославянские книги были напечатаны в Кракове, вполне объяснимо. Но кто же были ближайшие сподвижники Швай-

польта Фиоля? Ведь понятно, что немецкий первопечатник не мог обойтись в этом деле без помощников, — вряд ли Фиоль знал славянский язык. Человек, готовивший к печати первые славянские печатные книги, должен был обладать немалыми познаниями в славянском, греческом и латинском языках; ему была известна и богословская практика Православной церкви.

Отвечая на этот вопрос, необходимо иметь в виду, что в те годы в Кракове в расцвете своей деятельности находился университет, получивший впоследствии название Ягеллонского. Здесь издавна учились студенты из разных стран Европы, в том числе и выходцы со славянских земель. Украинцы и белорусы, попадая в Краковский университет, обычно добавляли к своему имени эпитет «Ruthenus» — русский.

Многие из украинцев и белоруссов, получивших бакалаврские и магистерские степени в Кракове, в дальнейшем сохраняли верность православию, а их деятельность способствовала просвещению украинского и белорусского народов. К концу XV века украинские и белорусские имена начинают встречаться и среди преподавателей Краковского университета. В конце 1480-х годов здесь читал лекции Юрий из Дрогобыча; в 1488–1489 годах Андрей Свирский начинает объяснять студентам Аристотеля. Таким образом, именно в среде славянских студентов и преподавателей Краковского университета следует искать помощников Швайпольта Фиоля.

Кто же наиболее вероятный кандидат, которому суждено было принять участие в историческом начинании? При изучении архивов Краковского университета можно установить, что после 1483 года сведения о Юрии из Дрогобыча на несколько лет теряются. Известно лишь, что какое-то время он жил при дворе князей Д'Эсте в Ферраре (Италия). В июне 1487 года его имя снова встречается в краковских документах. С такой же небольшой долей вероятности можно говорить и об Андрее Свирском, а с большей — о питомце Краковского университета Павле из Кросно.

Кросно — небольшой городок в Западной Украине на реке Вислоке, издавна заселенной украинцами. Павел записался в Краковский университет в 1491 году, то есть именно тогда, когда началась деятельность первой славянской типографии. По мнению Е. Л. Немировского, именно этого, недавно приехавшего в Краков юного украинца, привлекли к подготовке первых печатных славянских изданий: «Дальнейшие литературные занятия Павла из Кросно, его библиофильские склонности служат аргументами в пользу того, что именно он готовил к печати славянские книги, вышедшие в свет из типографии Швайпольта Фиоля», — пишет современный ученый.

В 1491–1493 годах в Кракове были изданы четыре церковнославянские книги: Октоих (1491), Триодь Постная, Триодь Цветная и Часослов. Два из первопечатных краковских изданий — Осмогласник (или Октоих) и Часослов — имеют выходные данные, в которых указано время издания — 1491 год, место — Краков и имя типографа — Швайпольт Фиоль. Два других — Триодь Постная и Триодь Цветная — выходных сведений не имеют. Однако происхождение их из той же типографии Фиоля доказано целым рядом зарубежных и отечественных исследователей: Е. С. Бандтке, К. Ф. Калайдовичем, Я. Ф. Головацким и др.

Случилось так, что Октоих — сборник молитвословий, составленный св. Иоанном Дамаскином и некоторыми другими церковными писателями, стал не только общеславянской печатной книгой, но и первенцем книгопечатания у южных славян. Три года спустя после выхода в свет краковского инкунабула книга под тем же названием, но несколько иного содержания была напечатана в Черногории.

Октоих — одна из наиболее употребляемых богослужебных книг Православной

церкви. Неудивительно, что Швайпольт Фиоль начал свою издательскую деятельность именно с нее. Книга содержит молитвословия, предназначенные для всех дней недели. Молитвословия объединены в «восследования», каждое из которых содержит песнопения, исполняемые в храме во время вечерни, повечерия, утрени и литургии. Для воскресений, кроме перечисленных служб, положены еще две — малая вечерня и полунощница. Всего имеется 7 исследований — для каждого дня недели. Весь комплекс исследований, предназначенный для одного голоса, называется «гласом». Октоих содержит «набор» для восьми гласов (голосов). Отсюда название Осмогласник или Октоих (греч. «окто» — восемь). Авторы песнопений, включенных в Октоих, — преп. Иоанн Дамаскин и другие церковные писатели-песнотворцы.

Анализируя краковский первопечатный Октоих 1491 года, Е. Л. Немировский приходит к следующему выводу: «Диалектные особенности языка позволяют говорить о том, что редактор или наборщик Октоиха 1491 года был связан с белорусской, а предпочтительнее, с украинской средой».

Итак, вполне вероятно, что первопечатные церковнославянские книги набирали украинские мастера. Но кто был гравером фронтисписа первой славянской печатной книги? В Октоихе 1491 года сохранилась гравюра с изображением распятия, и, по мнению ряда исследователей, подготовить ее к «друкованию» было поручено одному из учеников Вита Ствоша (знаменитый мастер, автор Марицкого алтаря в кафедральном соборе Кракова). Помощник Вита Ствоша получил от знаменитого резчика задание — перевести на черно-белый язык гравюры живописный оригинал украинского происхождения. Как отмечает Е. Л. Немировский, «предназначая свое издание кругам, связанным не с Католической, но с православной Церковью, первый славянский типограф не мог не чувствовать неуместность в данном случае западной трактовки сюжета. Естественно было обратиться за консультацией к украинским кругам, принимавшим участие в подготовке к печати краковских славянских изданий».

В текстах книг, изданных Фиолем, встречаются отличительные черты русского правописания и языка, упоминания о русской грамоте и о русских святых. Так, в «Часословце» Фиоля упомянуты не только такие русские церковные праздники, как Покров Богородицы, Перенесение мощей св. Николая, память свв. Бориса и Глеба, великого князя Владимира, преп. Феодосия Печерского, но даже приведена подробная запись (под 20 декабря) о преставлении митрополита Петра всея Руси. Эта «память» была составлена впервые митрополитом Киприаном в начале XV века; он написал и житие митрополита Петра, хотя последний был причтен к лику святых еще в 1389 году. Память эта могла дойти до Южной Руси и даже до Кракова (в котором в XV веке жило много православных русских, подданных польского короля, и даже была православная церковь) только из Москвы, где честные мощи митрополита Петра «подают исцеления приходящим с верою и до сего дня».

Исследователи выявляют близость Октоиха 1491 года и к новгородско-псковским рукописным Осмогласникам второй половины XV века.

Один из первых рукописных сборников, содержащий некоторые части Октоиха, хранится в ГБЛ (ОРЛБ. Ф. 178. № 1364). Это так называемый Параклитик, переписанный в 1343–1344 годах; он содержит каноны, извлеченные из дневных служб Октоиха. Книга была написана в Новгороде, «при христоролюбивом князе Семене Ивановичи, при владыце Новгородскомъ Васильи», по заказу некоего черноризца Пахомия.

Известен Параклитик, который написал в 1386 году для церкви Петра и Павла Сироткина монастыря во Пскове «многогрешный Стефан Засковиць» (ГИМ. Син. 838).

Переводы полного или «великого» Октоиха появляются позднее. Едва ли не древнейшим датированным списком нужно считать пергаменный кодекс большого формата, изготовленный в 1436 году «по замыслению господина преосвященного архиепископа Великого Новагорода владыки Евфимия» (ГИМ. Син. 199). В предисловии книга названа Осмогласником; она была предназначена для Софийского собора в Новгороде, где и хранилась вплоть до середины XVII века, когда патриарх Никон перенес ее в излюбленный им Новоиерусалимский Воскресенский монастырь. Вкладная патриарха Никона сохранилась на полях книги.

По словам Е. Л. Немировского, «ближе всего по составу и последовательности текстов к Октоиху 1491 года подходит расширенная редакция московских и новгородско-псковских Осмогласников второй половины XV века».

Интересно, что правописные нормы краковского инкунабула иногда совпадают с орфографией рукописного новгородского Октоиха 1436 года: «воскресшомоу», «въстроубите», в то время как в старейших рукописных московских «Шестодневках» редуцированные гласные уже прояснены: «воскресъшему», «вострубите». Это еще одно свидетельство в пользу гипотезы о новгородско-псковском происхождении оригинала Октоиха 1491 года.

Одним из источников фиолевского шрифта был ранний русский полуустав первой половины XV века. Характерный пример его находим в новгородском Октоихе 1437 года из собрания Новоиерусалимского Воскресенского монастыря. Это древнейший из сохранившихся датированных списков «великого» Октоиха. Письмо книги обладает почти всеми характерными особенностями, которые свойственны шрифту Швайпольта Фиоля.

И еще одно интересное наблюдение, которое можно провести, изучая другую первопечатную книгу — краковский Часослов. Известно, что Швайпольт Фиоль, следуя традиции, отпечатал свой Часослов в четвертую долю листа и имел для этого все основания. Широко применявшиеся не только в богослужении, но и в домашнем обиходе, например для обучения чтению, Часословы и Часовники, как правило писались и печатались в четвертую или в восьмую долю листа. Вот этот да и многие другие факты обнаруживают в издателе краковских первопечатных изданий хорошее знание православных традиций. Сомнительно, чтобы такими знаниями обладал немец из далекой от славянского мира Франконии. Остается еще раз предположить, что у Фиоля были помощники — скорее всего, украинцы.

Известно также, что тираж каждого из четырех изданий Фиоля не превышал 300 экземпляров, — таковы были обычные тиражи первопечатных книг (инкунабул) того времени. Поэтому представляет интерес сфера распространения краковских инкунабул в православных землях. Можно проследить судьбу некоторых дошедших до наших дней первопечатных церковнославянских книг.

Вполне естественно, что часть тиража осела в самом Кракове, и некоторые фиолевские инкунабулы хранятся ныне в библиотеке Краковского университета. При университете с первых же лет его существования стали формироваться книжные собрания. Крупнейшее из них находилось в здании Высшей коллегии — впоследствии оно послужило основой прославленной Ягеллонской библиотеки. Однако нас больше интересуют те первопечатные издания, которые были отправлены в славянские земли, и в частности на Украину.

Поскольку издание богослужебных книг было в первую очередь предназначено для православных восточных славян, преобладающая часть изданий Швайпольта Фиоля осела в Московском государстве. Причем большинство экземпляров, имеющих в отечественных собраниях, имеет записи великорусского происхождения (44 из 68). Записей белорусского, украинского и польского происхождения

меньше (12). По мнению Е. Л. Немировского, «все это доказывает, что Фиоль печатал свои издания если не по прямому заказу из Москвы, то, по крайней мере, рассчитывая преимущественно на Москву. Меньшая часть тиража предназначалась им для распространения на восточных землях Польско-Литовского государства, заселенных украинцами и белорусами».

Важным свидетельством в этом плане служит сообщение, содержащееся в сочинении, принадлежащем перу ученого монаха — киевского архимандрита Захарии Копыстенского (+1627). В написанном в 1621–1622 годах сочинении под названием «Палинодия, или Книга обороны Кафолической святой апостольской Восточной (восточной) церкви», Захария Копыстенский припомнил, как в конце XV столетия в Кракове издавались церковнославянские книги. Чтобы никто не усомнился в справедливости его слов, Захария Копыстенский тут же перечислил, в каком монастыре или церкви можно видеть то или иное издание. В этой своеобразной библиографической справке упомянуты все четыре издания, вышедшие из типографии Швайпольта Фиоля: Октоих, Часослов, Триодь Постная и Триодь Цветная. Названо было и имя печатника.

Итак, читаем: «А находятся тыи книги (Триоди) во многих при церквах и в монастырох в земли Львовской, и в монастыру Дорогобузском, и в Городку, монастыра Печерского маетности, и на Подляшу в земли Белской, в Ботках; Постная и Цветная на Волюню, и инде по розних местцах. Есть и другая церковная книга, которая ся называется з грецка “Октоих” або “Охтай”, краковского друку, которая находится в Смедине под Турийском на Волюню, в Каменцу Литовском при церкви Св. Симеона и инде.

Есть и третья книга, которую з грецкого языка называемо “Орологион”, а по словенску “Часослов”, в Кракове друкованная року 1491, через неякогось Швайпольта Фиоля, тая книга находится в монастыру Печерском Киевском, в церкви Любельской, и во Львове у Честнаго Креста на Личакове передместью Галицком, в Великом Берестю в Литве, где собор великий был року 1596 и инде».

Издания с именем Швайпольта Фиоля имелись на Украине в большом количестве. Захария Копыстенский указывал места их хранения: в «земле Львовской», в Дорогобуже, Городке, в Каменце, Киеве, Люблине, Бресте. Вполне понятно, что за прошедшие столетия следы многих краковских изданий затерялись. Но все же, несмотря на все войны и социальные потрясения, в крупнейших книжных собраниях Украины и сегодня сохраняются драгоценные церковнославянские первопечатные книги.

Несколько экземпляров краковских изданий 1491 года хранится в Центральной научной библиотеке АН Украины; сюда они поступили из киевских монастырей. Вот путь одной из книг — Постной Триоди (АБ I A 312). На ее форзаце читаем: «Киевской Духовной академии приносит в дар учитель Олонецкой Духовной семинарии Елпидифор Барсов 1866 года авг. 30 дня». Это был дар выпускника Санкт-Петербургской духовной академии (1861), будущего академика Е. В. Барсова (1836–1917), и с 1866 года бесценная Триодь хранилась в Церковно-археологическом музее при Киевской духовной академии, который после революции был переведен в Киево-Печерскую лавру. В настоящее время книга находится в Центральной научной библиотеке АН Украины.

При сходных обстоятельствах поступила сюда и другая краковская инкунабула — Часослов (АБ I A 173): на обороте верхней крышки переплета этой книги указано: «2Р № 404. Из числа книг библиотеки Киево-Златоверхо-Михайловского монастыря 1662 г. апреля 23». (Часослов Михайловского монастыря в 1899 году экспонировался на выставке, приуроченной к XI Археологическому съезду в Киеве и вошел в каталог выставки.)

Еще один экземпляр краковского Часослова в настоящее время находится в Музее книги Одесской государственной публичной библиотеки (ОГНБ, № 443748). Этот Часослов восходит к собранию одесского собирателя А. И. Тихоцкого. После смерти Тихоцкого его собрание было распродано по частям, «за умеренную цену». Часослов 1491 года был куплен крестьянином Данилой Пидлетаевым. 6 марта 1878 года он перепродал книгу Новороссийскому университету, откуда впоследствии Часослов и перешел в Музей книги.

Краковские издания украшают книжные собрания Львова; особенно хорошо здесь представлены Триоди. Еще в 1908 году исследователь И. С. Свентицкий описал Триодь Цветную, купленную Львовским церковным музеем у московского букиниста Шибанова. Этот экземпляр находится ныне в Музее украинского искусства во Львове (МУИ, № 27/280702). В том же 1908 году Свентицкий составил каталог и другого собрания старопечатных книг, вошедший в изданную им «Опись Музея Ставропигийского института во Львове» (Львов, 1908). На странице 57 этого каталога под № 75 (42) находится описание еще одной Триоди Цветной. Ныне этот экземпляр находится в Государственном историческом музее во Львове.

В 1958 году библиограф Ф. Ф. Максименко зарегистрировал еще один экземпляр Триоди Цветной, следы которой ведут на Волынь. Одна из записей была сделана на ней ксендзом Данилиевичем в 1740 году на Волыни в селе Паридубах (бывш. Ковельского уезда). В этом селе книга оставалась до 1932 года; в том году книголюб и археограф Б. Ольховский нашел ее в церкви в ящике для свечей, отвез во Львов и впоследствии подарил митрополиту Андрею Шептицкому. Тот в свою очередь передал книгу библиотеке «Студион», с фондами которой Триодь Цветная перешла в Библиотеку Академии наук Украинской ССР (ныне — Львовская государственная научная библиотека, ЛГНБ. Ст. 53309. 1-й рукоп.).

Имеется во львовских собраниях и Триодь Постная. Уже упоминавшийся И. С. Свентицкий в 1908 году описал экземпляр Триоди Постной, приобретенный у московского букиниста Шибанова церковным музеем Львова. В настоящее время книга находится в собрании Музея украинского искусства во Львове (МУИ. 53F-27/281002).

В том же книжном собрании имеется и краковский Часослов (МУИ. № 416/070512). Он был найден в одной из закарпатских церквей близ венгерской границы; впервые об этом часослове на страницах научной печати сообщил в 1908 году все тот же И. С. Свентицкий. Долгое время этот инкунабул хранился в церковном музее во Львове.

Упомянем теперь об ужгородском Часослове 1491 года. Сведения об этом экземпляре Часослова появляются в 90-х годах XVIII века в переписке выдающегося слависта Йозефа Добровского и его корреспондента В. Ф. Дуриха. В то время (1795) книга находилась в собрании епископа Мукачевского Андрея Бачинского. Со слов Добровского Дурих упомянул о мукачевском экземпляре на страницах вышедшей в 1795 году в Вене «Славянской библиотеки» — сборника статей по вопросам славяноведения. Последним, кто ознакомился с Часословом в библиотеке Мукачевского епископа «в Унгваре», был библиограф А. Л. Петров, побывавший в Закарпатье в 1890–1891 годах. В настоящее время собрание мукачевского епископа находится в библиотеке Ужгородского государственного университета, однако Часослова 1491 года там нет, и это ставит перед будущими исследователями задачу по отысканию бесценного инкунабула.

Куда же попадали краковские инкунабулы с Украины? Проследим пути миграции некоторых из них. Вот судьба фиолевской Постной Триоди, ныне хранящейся в Государственном историческом музее (Москва, ГИМ. Хлуд. 2). На некоторых лис-

тах этого издания (л. 50 об–54, по нижнему полю) читаем западнорусской скорописью: «Я раб божий Яков Бобруйский и з жоною моею Одаркею сию книгу глаголемую Триод Постную за отпущение грехов своих во церковь Покрова... року 1657 месяца генваря дня 27». На полях этого экземпляра Постной Триоди имеется много украинских записей XVII–XVIII веков.

В московских собраниях хранятся Цветная, Постная Триоди и Часослов, принадлежавшие известному украинскому книголюбу И. Я. Лукашевичу. В июне 1849 года с собранием Лукашевича, хранившимся в его селе Кононовке Пирятинского уезда, ознакомился выдающийся украинский ученый М. А. Максимович, а несколько месяцев спустя вкратце описал его на страницах только что основанного «Временника императорского Московского Общества истории и древностей Российских». В 1870 году собрание Лукашевича было приобретено Московским Румянцевским музеем; сегодня краковские инкунабулы Лукашевича находятся в собрании отдела редких книг ГБЛ (ЛБ № 5992; ЛБ. № 1206).

Краковские славянские первопечатные книги — Триодъ Постная и Триодъ Цветная — увидели свет в том же году, что и Октоих и Часослов. Триодъ Постную Швайпольт Фиоль печатал одновременно во второй частью Часослова, на той же бумаге, что и Часослов.

Триодъ Постная напечатана «в лист»; в книге собраны молитвословия, предназначенные для пения в церкви в так называемые «подвижные» праздники, предшествующие Пасхе. Название «Триодъ» широкое распространение получило в России лишь с XVII века. До этого книгу называли «Трипеснец». Издание Швайпольта Фиоля называется «Трипеснец надежду имещомоу начинаем неделя юже о мытаре и фарисеи». Название книга получила по неполным канонам — «трипеснцам», которые помещены в ней между молитвословиями.

Современные исследователи отмечают сходство печатных краковских Триодей с практикой восточнославянского рукописания. Так, можно упомянуть про рукописную Триодъ (Постную) первой половины XV века, которая принадлежала «боголюбивому архиепископу Еуфимию великаго Новаграда» и которую «писал поп Дионисие оу святого Николы на Вежищах» (ОРЛБ. Ф. 256. № 438. Л. 305 об–306).

Краковская Постная Триодъ широко использовалась в храмах и монастырях во время богослужений. Так, в ГБЛ хранится экземпляр фиолевской Постной Триоди, который восходит к собранию Козельской Введенской Оптиной пустыни (ЛБ. № 1208). В том же собрании ГБЛ имеется другой экземпляр Постной Триоди, который поступил сюда после 1917 года из библиотеки Московской духовной академии (ЛБ. № 1207).

Триодъ Цветная — непосредственное продолжение Триоди Постной — включает молитвословия, совершаемые на Пасху, а также в подвижные праздники последующих семи недель. Цветная Триодъ издавна переписывалась в крупных монастырях, и списки посылались в разные концы Северо-Восточной Руси. Так, в составе Синодального собрания находится Триодъ Цветная, написанная в 1311 году дяком Сергием для Малышевского монастыря на Ладожском озере (ГИМ. Син. 896). Анализируя содержание первопечатной Цветной Триоди в сопоставлении с рукописными оригиналами, можно найти точки соприкосновения ее текста с рукописной восточнославянской традицией.

Первопечатные церковнославянские книги в Литве

Каковы же были отношения между Москвой и Краковом в период, предшествовавший появлению первопечатных славянских книг? Они были благоприят-

ными вплоть до начала правления великого князя Московского Ивана III Васильевича (1462–1505), который начал распространять централизаторскую политику на земли, граничившие с Великим княжеством Литовским. Наблюдая растущую мощь Москвы, Польско-Литовское государство стало ощущать в восточном соседе серьезного соперника. Интересы обоих государств столкнулись в Новгороде.

Пытаясь противостоять Москве, Новгородская республика решила прибегнуть к помощи Польши. В ноябре 1470 года на княжение в Новгород был приглашен из Литвы князь Михаил Олелькович. А весной следующего года Казимир IV (1427–1492) заключил с Новгородом договор, по которому королю предоставлялось право держать в городе своего наместника. За это Казимир обещал новгородцам в случае, если «пойдет князь велики Московски на Велики Новгород», «всести на конь... и со всею со своею радою Литовской... оборонити Велики Новгород». Однако когда в 1471 году Иван III разбил новгородское войско на реке Шелони, Казимир не пришел на помощь новгородцам. В 1478 году земли Великого Новгорода были окончательно присоединены к Москве.

С этого времени отношения между Польшей и Москвой стали постепенно улучшаться. Об оживленных сношениях между обеими сторонами можно судить на примере посольств, которыми обменялись Москва и Польша. Так, в 1487–1488 годах Москва и Краков обменялись шестью посольствами, в 1489 году тремя и в 1490 году тоже тремя. Эти годы непосредственно предшествовали основанию в Кракове первой славянской типографии кирилловского шрифта. Любой из послов мог привезти в Краков рукописные книги, которые послужили оригиналом для первопечатника Швайпольта Фиоля.

От кого же получил краковский первопечатник рукописные оригиналы этих книг? Творения святых отцов церкви, Псалтирь и богослужебные книги на славянском языке в рукописном виде были в употреблении в Польше еще в конце XIV века, и этими книгами пользовалась, например, польская королева Ядвига, жена Ягайло, перешедшего из православия в католичество.

Русские сотрудники Фиоля располагали рукописями Северо-Восточной Руси, но, быть может, уже ранее перешедшими в Южную Русь в конце XIV — начале XV веков. Были у них и рукописи южнорусские, и рукописи, списанные с южнославянских оригиналов русскими переписчиками. В связи с этим можно вспомнить западнорусского митрополита Иону Глезну (1490–1494), которого любил и уважал король Казимир. Гораздо больше можно придавать значения литовским покровителям православных, которые могли поддерживать дело издания церковнославянских книг в столице Польши Кракове.

Особый интерес вызывает деятельность Василия Дмитриева Ермолина — русского архитектора второй половины XV века, имя которого неоднократно упоминается в летописях. Возможно, этот человек и переслал в Польшу рукописные оригиналы изданий Швайпольта Фиоля. Василий Ермолин был большим книголюбом и вел большую переписку с зарубежными знатоками. «Послание от друга к другу» — ответ на письмо, полученное Ермолиным от Якова (Якуба), писаря Великого княжества Литовского. Якуб просил московского друга прислать ему русские книги, а именно: «Прилог со всемы полон на весь год в единех досках, да Осмогласник по новому, да два Творца в одних досках, а к тому житя святых Христовых апостол двюнадесят написаны в единех досках».

В числе упомянутых книг мы видим «Осмогласник» — первую книгу, вышедшую из типографии Швайпольта Фиоля, Прилог, а точнее, «Пролог» — сборник коротких житий и поучений, распределенных по дням года. Эту книгу Фиоль мог использовать при корректировании месяцеслова, приложенного к Часослову, —

второй выпущенной им в свет книге. Наконец, два «Творца». Древнерусская книжность такого сочинения не знает. По мнению Е. Л. Немировского, «не исключено, что здесь ошибка переписчика, а в подлиннике речь шла о „двух Триодях“. Если это так, то Якуб просил прислать ему все те книги, которые впоследствии печатал Швайпольт Фиоль».

С 1491-го по 1493 год в славянской краковской типографии были отпечатаны четыре богослужебных православных книги; они после этого стали распространяться по сопредельным землям, попадая как в Литву, так и в Московское государство, поскольку в XV веке между Москвой и Великим княжеством Литовским существовали тесные книжные связи. Так, в ноябре 1497 года московские гонцы Николай Ангелов и Иван Оксенов отвезли в Вильну великой княгине литовской Елене, дочери Ивана III, 13 книг. Попадая в Литву, эти книги сохранялись в церквях, монастырях, оседали в частных собраниях, а впоследствии стали поступать в крупнейшие книгохранилища. Проследим за судьбой некоторых из краковских первопечатных изданий.

В экземпляре фиолевого Часослова 1491 года Библиотеки Академии наук Литвы имеется запись: «Сия книга есть з библиотеки монастыра Жировицкаго чину святого Василия Великаго 1758 Аппо подписано». Книга издавна находилась в Литве, о чем свидетельствуют и добавления к месяцеслову: «Святых новому Антонию и Иоанна и Еустахия в Вилни церковь е Троицы и монастыр на том месцу». Об этом Часослове упомянул известный библиограф И. П. Каратаев — во втором издании «Описания славяно-русских книг» (СПб., 1883). Там отмечено, что из Жировицкого монастыря этот Часослов попал в библиотеку Литовской духовной семинарии; впоследствии книга принадлежала Государственной библиотеке им. Врублевских, а сейчас находится в Библиотеке АН Литвы (БАН 1–9). Интересно отметить, что традиционный порядок служб, восходящий к краковскому Часослову, а точнее, к московским рукописным часословам начала XV века, был сохранен в виленских и киевских изданиях XVII века, то есть в изданиях, выходивших на территории Польско-Литовского государства. Это, по-видимому, прямое воздействие краковского издания 1491 года.

В Библиотеке АН Литвы хранится еще одна краковская первопечатная книга — это Триодь Цветная (ок. 1493). Пути ее миграции сходны с судьбой Часослова 1491 года: вплоть до XIX века она хранилась в Жировицком монастыре, а с XIX века — в библиотеке Литовской духовной семинарии, впоследствии — в библиотеке им. Врублевских.

Но не все сохранившиеся экземпляры краковских славянских изданий дошли до нас в цельном виде. В 1908 году А. И. Миловидов описал небольшой фрагмент (3 л.) Часослова, принадлежавший профессору Виленского университета М. К. Бобровскому, а впоследствии поступивший в Виленскую публичную библиотеку. Где находится этот фрагмент сейчас, неизвестно.

Краковские инкунабулы в российских книгохранилищах

Как попадали краковские первопечатные издания в отечественные книгохранилища? Вот некоторые пути их миграции. Один из экземпляров фиолевого Октоиха входил в собрание старопечатных книг, принадлежавшее купцу И. Н. Царскому. В одной из описей, принадлежавшей книготорговцу и собирателю Т. Ф. Большакову (ум. в 1863 году), под № 8 стоит: «Октоих. Краков. 1491». Цена на книгу показана в 200 рублей. В 1853 году, после смерти И. Н. Царского краковский Октоих вме-

сте с частью его собрания старопечатных книг стал собственностью графа Орлова-Давыдова. До 1917 года книга находилась в имении Отрада (Московской губернии), а после революции, вместе с собранием Орлова-Давыдова, поступила в ГИМ, в собрании которого хранится по сей день (ГИМ, собрание Царского, Б 8).

Другой экземпляр краковского Октоиха был в 1868 году приобретен московскими Публичным и Румянцевским музеями (МПРМ). Продал его музеям книготорговец Т. Ф. Большаков за более чем скромную цену — 85 рублей. О покупке упоминается в «Отчетах» музеев. В 1878 году знаменитый библиограф И. П. Каратаев на страницах своего издания привел сведения об еще одном экземпляре краковского Октоиха — из собрания П. В. Шапова. Экземпляр в 1888 году поступил в ГИМ, в собрание Отдела рукописей и книг старой печати, где и находится по сей день (ГИМ, Щап. 1).

В настоящее время исследователям известны всего восемь экземпляров Октоиха, причем шесть из них находятся в отечественных книгохранилищах: три в Санкт-Петербурге (РНБ — два, СПбГУ — один) и три в Москве (ГИМ — два, ГБЛ — один). Что касается другой краковской первопечатной книги — Часослова, напечатанного в том же 1491 году, что и Октоих, то он встречается значительно чаще, чем первая книга краковского типографа. Упоминание об этом издании находится в сочинении тверского архиепископа Феофилакта Лопатинского «Обличение неправды раскольнической, показанныя во ответах выгоцких пустосвятов на вопросы честнаго иеромонаха Неофита по увещанию и призыванию их к Святей Церкви от Святейшего Правительствующего Синода к ним посланного», изданного в Москве в 1745 году. В одном из «рассуждений» Феофилакт обращается к авторитету «древлепечатных» книг, появившихся задолго до патриарха Никона и его реформы, и упоминает о «Часослове печатном в Кракове, в лето от Рождества Христова 1491».

В богослужебной практике используется два вида Часослова: сокращенный вариант — Часовник — и «великий» Часослов, в котором тексты служб приведены с максимальной полнотой. Краковский Часослов 1491 года относится к числу «великих». Книги аналогичного состава бытовали в Северо-Восточной Руси на протяжении всего XVI века. Один из рукописных Часословов — новгородского происхождения: в нем есть запись об архиепископе Новгородском Феодосии, установившем празднование памяти архиепископа Иоанна (ум. в 1186 году), канонизированного Московским собором 1547 года.

Краковский Часослов был первым печатным изданием этой книги, появившейся в Московском государстве. Лишь в 1652 году повелением патриарха Иосифа в Москве был напечатан Часослов, который с полным правом может быть назван «великим» и который в этом отношении явился непосредственным преемником краковского издания.

Первые поступления краковских первопечатных славянских книг в Императорскую публичную библиотеку (Санкт-Петербург) (далее — ИПБ) относятся к 1830 году; ранее они принадлежали книголюбу графу Федору Андреевичу Толстому. Еще при жизни он продал свои коллекции государству, и они поступили в 1830 году в ИПБ. Вот что писал П. Строев о толстовском собрании книжных сокровищ: «Вельможа собиратель стяжал их высокою ценою своего достоинства, патриотическим намерением и деятельностью неограниченной. Немногие книгохранилища могут явить такие драгоценности искусства типографии. Первое место неоспоримо занимают здесь: Часослов и две Триоди, напечатанные в Кракове 1491 года».

Здесь речь идет о двух Триодах — Постной и Цветной, которые поступили в ИПБ в составе 377 книг из собрания Ф. А. Толстого. В настоящее время экземпляр Постной Триоди находится в отделе редкой книги РНБ (1.1.2-б). Что касается

Цветной Триоди, то она, как известно, является продолжением Триоди Постной. Старые славянские типографы, печатавшие Триодь Постную, чаще всего непосредственно за ней выпускали и Триодь Цветную. Так поступил и краковский первопечатник Швайпольт Фиоль. В 1830 году «толстовская» Цветная Триодь вместе с Триодью Постной поступила в ИПБ.

О краковском Часослове из собрания Ф. А. Толстого впервые упомянул в 1813 году русский исследователь В. С. Сопиков. На страницах своего «Опыта российской библиографии» он под № 1592 зарегистрировал «Часословец; перевод с греческого; в Кракове, 1491 — в 4°». В 1819 году этот экземпляр описал К. Ф. Калайдович; в 1823 году о нем упомянул П. М. Строев на заседании в Обществе истории и древностей российских, а в 1829 году подробно описал его. Как явствует из сообщения П. М. Строева, «книга была куплена на Ростовской ярмарке всего за 7 рублей, а затем, переходя из рук в руки, досталась Ф. А. Толстому, который уплатил за нее уже 350 рублей». В 1830 году этот Часослов вместе с собранием Толстого поступил в ИПБ; ныне он находится в собрании РНБ (1.5.1в).

Следует отметить, что оба исследователя, как К. Ф. Калайдович, так и П. М. Строев, указывали, что в собрании Ф. А. Толстого находился и второй экземпляр Часослова, сравнительно полный. Так, в своей работе «Сведения о трудах Швайпольта Феоля, древнейшего славянского типографщика» (М., 1820) К. Ф. Калайдович сообщает про «приобретенный (в 1812 году) графом Толстым покупкою от одного старообрядца за значущую сумму полный экземпляр Часослова, с показанием времени и места тиснения». Возможно, именно этот экземпляр числился в ИПБ в дублетах, и в 1864 году был подарен ею московским Публичному и Румянцевскому музеям (МПРМ). Ныне этот экземпляр хранится в ГБЛ (№ 3568).

Старопечатные церковные книги попадали в частные собрания разными путями, иногда при невыясненных обстоятельствах. Так, в «толстовском» экземпляре Часослова (РНБ. 1.5.1в) сделана запись XVII века — рукой выдающегося церковного деятеля патриарха Никона: «Лета 7166 (1658) мая в 27-ой день святейший Никон архиепископ царствующего великого града и всея великия и малыя и белыя России патриарх положил сию книгу в свое великого государя строение Нового Иеросалима живоносного Воскресения Христова в монастырь при архимандрите Герасиме, старце Зосиме з братьею. А тово восхощет ю усвоити, якоже Ахав сын Хармиев, или утаити, якоже Анания и Сапфира, да отъимет от него Господь Бог святую свою милость, и затворит двери святых щедрот Своих, и да приидет на него неблагословение и клятва и казнь Божия душевная и телесная в нынешнем веке и в будущем вечная мука, а кто сие писание каким злым умышлением испишет от книги сея, да испишет то имя Господь Бог от книги животныя».

«Грозное заклятие патриарха Никона до некоторой степени возымело действие, — пишет Е. Л. Немировский. — Надпись зачернена не была, как обычно бывало при переходе книги в частные руки. Однако изъять книгу из монастыря не побоялись. Уже в начале XIX века Часослов находился в библиотеке Ф. Толстого».

В 1848 году в ИПБ поступило книжное собрание А. И. Кастерина, и в числе прочих редкостей — краковские инкунабулы: Часослов, Триодь Постная и Триодь Цветная. Кастеринский экземпляр Цветной Триоди ранее принадлежал Стефану Яворскому (1658–1722), митрополиту Рязанскому и Муромскому, автору целого ряда богословских сочинений, предстоятелю Святейшего Синода Русской православной церкви. Книга была подарена ему каким-то «муромцем». В конце XVIII — начале XIX века этот экземпляр принадлежал диакону Иосифу Светозарову, оставившему подпись на переплетных листах.

Кастеринские Часослов и Триодь Постная и ныне хранятся в собрании РНБ

(1.1.2а; 1.5.1д); что касается Триоди Цветной, то в 1864 году этот экземпляр, попавший к тому времени в число дублетов, был передан недавно основанному Румянцевскому музею в Москве (основан в 1828 году в Санкт-Петербурге, переведен в Москву в 1861 году).

Следующее поступление краковских инкунабулов в ИПБ относится к 1852 году. Ранее они находились в составе книжного собрания Михаила Петровича Погодина (1800–1875), известного историка и публициста. Благодаря его собирательской деятельности в его собрании были уникальные старопечатные издания. Погодин много путешествовал и из своих поездок по западным славянским странам всегда приводил старопечатные книги. Регулярно посещал Погодин Нижегородскую ярмарку, куда со всей России свозились всевозможные редкости.

Профессор Московского университета, академик (1841), он начал собирать свое «древнехранилище» с 1840 года, и оно стало быстро пополняться книжными редкостями. В 1851 году император Николай I приобрел за 150 тысяч рублей серебром погодинское собрание, «известное по своей важности не только России, но и всему славянскому миру». В 1852 году погодинское «древнехранилище», в составе которого были рукописи, печатные книги и эстампы, было «высочайше повелено передать в Библиотеку, где они стали в числе самых важных приобретений истекшего года».

Собрание М. П. Погодина поражало своим богатством: в числе 1296 книг церковной и гражданской печати находилось 538 церковнославянских старопечатных книг. «Старопечатные церковнославянские книги составляют, наравне с рукописями, драгоценнейшую часть древнехранилища г. Погодина, — отмечалось в Отчете ИПБ за 1852 год. — Здесь находятся чрезвычайно редкие: Октоих или Шестоднев, напечатанный в Кракове Святополком Фиолем, 1491 г., в лист». Краковский Октоих, о котором упоминалось в отчете за 1852 год, поступил в ИПБ в неполном составе, но в 1874 году недостающие в нем листы были восполнены факсимильными литографированными копиями. В настоящее время эта книга находится в РНБ (1.1.1а).

Помимо Октоиха, в составе погодинского собрания имелись и другие краковские инкунабулы, которые сегодня занимают достойное место в коллекции РНБ: это Часослов (1.5.1г), Цветная и Постная Триоди (1.1.2в).

Ко времени поступления погодинского собрания в ИПБ здесь уже имелись краковские издания Часослова и обеих Триодей. Что касается первопечатного Октоиха, то он был включен в петербургскую коллекцию инкунабулов впервые. И не случайно в отчете ИПБ за 1852 год было отмечено, что собрание М. П. Погодина «пополнило и обогатило в Библиотеке отделения церковнославянских и русских рукописей и старопечатных книг драгоценными остатками нашей древней письменности, важными и любопытными историческими документами и единственными экземплярами книгопечатного искусства соплеменных нам славянских стран».

Краковские инкунабулы поступали в частные собрания не только из храмов и монастырей Северо-Восточной Руси, но и с юго-западных земель. Так, собиратель Ф. А. Букин приобрел фиолевскую Постную Триодь на Волыни. (Краковские первопечатные издания издавна распространялись на Волыни: Захария Копыстенский в 1619–1621 годах в рукописной «Палинодии» сообщил, что известные ему экземпляры краковского Октоиха находились «в Смедине под Туринском на Волыню, в Каменцу Литовском при церкви Св. Симеона и инде».)

В 1852 году букинская Постная Триодь перешла в собрание ректора Рижской духовной семинарии архимандрита Павла (Доброхотова) (1814–1900), о чем свидетельствует запись, сделанная на 138-м листе этой книги: «Рига. 1852 г. январь

22 дня. Приобретена на Волыни. Мне прислана Федором Андреевым Букиным. — Ректора архимандрита Павла Доброхотова». Выпускник Санкт-Петербургской духовной академии (далее — СПбДА), магистр богословия, архимандрит Павел (Доброхотов) впоследствии был возведен во епископа Олонецкого и Петрозаводского. В 1853 году, будучи еще в должности ректора Рижской семинарии, он подарил краковскую Постную Триодь воспитавшей его СПбДА. Архимандриту Павлу пришлось приложить большие усилия, чтобы восполнить недостающие листы, а имеющиеся в наличии подвергнуть тщательной реставрации. Вот как оценил этот щедрый дар заведующий библиотекой СПбДА А. С. Родосский: «Нечего говорить о том, сколько трудов стоило собрать эту древность и привести в порядок ветхие 223 листа. Собрание настоящей книги навсегда останется памятником любви, знания и уважения к древностям церковнославянской печатной литературы достопочтенного иерарха. Для академической библиотеки эта книга особенно потому дорога, что она составляет украшение нашей коллекции старопечатных книг, богатой изданиями московской печати, но в которой не было (до 1853 года) ни одной церковнославянской книги XV века».

Архимандрит Павел (Доброхотов) был не только страстным собирателем книжных редкостей, но и вдумчивым исследователем, скрупулезно собиравшим сведения об имевшихся в его коллекции раритетах. Об этом свидетельствует сопроводительная записка, которую он собственноручно сделал при передаче Постной Триоди в дар библиотеке СПбДА.

«В память моего воспитания в СПбДА — 1833–1837 — жертвую сию библиографическую редкость — Постную Триодь краковской печати — в библиотеку той академии, — писал отец Павел. — Книга сия принадлежит к первинкам (инкунабула) церковнославянской печати; потому что до сих пор не открыто, чтобы в другом месте кроме Кракова — прежде Шванполта Феоля — была где церковнославянская типография... У митрополита Евгения — в его знаменитом „Словаре“ (в статье „Иоанн Федоров“) не сказано — когда именно открыта, сколько всего напечатано и какая-первая книга вышла в свет из краковской типографии. Упомянуто только о трех — Псалтирь, Часослов и Октоих — и то под одним годом 1491-м, тогда как на печатание одной книги прежде, бывало, требовалось не менее года, — иногда даже двух и более... Основываясь на „Радецких актах“ города Кракова, заведение церковнославянской печати в сем городе утвердительно должно относить к 1491 году. В сих актах под 1491 годом ante Dorotheam Virginem (по римскому месяцеслову это 6-е февраля) помещено на немецком языке условие (договор) двух краковских жителей — Шванполта Феоля с Рудольфом Борсдорфом, родом из Брунсвика, о вырезке русских (то есть церковнославянских) букв, с клятвенным обещанием, что Борсдорф еще для другого кого не будет вырезать их и не откроет никому тайны вырезывания их. Поэтому первую книгою Феолевою печати надобно признать Часословец, ибо он напечатан в 1491 году — в самое время первоначального появления нововырезанных церковнославянских букв... Кроме Часослова, Октоиха и Псалтири, упоминаемых митрополитом Евгением, из краковской типографии вышли также и Триоди — Цветная и Постная. Утвердительно только можно говорить, что эти все краковские издания вышли в свет не позже 1491 года, ибо, по свидетельству „Радецких актов“ около этого времени Феоль совсем перенесся из Кракова на жительство в Венгрию — в Левоч... А что случилось с его заведением в Кракове — перенес ли он его с собою, или уступил другому кому — и в другое место — решительно ничего не известно.

Писал и подписал в г. Риге 1853 года апреля 14 дня. Рижской семинарии ректор архимандрит Павел Доброхотов».

Перечисляя книги, вышедшие из типографии Швайпольта Фиоля, архимандрит Павел (Доброхотов) упоминает о некоей Псалтири, ссылаясь при этом на знаменитое сочинение митрополита Евгения (Болховитинова) (1767–1837) «Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина» (1818). Но в те годы ни одному из исследователей не довелось видеть эту книгу. Так, К. Ф. Калайдович в 1820 году отмечал: «Псалтирь с воследованием доселе не отыскана». Так же обстоит дело и на сегодня; по словам Е. Л. Немировского, «существование пятой книги — Псалтири с воследованием, известной лишь по литературным данным, сомнительно. Книга не сохранилась; в новое время ни один из ученых ее не видел».

Запись о Павла Доброхотова интересна тем, что отражает уровень знаний исследователей, изучавших в середине XIX века историю краковских первопечатных книг. Примечательно упоминание с Рудольфе Борсдорфе, «родом из Брунсвика», который обязался «вырезать русские буквы». Действительно, в Кракове в то время жил Рудольф Борсдорф, выходец из Брауншвейга, который в 1485 году стал студентом Краковского университета. А 4 февраля 1491 года Швайпольт Фиоль заключил договор с Рудольфом Борсдорфом, чтобы тот «вырезал некоторое количество литер и передал их во вполне готовом и постированном виде» Швайпольту. Борсдорф выполнил условие договора, и таким образом впервые в истории книгопечатания был изготовлен славянский кирилловский шрифт.

В то время славянская кирилловская типография в Кракове была первой и единственной в Европе — конкурентов она не имела. Поэтому вполне понятно, что во избежание возможного соперничества в этом новом деле Швайпольт Фиоль взял с Борсдорфа обещание не изготавливать литеры для других лиц и не открывать «никому тайны вырезывания их». Таким образом, из содержания договора, написанного по-немецки, следует, что два немца Швайпольт Фиоль и Рудольф Борсдорф посвятили немалые труды публикации славянских богослужебных книг.

Что же послужило образцом для изготовления первых славянских литер? Это были рукописные сборники Северо-Восточной Руси второй половины XV века, выполненные полууставом и имевшиеся в распоряжении Швайпольта Фиоля. Но были и другие образцы, в связи с чем можно привести высказывание знатока этого вопроса Е. Л. Немировского, который излагает любопытное соображение: «итальянские шрифты эпохи Возрождения — таков один из источников, питавших вдохновение автора первого типографского кирилловского шрифта».

Существует предположение, что в подготовке первопечатных славянских книг принимал участие еще один выходец из Германии — Вит Ствош (Фейт Стосс), который работал в Кракове как раз в ту пору, когда Швайпольт Фиоль печатал здесь славянские книги. Вит Ствош происходил из прирейнской части Германии, откуда был родом и Швайпольт Фиоль. Работая же в Кракове, он был близко связан с теми кругами, которые стояли у истоков славянской типографии. Он приехал в Краков из Нюрнберга около 1475 года. Два года спустя, примерно в мае 1477 года, он начал обессмертившую его имя работу над алтарем костела Св. Марии в Кракове. Марицкий алтарь составляет ныне едва ли не главную историческую достопримечательность Кракова. Это самый большой готический алтарь в Европе. Его высота 13, ширина 11 метров. Фигуры центральной части исполнены в натуральную величину. Среди барельефов на евангельские темы — «Распятие», представляющее собой любопытную параллель к гравюре, помещенной на фронтисписе Октоиха Швайпольта Фиоля.

Листовая гравюра на дереве бытовала в Германии уже в первой четверти XV века. Гравюра на металле получила широкое распространение только позднее — начиная с 40-х годов того же столетия. Листы первых гравюров — мастера Е. S.,

«мастера берлинских Страстей (Христовых)», Израэля ван Мекенема, Мартина Шонгауэра — были известны во всем тогдашнем мире; доходили они и до Москвы.

Нет никакого сомнения, что уже очень рано распространились они и в Польше. Хорошо зная западноевропейскую гравюру, польские художники могли и самостоятельно испробовать эту технику. К сожалению, в нашем распоряжении нет польских гравюр, предшествовавших первопечатным краковским изданиям. Первую фигурную гравюру можно видеть в Октоихе 1491 года Швайпольта Фиоля. Поэтому вполне объяснимо то, что именно Виту Ствошу не раз приписывали авторство гравюр в книгах Фиоля.

Поступление очередного краковского инкунабула в Петербург относится к 1860 году. Речь идет об экземпляре фиолевского Часослова, который находился в коллекции ярославского собирателя Е. В. Трехлетова. Уже после смерти собирателя его библиотека была описана на страницах «Ярославских губернских ведомостей»; под № 186 был упомянут «Краковский Часослов». В 1860 году собрание Трехлетова было куплено ярославским купцом Оловянишниковым и передано им в дар Петербургской публичной библиотеке.

Как сообщалось в отчете ИПБ за 1860 год, сюда поступила «коллекция рукописей и книг ярославского купца Трехлетова, купленная у его наследников и принесенная в дар библиотеке ярославским же 2-й гильдии купцом Оловянишниковым, всего 357 рукописей и 97 томов печатных книг». Далее в том же отчете отмечалось, что «между печатными книгами особенно примечательны: Часослов, напечатанный в Кракове, в 1491 году, в четвертую долю листа — одно из самых первых произведений церковнославянского книгопечатания». Ныне этот экземпляр краковского Часослова находится в РНБ (1.5.16).

В следующем, 1861 году собрание инкунабулов ИПБ обогатилось еще одним краковским первопечатным изданием. В составе книжного собрания И. П. Каратаева в библиотеку поступили Постная и Цветная Триоди, а также Часослов (1.5.1а). К этому времени в собрании ИПБ имелось уже несколько экземпляров Постной Триоди, поэтому каратаевская Триодь вошла в состав дублетов и в 1864 году была подарена московским Публичному и Румянцевскому музеям и сейчас хранится в ГБЛ (ЛБ. № 1209).

Особенно примечательным для истории краковских инкунабулов на берегах Невы был 1874 год. В том году книжное собрание СПбДА пополнилось фиолевской Постной Триодью; это был уже второй экземпляр краковского издания 1491 года. (Еще в 1853 году архимандрит Павел (Доброхотов) подарил библиотеке СПбДА Постную Триодь из своей коллекции.) На этот раз Постная Триодь поступила в книгохранилище СПбДА в составе дублетов славянских церковнопечатных книг МПРМ в обмен на дублеты СПбДА.

В перечне старопечатных книг, полученных библиотекой СПбДА в результате обмена, под № 1 значится: «Триодь Постная, напечатана в Кракове в 1491 году в лист. Экземпляр крепкий, чистый, недостает лишь первого листа, который заменен рукописным». Этот экземпляр Постной Триоди ранее находился в собрании знаменитого библиографа В. М. Ундольского (1816–1864) и поступил в Румянцевскую библиотеку в 1866 году. Несколько лет спустя библиотека приобрела лучше сохранившийся экземпляр, и хранитель рукописного отдела Румянцевского музея А. Е. Викторов (1827–1883) решил обменять Триодь Ундольского. Любопытно, что в каталоге старопечатных книг, изданном в 1884 году в память 75-летия СПбДА, тогдашний библиотекарь СПбДА А. С. Родосский по поводу Постной Триоди заметил, что «цена полному экземпляру 100–150 рублей».

В том же 1874 году другой краковский инкунабул пополнил собрание ИПБ. Это был Октоих 1491 года, который также ранее принадлежал В. М. Ундольскому, а в 1866 году поступил в МПРМ. Два года спустя хранителю А. Е. Викторову удалось приобрести более полный Октоих 1491 года, и экземпляр Ундольского был переведен в дублеты. А еще через шесть лет — в 1874 году — из Москвы в Санкт-Петербург было отправлено «собрание вымененных у Румянцевского музея на дублеты Императорской Публичной библиотеки книг кирилловской печати, частью не имевшихся в библиотеке, частью заменивших ее неполные экземпляры». В перечне старопечатных книг, поступивших в составе этого собрания, фиолевский Октоих (под наименованием «Шестоднев») занимает почетное первое место: I. Шестоднев. Краков, 1491. В лист. В настоящее время Октоих Ундольского находится в собрании РНБ (1.1.16).

В краковских инкунабулах, поступавших в петербургские книгохранилища, порой отсутствовали некоторые листы и заглавные страницы (фронтисписы). Администрация ИПБ стремилась восполнить недостающие части драгоценных инкунабул путем снятия фотолитографических копий с более полных экземпляров. Так, по сообщению библиографа И. Каратаева, в начале 1874 года ИПБ «выписала бреславльский экземпляр краковского Осмогласника 1491 года, с которого она поручила снять более 30 фототипических (фотолитографических) снимков, недостающих в экземпляре Библиотеки».

В этом сообщении речь идет о вроцлавском экземпляре Октоиха из знаменитого Редигеровского книжного собрания. Этот экземпляр наиболее полон среди всех в настоящее время известных науке. Только здесь сохранился гравированный фронтиспис. В 1874 году в Санкт-Петербурге со многих листов этого Октоиха были сняты факсимильные копии. Впоследствии по репродукциям изготовили литографские факсимиле, восполнившие недостающие листы в экземплярах русских хранилищ.

В начале XX века редигеровское собрание вошло в состав городской библиотеки, а в настоящее время оно находится в университетской библиотеке Вроцлава, однако Октоиха 1491 года, как сообщают современные польские авторы, здесь нет. Так что о вроцлавском экземпляре Октоиха ныне можно судить лишь по достаточно подробному описанию, сделанному в 1876 году Я. Ф. Головацким, и по факсимильным петербургским копиям.

Недостающие листы краковских первопечатных изданий пополняли петербургские книгохранилища не только в факсимильном, но и в оригинальном виде. Так, в 1890 году начальник Военно-юридической академии генерал-лейтенант П. О. Бобровский принес в дар Академии наук пять сборников рукописей, принадлежавших ранее его дяде, слависту, профессору Виленского университета Михаилу Кирилловичу Бобровскому (1784–1848). В одном из этих сборников среди листового материала были вплетены четыре листа Часослова, напечатанного в Кракове Швайпольтом Фиолем в 1491 году. Так еще одно петербургское книгохранилище — Библиотека Академии наук (БАН) — стало обладателем фрагментов первопечатного наследия Швайпольта Фиоля. А в начале XX столетия БАН обогатилась краковской Постной Триодью, которая поступила в ее собрание из коллекции уже упоминавшегося архимандрита Павла (Доброхотова).

В начале этой книги имеется надпись-автограф: «Ректора архимандрита Павла Доброхотова. Переплетена в Риге 1852 г. апреля 22 дня». На обороте этого же листа дарственная надпись архимандрита Павла священнику Александру Петровичу Воскресенскому и его жене Екатерине Ивановне, датированная 1897 годом. На этом же фолианте имеются и более ранние записи XVI–XVII веков — на русском и

польском языке. Многие листы Триоди реставрированы, а восемь первых листов заменены рукописным текстом. Подаренная священнику Александру Воскресенскому, Постная Триодь в течение ряда лет находилась в его ведении, а в 1908 году поступила в собрание БАН и сегодня занимает почетное место в ее отделе рукописной и редкой книги (№ 772, БАН, 38.21.7. Инв. № 532).

С той поры приток краковских инкунабулов на берега Невы приостановился на несколько десятилетий, а некоторые из тех, что хранились в СПбДА, были перемещены на новое место. Вскоре после революции СПбДА прекратила свое существование. Это событие отразилось и на судьбе академической библиотеки. В 1919 году книжное собрание СПбДА было передано Публичной библиотеке (ныне — РНБ), и собрание ее инкунабулов пополнили две краковские Постные Триоди — «доброхотовская» и «румянцевская», которые хранятся в РНБ и поныне (1.1.2д; 1.1.2е). (В 1946 году СПбДА возобновила свою деятельность, и ей была возвращена часть ее книжного собрания — издания, вошедшие в число дублетов РНБ. Вопрос о возвращении краковских инкунабулов в те годы, естественно, не ставился.) Так одно из петербургских книгохранилищ — библиотека СПбДА — утратило краковские первопечатные издания, которые с этого времени были сосредоточены только лишь в РНБ и БАН.

Но в новейшее время еще одно петербургское книгохранилище обогатилось фиолевским изданием. Речь пойдет о научной библиотеке Петербургского университета, расположенной в здании Двенадцати Коллегий, напротив БАН. Университетское собрание инкунабул довольно скромное, и выше сообщалось, каким образом листы краковского «Миссала» извлекались из переплетов более поздних изданий, принадлежавших Библиотеке ЛГУ.

В 1965 году в библиотеку ЛГУ поступила неожиданная находка — Октоих 1491 года, один из самых полных известных в настоящее время экземпляров краковского инкунабула. Как известно, с 1878 года, на протяжении почти ста лет, ни один новый экземпляр краковского Октоиха не был введен в научный оборот. Но в 1965 году экспедицией Русского музея, работавшей на Русском Севере, была сделана сенсационная находка — краковское издание Октоиха. Эта книга была приобретена в деревне Заозерье Холмогорского района Архангельской области у М. Н. Шонбиной (прежние владельцы Н. Е. Вальков и Я. Л. Зыков).

В том же 1965 году из Русского музея Октоих поступил в научную библиотеку ЛГУ, где и хранится в настоящее время (№ 84). «Судя по записям и фрагментам документов, пошедших на подкладку переплета и реставрацию отдельных листов, книга эта, по крайней мере с XVII века, находилась в пределах России и бытовала на Русском Севере, где и сохранилась до наших дней в старообрядческой среде», — отмечается в описании университетского Октоиха. И несмотря на то, что эта книга постоянно использовалась во время богослужений, она дошла до нас в хорошем состоянии. По оценкам современных исследователей, данный Октоих «дошел до нас в более полном виде по сравнению с другими экземплярами (кроме единственного полного, хранящегося в ГБЛ), а служил дольше — почти пять столетий».

На сегодняшний день исследователям известно местонахождение нескольких десятков экземпляров краковских первопечатных книг: они украшают собрание инкунабулов в книгохранилищах Польши, других стран Восточной, Западной Европы и США. Но поскольку издание богослужебных книг в первую очередь было предназначено для православных восточных славян, преобладающая часть изданий Швайпольта Фиоля осела в Московском государстве. Поэтому вполне понятно, что большая часть сохранившихся краковских инкунабул впоследствии посту-

пала в отечественные книгохранилища — в собрания ГБЛ, ГИМ, а также в библиотеки Киева, Львова.

Что касается других известных на сегодня краковских первопечатных книг, то их число несколько больше — до нас дошло 25 экземпляров Часослова, 27 экземпляров Триоди Постной, 20 экземпляров Триоди Цветной, причем значительное число этих инкунабул хранится в украинских собраниях.

Исторически сложилось так, что большая часть фиолевских изданий осела в двух московских книгохранилищах — Румянцевском и собрании Исторического музея, в то время как в Санкт-Петербурге они в основном поступали в ИПБ. Поэтому сегодня по числу краковских инкунабул РНБ достойно соперничает с ГБЛ и ГИМ в отдельности, а в целом петербургские собрания занимают почетное второе место после московских.

Преемники Швайпольта Фиоля

Завершив обзор судьбы славянских первопечатных изданий на берегах Невы, снова вернемся к их краковской колыбели. Вскоре после выхода в свет фиолевских инкунабул (1491) славянская типография прекратила свое существование. А 7 июня 1492 года в Гродно умер король Казимир IV Ягеллончик. Тело его привезли в Краков и погребли в кафедральном соборе на Вавеле. Над могилой установили мраморное надгробие, работать над которым еще при жизни короля начал прославленный мастер Вит Ствош. Атмосфера веротерпимости, которой отличался Краков во время правления Казимира, постепенно стала утрачиваться, и предпринимать новые усилия для издания православных богослужебных книг в католическом государстве было нереально. (Король Казимир IV, конечно, не был инициатором создания славянской типографии, но его внутренняя политика создала благоприятные условия для деятельности Швайпольта Фиоля.)

В конце 1525 года (либо в начале 1526-го) скончался и первопечатник славянских (кирилловских) книг — Швайпольт Фиоль. Но на этом не прервалось начатое им дело: после краковских изданий печатные славянские книги стали выходить и в других землях: в Венеции (1493), Черногории, Угровалахии (1512). Именно в тот период времени уже развивалась активная издательская деятельность белорусского первопечатника Франциска (Георгия) Скорины, работавшего в Праге и Вильно.

Деятельность русского первопечатника Ивана Федорова также имеет отношение к Кракову: по некоторым сведениям, он обучался в Краковском университете. В книге «Либер Промоционум» Краковского университета (книга, в которую записывали имена лиц, удостоенных ученых степеней бакалавра или магистра) на одной из страниц имеется запись о том, что в 1532 году, в ту пору, когда деканом был магистр Ян из Пиотркова, степени бакалавра был удостоен «Joannes Theodorus Moscus» (Иван Федоров Москвитин).

Это имя упоминается в пяти университетских актах, относящихся к 1533–1534 годам. Из них можно узнать, что Иван Федоров был в эту пору бакалавром свободных искусств; жил в бурсе «Иерусалим». Бурса — это своеобразное общежитие, в котором приезжавшие в Краков молодые люди за небольшую плату могли жить, питаться и слушать лекции. Крупнейшая из бурс — «Иерусалим» — открылась в 1456 году. Право поступления в бурсу имели юноши вне зависимости от их происхождения, вероисповедания и национальности. Здесь рядом с поляками жили школяры из Германии, Венгрии и других стран. Особенно много в бурсе «Иерусалим» было выходцев с украинских и белорусских земель.

Интересно, что старшиной бурсы как раз в ту пору, когда в ней пребывал Иван

Федоров, был некий Томас из Красностава. И то обстоятельство, что в книге «Либер Промоционум» вслед за именем Ивана Федорова Москвитина указано в скобках — «Canonius Crasnostavensis» (Каноник из Красностава), по мнению Е. Л. Немировского, объясняется тем, что именно с Томасом «перепутал» писец «Либер Промоционум» Федорова, назвав его «каноником красноставским». Спутать *Thomas* и *Theodorus*, особенно в сокращенном написании, было немудрено.

В Краковский университет Иван Федоров попал в пору его расцвета. Ректором университета в 1531–1553 годах был старый заслуженный профессор Станислав Биль, по национальности украинец, никогда не забывавший прибавлять к своему имени эпитет «Ruthenus» (русин). Систематическое преподавание греческого языка в Краковском университете началось еще в 1520-е годы и ко времени прибытия сюда Ивана Федорова достигло высокого уровня. Иван Федоров обязан своими знаниями в этой области профессору Ежи Либану из Легницы. В эту же пору греческие тексты начинают издаваться краковскими типографиями: были выпущены в свет грамматики греческого языка и учебники. Знания в этой области в дальнейшем могли помочь Ивану Федорову при подготовке к печати знаменитой Острожской Библии.

Это был переломный период в истории православной книжности. «Отныне славянское книгопечатание существует и с каждым годом завоевывает все новые и новые позиции, — пишет Е. Л. Немировский. — Подчас презираемое и гонимое, оно находит прибежище в укрепленном замке черногорского феодала, в многоязычной Венеции, при дворе валашских государей, в укромных кельях сербских горных монастырей, в древней Праге, в торговых кварталах Вильны и, наконец, в середине XVI столетия окончательно утверждается в Москве».

* * *

В кратком обзоре трудно достаточно полно осветить все аспекты православия в краковских землях, и эта тема требует своей дальнейшей разработки. Тем не менее на основании представленных сведений можно сделать некоторые обобщения. Каждый, кто изучает далекое прошлое славянских народов, кому дороги памятники славянской духовной культуры, может убедиться в том, что были времена, когда славянские народы были ближе друг к другу, когда политическая рознь не разъединяла их, не искажала отеческих преданий. В этом отношении древний Краков так же дорог для каждого славянина, как дороги для него Киев и Прага, Псков и Новгород, Дубровник и Полоцк, Москва и Вильна, Перемышль и Люблина и многие другие города и земли, где еще сохранились памятники древности и предания, напоминающие о тех узах дружбы, которые соединяли и продолжают связывать славян в общую и большую семью.

Список сокращений

- БАН — Библиотека Академии наук (Санкт-Петербург).
- ГБЛ — Государственная библиотека им. Ленина (Москва).
- ГИМ — Государственный исторический музей (Москва).
- ГПБ — Государственная публичная библиотека (Санкт-Петербург) (ныне — РНБ).
- ИПБ — Императорская публичная Библиотека (ныне — РНБ).
- ЛГУ — Ленинградский государственный университет.
- МПРМ — Московские Публичный и Румянцевский музеи.
- РНБ — Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург).
- СПбДА — Санкт-Петербургская духовная академия.

ДОМ ЗИНГЕРА

Даниил Гранин. Заговор. М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2013. — 320 с.

В жизни Даниила Гранина было многое: школа, ленинградская война, что заняла четыре года. Были институт, работа в научной лаборатории, были путешествия, романы, писательство. И памятные, чистосердечные беседы с выдающимися учеными, из которых двое, цитолог и эмбриолог, утверждали, что душа у человека есть. «Но вы должны знать, каждая мать должна знать, что в ее ребенка Господь вдохнул душу» (П. Светлов). Даниил Гранин не раз на протяжении долгой жизни общался с чиновниками, партийными функционерами. То, что сегодня воспринимается как ситуация чуть ли не комическая — отказ Гранина подписать письмо с требованием высылки А. Солженицына из СССР, — тогда являлось ситуацией драматичной, отказ влек за собой исключение из партии, а исключенный из партии становился парией, падшим, переходил в низшую категорию людей. Д. Гранин из поединка с партийными властями вышел с честью. Становясь пенсионерами, партийные работники «очеловечивались», сбросив с себя начальственную манеру, заговаривали о «сокровенном». Так, от Г. Попова, бывшего первого секретаря Ленинградского горкома партии, Д. Гранин узнал, как снимали Хрущева, как реализовывался тщательно подготовленный заговор. «В нашей истории заговоры — первое дело. Заговоры — основное у них средство борьбы за власть», — грустно констатирует писатель. Но — и жизнь не выстраивается в шеренгу, и годы не хотят выстраиваться в шеренгу. И эта книга — не хронологический отчет о пережитом, о сложном прошедшем, а вольный поток мыслей: истории с сюжетами замысловатыми и простыми, воспоминания о судьбах великих ученых, размышления о прошлом, настоящем и будущем, о человеке и нравственной составляющей жизни, цитаты, осевшие в памяти. Есть фрагменты, занимающие несколько страниц, а есть и совсем короткие, как, например, этот: «Человека нельзя лишить мысли, нельзя ее запретить, арестовать». Фактически жизнь Даниила Гранина — это весь XX век. И выплывают из забвения милые подробности ушедшей жизни, «малый мир», сохраненный в памяти: прошлые звуки, запахи конского навоза, крики газетчиков, цоканье копыт. Времена, когда «не было на улицах негров, да и вообще иностранцев, они были редкостью, на стендах не клеили газет, газеты не бросали и всяких оберток, кульков, целлофанов — ничего этого не бросали. Прохожие стали другие, мусор стал другой, время-дворник все подмело». А были — дворнички, булочная Филипповых, лоточники, татары-тряпичники, прачки, ломовые извозчики, шарманщики, трамвай с «колбасой». Все, из чего когда-то состояла жизнь, исчезло, прочно позабыто, как и навсегда исчезло и множество бытовых правил. Конечно, Даниил Гранин, участник Великой Отечественной войны, сражавшийся на Ленинградском фронте, автор «Блокадной книги», написанной совместно с А. Адамовичем, не раз обращается к военным годам. Это и врезавшиеся в память эпизоды военной жизни, собственные впечатления и осмысление мемуаров, воспоминаний бывших противников, другой стороны. И многое ныне выглядит не так, как десятилетия назад воспринималось юным солдатом. В воспоминаниях врагов он искал прежде всего то, что относится к Ленинградскому фронту, к эпизодом «его войны». И собственный опыт, не оспоренный в последующие десятилетия, сообщает: «Войны выигрываются не силой, не самолетами. Числом и умением можно выиграть сражение, победа приходит не от армии, а от знамен, от того, что на знамени. ...Мы победили потому, что воевали против оккупантов, наша война была справедливой войной, с первого же дня мы знали, что победим. Моральное превосходство было важнее превосходства авиации». Одна из постоянных тем, к которым обращается

писатель, автор книги о Петре I, — наша история, исторические мифы и реальность. «России не хватает повседневного внимания к своей исторической деятельности и заслугам, — считает писатель. — У нас почти ничего не сохранилось в память, например, Первой мировой войны, сражений русских войск, подвигов русских солдат в той войне. Нет почти ничего, связанного с историей первых пятилеток, деятельностью создателей советской индустрии, первыми колхозами, совхозами». О том, как охотно мы забываем и плохое, и хорошее без особого различия, свидетельствует многое. В том числе и отказ в 2009 году городского руководства отметить трехсотлетие со дня рождения Елизаветы Петровны — не было указаний сверху! Память Елизаветы почтила в Смольном соборе небольшая группа интеллигенции. Наша история последних лет, весь негативный опыт советской жизни помогли Д. Гранину, по его же признанию, понять и Петра I: «отечество было его хозяином, и он служил этому хозяину верой и правдой». В последние десятилетия всплыло много негативного из того, что либо скрывалось раньше, либо преподносилось как заслуги советской власти. Высылка наиболее талантливой части русской интеллигенции в 20-е годы, истребление священников, шаманов, украинских бандуристов-слепцов. И задается писатель вопросами: как удалось в наши дни, не осуждая красных, реабилитировать белых? Кто ныне герой — Чапаев или Колчак? Для Гранина Октябрьская революция — великая русская революция, событие эпохальное, которое много дало России и миру. Другое дело, что «мы не сумели сохранить ее величие, мы сами заморочили свою историю надуманными, несправедливыми обвинениями». Неизменен интерес писателя к людям, которые правили нашей страной: Ленин, Сталин, Горбачев, Маленков, Берия. Его оценки неожиданны и строги. «Что было, то было, но рано или поздно история должна восстановить правду. Всю трагедию и красоту российской идейной жизни, ее богатство и что она на самом деле дала миру». Д. Гранин хорошо знает, как несовместимые, противоположные воззрения уживались в одном человеке, как в советские времена лицедейство превратилось в массовое искусство: думать об одном, делать другое, говорить третье. Раздвоение, расщепление личности в СССР не могло остаться безнаказанным. Он изучал заявления, которые в конце 80-х—начале 90-х подавали те, кто желал выйти из компартии, и пытался понять: то ли партия проходила процесс очищения, то ли просто гнила. Он вообще считает, что дело писателя — попытаться понять другую сторону, людей, которых мы намерены осудить. Какие были у них мотивы? Можно ли было вести себя по-другому в данной ситуации и в данное время? Когда возможен компромисс, и так ли правы остервенелые, неспособные понять других «экстремисты правды»? «Историческое сознание у людей не подготовлено. Те, кто не прожил, не испытал, ничего о прошлом не знают, и им неоткуда это узнать. В учебниках истории нет истории страха и лжи, история нашей советской жизни не написана. Откуда им, вопрошающим, знать подробности нашего безгласия, механизм „единодушия“, „сплоченности“, „единомыслия“, откуда им знать, что значили для нас даже те крохи правды, которые иногда удавалось высказать». Размышляя о дне сегодняшнем, о техническом прогрессе, безгранично расширяющем коммуникативные возможности, Д. Гранин ищет ответ на вопрос: способна ли техника помочь исправлению нравов? Технические возможности опережают способность человеческой адаптации, мы не в состоянии предвидеть, как мир новой техники изменит человека. Нравственные смыслы — вот что в первую очередь заботит писателя, к какой бы теме он ни обращался. Сострадание как высшая культура чувств, милосердие, совесть. И ой как полезно, необходимо вслушаться в то, что говорит этот не претендующий на истину в последней инстанции, мудрый человек. «Сознание нам расконвоировали, охрана ушла, предрассудки отброшены, мифы исчезли — иди куда хочешь. А куда? Вот какой вопрос появился,

стоим в чистом поле без понятия, и никаких знаков». «Выросло поколение, которое не мечтало о коммунизме, которое вообще не думает о будущем обществе. О себе — да. О новой машине, как больше получать, как забраться повыше». «Смысл своей жизни, который мы ищем, не может находиться внутри ее, он может быть только для людей — в милосердии, в помощи, в любви, в сострадании. Это единственное, чем можно оправдать свое существование». «Закон возмездия существует. ...Рано или поздно зло должно наказываться. Пусть через потомство, детей, ради которых воровал, лгал, грабил. Справедливость часто запаздывает. Не поспевает за сроками нашей жизни, то есть мы не доживаем, а вдовы, внуки — им достается. Если бы справедливость не существовала, что стало бы с нашим миропорядком?»

Ирина Муравьева. Жизнь Владислава Ходасевича. СПб.: Крига, 2013. — 568 с.; ил.

Владислав Фелицианович Ходасевич (1885–1939) — поэт, переводчик, историк литературы, мемуарист. При жизни Ходасевича было издано пять его поэтических сборников, последний, «Европейская ночь», уже за границей. Он принял Февральскую и Октябрьскую революции, работал в театральном отделе Наркомпроса, в горьковском издательстве «Всемирная литература», Книжной палате. Но вписаться в новую действительность не сумел. В 1922 году Ходасевич эмигрировал. Жил в Берлине, Праге, Италии, в 1925-м поселился в Париже. Он всегда был в гуще литературной жизни. С 1910-х годов выступал как критик, к мнению которого прислушивались, откликнулся на новые издания мэтров символизма, рецензировал сборники литературной молодежи. В 1920-е Ходасевич становится ведущим эмигрантским критиком: в течение одиннадцати лет он публиковал литературно-критические статьи в газете «Возрождение», многие из них о поэтах и поэзии. Большой поэт, действующий критик, он был знаком со многими великими своего времени. Среди них — Валерий Брюсов, Александр Блок, Андрей Белый, Владимир Маяковский, Борис Зайцев, Иван Бунин, Мережковские, Марина Цветаева, Бердяевы, Франк... Дважды, летом 1916 и 1917 годов жил в Коктебеле, у Максимилиана Волошина. Дружил, совместно работал с Горьким, бывал у него в Саарове, Фрейбурге, Сорренто. За границей он посещал литературные собрания, вечера поэтов, юбилеи и — панихиды и отпевания. В 1939 году опубликовал книгу воспоминаний — «Некрополь», героями которого стали его современники, от А. Белого и Блока до Горького, увиденные через малые житейские правды. Несколько раньше, в 1931-м, вышла книга Ходасевича «Державин» — один из лучших образцов художественной биографии за всю историю этого жанра, в 1937-м был издан в Берлине сборник статей Ходасевича «О Пушкине». Надо ли говорить, что в России, уже в новой России произведения Ходасевича стали публиковать только в конце 1980-х годов. Тогда же появились статьи о нем, а в 2011 году — первая фундаментальная биография поэта (Шубинский В. Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий). И все-таки, как считает журналист и историк Ирина Муравьева, мы многого не знаем о Ходасевиче. Применительно к Серебряному веку, Ирина Муравьева — человек не случайный: около десяти лет назад ею был выпущен двухтомник «Век модерна», в котором она досконально исследовала все особенности той переломной эпохи в самых разнообразных сферах жизни. И хотя Ходасевич далеко ушел от Серебряного века, свою творческую жизнь начинал он именно тогда. В книге широко использованы архивные материалы, хранящиеся в фонде Ходасевича в РГАЛИ: его переписка, неопубликованные прозаические наброски; а также опубликованная переписка, стихи Ходасевича. И. Муравьева воссоздает образ человека ярко талантливого и остроумного, болезненного, ранимого, достигшего в поэзии высокого совершенства, и в конце концов, «когда он понял, что ему

не достичь высшего совершенства, что стихи не идут моцартиански легко и становятся чем-то вымученным, он бросил их писать, хотя мог бы, наверное, продолжать». В своей книге И. Муравьева следует за В. Ходасевичем, который считал (применительно к Пушкину, да и не только к Пушкину), «что вникнуть в творчество писателя можно, лишь досконально зная его биографию, что все в поэзии и прозе возникает в конечном счете из жизни автора». Обращаясь к жизни Владислава Ходасевича, она стремится обнаружить в ней некие соответствия его творчеству, подобные тем, что искал он сам у Пушкина и других поэтов. Детали биографии Пушкина, перед которым Ходасевич преклонялся, он исследовал «с дотошностью даже не пушкиниста, а близкого родственника». Для И. Муравьевой важны любые мелочи, потому что без жизненных мелочей, деталей жизни многое с необходимой глубиной в творчестве В. Ходасевича не понять. Любовно, тактично, исторически выверенно рисует она портрет поэта, творчество которого так долго не знали на Родине. А эскиз к портрету таков: «Есть в нем, в его поэзии неразгаданность. Он одинок в литературном мире своей эпохи, его невозможно отнести к какой-либо группе. Он не символист и не акмеист, хотя и вышел из символизма, но вскоре оттолкнулся от него. К акмеистам он тоже не примкнул; хотя некоторые и находят в нем сходство с ними, но оно скорее чисто внешнее. Он „опоздал родиться“, как пишет сам... Он прошел через декаданс, оставшись самим собой, не надев, подобно, скажем, Георгию Иванову или Брюсову, да и многим другим, маску, не спрятав лица, не стал разыгрывать свою жизнь как театральное действо. Это тоже было редкостью в те времена. Он не объявлял себя последним поэтом России, поэтом конца, хотя эсхатологические мотивы были, конечно, и в его творчестве. Но он выбрал себе другую роль. Он знал себе цену. Он держал на себе связь времен, сохранял традиции русской классической поэзии, претворяя их в просодию XX века. Он был одинок в поэзии; его традиция осталась неразвитой, непродолженной. Это одиночество — его удел, его судьба...»

Константин Костюк. История социально-этической мысли в Русской православной церкви. СПб.: Алетейя, 2013. — 448 с. (Серия «Богословская и церковно-историческая библиотека»).

Социальная этика рассматривается автором как отношения, опосредованные социальными институтами, или, как определяет Константин Костюк, «рефлексия о социальных вещах». Человек и государство, человек и власть, человек и социальная система — темы эти постоянно служили предметом философско-этической мысли, в том числе и христианской. Социально-этическая мысль Русской православной церкви в социально-этическое учение не оформлялась никогда, да и не могла в подобное оформиться. Причина этого — не только во внешних обстоятельствах, принуждающих церковь в течение почти всей своей истории находиться под бдительным оком «христианского» или «антихристианского» государства. Главное — в особом отношении к «миру», понятию «не научному», особо важному для церкви, и в принципиальном отсутствии у церкви «интереса» к социальному измерению жизни. Тем не менее именно христианской церкви наука обязана наличию социально-этического мышления и его расцвету в наши дни. На протяжении столетий христианской мыслью определялись сущность государства, народа, смысла социальной жизни, войны, мира, семьи, любви, продолжения рода. Несмотря на отсутствие целостного социально-этического учения в традиции РПЦ, данная книга ясно свидетельствует о том, что можно уверенно прочертить основные линии русской социально-этической мысли, выделить такие ключевые понятия, как власть, милосердие, правда, соборность, труд, семья. На протяжении веков государство в православии персонифицировалось в личностной силе — Царе. оплакав гибель царя, церковь отделила от социального тела еще один слой — От-

чизну. В особом фокусе она видит православного воина, его священное служение церкви и Отчизне. Служение — это измерение, в котором мыслится вся социальная жизнь, а не только присутствие в церкви. Духовное послушание, воинство, брак, труд — все это разные виды служений, которыми православный человек вырастает в общество. Это кредо, ключ православной этики. Но нет в ней места таким категориям, как рабочий и профсоюзы, неясен статус образования и просвещения. Есть ли в жизни человека пространство прав человека — на это православие еще не дало однозначный ответ. Показательно, что среди православных мыслителей XX века нет ни одного, кто бы мог глубоко и искренне высказаться за демократию. И, напротив, масса таких, кто убедительно и бескомпромиссно связали православие с монархией. В книге прослеживается эволюция социально-этической мысли православия от его византийских корней до наших дней. История русской православной социально-этической мысли, констатирует автор, хотя и слабо в науке освещена, но весьма разнообразна. «Это и уникальный период киево-русского расцвета, способный подивить мир теми быстро-пышными совершенными формами, которые обрела богословская мысль. Это и по-шекспировски сложная и противоречивая эпоха Московского царства, в которой своего пика достигло и дело церкви и ее социально-этическая мысль. Это спустившаяся над церковью тень петровско-синодальной эпохи, в которую, однако, начинается многообразная переключка с западной религией и богословием. И, наконец, период, значение которого для социально-этической культуры России невозможно переоценить, — рубеж XIX–XX веков, расцвет русской религиозной мысли». Представлен в книге, хотя и скудно, и специфический, советский период в жизни русской церкви: в «катакомбном» состоянии в те годы пребывала социальная мысль и в России, и за рубежом, материала мало. По многообразию материалов самым плодотворным для русской церкви автор считает постсоветский период. В первую очередь благодаря принятию «Основ социальной концепции РПЦ» и других социальных документов церкви. Значительная часть книги посвящена анализу Социальной концепции Русской православной церкви и внутривосстановительной дискуссии по социальным вопросам, развернувшейся в 90-е годы и первую декаду третьего тысячелетия. Отмечает К. Костюк и такой парадокс: вспыхнув в живой, клубящейся атмосфере постсоветских 90-х, жизнь социально-этической мысли в дальнейшем и по накалу, и по таланту только угасает, возвращая исследователя снова в историческую перспективу. И хотя непосредственного контакта Россия с Византией почти не имела, но социально-культурная мысль русского православия воспроизводит те идеальные категории, которые были в Византии: царь, империя, симфония. В русском контексте эти понятия обретали новые формы и толкования, какие-то даже более завершенные и прекрасные, какие-то уродливые. Так, модель «симфонии властей» сложилась в Византии, но совершенно иначе проявила себя на Руси, когда «церковь стала более мощной осью общества, чем в Византии». В период Московского царства была сформулирована русская «теология власти», и эту идеальную модель РПЦ считает ориентиром и поныне, считает К. Костюк. И ни от одного из своих заветов, поставленных на заре своего существования, русская церковь не отказалась — ни от своего добровольного византизма, ни от литургического неоплатонизма. Историю социально-этической мысли автор излагает, обращаясь к наиболее ярким ее фигурам и представителям, связывая литературно-богословский процесс с историко-социальными процессами, с культурным контекстом, в который погружены православные мыслители. И не только историю — он обращается ко дню сегодняшнему, задавая вопросом: не слишком ли статична РПЦ сегодня, готова ли она ответить на вызовы современного мира и как сегодня должны православные соизмерять свои действия: по закону мира сего или по выс-

шему божественному закону? Он очень конкретен, анализируя, например, «потери и приобретения» церкви в деле «Pussy Riot» или современные расколы между либеральной общественностью и церковным сознанием. В конечном счете автор соотносит историю социальной этики православия с нашим днем: без этого богатейшего наследия нельзя постичь и современных социальных процессов, ибо могучи корни ключевых социально-этических понятий православия в нашем обществе, велики и запросы, к православной церкви обращенные.

Николай Стариков. Геополитика: Как это делается. СПб.: Питер, 2014. — 368 с.: ил. — (Серия «Бестселлеры Николая Старикова»).

Краткая формула, выражающая суть геополитики, такова: геополитика = политика + история + география. Цель данной книги, уведомляет Николай Стариков, — прикладное изучение геополитики и ее принципов, а не погружение в академические глубины этой дисциплины. И все-таки экскурс в историю геополитики, отцами-создателями которой являются англосаксы, есть. Это англичане, и в частности Маккиндер (1861–1947), ввели понятия двух цивилизаций — Моря и Суши, которые постоянно борются друг с другом. Это Маккиндер вел понятие «Heartland» — «Центральная земля», сердцевина континента. Он назвал бесконечные русские просторы «Географической Осью Истории». «Со стратегической точки зрения, — утверждал он, — Россия является самостоятельной территориальной структурой, чья безопасность и суверенность тождественны безопасности и суверенности всего континента. Этого нельзя сказать ни об одной другой крупной евразийской державе: ни о Китае, ни о Германии, ни о Франции, ни об Индии... только Россия может выступать от имени „Heartland“ с полным геополитическим основанием. Только ее стратегические интересы не просто близки к интересам континента, но строго тождественны им». Маккиндер признавал ведущую роль России. И уже более полно раскрывая суть геополитики, Н. Стариков пишет: «Цивилизация Моря строит флот и занимается морской торговлей, цивилизация Суши расширяется сухопутным путем. Задача Суши — не дать Моря заблокировать ее, взять под контроль прибрежные зоны и самой выйти к Мировому океану. Задача Моря — закрыть Суше доступ к морским просторам, подчинить своему влиянию прибрежные зоны и, раскалывая на части, постепенно поглотить Сушу. Сухопутная цивилизация сильна армией, морская — флотом. Чтобы побеждать противника, нужно не давать ему развивать флот или сильную армию, в зависимости от положения. А ведь игроков на планете не два, их больше. Бороться чужими руками, стравить две Суши или два Моря между собой — это уже прикладная часть геополитики». Хорошей иллюстрацией к тому, как выглядит прикладная часть геополитики, служит история Прибалтики: Латвия, Эстония, в меньшей степени Литва — это выход Суши к Моря, именно поэтому прибалтийские части Российской империи немедленно признавались Западом цивилизацией Моря, независимыми от России, что в 1918-м, что в 1991 году. Быстро и сразу. Важностью морской составляющей для США (цивилизации Моря) объясняется их интерес не только к Прибалтике, но и к Грузии, и к Украине. Руководствуясь четкой системой координат — противостояние Моря и Суши, — Н. Стариков обращается в прошлое. И начинает со времен Петра I. Именно с петровских времен, ибо Петр I был первым руководителем России, кто возвел на государственный уровень принципы геополитики, понял, что победить Море можно только на море. И, пользуясь тем, что европейские страны увязли в конфликтах между собой, создал действенный военный флот. В этом и заключались его величие и гениальность. С тех пор Великобритания, неожиданно для себя обнаружив мощную державу, вступила с ней в противоборство, которое длится до сих пор. Действия наших царей, генсеков и президентов Н. Стариков накладывает на ситуацию в мировой политике соответствующих вре-

мен. Среди стоявших во главе России были великие: как Петр I, как Елизавета Петровна, как Екатерина II, как Сталин, хорошо понимавшие правила геополитики. И те, кто сдавал позиции, завоеванные предшественниками. Имена и деяния называются. Н. Стариков распутывает запутанные клубки европейской политики, фиксирует изменения раскладов геополитических сил, прослеживает политический контекст событий, знакомых нам и не очень знакомых. Применительно к России державы Моря всегда преследовали две цели — максимальное ослабление России и препятствование выходу русского флота на просторы Мирового океана. В конфликты втягивались не только европейские государства, как Швеция, например, но и азиатские, как Турция, с которыми Россия вела не одну войну: англичане всегда старались натравить на Россию кого-то другого. Н. Стариков приводит показательные параллели, как, например, между Великой французской революцией 1789–1799 годов и русской Февральской революцией 1917 года: и там, и там целенаправленно — и не случайно, в интересах державы Моря — истреблялись флот и морская элита: офицеры, инженеры, флотоводцы. Мартирологи судов и людей, в том числе высших офицеров флота, и в том, и в другом случае впечатляющие. С 1917 года на протяжении нескольких лет союзники с удовольствием уничтожали русский флот, Англия «исправляла» свои ошибки двухсотлетней давности, когда «проспала» возникновение Российской империи, активно строящей флот. Анализируя боевую жизнь флота России, автор приходит к выводу, что страшнее «революционеров» и «реформаторов» противника у флота не было. Именно в годы революций и при реформаторах свергывались все судостроительные программы. И приводит страшные данные: если во Второй мировой войне и Великой Отечественной 1941–1945 годов захвачены, затоплены, потоплены, взорваны, сгорели 365 кораблей и судов советского ВМФ, то за период перестройки только с 1991-го по 1997 год списано, потоплено в базах и продано на металл — 629 боевых кораблей и судов российского флота. Только надводных. Петр, которому досталась сухопутная держава, зажата на континенте и лишенная подходов к морю, а значит, и возможности морской торговли, выхода в море, понял после поражения в Азове необходимость строительства флота для своей континентальной державы. То, что до него никто не понимал, перестали понимать и впоследствии. «Да ведь и сейчас можно прочитать в газетах: „Кудрин предлагает сократить расходы на оборону и нацбезопасность“. Петру удалось стать Великим, потому что никакого „Кудрина“ он не слушал, хотя, уверяю вас, что агентов влияния, трусов и дураков и тогда хватало в избытке. Русский царь выслушивал всех, но поступал так, как того требовали геополитические интересы России. Почему он стал дружить с Карлом. Напасть на нас плохие дороги и взяточники не могут». На протяжении всей книги история тесно увязана с современностью, с днем сегодняшним. В отдельной главе дана история противостояния Моря и Суши на азиатском континенте. Надо, вслед за автором, признать, что о том, как проходило движение России к азиатским морям, как складывались взаимоотношения с азиатскими державами, мы знаем удивительно мало. Афганистан, Китай, Япония, Корея. И Восточный Туркестан на стыке двух геополитических империй — России и Китая — прекрасный плацдарм для удара по британским владениям в Индии или для нападения на Россию, Совдепию. Чуть менее века назад за эту территорию шли битвы, и не только дипломатические: и красные, и белые, одетые в форму царской армии, вместе защищали от общего врага Красную Россию в Синьцзяне. Это только одна из многих малоизвестных страниц отечественной истории, каких так много в этой информационно-насыщенной книге. Сегодня Восточный Туркестан — это Синьцзян-Уйгурский район Китая, где, как и в Тибете, не без поддержки извне постоянно устраиваются беспорядки. Цель — раскачать Китай. На протяжении трех веков в борьбе против цивилизации Суши Море использовало одни и те же методы. Войны, убийства, под-

купы, попытки поставить во главе России своего монарха. Не за сумасбродство был убит Павел I, а за то, что предпочел заключить союз с Францией против Англии. Он попытался выиграть для России остров Мальту — ключ к владычеству на Средиземном море. Задуманный совместный поход наполеоновских и павловских войск в Индию, «жемчужину британской короны», был не «дурацкой» авантюрой, но стратегически просчитанной возможностью нанести удар Морю в самой его уязвимой части. Одним из методов Моря были устремления вести войну с Сушей с помощью своих специально созданных «шпаг». Такой «шпагой» в Европе дважды стала Германия и в Азии — Япония. Проверенное средство ослабить противника изнутри — через революцию устроить в стане соперника хаос. Метод испытанный. Сегодня Британия и США поддерживают хаос и крушение государственности в ближневосточном регионе, как в 1918 году они были за хаос и гражданскую войну на территории России. Н. Стариков — мастер задавать парадоксальные вопросы. Например: а сумели бы мы выиграть Великую Отечественную войну, если бы осенью 1941 года в СССР произошла троцкистская революция и «революционеры» смели «прогнивший сталинский режим»? (Это по поводу итогов русско-японской войны.) Море постоянно ищет силы, которые должны ослабить всех других игроков на планете разом. В начале XX века такой силой был марксизм, в середине XX века — нацизм и фашизм. В начале XXI века Вашингтон и Лондон делают ставку на исламский фундаментализм, пытаются столкнуть Россию и Китай. У геополитики есть свои законы, и странам, не являющимся частью Моря, следует воевать с Морем, дружить с Сушей. И не воевать с Россией. Наполеона, Гитлера, Чан Кайши и лидеров современности Муамара Каддафи, Милошевича, Саддама Хусейна, Мубарака объединяет фатальное непонимание принципов геополитики. Они думали, что смогут договориться, что, будучи полезными Западу сегодня, получат от него защиту и иммунитет от любых проблем в будущем. И были обмануты и преданы, когда пришло время их предать в связи с «изменением обстановки». Главная и единственная суть мировой политики — борьба за ресурсы и контроль над ними. И сто, и пятьсот лет назад происходила одна и та же борьба, разными методами и формами. В современном мире игроков четверо: США с Великобританией, Европа во главе с Германией и Францией, Россия и Китай. Историей, прочитанной к тому же не с западных позиций, проясняется то, что происходит сегодня, — и это несомненное достоинство книги. Вывод прост, но неутешителен: нас никогда не оставят в покое, просто потому, что мы, исходя из географических реалий, — центр Евразии, центр цивилизации Суши. Геополитика так устроена: будешь слабым — просто перестанешь существовать. И Николай Стариков не единственный, кто так говорит и так пишет.

Роман Почекаев, Ирина Почекаева. Властительницы Евразии. История и мифы о правительницах тюрко-монгольских государств XIII–XIX веков. СПб.: ЕВРАЗИЯ, 2012. — 384 с.

Ханши и регентши, жены и дочери правителей на протяжении столетий играли важную роль в политической жизни многих государств, в которых правили потомки Чингисхана: в Монгольской империи, Золотой Орде, Казанском и Крымском ханствах, государствах Ирана и Средней Азии. Права женщин в тюрко-монгольском обществе были неизмеримо шире, чем в современных ему странах Запада и Востока: ханские жены обладали собственным имуществом, распоряжались им, представительницы правящих семейств на законном основании участвовали в курултаях (съездах знати), в принятии важных государственных решений. Нередко супруги ханов становились правительницами в период между смертью мужа и избранием нового монарха. Жены и дочери правителей имели собственные войска, влияли на политические дела, занимались благотворительностью и покровительствовали деяте-

лям искусства. В двадцати пяти очерках представлены биографии правительниц тюркских и монгольских государств XIII–XIX веков: от Борте, главной супруги и соратницы Чингисхана, родоначальницы Чингизидов, и его невесток Туракины и Сорхактани до правительниц последних «степных империй» — калмыцкой ханши Джан и казахской ханши Айганым (поэтессы Надиры). Хотя очерками это повествование назвать трудно — скорее, это полные драматизма, увлекательные новеллы. Деяния некоторых героинь давно стали сюжетами для многочисленных преданий и легенд, имеющих хождение по Великой степи, и не только по степи. Так, подвиги чингизидской принцессы, «девы-богатырки» Хутулун, возглавлявшей войска своего отца и лично участвовавшей в сражениях, вошли в фольклор народов Центральной Азии и даже Китая. Отдельную главу ей посвятил в своей «Книге о разнообразии мира» Марко Поло: современник Хутулун, он был наслышан о ней от знавших ее лично. Сюжет о восточной принцессе, придирчиво выбиравшей женихов, утвердился и в европейской культуре: волшебная сказка «Турандот» связана с «дочерью тюркского правителя» (так переводится имя Турандот), с Хутулун: это Хулутун хотела, чтобы претендент на ее руку победил ее в борьбе, но отец заменил борьбу загадками, «тестами», как мы сказали бы сегодня. В Крыму до сих пор сохранились легенды и предания о Джаныке, дочери хана Токтамышы и супруги могущественного эмира Идигу, героя эпоса «Идегей». Правда, легенды существенно искажают ту роль, которую она сыграла в истории. Образ Мандухай, восстановительницы Монгольского ханства (1470–1479), так популярен в историографии и народной памяти, что именем ее названа улица в Улан-Баторе. Она участвовала в битвах, даже будучи беременной. Множеством легенд окружено и имя Суюн-бике, супруги трех казанских ханов и регентши при четвертом, собственном сыне, фактически последней правительницы независимой Казани, переставшей существовать в 1552 году. Это нам по невежеству кажется, что степь была дикой. Связи и контакты ханских дворов простирались далеко за пределы Азии, они охватывали и Европу, и Африку. Хань — и ханши — принимали у себя посланцев европейских государств, дипломатов и путешественников. И иностранцы оставили свои воспоминания о том, чему были свидетелями. Самая известная женщина Золотой Орды Тайдула (ум. 1360), жена, мать и бабка ханов, при которых она в течение сорока лет играла важную роль в политике Золотой Орды, известная как «заступница православной церкви», занималась не только русскими делами, она была связана и с католическим Западом, играла активную роль в ордынско-итальянских отношениях. Великие женщины тюрко-монгольских государств собирали книги и предметы искусства, строили медресе и мечети и иногда даже писали стихи. Они покровительствовали наукам, искусствам и всем религиям, имевшим распространение в Монгольской империи: христианству, исламу, буддизму, иудаизму. Роль и значение героинь очерков в истории различно. Одни из них были эффективными правительницами, другие — отважными воительницами, третьи оставили свой след в искусстве и литературе; одни были соратницами своих мужей, другие сами управляли государствами, порой удерживая ханства от исчезновения. Среди них — и те, кто причастен к основанию новых династий и государств, как Сорхактани, жена, мать основателя государства ильханов в Иране; как Чаби, главная супруга Хубилая, основателя династии Юань в Китае; как Эргэнэ, первая правительница Чагатайского улуса. Одни из них ввязывались в борьбу за трон и влияние по собственному желанию, другие становились заложницами ситуации и взваливали на свои плечи бремя власти помимо воли. Многие трагически гибли: их травили, душили, топили в банях, завернутыми в кошму бросали в воду, связанными укладывали в санки, запряженные бешеным конем. Мир Чингизидов был жесток: военные походы, борьба за власть и передел владений, заговоры, интриги, репрессии. Родные братья воевали друг с другом, племянники с дядьями: свергали друг друга с трона,

умерщвляли, ослепляли. В этом жестоком мужском мире женщины оказывались равными им соперницами. Почти четверть книги занимают служебные материалы: генеалогические таблицы, глоссарий, библиография (источники и литература), примечания. Авторами переработан огромный материал, требовалось разобраться, что из сохранившихся сведений соответствует фактам, а что представляет собой «эпические» достраивания, где мифы, а где правда. В источниках содержатся противоречивые сведения, несовпадающие оценки лиц и событий. Так Туракина, невестка Чингисхана, регентша Монгольской империи в 1241–1246 годах, предстает в источниках как женщина «ограниченная, жадная и жестокая», «глупая и невежественная». Но именно ей удалось, хоть и на короткое время, сохранить трон за семейством Удегея. А нелюбимые оценки? Разгадка проста: биография составлялась при дворе ее победителей. Материалы в книге сгруппированы по «территориально-хронологическому» принципу, то есть очерки о представительницах определенного региона даны в хронологической последовательности. Первая часть книги посвящена правительницам Монголии — от Монгольской империи XIII века до Монгольского ханства рубежа XV–XVI веков. Во второй части книги содержатся очерки о правительницах Ирана и Средней Азии XIII–XIX веков. В третьей — о правительницах Золотой Орды XIII–XV веков. В четвертой части книги представлены очерки о правительницах постордынских государств XV–XIX веков. К середине XV века Золотая Орда распалась на ряд независимых друг от друга владений: из ее состава выделились Синяя Орда, Крымское, Казанское, Казахское ханства, несколько позже — Астраханское ханство, Ногайская Орда. Монголия оказалась поглощена империей Цинь, а большинство постордынских государств — Российской империей. Не так проста и примитивна история вхождения Казанского ханства в Московскую Русь: «Иван Грозный взял Казань». В Казанском ханстве сильна была «московская партия», недовольная засильем крымчан в своем отечестве. И в том, что происходило в Казани в канун присоединения, огромную роль сыграли женщины: Нур-Султан, Гаухаршад, Суюн-бике. И если первые правительницы Монгольской империи влияли на международную политику в континентальных масштабах, имели переписку с иностранными государями и вели завоевательные войны, то прошли века, и ситуация изменилась. И вот уже Фатима-Султан, последняя правительница маленького Касимовского ханства (XVII век), калмыцкая ханша Джан (XVIII век), казахская ханша Айганым (XIX век) были озабочены тем, чтобы сохранить свои владения и не вызвать гнев своих сюзеренов — московских царей, а впоследствии российских императоров. Через судьбы женщин-властительниц предстает история Евразии, огромного единого пространства, неразрывно связанного бесчисленными корнями. Это Монголия и Китай, Иран и Ирак, Средняя Азия и Афганистан, Киргизия и Казахстан, Азербайджан, Самарканд, Бухара, Фергана, Крым, Поволжье. И — Московия, Российская империя. Единое историческое пространство.

*Публикация подготовлена
Еленой Зиновьевой*

*Редакция благодарит за предоставленные книги
Санкт-Петербургский Дом книги (Дом Зингера)
(Санкт-Петербург, Невский пр., 28, т. 448-23-55, www.spbdk.ru)*

Contents

Prose and Poetry

- Valery Sosnovsky.** Poems • 3
Samit Aliyev. With All Flayed Skin. *Novel* • 7
Marina Paley. Poems • 81
Igor Gamayunov. Shield of a Hero. *Chapters of the novel* • 85
Natalia Sevets-Ermolina. Poems • 106
Dmitry Travin. From Russia with Love. Love-1970. Inter Ducks there's Interspace; Love-1980. Great Dedication; Love-1990. Chemistry of Fate; Love-2000. Adieu, Simo-
nette; Love-2010. Lees of Life. *Stories* • 110
Andrey Yegrashov. Yesterday's People. *Story* • 126

Book of the Fallen

Poets of the World War I. Charles Peguy. Ernst Stadler. Edward Thomas. *Preface and translation by Yevgeny Lukin* • 135

Publicistic Writing

Alexey Varekhov. Russian Wealth • 140

Criticism and Essays

Igor Sukhikh. Chekhov in the XXth century. *Five Essays* • 150
Vladislav Bachinin. He was Weighed in the Scales and Turned out to be very Light. Death, Venice and Homoerotic Glass Bead Game • 183

Petersburg Bookman

The Culture Year. Julia Shcherbinina. In the Beginning Hit the Word. **Art of Reading.** Alexey Mashevsky. Horace's «Golden Mean» and the Principle of Complementarity (*To the question of nonclassicality of classics*). **Pilgrim.** Archimandrite Augustine (Nikitin). The Beginnings of Slavic Typography. **The Singer's House.** *Elena Zinovyeva's publication* • 195–254

Издатель: закрытое акционерное общество «Журнал „Нева”». Адрес редакции:
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18. Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург,
а/я 9

Телефон: (812) 314-50-52; e-mail: nevaredaction@mail.ru; nevaeditor@gmail.com;
nevaredaction@yandex.ru

Сайт «Невы» в «Журнальном зале»: <http://magazines.russ.ru/neva/>
Ресурс в сети Интернет: www.nevajournal.ru

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет агентство «Роспечать» по каталогу ОАО «Роспечать», подписной индекс 73276 и ИД «Экономическая газета» по объединенному каталогу «Пресса России», подписной индекс 42414.

Свежие номера журнала, а также отдельные номера за последние годы можно приобрести:

в Санкт-Петербурге — в магазинах: «Книжный клуб на Австрийской» (Каменноостровский пр., 13/2 (Австрийская пл.), тел. 232-3307); Центр современной литературы (наб. Адмирала Макарова, 10, тел. 328-6708), Книжная лавка «Исткнига» (Васильевский остров, Кадетская линия, 27/5, литер А, тел. 986-8251), также в редакции журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-4923); **льготную подписку** можно осуществить непосредственно в редакции журнала (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-4923).

В Москве: в редакции журнала «Знамя» (ул. Большая Садовая, 2/46, тел. (495) 699-4264)

За рубежом подписку на журнал осуществляет АО «Международная книга» (117049, Москва, Большая Якиманка, 39, телефакс: (495) 230-2117, 238-4634)

Оптовая и мелкооптовая продажа: Санкт-Петербург: ЗАО «Журнал „Нева”», e-mail: officeneva@mail.ru

Почтовую рассылку отдельных номеров журнала и книг издательства журнала «Нева» на территории РФ осуществляет редакция. Заказ можно оформить на сайте издательства www.nevajournal.ru

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-34950 от 15 января 2009 г. выдано
Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.
Учредитель: ЗАО «Журнал „Нева”»

Подписано в печать 25.01.2014. Гарнитура «Октава».
Формат 70×108 1/16. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.
Тираж 2800 экз. Заказ № 18.03
Издательство «Журнал „Нева”»

Отпечатано по технологии CtP
в ООО «СЗПД-ПРИНТ»
188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Железнодорожная, 45 Б